

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

1997

7

1997

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7(867)

Июль, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС ЕКИМОВ — Наш старый дом, повесть	3
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Голые глаголы, стихи	49
СЕМЕН ЛИПКИН — Зимняя встреча, стихи	51
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Уроки правнука Вовки, маленькая повесть	54
ЛЕОНИД РАБИЧЕВ — На эмали, стихи	80
ЮРИЙ КОСАГОВСКИЙ — Необъятное свободное место, стихи	82

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

КРИСТОФ РАНСМАЙР — Болезнь Китахары, роман. Перевела с немецкого Н. Федорова	86
К УКЛОНЧИВОЙ ЗВЕЗДЕ — Мартинюс Нейхоф, Хендрик Марсман, Паул ван Остајен, стихи. Перевод с голландского и комментарий Марины Палей, при участии Сильваны Ведеман	135

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

Архимандрит АВГУСТИН (НИКИТИН) — Красные и зеленые в империи Хо Ши Мина	141
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

МИХАИЛ МАТВЕЕВ — Драма волжского земства	160
--	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

С. ЛАРИН — Секрет «Культуры»	175
------------------------------	-----

ОПЫТЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — «Время — деньги» как культурный принцип	182
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — «Петербург» Андрея Белого. Из «Литературной коллекции»	191
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- О СПОСОБАХ ВНИКАНИЯ В КЛАССИКУ. Сергей Бочаров. От имени Достоевского; Марина Новикова. Не только о Достоевском 197

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

- Валерий Липневич. Человек — это мы 209
Рената Гальцева. Они его за муки полюбили 213
Алексей Смирнов. Русский Агриппа 221
Ирина Сурат. О старом академизме и новой русской пушкинистике 225
Виталий Свинцов. Загадки знаменитого процесса 229
Олег Мраморнов. Обезьяньи дети, всеобщее понятие собаки и скука вечности 232

-
- Юрий Кублановский. — I. Наталья Горбаневская. Не спи на закате. Избранная лирика. II. Светлана Кекова. Песочные часы; Светлана Кекова. Стихи о пространстве и времени; Светлана Кекова. По обе стороны имени 235
Наталья Трауберг. — Л. В. Карасев. Философия смеха 237
Андрей Василевский. — I. Виталий Диксон. «Когда-нибудь монах...». Роман-газета. II. Анатолий Кудрявицкий. Стихи между строк. III. М. Жванецкий. Простые вещи 238
Олег Ларин. — К. А. Буровик. Красная книга вещей 240

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- Протоиерей МИХАИЛ АРДОВ — Казнокрадократия 242

БИБЛИОГРАФИЯ

- Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 246
Периодика (составитель Андрей Василевский) 248
SUMMARY 256

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 2189 экземпляров журнала «Новый мир».

БОРИС ЕКИМОВ

*

НАШ СТАРЫЙ ДОМ

Повесть

Теплый июньский полдень. Как чиста нынче высокая небесная синь, освеженная прохладным северным ветром... Белейшие облака плывут и плывут, медленно, неторопливо, как и положено кораблям воздушным. Солнечный жар мягок. Зелень листвы сочна. Плещет листва под ветром, играет, слепя солнечными бликами. Шелест ветра, стрекотанье кузнечиков, редкий посвист птицы.

В легком полотняном кресле, в глубине двора, сижу и сижу, ни уйти, ни подняться не в силах. Да и зачем... Ветер, синева, зелень, солнечный щедрый жар... Лето голубое, зеленое, золотое — лето жизни моей — в старом доме, в невеликом селенье на донском берегу.

Конечно, городское наше жилие не в пример удобнее: вода, тепло, плита электрическая и место приглядное, жаловаться грех — берег Волги. Утром проснешься — видишь, как солнце встает. Выйдешь прогуляться — ни машин, ни уличного шума, а сквер прибрежный, перед глазами — речной простор, далекий заволжский берег. Но зимою нет-нет и вспомнится наш старый дом, а весною и вовсе тянет туда.

Год нынешний весна была поздняя. Лишь в апреле потеплело. На утренних прогулках, всякий день по весне, прежде всего не на Волгу гляжу я, а спешу к абрикосовым деревьям, что растут под стеной соседнего дома, на сугреве и в затишке от ветра. Слежу, как с каждым днем набухают багрово-фиолетовые цветочные почки.

И вот как-то пришел, вижу — белые цветки. Одна всего лишь веточка, возле теплой стены, три цветка на ней. Но раскрылись. И сразу расхотелось мне за газетой идти и гулять. «Поеду, — с ходу решил я. — Надо разведать».

Сел в машину и поехал. Благо, что дорога близкая, всего семьдесят километров. Солнечно и тепло было в городе, в дороге и в поселке — тоже. А в нашем старом доме за зиму находило. Открыл я настежь двери и форточки, чтобы к вечеру дом согрелся. Печку топить не хотелось. С нею — возня, грязь и дым.

Во дворе, в огороде — скучно, темно, повсюду — хлам и дрям, как всегда это бывает по весне, когда сходит снег. Поехал в степь, в Березовый лог. Там — в разгаре весна. Черная ольха отпылила, уронила на землю сережки. Талы — отцвели. Остро пахнет горькой ивовой корой, тополевыми почками, прелым листом, молодой полынью. Как хороши пронизанные светом сквозящие тополевики, заросли ольхи... Там — пенье птиц. Выше их — сизый и белый дым летящих по ветру облаков.

Вечером солнце село в тучу. Поднимался ветер. Остался я ночевать в нетопленном доме. Заснул, но скоро проснулся. Ветер ломит. Деревья шумят.

В городе мне обычно мешают стуки в соседних квартирах. Наладится колотить какой-нибудь «мастер» — долбит и долбит. И по ночам — собачий лай за окном, где допоздна выгуливают овчарок, бульдогов да прочих сторожей квартирных.

В городе я обычно мечтал, как буду спать в старом доме, где — покой, тишина и никто не скачет над головой, «застольную» не ревет среди ночи.

А теперь вот проснулся. Ветер, деревья шумят. И кто-то воет и стонет на чердаке ли, на крыше. Стучат ветхие ставни. Какие-то еще непонятные стуки и скрипы. Деревья шумят и шумят. Разом выдуло дневное непрочное тепло. Зябко, сыро. Мыши скребут где-то рядом. За зиму развелись.

На воле — ветер. Старый дом мой — словно старый человек в непогоду, ему неможется: он охает, стонет, тяжело вздыхает, жалуясь, и порой потихоньку плачет.

Долго лежал я во тьме, слушая вой ветра, ночные шорохи, стуки, мышинуую возню. Задремывал, засыпал и просыпался. Утром проснулся под шум дождя. Поднялся, вышел на крыльцо: пасмурно. В доме неуют: ни горячей воды, ни электроплиты, на которой все скоро — чай и прочее. А здесь умыться, побриться — уже проблема.

Но перемогся, прилачился, печь затопил. И понемногу потекло новое житье ото дня ко дню, от весны к лету.

Начало

Вечереет. Нынче — время тревожное. Неделю назад снова вдвое дороже стал хлеб. Газет лучше в руки не брать: воюют, убивают, грозят... Возле Чечни опять взяли в заложники целый автобус людей. Там — женщины, дети. Подавай выкуп, миллионы долларов. Вроде сговорились, а потом — взрыв. Погибли четверо или пятеро. Кровь и слезы... Слава богу, телевизор не включаю. Там одна и та же горькая песня. Летом нам телевизор не нужен. Чего ради сидеть и глазеть в душевной комнате. На воле лучше.

Вечереет... Нет в мире ничего, кроме летнего покоя. Теплынь... Рядом — сад и огород. Зеленые кусты помидорные, на них — тяжелые гроздья плодов; острые луковые перья; шершавые, даже на взгляд, листья огурцов, в их сени — пупырчатые крепыши; высокие зонты укропа, желтоватые, спеющие. Чуть далее — отягченная краснобокими плодами яблоня «яндыковка». Время от времени — глухой стук упавшего яблока. Тишина. Выше яблони — просторное вечернее небо с розовеющими облаками. Они остывают ли, разгораются. Садится солнце или уже закатилось?.. Его заслоняет густая вишня, не в красных, а в черных ягодах от переспелости и ввечеру.

Вечерний покой. Пестрая бабочка пролетела, не тронув тишины. И странно было бы сейчас думать о ценах и деньгах и прочем. Об одной лишь жизни думается, о прекрасной жизни, что неслышно течет теперь летним покойным вечером, уходя к ночи.

К покою, к ночи готовится старая мать моя. Вот она, согбенная, малая, словно дитя, иссохшая от лет и годов, пробирается из огорода тропкою к дому. Походка ее неверна. Идет, оступается на нетвердых ногах. Вот встала и замерла, будто кто-то окликнул, позвал ее из вечернего сумрака, что густеет под яблоней, в зарослях смородины. Почудилось... Дальше пошла... оступаясь. Седые редкие волосы, узкие худые плечи под выгоревшим ситцевым платьем. Старый одуванчик. Снова встала — видно, снова почудилось. Чьи-то шаги, голос, взмах руки, чье-то лицо пригрезилось в сумерках. Их тут много, во дворе и в доме, старых видений — родных людей, которые долгий век жили рядом, теперь — ушли.

Мать уходит к ночному покою. В доме она будет долго молиться, поминая живых и мертвых. Вторые ближе ей: раба божия Анна, и раб божий Петр, и еще один Петр, тоже покойный, и еще один, но этот, слава богу,

живой; покойные Коля, Слава и Ниночка, Михаил Николаевич — этого всегда с отчеством, как было в жизни. Молитва долга: для ушедших просит покоя, для живых — судьбы.

Потом она долго будет укладываться, заснет; и во сне к ней придут те, о ком она горячо просила в своей молитве: Нюра, Петя и другой Петя, Слава, Николай, Ниночка...

— Опять Нюру видела, — скажет она утром, — и мамочку с Ниной, они меня звали куда-то. Опять Славочку, Колю...

Но теперь — вечер. Старая мать моя молится в нашем старом доме. Я — на воле.

Низко и медленно летит на ночлег с полей черное воронье. Тянутся долго, кричат. Снова — покой. Высоко в небе — щебет ласточек. Там же, но выше, в самой глубине, — нежный переклик щуров. Щур золотистый... Это — в небе.

На земле же, рядом со мной, — старая летняя кухонька. Стены ее облупились, потрескались, шиферная крыша замшела. Сарай и вовсе убог. Зимний буран содрал его ненадежную кровлю. Весною приехали, на скорую руку набросали сверху старые жестяные листы, кирпичами их придавили. Стоит наш сарайчик. Рядом же — погреб; верх просел, а внутри выпирает пазом кирпичная стена. Скоро рухнет. Время, время... Когда его копали, этот погреб?.. Теперь и не вспомнить.

Старая кухня, старый сарай, старый погреб... На старый наш двор пришла пора запустенья. Мелкая трава «гусынка», почуввав волю, полонит двор. Зарастают даже тропинки. Остались лишь простые цветы: петунии, ноготки, бархотки, астры. Петунии теперь цветут фиолетовым, белым. Вечером нежно пахнут. Позднее, ближе к осени, распустятся махровые астры.

Но трава, трава... Полонит двор, и нет с ней управы.

Все гуще, просторнее расплзается виноград. Когда-то он затенял лишь веранду, а теперь его зелень закрывает полдома. Смородина, задирав, палисад полонила.

Нет, это не просто дворовая зелень: лебеда и «гусынка», виноград, вишенё, смородина. Это трава забвенья полоняет наш старый дом.

Когда подходишь или подъезжаешь ко двору нашему с улицы, дома не видно, он потонул в зелени. Соседские — на виду. А наш год от года все горбится, усыхает, уходит в землю, словно старая мать моя — последняя хозяйка старого дома. Они умрут вместе — мама и старый дом. Она умрет, я уйду, а дом рухнет. Я знаю все его немощи: глухая стена год от году выпирает внутрь, особенно на венцах нижних; прогнил потолок, местами пальцем можно проткнуть. Полы уже много лет грызет древооточец. По ночам я слышу, как он скрипит, пробивая новые и новые ходы.

Старый дом наш, старый двор — это старая жизнь, с которой настала пора прощаться, потому что нет в мире вечного.

А в пору прежнюю, давнюю, дом наш в уличном порядке стоял горделиво: деревянный, из пластин рубленный флигель в два окна. И разве можно было его равнять с землянками да мазанками наших соседей: Коротковых, Иваньковых, Сурковых, других Коротковых, Мирошкиных. Тогда, сразу после войны, ладили не строенья, а лепленья да норы: земляные да глиняные стены; крыша — она же и потолок — вербовый плетень, промазанный глиной с навозом; земляной, тоже глиной промазанный, пол; жалкие оконца — куски стекол, вмазанные без рам и переплетов. Летом наши мазанки да землянки бутрились, словно грибы «подпесочники», которые лишь поднимают землю, наружу не выбираясь; зимой снега и метели напрочь хоронили это бедное жильё. Из школы вечерней порой возвращаешься, после второй смены, — не поселок — снежная пустыня. Лишь кое-где из сугробов помаргивают мерклые огоньки керосиновых ламп.

Война постаралась. Сталинградская битва. Поселок наш — у самого Дона, на переправе. Досталось ему от чужих и своих. Говорят, пуля —

дура. Но ведь снаряды — не умней. Поработали, постарались. Сейчас сию, вспоминая, кто из моих товарищей, из соседей как жил. Сплошные землянки да мазанки. Горкушенковы, Ниумирухины, Чапурины, Варениковы... Все подряд. Лишь кое-кто начинал привозить с окрестных хуторов дома. На месте разберут, быками везут в поселок, здесь собирают, ставят. Так приехал и наш дом с хутора Рюмино-Красноярский. Хозяева привезли его, поставили, но жить почему-то не стали.

Мы же первые три года после приезда в поселок мыкались по чужим углам, снимая квартиры. Последний наш домик и сейчас живой. Он нам нравился: домик невеликий, но деревянный, с крохотной верандой. И соседи хорошие. Хозяева продавали этот домик, но цена оказалась для нашей семьи непомерной — семь тысяч рублей. У нас работали все взрослые: дядя Петя, опытный инженер с высшим образованием, получал семьдесят рублей; мать моя заведовала детским садом с окладом пятьдесят ли, шестьдесят рублей; тетя Нюра сторожила контору за тридцать рублей в месяц. Денег хватало лишь на житье. И в то же время углы снимать вшестером — уже Николай родился — было несладко.

Тогда и купили мы нынешний свой дом за четыре с немногим тысячами и к тому же с долгой рассрочкой. Это был черный прокопченный сруб в одну комнату, даже без сеней. Для меня это память лишь зрительная. А для старших поначалу сердечная боль. Мать моя и сейчас вспоминает, и тетя Нюра до смерти говорила, как тягостно было входить в новое жилье.

Но семья наша к тому времени уже столь натерпелась в жизни... Смерть моего отца, дяди Петины тюрьмы и ссылки, общие мытарства за кусок хлеба, за угол. Для того моя мать с тетей Нюрой и съехались, сбились под одну крышу, чтобы вместе пережить трудные времена, которые как начались в тридцать восьмом году, так и не кончались. Из далекого Забайкалья, с Приморья, из Игарки, через казахстанские ссылки в пустыне — и наконец в Россию, в малый поселок на берегу Дона. И здесь — по чужим углам. И вот этот сруб посреди голого двора. Даже забора не было. Окошки — маленькие, внутри — темно и черно. Квартировал там бобыль-инвалид с деревяшкой вместо ноги.

Но все же — свой угол после стольких лет и годов мытарств. Взрослым уже под сорок, а все — чужие углы. Мне — шесть лет. Я — самый счастливый. Старшим — долгие труды и труды: отскоблить дом, переложить печь, коридор пристроить, поставить летнюю кухню, сарай, катух для коровы, курятник, закут свинье, выкопать погреб, колодец, заборишком хотя бы ледащим, но обнести двор и огород.

Для старших — долгие труды, которые не были для них внове. От первого дома, родительского, в Самаринском Затоне, на реке Шилке, тетя Нюра и мать моя сменили столько углов, им счета нет. Порой начиная с голой земли, как в Майеркане, среди казахской степи, в Или, где вовсе пустыня. Игарка, Дудинка, Бурлю-Тюбе, Балхаш, Хабаровск, Благовещенск. Из края в край гонял НКВД семью врага народа, японского шпиона. Сам «шпион» и вовсе на тюремных да лагерных нарах Хабаровска, Алма-Аты, Архангельска.

Теперь — снисхождение. Пусть «без права жительства в областных центрах», пусть занесенный донскими песками поселок, надзор НКВД. Но все вместе и вроде никуда не гонят. Работать разрешили. И наконец — свой домишко. Может, даст бог покоя...

Спасибо. Дал. На этом дворе, на своем, дядя Петя прожил двадцать лет и умер, упав возле яблони. Я перенес его на веранду, бросился за врачом — добро, что больница недалеко. Но он умер. Вначале лицо стало черным, потом посветлело. А на том же самом месте, во дворе, под яблоней «яндыковкой», на двадцать пять лет мужа пережив, упала и тетя Нюра. Но умерла не сразу, а еще больше недели, целых девять дней, отходила. И умерла.

Воскресные пирожки

Домашний дух для меня — это воскресные пирожки, их сладкое благоухание. В детстве каждое воскресенье просыпаюсь и сразу чую: тетя Нюра пирожков напекла. Позднее, приедешь из города в день воскресный — дом родной встречает духом печеного. Калитку отворяешь — и радуешься: тетя Нюра пирожков напекла.

Вот они — золотистые, в поджаристой корочке, подъемистые, пышные. Разлочишь ли, откусишь — и открывается ноздреватая плоть печеного и сочная, дразнящая нюх начинка. Когда стали получше жить, нечасто, но появлялись пирожки с мясом да ливером. А прежде — с картошкой да капустой, летом — с яблоками свежими, зимою — с сушеными. Но разве дело в начинке...

Позднее поездил я по России, по Советскому Союзу, по всему белому свету. Недурно приходилось есть в иных краях. Жаловаться грех. Но тети Нюрины пирожки — единственные, таких нет и не будет.

Вспоминать тетю Нюру для меня легко, хотя, конечно, печально. Пять лет, как умерла она, раз за разом отмечаем горькие годовщины. Но порою мне кажется, что тетя Нюра где-то рядом. Не могу отвыкнуть. И это понятно. Долгих пятьдесят лет — и пять всего лишь. Это — разница. Полвека прожила она в нашем старом доме. Не просто часть его — а душа.

На старых, довоенных фотографиях тетя Нюра красива на редкость: прямой нос, темные глаза, брови — дугой, густые длинные волосы, в косе да в короне. А в памяти моей — пожилая полная женщина, ростом — невеликая, голова — в седине, лицо — в морщинах. Алексеевна ли, Лексевна, Нюра, тетя Нюра да бабушка Нюра — для кого как.

Лицом и телом — полная. «Хлебушка много ем, — говорила она. — И кашу — с хлебушком, и чай — с хлебушком, а без хлебушка не могу...»

Можешь, тетя Нюра, можешь. В казахстанской ссылке, в жаре, в пекле пустыни, шла на весь день арыки копать, пустых щей из лебеды похлебав, а пайку хлеба свою оставляла сыну, ему — расти. И целый день лишь воду пила. Работа тяжелая, земляная. Сорок градусов в тени, на солнце — под шестьдесят. Долог день летний! А поздно вечером — снова щи из лебеды.

Помню себя совсем малого, но уже «мудрого», от голодухи конечно. Завтрак. Морковный чай. Хлеб. Каждому — пайка. Сто граммов ли, сто пятьдесят. Забыл уже. Дядя Петя и мать на работе. Слава — в школе. Я — за столом.

— Чай остался, — показываю тете Нюре стакан. — А хлеб уже кончился, — жалуюсь.

Тяжкий вздох — и появляется хлеба кусочек. От себя, от своей пайки.

А потом, уже здесь, в нашем доме, разве не то же было: карточки, буханка в день на шестерых.

Это уж позднее, при вольном хлебе, стала говорить: «Не могу без него, без хлебушка. И борщ, и кашу с хлебушком. А могу и так: с солью да водичкой. Хлебушка ломоть — и сыта».

Слава богу, хоть хлеба наелась на краю жизни.

В голодные годы она умудрялась печь из отрубей, из картофельной кожурки, собранной на госпитальной помойке, из жмыха, из муки желудевой, из травы. Так что потом, когда настоящая мука появилась, стало ей много легче нас накормить. Напечет пирожков с картошкой да капустой, блинов. Едят и похваляют. Все — сыты. У хозяйки душа не болит. Мясо нашей семье, как и всем другим, было не по карману. Каши приедались. А тети Нюрины пирожки — никогда. И потому первое, что покупалось, — мука. Есть мука — значит, все сыты.

Любила она, когда хвалят ее изделие. Напечет, спросит: «Ну, как?...» — «Хорошие...» Соседей всегда угощали. Это принято было.

Тетка Паня шумит:

— Твои пирожки — золотые! Либо ты колдуешь?! Их жалко есть. Глядел бы на них да нюхал. Какое тесто! Подъемистое! А я заведу... Яиц — не жалею, масла — целую пачку вбухаю. А получается — баламука. Джуреков напеку — лишь кобелю грызть. А у тебя — золотые! Ешь — не уешься...

Тетя Нюра довольна и сразу вспомнит:

— Это мамочка меня научила. Мамочка наша была мастерица. На людей пекла, всем угождала. А я ей помогала, с четырех лет — возле плиты, на подставке. Мамочка меня хвалила: «Помощница, — говорит, — моя...» Она много работала, наша мамочка. Семья — большая, детей — пятеро. А еще — по людям стирала, по ночам хлеб людям пекла.

Тети Нюрина жизнь... Словно вижу ее, весь долгий путь: далекое Забайкалье, Самаринский Затон на быстрой Шилке-реке. «Наша мамочка...» Всегда не мамой звала покойницу Евдокию Сидоровну, а лишь мамочкой. Раннее сиротство. В двенадцать лет — уже хозяйка в доме, старшая в семье, а значит, и главная работница. Обеды варить, стирать, штопать, полы мыть, хлеб печь. «И на людей работала. Стирала, полы мыла. Хлеб жала, снопы вязала со взрослыми женщинами наравне. Сама хозяйка, Кочмариха, меня хвалила: молодец, говорит, вся — в мать».

В нашем доме, когда я рос, взрослых было трое: дядя Петя, тетя Нюра да мать моя.

Вот обычное утро: позавтракали — и спешат, всем некогда. Скорей! скорей! В детский сад, в школу, на работу. Скорей, скорей... Тетя Нюра остается. Она — домохозяйка. Некуда спешить. Лишь дом и двор: корова, поросенок, куры, огород, картофельник да бахча, обеды, завтраки, ужины, грязное белье, стирка, починка, шитье на машинке «Зингер».

Тетя Нюра поднимается утром первой: корову доить, в стадо ее проводить, накормить. Завтрак приготовила, будит: «Пора, вставайте...»

Завтрак. Короткая утренняя суматоха: скорей! скорей! Разлетелись. Немытая посуда на столе; порой — неубранные постели. Тете Нюре некуда спешить, она все приберет.

— Мою работу никто не видит, — иной раз вздохнет она.

Прибралась, и пошло-поехало: домашние заботы цепляют одна другую. Если нет стирки, найдется малая постирушка: рубашки, платки, носки. Домашняя животино своего просит. В магазин надо за хлебом сходить и заниматься обедом. Да еще выбрать время, пошить на старенькой швейной машинке «Зингер». Вся наша одежда той поры: рубашки, трусы, курточки, платья, ночные сорочки, наволочки, — все она шила. И теплые ватные одеяла тетя Нюра «стежила», набивала подушки, собирая по перышку.

Конечно, ложилась она позднее всех. Последние заботы — о детях: поглажены ли рубашки, алый пионерский галстук, носовые платки, брюки.

— Они сами должны все делать... — сердится дядя Петя. — Полночи будешь топать.

Конечно, должны. Но забывают. А тетя Нюра помнит. «В школе поглядят, скажут: такие родители». На нас не скажут. Мы — это Слава, я да Николай. Каждый — в свой черед. Наглаженные рубашки, брюки «со стрелкой», все пуговицы — на месте, носки заштопаны, башмаки начищены, носовые платки — в карманах. Мальчишки — народ забывчивый, тетя Нюра все помнит.

Только теперь, в пору взрослую, понимаю я долгий день ее, во трудах.

— Наша мамочка весь день работала, — вспоминала она, — а ночью надо хлеб печь для себя и для людей. Ночью печка свободная. Мы же в бараке жили. Кухня — общая, печь — одна на всех. А днем мамочка у людей стирает. Устанет, сядет на пол, голову наклонит и сразу заснет. Минут на десять, не больше. Очнется и говорит: «Теперь ночь моя».

В середине дня тетя Нюра всегда спала, тоже недолго, порою сидя, но обморочно-глубоко, даже с храпом. Захрапит и сразу вскинется, скажет: «Вот и хорошо. Теперь ночь моя».

И может допоздна шить, штопать чулки да носки, латать локти рубашек и курток, обшлага — работа тихая. А я рядом пристроюсь, возле света, — книжку читаю, но чаще слушаю неторопливые рассказы о жизни прежней: детство, Самаринский Затон, люди его — вразнобой, что на память к случаю придет. Сегодня — о том, как ездили в гости в Россию, на родину, в Вятскую губернию. Это было во время Первой мировой войны. «Они в деревне бедно жили. Бабушка мне потаясь печеное яичко давала». Один вечер — начало века, другой — к нынешнему дню поближе. О том, как с ледяных гор катались на бычьей шкуре. Про богача Штейна, главной радостью которого была пожарная команда Сретенска, он содержал ее на свои деньги. Могучие «пожарные» лошади, блестящие медные каски; и сам Штейн — в каске, впереди. Потом его расстреляли. Про ссыльных поляков, которых еще при царе в Забайкалье сослали: столетний Неделяк, лысый Липакевич. И про других поляков, тоже ссыльных, но уже в наше время, — их привезли в Казахстан. Про огородников-китайцев. Они свои лавочки держали. Долгая у тети Нюры жизнь, долгие и рассказы. Она что-то шьет ли, чинит, вяжет; я — слушаю.

Из этих рассказов и сложилась для меня жизнь тети Нюры — от малых лет до времен нынешних. А в годы последние она как-то разом одряхла, много плакала, жаловалась всем: «Не могу работать... Хочу, а не могу. Лопату не держат руки — большая, тяжелая. Иголку тоже не держат — маленькая. Столько вокруг работы, а я ничего не могу...» Жалуется и плачет.

Но это — уже много позднее. А в детстве — долгие вечера с рассказами о жизни всякой, какая была. Я слушать любил. Допоздна сидел, пока спать не прогонят. А тетя Нюра потом еще ставит тесто и не раз за ночь к нему поднимется, подобьет, укутает.

— Чего ты все сигаешь, — сердится дядя Петя. — Спать не даешь.

Утром она первой поднялась, стараясь не греметь, почистила печку и затопила ее, готовит завтрак, потом нас будит:

— Вставайте, пора.

День начинается. Надо спешить. Одним — в детский сад, в школу, другим — на работу. Лишь тете Нюре торопиться некуда. Она — домохозяйка.

В воскресенье мы спим дольше обычного, а тетя Нюра пирожки печет.

Праздники — для тети Нюры лишние хлопоты. Ко дням рожденья шьется какая-нибудь нехитрая обновка и печется знаменитый слоеный торт «наполеон», рецепт изготовления которого записали все соседки, но удается он лишь тете Нюре.

А уж Первомай, Октябрьские, Пасха, а особенно Новый год... Здесь и ночь — не ночь.

Вечерами делали елочные игрушки: рисовали смешные рожицы на пустой, но целенькой яичной скорлупе; клеили цветные гирлянды, вырезали серебряные звезды, белые снежинки. Тетя Нюра весь год собирала листки цветной бумаги, фольгу от чая, складывая все в особую «новогоднюю» коробку.

Новогодние карнавальные костюмы для нас, ребятишек, — тоже ее забота. Немногие родители в нашем поселке о таких вроде бы пустяках заботились. Тем более время нелегкое: накормить бы детей — и слава богу. Да и не умели.

У тети Нюры — особый «карнавальный» коробок, где хранятся вырезки из журналов, рисунки, выкройки. Из маскарадных костюмов старшего брата помню «Обезьяну». Настоящая шкура на пуговицах, с длинным хвостом. Вроде сейчас — из Африки. Вся школа сбегалась ее глядеть.

Остались фотографии, детсадовские, школьные, где я — «Русский богатырь» с мечом и щитом, в кольчуге, в остроконечном шлеме, а еще — сказочный принц в короне, звездочет-волшебник, клоун в колпаке с булбенами.

Какая радость, когда оденут тебя принцем, богатырем. Все глядят на тебя, завидуют. А потом ты получаешь «приз» — книгу с надписью: «За лучший карнавальный костюм».

Позднее другие матери, глядя на нас, стали перед Новым годом приходиться к тете Нюре, советоваться. Она всем помогала. Порой и не просили ее. Помню, пришел соседский мальчишка, он сиротой возле деда с бабушкой рос. Стоит у порога, глядит, как меня наряжают в «Богатыря». Конечно, завидно.

Тетя Нюра все поняла, говорит:

— Давай и тебя обрядим.

Буквально в минуту сыскала она старый полосатый халат, казахстанский, подвернула, подстрочила полы и рукава, кушаком мальчишку подпоясала, обмотала голову пестрой тряпкой, подрисовала усы, мочальную бороденку подвесила. И уже не соседский пацан стоял, а какой-то восточный хан с серебряной саблей на боку. Это было — чудо.

С девочками было еще проще: марля, вата, серебряная фольга, «золотая» корона — вот и «Снежинка», «Снежная королева», «Ночь», «Осень». Все было в тети Нюрином картонном коробке: багряные кленовые и желтые тополевы листья, сухие цветы — золотистые шарики иммортелей, бессмертники. Волшебный коробок, памятный.

Тетя Нюра на всех детсадовских и школьных елках была Дедом Морозом. В высокой красной шапке, в шубе, с бородой и усами.

— Здравствуйте, детки! — басит Дед Мороз.

А я вижу глаза. Не Деда Мороза, тети Нюры. Их не скроет ни шапка, ни мохнатые ватные брови.

— Здравствуйте... Я пришел к вам издалека...

Она рассказывала, как в молодости отличалась на карнавалах у себя на родине, в Сретенске да Самарзатоне.

— У богатых — бархат да шелк, — вспоминала она. — А я из просто-го... «Смычка города с деревней» — один костюм назывался. Тогда это было в моде: смычка рабочих и крестьян. Взяла обычное платье. Половину, сверху донизу, железной стружкой украсила. В мастерские пошла и набрала у токаря красивую стружку. Другую половину — хлебными колосьями. На одной ноге — лапоть, на другой — сапог. На голове — венок из колосьев со стружкой и серп и молот из картона. Мне дали первый приз — отрез на платье. А когда жили во Владивостоке...

Они и теперь где-то пылятся, на чердаке, в сарае, тети Нюрины заветные коробки с надписями, чтобы не спутать: «Костюмы», «Игрушки». Сколько радости было, когда открывали их... А вечерами мастерили черепашек из картона и ореховой скорлупы, пушистых цыплят из ваты, хлопушки. И у кого больше радости — у нас, у тети Нюры?

Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.

.....
Стали дни коротки,
Солнце светит мало,
Вот пришли морозы,
И зима настала.

Наша тетя Нюра была, в общем понимании, человеком малограмотным. Наверное, в «личном деле» ее, в графе «образование», стояла запись «н/н», то есть незаконченное низшее. Она успела проходить в школу, кажется, одну лишь зиму, а на другую, в январе, умерла ее мать, моя бабушка, Евдокия Сидоровна, не дожив до тридцати лет. Тетя Нюра осталась в семье старшей, младше ее — трое. У отца рука не сгибается, считай, калекка. Значит, тетя Нюра — хозяйка. Все на ее плечах: стирка, уборка, еда. Один лишь хлеб столько сил отнимал: заведи, поставь, промеси, испеки.

— Мамина квашонка большая. Тяжело. Никак не могу тесто промесить. Попросила соседа Вавилова, он мне сделал поменьше квашонку. С ней управлялась. А в школу — некогда. Пробовала ходить, тогда по дому не успеваю, — вспоминала она. — Папа молчит, а я вижу... Не стала в школу ходить. А учительница меня любила. Она папе говорила: ей надо учиться обязательно, у нее способности.

Тетя Нюра рассказывает, вздыхает. Она и на склоне лет помнила много стихов. И все — хорошие. Посмотрит, бывало, зимой в окно и начнет:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь...

Особенно ей по душе были последние строки:

Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

Она лукаво улыбается и пальцем грозит.

То ли память у тети Нюры была лишь на хорошее, а может, тогдашние буквари были поумней, но декламировала она Пушкина, Тютчева, Некрасова, Никитина — только светлую классику.

Вот моя деревня;
Вот мой дом родной...
.....
И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.

Лицо ее просто сияет, лучится добрыми морщинами. В строках этих для нее и радость, и грусть, потому что детство вспомнилось.

— У нас в Затоне каждую зиму снежные горы устраивали, высокие... С них все катались: и стар, и млад...

Обычно стихи ей приходили на память по временам года.

В марте:

Зима недаром злится,
Прошла ее пора...

И не запнется, ни единой строчки не пропустит, даже в старости, уже в восемьдесят лет.

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захвата,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...
Весне и горя мало...

В апреле:

Травка зеленеет,
Солнышко блестит...

Особенно памятливы мне — тоже апрельские — строки. Я эти стихи сразу запомнил, на всю жизнь. В детстве мы их вдвоем с тетей Нюрой декламировали:

Полюбуйся, весна наступает,
Журавли караваном летят...

Обычно в эту пору мы на огороде, в земле копаемся: грядки, борозды, рассада. Или в логах, за поселком, картошку сажаем. Солнышко, тепло, одуванчиков желтый цвет. И такая радость от стихов, потому что все в них правда. Тетя Нюра негромко читает, а я во все горло ору:

В ясном золоте дни утопают!
И ручьи по оврагам шумят!

Весна... лето пришло... Как не радоваться.

С легкой руки тети Нюры я стал знаменитым чтецом-декламатором в детском саду и в школе, потом и актером в пьесах Розова, Корнейчука и Островского. Островского тетя Нюра любила. В молодости в своем клубе она была завзятой артисткой.

— «Царь Иоанн Грозный», — вспоминала она. — Богатая была постановка. «Без вины виноватые», «Бесприданница». После работы все в клуб бежим. Старый Липакевич — в массовке, а все равно сидит. В полку выступали, в Матакане. Нас любили.

Самаринский Затон на быстрой реке Шилке... Недолгое тети Нюрино детство, молодость, комсомольская ячейка, ликвидация неграмотности... «Я в люльке качаю ее ребенка и учу ее...» Первое радио в клубе. «В Москве будут говорить, а мы услышим...» Свекровь Мария Павловна... «Какой человек хороший, ее все любили...»

Пароходы на Амуре, на которых работала. Повара-китайцы Иван да Миша. «Такие работящие. Они меня любили. Я им колпаки постираю, накрахмалю...»

Москва... Общежитие института, где учился муж Петя. «Жили за ситцевой занавеской... Дружно... Все вместе...» После института — Хабаровск, новая жизнь. Квартира в бараке. «Такие хорошие люди... Старый механик Бушнев с женой...»

Потом начались годы страшные. Арест мужа. Высылка. Она за ним могла не ехать. НКВД объяснил, что может остаться в квартире, тем более сын Слава — маленький и сама на седьмом месяце беременности. Но такой и мысли не было: оставить мужа. Только с ним. Поехали в одном эшелоне: «враги» в первых вагонах, под надзором охраны, семьи «врагов» — за ними, без охраны.

Начинались тяжкие годы: Майеркан, Бурлю-Тюбе, Балхаш, Или... Новый арест мужа. Приговор: высшая мера. «И вам недолго ходить, — сказали ей. — Приготовьтесь».

За себя она не боялась. Жалела сына. Тогда они и съехались, стали жить вместе с родной сестрой Тосей — вдвоей моей матерью, тоже с сыном, со мной на руках. Одну арестуют, другая останется при детях. На крайний случай — младшая сестра Нина, у нее муж в НКВД.

Семья врага народа. Нет ей житья. Из санитарок, уволили. «Может отравить...» В сберкассе поработала лишь неделю уборщицей. Тоже нельзя. Там — «материальные ценности». Уволили. Больше не принимали никуда. Нанималась за людей на трудработы: арыки в степи копать, у людей же стирала, полы мыла у начальства, немного шила, вязала из шерсти варежки. Слепили мазанку на краю поселка, сажали огород, ловили рыбу, даже завели козу.

А после войны наконец этот поселок в России, на Дону. Дядя Петя вернулся из лагеря. Стали жить и даже свой домик купили. Вот этот — наш старый дом. Тетя Нюра была душой его — хозяйкой и главной работницей.

Обмазывать дом глиной и белить его, изнутри и снаружи, всякий год по весне. А если сильные дожди, то подмазывать да подбеливать. Мыть, красить, чистить дымоходы; за печкой следить, подбеливать, чтобы гляделась она всем на завид: белая, словно курочка. Летняя кухня во дворе. Та же песня: глиной мажь и бели. При ней кухня стояла нарядной игрушечкой. Это теперь облезла и покосилась. Пока не запретили корову держать, о ней забота. Свинья, куры — у всех свои хатки. И требуют рук и рук.

А огород, бахчи, картофельные поляны. Везде — лопата, мотыга; летняя жара, комар с мошкой. Конечно, и мы работали, помогая. Но было у тети Нюры присловье:

— Чем вас просить, я лучше сама сделаю.

Когда осенью резали свинью, не пропадало ничего. Тетя Нюра все кишочки промоет, наделает колбас: кровяную, ливерную. «Мамочка меня всему научила...» Добела промоет и проскреблет требуху, свернет ее в трубочки, перевяжет шпагатом, сварит и вынесет на мороз. К обеду порежет колечками, заправит томатной подливой... Вспомню, слюнки текут.

Обеды, ужины, завтраки, дела домашние, огородные, о скотине да птице забота. А еще — все лето готовить к зиме припасы. Варенья варить, компоты. Ни одна ягодка, ни одно яблочко не пропадет. Клубника, вишня, смородина, алыча, абрикосы, сливы, груши... Банка за банкой. На жарком солнцепеке — просторные противни. Сушатся нарезанные фрукты для зимних компотов-взваров. На солнце же сохнет пастила: сливовая, яблочная. Маринуются помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки. Готовятся и тоже закрываются в банки салаты с репчатым луком, алым болгарским перцем. Густые томатные да перцовые заправки, без которых борща не получится, а лишь бледные «больничные» щи. Наш борщ пламенеет в тарелке. От запаха — голова кругом: укроп и чеснок, петрушка, белые корешки ее и ажурные листики.

За банкою банка уходит в прохладную тьму погреба и подполья.

А осенью квасятся и солятся в высоких бочках капуста, помидоры, огурцы, мочатся крупный «калеградский» терн и «яндыковские» яблоки в ржаном сусле, в соломе.

Все это — тетя Нюра, ее руки. И все съедалось. Картошки сварит, достанет пахучих огурчиков в укропе да миску щекастых алых помидорчиков в смородиновом да вишневом листе, с хренком для запаха. Сели к столу. Хрумтят да почмокивают. Наелись.

За зиму все уходило. Пустели погреб, подполье. Летом все начиналось сызнова. Едоков хватало. Гости приезжали: тетя Нина, дядя Миша, Анатолий, Жанна, Харитоненки с Украины, Славин друг Сема, детдомовский сирота, подолгу живал. На лето тетя Нюра сшила ему белые брюки, рубашки. «С первой получки, — обещал Сема, — куплю вам отрез на платье». Сколько их было, этих обещаний! Конопатый Генка соседский — тоже сирота. Рубашку ему сошьет. «Вырасту, с первой получки...» Она всех жалела, особенно сирот. А для меня — так вовсе защита.

У дяди Пети, человека много перенесшего и больного, характер был очень нелегкий: часто ворчлив, придирчив по мелочам и вспылчив до бешенства. А я с малых лет не больно уступчив. Вот и доставалось порой. Защита моя — тетя Нюра. Помню, в детский сад я еще ходил. С утра заупрямился: старшие добивались, чтобы я сам чулки пристегнул к резинкам. Нехитрое приспособление — петля да шпенек. А я говорю: «Не могу... Не умею...» Слово за слово... Дядя Петя хватает кусок провода и начинает стегать меня, все более ожесточаясь. Мать кудахчет: «Правильно... Надо учить, надо учить... Чтoб не упряился». Хорошенькая учеба... Спасибо тете Нюре. Она была в огороде, услышала крик, прибежала и отняла меня.

Было, всякое было. Но когда на меня поднималась нелегкая дядина рука, защитой была тетя Нюра. Порой ей за это доставалось, и довольно крепко. Она плакала, но стояла на своем: «Ругать — ругай... Но бить — не смей».

Спасибо, тетя Нюра. За все...

Она умерла пять лет назад. Схоронили и помянули как положено: на девятый день, на сороковой. Потом пошли годовщины.

Умерла. Но долго казалось мне, что тетя Нюра где-то здесь: в огороде, в летней кухне, в сараях — словом, в привычных заботах. И вот сейчас она выйдет, покажется... Вот-вот...

Она не вышла, она умерла. И старый дом наш стал быстро дряхлеть. Стены его остались теми же, но словно вынули из нашего дома душу. А без нее всякой жизни недолгий срок. У людей, у вещей и у нашего дома.

Братья

Майский весенний день. В своем огороде сажаю картошку. Земля вскопана и проборожена. Мое дело нетрудное — посадить. Ровным рядком делаю ямки, в каждую кладу нарощенный клубень картофеля. Потом землей засыпаю. И так — ряд за рядом.

Весна нынче поздняя. Месяц май, а лишь начали огородами заниматься. Цветут вишни. Вот-вот раскроются бутоны яблонь и груш. Теплый день, милый, и работа моя вовсе нетрудная. Помаленьку копошусь да слушаю, как скворец заливается. Он порой хулиганит: вдруг так явственно закричал, что я задрал голову в небо, утку ища. А скворец, словно смеясь надо мной, залился песней иной, веселой, крыльями трепеща. Постоял я, тоже посмеялся над собой, легковерным. Снова за дело принялся.

Нынешней весной я было забастовал. «Хватит, — говорю, — надоело. На два мешка картошки я уж как-нибудь заработаю. А больше нам и не надо. Все равно по весне раздаем».

И вправду надоело мне. Сейчас — не от хорошей жизни, конечно, — кинулись люди к земле: участки, дачи, огороды, чтобы хоть картошку-моркошку не покупать. А я всю жизнь в земле ковыряюсь. Вот он — мой огород. Сколько в нем соток? Кто его мерил? От одного конца до другого не докричишься. И как пацаном еще взял я в руки лопату, мотыгу, ведра, так и держусь за них всю летнюю пору, с апреля месяца и до октября.

Копай, борони, гряды делай, сажай, поливай, от заморозков береги, рыхлаи, пропалывай — конца-краю всему этому нет. Одна поливка сколько времени забирает: огород, сад, картофельник, цветы. Помню, в детстве вечером на улицу выйдешь, тебя спрашивают:

— Где был, чего делал?

— На журавце висел, — отвечаю с досадой.

Журавец ли, журавель... Тоже надо объяснять, их теперь нет. Это устройство, чтобы воду из колодца достать. Высокий рычаг ли, перевес на раскоше-опоре, к короткому концу которого привязан тяжелый груз, а на длинном — веревка, цепь с ведром, чтобы воду брать из глубины колодца. Веревку перебираешь руками, наклоняешь вниз журавец, доставая воду. Потом полное ведро тащишь вверх, а груз тебе помогает. Вылил в бочку ведро, доставай другое. Вот так и «висишь на журавце» — вверх да вниз, вверх да вниз. Наберешь бочку, бак, оттуда таскаешь ведрами по грядкам да лункам, поливая. Потом — снова на журавец. И пошло-поехало, пока не польешь или колодец не вычерпаешь. А жара наша — чуть не сорок градусов в тени. Земля — голый песок. С утра до ночи лей, и много не будет.

— Чего нынче делал? Рыбалил, купался?..

— На журавце висел, — отвечаю со вздохом.

Но кроме огорода был еще картофельник за поселком, в логах, на заливной земле. Там та же песня, лишь без полива: копай, сажай, пропалывай, рыхлаи, окучивай. А еще брали бахчи, вовсе у черта на куличках, за лесопитомником, почти у Семи курганов. Туда лишь дойти трудов стоит. И та же лопата, мотыга, гнись и гнись на жаре.

Все это было, понятно, не от хорошей жизни, от нужды. Завтрак, ужин — жареная картошка с какой-нибудь солкой: капуста, помидоры, огурцы. Обед — борщ да жареная картошка. На сладкое — запеченная тыква да свекла, белая, сахарная. В школу носили тыкву да свеклу, пареную, печеную, чтобы на перемене червячка заморить.

— Какая у тебя ныне тыква?

— Костянка.

— Дай покушать.

Летом накрошил большую миску помидоров, огурцов да лука — и молоти с хлебом. Арбузы пошли — вовсе не пропадем. Их и резать не надо: пополам — и ложкой, словно хлебово.

Такая была жизнь. Потом она стала полегче, но уже, видно, в кровь вошло: надо копать да сажать, нельзя, чтобы земля гуляла. Вот и копали всю жизнь.

А нынче я поглядел, подумал и сказал: «Надоело». Не то что не в силах или очень трудно, а просто-напросто надоело. С пяти лет я на этом огороде копаюсь, и вот уже юбилей — ровно полвека внагибку. Надоело.

Меня вроде поняли. И копали огород нынче молодые, они же грядки делали, приствольные круги под яблонями да вишнями. А уж посадить картошку я милостиво согласился. Труд невелик. Можно скворца послушать и поглядеть на него, как он трепещет крылами в песенном упоенье, как сияют его вороненные перышки под солнцем.

И почему-то в нынешней спокойной работе, теплым майским днем, вспомнились братья мои, теперь уже покойные, — Слава и Николай. Старший брат и младший. Все мы из одного гнезда — из нашего дома и огорода.

Видимо, то, что пишу я, — книга воспоминаний, счастливых и горьких, — все в меру, как в жизни. Память о тех, кто жил под крышею нашего старого дома и рядом с ним.

Брат старший — Слава, брат младший — Николай, а я — посередке. Но разница в годах между нами великая: на девять лет старше меня Слава, Николай моложе на столько же. Сначала младшего, потом старшего проводил я на кладбище. Умирили они внезапно, когда я был от дома вдали. Но успевал хоронить их, прилетал, приезжал.

Повторю, разница в возрасте меж нами была великая — десяток лет. В детстве да в юности это очень много. Один лишь в школу пошел, сопляк первоклассник, а другой — жених, кончает учебу, становится на крыло. И потому не было меж нами близости. Росли порознь. И лишь потом, на склоне лет, с братом старшим началось сближение. Мне — полсотни лет, ему — под шестьдесят. Разница уже небольшая, и с каждым годом она сокращается, потому что мерой жизни становится будущее: сколько впереди бог отмерил? Точно знали: меньше, чем позади. Знали и становились друг другу ближе. Но договорить не успели. Он ушел.

Он и из дома первым уходил. Закончил школу, поехал в институт, в город. В перелицованном синем отцовском кителе — форме речников — с блестящими пуговицами. Теперь и слово такое забыли — «лицевать», то есть вывернуть одежду, обращая изнанку в лицо. А в те времена носят пиджак, юбку, пальто, пока материал не выгорит, не порыжеет. А потом лицуют и еще столько же носят. Тетя Нюра наша была мастерица. Все могла: шить, лицевать, стегать одеяла, ловко штопать. Научила нелегкая жизнь. Старенькая швейная машинка «Зингер» да тети Нюрины руки одевали нас.

Вот и китель Славе она приготовила, перелицевала из отцовского, чтобы не стыдно в институт ходить. Стал китель как новенький — со стоячим воротником, с ясными пуговицами. В нем Слава и проучился все пять лет. Остались фотографии.

Но в моей нынешней памяти старший брат — не круглолицый юноша в форменном кителе, а тучный пожилой человек с большим сердцем, с одышкой. Седой венчик редких волос на голове. Глаза — добрые, мудрые. Усмехнется, головой покачает, скажет со вздохом: «Да-а-а...»

Учился мой брат в годы послевоенные в механическом институте, в областном нашем центре, в Сталинграде. В те годы все было всерьез: еда, одежда, которых не хватало, работа, учеба. Хорошо учишься — значит, будешь человеком: инженером, врачом, офицером. Плохо учишься — иди быкам хвосты крутить.

Старший брат мой учился трудно и очень старательно. Институт закончил, получил диплом и стал человеком — технологом цеха шасси знаменитого Сталинградского тракторного завода. Из студенческой общаги

он перешел в общежитие для инженерно-технических работников, где в комнатах жили по два человека, в обычных домах, без гулких казарменных коридоров. В рабочих общежитиях того же тракторного, где позднее мне пришлось жить, в комнате — семь, десять кроватей, а то и пятнадцать; длинный коридор, бетонированный общий умывальник и такой же туалет, на весь этаж один.

В итээрзовском общежитии, где поселился мой брат, на проспекте Ленина, в «сталинском» доме с высокими потолками, — там пахло своим жильем, своим домом. Хотя нужен ли дом молодому инженеру с тракторного? Кормят в цеховых столовых, которые работают, как и завод, круглые сутки. Лишь выбирай, где кормиться: в «чугунке», в «сталефасонке» или в своем цехе. Кровать лишь нужна для короткого сна. «Отоспимся на пенсии, — посмеивался тогда брат мой. — А сейчас стране нужны тракторы — сто пятьдесят в смену, четыреста пятьдесят в сутки. Конвейер не ждет».

Заводская жизнь. Нагляделся я на нее, слава богу. Дипломированные инженеры, техники, мастера, старшие мастера, начальники смен, технологи, конструкторы...

Знаменитый старший мастер Колотилин всю жизнь, до самой смерти, приходил на работу в шесть часов утра, а уходил в половине первого ночи. Каждый день. «Я утром должен третью смену проводить, поглядеть, как она сработала, а первую — запустить», — объяснял он раннее свое появление. «Я должен поглядеть, как третья смена начала. Тогда я уйду спокойный и спать буду», — объяснял он поздний уход.

Примерно так все цеховые итээрзовцы и работали. Кто не выдерживал, тот уходил или выгоняли его.

Старший брат мой проработал на заводе всю жизнь. Он уходил из дома в семь утра, возвращался поздно вечером — в восемь, в девять, а то и к полуночи. Цеховой технолог. Всем дыркам затычка. Днем — своя работа. А во вторую смену — к станку, «на прорыв». Сборочный конвейер требует: «Сто пятьдесят тракторов в смену! Четыреста пятьдесят — в сутки!» А рабочих всегда не хватало, хотя и сгоняли их со всей страны: практикантов-студентов, сельских механизаторов, солдат, заключенных. Но оправданий быть не могло. Конвейер требует! И в полночь с директорской планерки, бывало, уходили к станкам, «на линию», сам главный технолог завода со всеми заместителями. «Не можете работать головой — идите и работайте руками. Но сборку остановить никому не позволено. Сделать и доложить!» И гуськом, понурившись уходили «на линию» седовласые начальники цехов и служб, главные спецы. Гордых не было. Для гордых мера известная: «Пригласить начальника караула... Пусть выведет его за проходную завода и отберет пропуск». Конец карьеры.

Сталинградский тракторный. Крупнейший в Европе и в мире. Пятьсот тракторов в сутки сползали, лязгая гусеницами, с его конвейера. Для этого работали цеха и цеха, окруженные высокой кирпичной стеной. Заводские проходные — со всех сторон, чтобы людские реки без задержки текли к цехам трансмиссии, кабин, чугунного литья, стального литья, цветного литья... Текли и текли из домов, из гудливых заводских общежитий, с тракторного поселка и его слобод: Верхнего, Нижнего, Селезнева Бугра, Латошинки, Винновки, Рынка, Спартановки — счета им нет. Но людей не хватало. «Сто пятьдесят... сто семьдесят тракторов в смену! Пятьсот тракторов за сутки!»

«Просим направить студентов Вашего института для прохождения производственной практики...» Ижевский механический... Свердловский политехнический, Челябинский... Саратовский... Воронежский... Белорусский... Ташкентский...

«Просим направить механизаторов сельских районов. Только в этом случае можем гарантировать поставку запчастей для вашей области...» Новгородская, Псковская, Тюменская...

«В связи с острой необходимостью, в порядке шефской помощи просим направить военнослужащих...»

«Коллектив орденов Ленина, Трудового Красного Знамени... просит направить для перевоспитания осужденных сроком до 5 лет... сроком до 8 лет...»

Сто пятьдесят тракторов в смену... четыреста пятьдесят — в сутки.

«Узбекская ССР... Таджикская ССР... Просим направить... Гарантируем...»

— В полосатых халатах каких-то навезли... Из аулов... Они сроду станка не видали...

Брат мой жил сначала в общежитии ИТР на проспекте Ленина, потом женился и ушел в «малосемейку», возле фабрики-кухни, в двух шагах от завода, потом получил квартиру на Верхнем поселке. Но домом его оставался завод. Уходил в семь утра и возвращался лишь ночью. «Черные субботы» да «черные воскресенья». «Ударные недели». Праздники — 1 января, 1 мая, 7 и 8 ноября, 5 декабря, когда так хорошо работается, — ремонт оборудования, переналадка.

Засаленные спецовки жена отказывалась стирать. Раскисающих от машинного масла и эмульсии башмаков не хватало на месяц.

Горький воздух тракторного: горелое машинное масло, пары эмульсии, горелая формовочная земля от «чугунки», «сталефасонки»... Тяжелая, маслянистая, душная гарь... Все, что может гореть в этом мире: земля, воздух, вода, металл и, конечно, люди. Все горит.

Брат мой, брат мой... Ведь я начал твердить много лет назад:

— Уходи с завода. Чего ты гробишь себя?

Он был хорошим инженером-технологом, и его с радостью взяли бы в любой институт. Его приглашали.

— Квартиру нормальную получу и уйду, — говорил он вначале. — Зря, что ли, работал.

Квартира, слов нет, была нужна — двое детей. Скоро получил он ее.

— Уйди с завода, — говорила ему жена. — Дети растут, а ты их не видишь. Чуть свет уйдешь, в полночь приходишь.

— Не могу я сразу уйти, неудобно как-то, — совестился брат. — Скажут, дали квартиру, и он убежал. Надо хоть годок поработать.

Работал годок, и другой, и третий, пять лет и десять.

— Уходи... — говорил я ему.

— Сложное положение на заводе, — отвечал он. — Переходим на новую модель трактора. И старую тоже надо давать. Трудно. Неудобно уходить. Скажут — сбежал.

Так продолжалось всю жизнь.

Потом пришла пора пенсионная. Последние два года жизни с больным сердцем, с высоким давлением, «скорой помощью», больницами. И все равно — завод.

— Отдохни, — твердил я ему. — Если не можешь без завода, работай зиму, а с апреля уезжай на дачу. В Калач перебирайся, в наш дом. Рыбачь на Дону, копайся в саду.

— В отделе одни девки остались, все разбежались... — сокрушенно говорил он. — Еще и я уйду. Вот подберу себе замену и тогда...

На мои гневные ли, ехидные речи отвечал он с усмешкой и вздохом:

— Да-а-а...

Седую голову наклонит, искоса глянет, вздохнет. А однажды сказал откровенное:

— На заводе я — человек... — Это было сказано всерьез, без усмешки.

Я все понял и больше не корил его. Старший брат мой тяжело болел, жил на таблетках, временами лежал в больнице. Да не просто «на подлечи-

вании», а в кардиологии. Инсульт, еще один. Но с завода так и не ушел до смерти. Со Сталинградского, а теперь Волгоградского тракторного имени Ф. Э. Дзержинского, четырежды орденоносного, первенца и флагмана отечественного тракторостроения, лидера и победителя всесоюзных социалистических соревнований...

Но последние строки — это уже ёрничанье, от лукавого. Ведь старший брат мне сказал всерьез: «На заводе я — человек». Хотя карьеры великой он не сделал. Его одноклассники становились начальниками цехов, главными специалистами, а он всю жизнь — технолог. Пусть в конце жизни — «ведущий» и «руководитель группы». Но — технолог. Он не был «заводским волком» с луженой глоткой и крепкими зубами, таким, например, как мой начальник цеха Семенов. «Ма-а-ма... Па-а-па... — презрительно цедил он, когда я как-то отпрашивался у него на воскресные дни к больной матери. — Конец месяца, план горит, а ты про маму...» Брат мой был просто братягой. Он тянул и тянул свой воз.

Помню, однажды пришел я к нему домой в будний день, вечером. Жду и жду. Нужен был. Еле дождался. Брат мой появился почти к полуночи, счастливый, жениных и моих упреков не принимая.

— Такое дело свалил... Бардак. Везде бардак. Завтра комиссия из главка. Нужны шесть «звездочек», обработанных по полной технологии. Чтобы не придрались. Мне говорят: все бросай, кровь из носа, а дай шесть «звездочек». Начинаю заниматься, прихожу в цех, чтобы дробеструить по технологии. Закладываем, запускаем аппарат. Тридцать минут он работает. Вынимаем. Какие были, в окалине, такие и есть. В чем дело? Начинаю разбираться. Оказывается, в турбине крыльчатки совсем нет. А как вы работали? А так же, отвечают, гроыхает, и слава богу. Ищем крыльчатку, находим, устанавливаем, закладываем деталь, запускаем аппарат. Тридцать минут обработки, точно по технологии. Вынимаем. Как была окалина, так и есть. В чем дело? Начинаю разбираться. Оказывается, в дробеструйном аппарате и дробы давно нет. Как же вы работали? А так и работали. Ведь гроыхает? Гроыхает. Ищем дробь. Находим. Закладываем деталь. Тридцать минут по технологии. Вынимаем. «Звездочки» — как кремлевские. Аж сияют. Вот что значит соблюдать технологию.

Он и сам сиял, счастливый. Усталый, пожилой человек, он радовался и головой сокрушенно крутил: «Бардак... Везде бардак...»

У матери, в нашем старом доме, брат бывал лишь раз в году, на день другой приезжая в отпуск. И — все.

Матери было обидно. Расстояние до города — левое, семьдесят километров. Автобусы каждый час ходят. А сына нет и нет. Соседские дети приезжают каждый выходной. Флегонт Чеботарев, друг детства и юности, вместе институт кончали, на одном заводе работают... Флегонт, глядишь, идет с поезда, в гости приехал к матери. А Славы нет и нет. Флегонт работал в главном конструкторском бюро, в «конторе», как выражались. Слава — в цеху.

— Вот выйду на пенсию, — обещал он матери, — буду с вами кохаться.

Матери эти слова понравились, она повторяла их соседям:

— Выйдет на пенсию, будет со мной кохаться.

Вышел. Но «коханье» снова откладывалось. И лишь перед самой смертью, когда разбил ее паралич, девять дней мы возле нее просидели со старшим братом, мучили уколами, клизмами, поднимали, пытались кормить, обмывали — словом, помогали дожить. Она умерла в ночь на 23 июля. А через год хоронил я старшего брата. Он умер легко. Болел, потом ему полегчало. Сходил в поликлинику, больничный лист закрыл, зашел на завод, сказал: «Завтра выйду, и займемся вплотную...»

Он умер на рассвете, не проснувшись.

Вот и все. Договорить мы с ним не успели.

А вот с братом младшим, с Николаем, наговорился я более, чем хотелось мне. Но горькие, пустые, напрасные то были беседы. Не хочется и

вспоминать. Худой, жилистый и сутулый, младший брат мой во трезвости был молчуном; во хмелю же любил долгие рассуждения. Но это была — в ступе вода, или, как говорят у нас, «пустая говоря».

Теперь, когда младший брат мой давно уже на кладбище, вспоминаются мне годы совсем далекие.

Старый наш дом, огород, лето зеленое... Кто там прячется меж капустных кочанов в огороде? Белая вязаная шапочка на голове. Ростом — вершок. Идет-идет на нетвердых ножонках — и сел.

— Где ты схоронился? — смеясь, спрашивает, перегибаясь через забор, соседка тетя Паня. — Не вижу! Схоронился?!

Младший брат мой смеется, встает, идет-идет и снова сядет. Нет его. И вправду не поймешь: капустный ли то кочан или малое дитя человеческое в белой вязаной шапочке.

Он родился семимесячным, прежде поры, когда мне было девять лет. Я помню красное, морщенное, махонькое телом, волосатое существо, вовсе безголосое, с закрытыми глазами. Оно умещалось в меховой шапке; обложенное грелками, еле слышно пикало. Но выжил, скоро выправился и стал обычным пухлощеким малышом. Все долгое лето проводил возле матери, в огороде. Потому и помнится, как в белой шапочке прячется он в чащобе капустных кочанов.

Он очень любил арбузы. Их было много у нас, своя бахча. Младший брат мой любил есть арбузы, но долго не мог уразуметь, почему не может он своей волею, без чужой помощи превратить круглый полосатый шар в алое сладчайшее лакомство, до которого так охоч. Знал, что оно там, внутри, под корой, и, как всякий малыш, сам хотел туда проникнуть. Он мог часами возиться на куче арбузных ядер, поворачивая арбуз так и эдак, разглядывая, нюхая, царапая и пробуя грызть твердую кору, насколько это получалось. Порою, устав, он засыпал на груде арбузов. Просыпался и требовал: «Дай!» — и ел, ломоть за ломтем, пока живот его не превращался в тугое подобие спелого арбузенка. Осталась фотография: младший брат мой в обнимку с арбузом.

Потом он подрост, а я надолго ушел из нашего дома. Когда возвратился, брат мой был уже юношей; прическа с косым бритым пробором. Три года он отслужил во флоте, на Балтике. А когда вернулся, началось горькое, превращаясь с годами в страшное. Ничто не смогло его остановить: ни женитьба, ни дети, ни тяжкая болезнь матери.

Потом началось вовсе страшное. Брат мой в минуты просветленья начинал понимать, что дело — неладно, и уже не говорил, как обычно: «Хочу — пью, хочу — не пью... Пошли вы...» Возил я его в Челябинск, в знаменитую лечебницу. На год она помогла. Потом пошло прежнее. Новая попытка леченья. Но уже поздно.

И вот наконец последнее: на запорах двери, решетки на окнах. Психиатрическая клиника. Пускали на свидание к брату лишь меня. «Вы — крепкий, — сказал врач, — выдержите. Может, польза будет. А остальные...»

У старшего брата — сердечная болезнь, у матери — старость, у жены — слезы да причитанья. «Вы — крепкий», — сказал мне врач, разрешая свидание.

А после него, после этого первого свидания, я вышел из клиники ничего не видя. Миновал больничный двор, выбрался к трамвайной остановке и здесь наконец словно опамятовался. И тогда начал плакать. Я отошел от остановки, от людей, прислонился к какому-то забору и плакал навзрыд. Сжатая до поры боль оттаяла и полонила не только сердце, душу, но весь я был лишь горечь и боль. Я плакал долго, я не мог не плакать. Ведь брат был... А теперь вместо него — что-то лишь отдаленно похожее: одутловатое, с пустым взглядом... Безумное бормотание, жалобы, просьбы, бесконечные слезы... Плачет, что-то говорит несвязное, несуразное, плачет и просит. Нет брата. Это уже — не он. Это что-то иное...

А теперь, выйдя из клиники, возле забора, у трамвайной остановки, плакал я, прощаясь со своим младшим братом. Хоронил я его годом позже.

Он был еще впереди, этот год, — долгий и долгий срок, тяжкий крест мой, когда каждую неделю, а то и дважды приходил я в клинику и в комнате для свиданий, за лязгающей запором дверью, слушал речи безумные, перемежаемые мольбами. Он плакал и просил забрать его, а я должен был спокойно говорить о том, что он скоро выздоровеет и вернется домой, и все будет хорошо... и как ждут его, и, конечно, никто его не оставит, а жена не приехала, потому что хворает и дел полно.

Я приходил и приходил, говорил и говорил, слушал и слушал. И каждое свидание было горьким, тяжким и страшным. Не мог я привыкнуть. Порою казалось, что мне и самому пора проситься сюда, в эти скорбные стены. После каждого свидания я выходил и плакал. А если сдерживался, то это было еще хуже. Поплачешь — вроде полегчает. А перетерпишь — саднит и саднит.

А дома я тоже слушал полубезумные речи матери и тети Нюры. Они не верили, не хотели верить, что Николай тяжело болен. Они плакали и просили вызволить его из больничных стен; они верили, что вылечат его родные стены и родные люди. И они винули меня, жестокого, бессердечного. Порою я сдавался и начинал врачей уговаривать. «Разве вы не видите?.. — говорили мне врачи. — Вы же видите...» Я видел и понимал. Но как я мог объяснить матери, что сына ее уже нет.

Потом младший брат мой вернулся домой. Но остался тем, больничным: одутловатое лицо, пустой взгляд.

Короткий срок надежды. И снова страсть пагубная — вино. Теперь уже ненадолго. Катилось под гору. И вот уже хороним. Отмучился. «Попито водочки, попито, хватит уже за глаза...»

Лето зеленое, старый дом наш, просторный огород... Кто там прячется меж капустных кочанов? Белая шапочка на голове. Идет и идет, и вдруг нет его. Потом поднялся, смеется. Малое дитя человеческое, в белой вязаной шапочке. Это — брат мой.

Школьные уроки

Прежде наша улица, а точнее, «аул», что по-казачьему значит «близкое окружение», «соседство», — так вот, в нашем ауле жили теснее и ближе, чем ныне живут, почти по-родственному. Пекли пироги, пышки, разносили по соседям: «Покушайте наших...» Праздники отмечали вместе: Новый год, Первомай, Октябрьские, Женский день, Красной ли, Советской Армии, — заранее договариваясь, что Шура сварит холодец, Фрося винегрет приготовит, Нюра пироги испечет, она — первая мастерица. А толику вина — в складчину. Много тогда не пили, лишь рюмку-другую. Веселья и песен хватало.

В будни, осенними да зимними вечерами, играли в лото, собираясь в одном дому да в другом, стар и млад.

Друг перед другом особенно не чинились: Куликов — начальник ремонтной мастерской, а домишко — не лучше других, и жизнь та же — огород, бахча. Глазунов — шофер. Петр Семенович, сосед наш, — печник. Фуныгин — начальник НКВД. В лото играть собиралось много народу, стола не хватает, на полу разлягутся, и пошло. Тянут из полотняного мешочка круглые бочоночки — фишки с номерами.

— Барабанные палочки — одиннадцать! Туды-сюды одинаково — шестьдесят девять! Лапоточки!

Последние — то ли двадцать два, то ли пятьдесят пять, уже и не помню.
— Не подглядывай! Резче шуми!

Хатенки тесные. Надьшат. Семечек налузгают: подсолнечных, тыквенных, «медовых» арбузных, уваренных в нардеке, арбузном же меде. Всем весело, и все вместе: молодые и старые, начальники и работяги, НКВД и «враги народа». Наша семья — «враги», у дяди Пети знаменитая 58-я статья.

Мы в ссылке жили, а теперь нас в Россию пустили, «без права проживания в областных городах». У Петра Семеновича тоже 58-я. А Фуныгин — пастырь, по должности за ними следить обязан. На работу он ходит в военной форме. И оружие есть. Но — сосед. И потому вместе с «врагами» в лото играет, на рыбалку ездит, гуляет по праздникам. И живет, как мне помнится, не лучше своих «врагов»: домишко, огород. Из себя — высокий, худой, длинногачий. Никто его не боялся. Во всяком случае, мы, детвора, не боялись. Но, наверное, так и у взрослых было, иначе бы передалось. Это нынче, через время, начитавшись всякого, кажется, что все энкавэдэшники были с рогами. Нет, обычные люди. Наш дядя Миша — саратовский. И Фуныгин чем-то на него был похож — высокий, худой.

Теперь я вспоминаю два случая. Один касался лично меня.

Март 1953 года. Умер Сталин. Учился я в шестом или в седьмом классе, точно не помню, а в документы лезть лень. Какая разница — шестой ли, седьмой класс.

Умер Сталин. В школьном коридоре, как и положено, висел его большой портрет. Сразу же его обрамили траурными лентами и выставили почетный пионерский караул в парадной форме: в белых рубашках, при галстуках, руки над головой, в салюте. Это было интересно. Я тут же, момент улучив, отпросился из класса.

В почетном карауле стоял мой приятель, Валерка Скрылев. Горделиво стоял, неподвижно, словно статуя. Но рука у этой «статуи», гляжу, подрагивает. Все же непривычно с задранной рукой стоять, она немеет.

Валерке я посочувствовал и сумничал: рядом, возле дверей учительской, стояли лыжи нашего физкультурника Арефия Самойловича. Эти лыжи я взял, а может, лыжные палки, но скрепил их крест-накрест и поставил Валерке — «почетному караулу» — под салютующую руку. Мол, сильная тебе подмога.

И будто пустой коридор был, урок шел. Валерка да я, да умершего Сталина портрет. Но лишь подставил, полюбовался, спросил Валерку: «Полегче тебе?...» И сразу — гром и молния! Откуда-то вылетела школьная уборщица с криком и визгом. За ней, из учительской, Арефий Самойлович. Подставку мою — в одну сторону, меня — в другую. А крику... а визгу... Я очумел. Меня за шиворот и вместе с подставкой потащили. Двери классов открылись, полезли любопытные. А я через минуту очутился в кабинете Порфирия Захаровича, директора школы. И теперь помню крик его:

— У себя в эскадроне я таких шашкой рубал!!!

А глаза — белые. Спасибо, шашки не было у него под рукой.

Теперь я их понимаю: и уборщицу, которая на всю школу визжала, и Арефия, нашего физкультурника, который на уроках любил ставить девочек «ласточкой» и бегал вокруг, подправляя: «Выше ножку... Носочек тyani...», хоть занимались тогда физкультурой девочки в черных сатиновых шароварах. И тем более директора школы понимаю.

Всенародное горе. Умер великий вождь. А тут... Кошунство, а может, вражеская вылазка. Тем более, что совершил ее член семьи «врага народа».

Но как-то все обошлось. Конечно, мать мою вызвали в школу, и, наверное, было какое-то разбирательство. Тем более, что Валерка Скрылев — сын секретаря райкома, и из стен школы эта история, естественно, вышла. Но обошлось. Четверку ли, тройку по поведению за третью четверть мне, конечно, поставили. Отличнику. Гордости класса, а может, и школы. И дома мне внушали: соображать, мол, надо не только в задачках да примерах.

Теперь уж и расспросить некого про тот случай: одни умерли, другие ссылаются на старость, мол, ничего не помню.

Думается мне, что Фуныгин, наш НКВД, мужик был неглупый и совестливый в меру возможного. И ходу этому «делу» не дал.

Помню, тоже при нем, случай по нынешним временам нелепый, дикий. А по тем, может, и естественный. Хотя вряд ли... Недаром он помнится не мне одному.

Была у нас учительница истории, секретарь партийной организации школы. Высокая, сухопарая. Уроки у нее были скучными, хоть и историю вела.

— Ближе к тексту, ближе к тексту, — не уставала повторять она. — Другое слово — другая политическая окраска. Ближе к тексту...

Сама шпарила по учебнику строка в строку. Мы проверяли.

«Цели и задачи Священного союза» называлась тема того памятного урока. Священный союз — это какое время? Век девятнадцатый, его начало. Россия, Австрия, Пруссия, потом и Франция объединились. Подавление революций в Неаполе, Пьемонте, Испании. Вроде так.

И вот урок. Поднимает учительница девчонку, спрашивает, а та в ответ:

— Священный союз — это как Варшавский пакт.

Про Варшавский Договор ли, пакт тоже теперь не каждый помнит: военное объединение стран нашего социалистического лагеря в противовес блоку государств капиталистических — НАТО. Год 1955-й.

Ответила девчужка, в классе засмеялись, а наша историчка лицом позеленела, теряя дар речи.

— Реакционнейший союз... сравнивать с нашим... с оплотом мира и социализма... это слишком... — что-то вроде этого процедила она и влипла кол, единицу.

А потом — продолжение. Узнали его не враз, но узнали. Детвора... Хоть и прикажут, а попробуй язык удержи за зубами. От подружки — к подружке, и поехало.

Оказывается, чуть ли не на следующий день пригласили девчонку в НКВД, к Фуныгину. Спросил он про этот злосчастный урок истории. Что там было: Священный союз да Варшавский пакт? Спросил, послушал несвязные девчоночьи речи, со всхлипами да слезами, и сказал: «Учи, девочка, уроки. Лучше учи». С тем и отпустил.

А школа у нас была хорошая. Вспоминать приятно. Калачевская семилетняя. Стояла она в тихом месте, возле парка. Простое деревянное здание на высоком фундаменте. Окна большие. Наш класс — угловой. Целых семь окон. Высокая «голландская» печка, обтянутая черной жостью. Тепло всегда было. И учительницы как на подбор, молодые, красивые. Раиса Семеновна... Таиса Михайловна — с бровями как стрижиное крыло, и глаза — черные, жгучие. Клара Семеновна — беленькая куколка. Потом Света — «стуконожка». Это она на каблуках так ходила, издали слышать: стук-стук-стук-стук. Спешит наша Света.

Нет. Мне и на школу свою семилетнюю, и на учителей жаловаться грех. Все было хорошо: 1-й «А», 2-й «А», 7-й «А». Время, конечно, тяжкое: голодуха, заплаты да латки. А вспоминается легко. Потом перевели в среднюю школу, в чужую. 8-й класс «Е». Это уже другая песня. Похуже. Может, потому, что детство кончилось.

Бабаня

Цветов в нашем дворе теперь немного. По привычке, по обычаю сажаем астры, бархотки, два-три куста георгинов. Петунии самосевом растут. Немного цветов, но и о них забота: то и дело пропалывай, всякий день

поливай. Лето ведь жаркое. Труд, конечно, не очень великий. Радости больше. Ждешь, когда в июне, в июле первый граммофончик петунии появится; потом они все вместе запенятся цветом: лиловые, белые — на зелени листвы. Особенно хороши петунии вечерами, когда сумерки приглушают цвет, а белая ясна. Тогда словно вскипают цветущие петунии вдоль дорожки, возле окон кухни, у погреба. Светят и тонким ароматом наполняют двор.

Всякий цветок хорош. Даже самый простой. Тот же одуванчик. Бывает год одуванчика, когда его много.

Ранняя весна. Огород еще не копался. Трава лезет. День хмурится. Серая земля, голые деревья — скучно. Но вышло солнце, пригрело, и в одночас засветили желтые звездочки там и здесь, местами сливаясь в золотые блюдца, скатерки. Это одуванчик зацвел.

Но цветы настоящие хожу я глядеть к одной из соседок, старинной нашей знакомой.

Она и в старости по-прежнему телом крупна и высока ростом. Не сгорбилась, ходит неторопливо, словно плывет. По теплоте времени весь день топчется во дворе. Здесь — огород; в сарае кудахчат куры; летняя кухня с газовой плитой, а возле нее, под навесом, — обеденный стол. Здесь же — раскидистая яблоня, сень ее — от жаркого солнца спасенье. Во дворе — все дневные стариковские заботы. Здесь течет жизнь все долгое лето, от мартовских теплых дней до поздней осени. В доме — лишь спать да телевизор глядеть, когда есть время и охота.

И все долгое лето звенит во дворе детский, с захлебом, голосок:

— Бабаня, я тоже буду копать... Бабаня, давай буду поливать... Я сам, бабаня...

Мальчонка — махонький, светловолосый, сероглазый, на круглом личике — курносая «пипка». Это — правнук. Мальчонка — не сирота, есть у него мать с отцом, они здесь же, в поселке. А ему лучше возле бабкиного подола. И старой женщине легче, когда звенит и звенит рядом детский голосок.

Так было всегда в этом дворе. Сначала — своя дочь да куча племянников и племянниц. Одна сестра рано умерла, другая — на Север уехала. Но все долгое лето детвора проводила здесь, набираясь здоровья. Все они, слава богу, выросли. Зазвенели во дворе голоса их детей. А теперь пришла пора правнуков. Вот он — один из них.

— Бабаня, я лопатой буду копать... Бабаня, я сам... Я — в огороде...

Дела огородные... Поселок наш — невелик. Издали, с высокого придонского холма, поглядишь на него: тонут в зелени дома, даже крыши порой не видать. Сады, огороды... Это — для жизни. Особенно теперь, в пору трудную, когда работы не сыщешь, а малую зарплату да пенсию не дождешься. Живы от земли. А если вспомнить, то так было и прежде, во времена всякие. Война да разруха... Карточки, талоны, пайки. Спасибо огородам. Картошка да помидоры, тыква да свекла, капуста да огурцы. Бочки, кадушки, банки да закрома — полный погреб. Значит, проживем.

Недаром у нас, встречая гостей, ведут их не хоромы глядеть, но огород.

— Пошли ваш огород поглядим, — это первое, что требуют гости, чем хвалится, о чем горюет хозяин. — Пошли в огород...

Дом и двор, о котором рассказ, — не исключенье: за грядкою — грядка, за лункою — лунка, за рядом — ряд. Пышная зелень, плоды.

Чуть не всякий день, мимо проходя, вижу хозяйку, здороваюсь, а то и загляну на провед. Этот двор — словно часть нашего старого дома. Древний, теплый его уголок.

Тут всегда сладко пахнет печеным.

— Пекли? — спрашиваю.

А хозяйка уже несет на тарелке пышки ли, пироги:

— Попробуй. Так, на скорую руку... Борщ-то есть. А они привыкли к печеному. Дай, и никаких. «Баба, пилочок...» — передразнивает она вовсе

малую правнучку. — Лишь на порог — уже ей давай пилочок. Мамку, говорю, свою заставляйте. А бабаня ваша отпирожилась. Сил нет.

Она садится рядом со мной, за стол, седую голову подперев тяжелой рукою.

Так сладко пахнет во дворе свежим печевом. Люблю этот домашний дух, ныне редкий. Люблю этот дом, этот двор, который в ряду уличном будто не лучше других: тот же крашеный забор-штaketник. Но шагнешь за калитку — и невольно жмуришься от радужного многоцветья. Просторный двор от самой калитки, от забора до летней кухни, до погреба — весь в цвету все долгое лето: от ранней весны до морозов.

Горделивые тюльпаны на хрупких стеблях, пышные кусты пионов, словно алые и снежно-белые костры, пахучие фиалки, пестрота милых анютиных глазок — розовых, желтых, фиолетовых; нежные дельфиниумы, голубое озерцо барвинка, резные лилии, левкой, «солдатики»-циннии, астры, поздней осенью — хризантемы. Конечно же — розы. Тяжелые сочные георгины. Стену коридора и дома все лето укрывают плетучие розы. Сам по себе — цветок не великий. Но цветет щедро и смотрится словно алый в допад. Прихожу порой просто посидеть возле цветов, поглядеть.

— Все, отцвела... — говорит хозяйка. — Раньше сила была. Сережа помогал. Сорок сортов георгинов... Отовсюду везли. Да ты помнишь, всегда ведь у нас цветы.

Помню время, когда на месте нынешнего деревянного флигеля стояла мазанка с крохотными окошками, земляным полом — жилье послевоенное. Она была низкая, полуземлянка, и потому вовсе тонула в цветах.

— Мама цветы любила, Нина, Люся...

С цветами она управляется ранним утром, пока крепко спит ее дорогой помощник.

Как и все наши старые люди, по утрам она поднимается рано, до зари. В мире — тишь и покой. Так хороши цветы, так пахучи, освеженные ночью прохладой, росой.

Ночами она плохо спит, пьет «сонные таблетки». От них поутру голова тяжелая, как чугунок. Но окунется в дела цветочные — поливает, рыхлит, пропалывает. Дышит их сладким ароматом, трогает руками их листву, нежные лепестки. И голова яснее, бодрости прибывает. А когда просыпается ее помощник, она уже — другой человек. «Теперь я — живая», — радуется она.

— Бабаня, я буду... Бабаня, я могу...

— Можешь, можешь... Умойся сперва.

Потекли дела привычные — кухонные, огородные, домашние, но теперь все это — не страшно, она — «живая и в силах».

Цветам ее завидуют все, просят семена да рассаду, спешат за букетами на праздничный случай. Но люди есть разные. Подошла как-то к забору пожилая женщина, стояла, глядела. Хозяйка пригласила ее: «Заходите». Гостя вошла, повздыхала, головой качая, и вымолвила:

— Сколько можно было помидоров насажать да картошки...

— Кому что... — ответила ей хозяйка.

Земли под огородом, заботы с ней у нее тоже хватает. А цветы — для души.

— Мама всегда цветы любила; и папа, Сережа, Ваня — вроде мужики, а любили. А уж мы с Олей да Ниной, девчатами были, старались, чтобы у нас краше всех в палисаднике. Дом у нас был большой, прямо на этом месте он и стоял. Папа — хороший плотник. Себе-то уж постарался. Дом из пластин, фундамент высокий, окна широкие. Две монашки жили у нас, в пристройке, они всегда папе говорили: «Кирилыч, у тебя дом — как парход. Вечером идешь, весь в огнях».

Этот дом я, конечно, не видел, но слышал о нем много раз. Война его забрала.

Раз в неделю, обычно в понедельник или вторник, старая женщина уходит на кладбище. Самодельная тележка на велосипедных колесах. Ее ладил покойный муж. Дощатый коробок. Туда ставится и кладется ведро, лопата, грабли. И — вперед.

— Бабаня, я буду тележку толкать! Я могу... Я сильный!

Он толкает, он пыжится, мужичок с ноготок. Старая женщина незаметно помогает ему рукой. Покатили...

Дорога до кладбища недолга: три невеликих квартала — и открывается степь. Вот он — тихий зеленый остров кладбища.

Кладбищенские ворота. Рвет тишину звонкий голос мальчишки:

— Бабаня, я знаю, куда катить! Я сам!

Обнесенный низким штакетником уголок. Низкий же столик, скамейка. Семь могил. Все родные. Могилки простецкие — земляные холмики, деревянные кресты. Нынче сплошь и рядом хоронят пышно — под камнем да мрамором. Здесь — земля, да желтый песочек, да простые цветы: ползучее «солнышко», петунии, душистый табак, густая травка-муравка.

— Я буду воду носить, бабаня! Я знаю, где вода!

Кладбищенская тишина давно уже не страшит старую женщину. На кладбище — все знакомые. В поселке от дома чуть отойдешь — молодые, чужие лица. А здесь — свои, от могилы к могиле. За низким штакетником — и вовсе самые дорогие. С ними жила, с ними и ляжет навек. В этом вот уголке, возле мамы.

— Это твое место, бабаня... — знает мальчик.

Знает и тоже не боится, по младости. Бабаня его — большая, телом крупная, вроде в силах еще: ходит прямо, много работает. Но в большом ее теле сердце — словно испуганная птаха: то колотится бешено, то замирает. Лекарства всегда под рукой. Но скоро, скоро тот срок, когда таблетки не помогут ли, не поспеют. Мальчонке сто раз приказано: не поднимется бабка, не пугаться, а днем ли, ночью бежать к соседке. Она все сделает.

— Ты же не испугаешься, ты — большой?

— Не испугаюсь, бабаня.

— Вот и хорошо, чего тут бояться: все помрем.

— Не испугаюсь. Но ты пока не умирай. Нам рыбалить надо. Я еще поймаю рыбу, какая сорвалась, большую...

Это праздник — поход на реку, рыбалка. Случается он не всякий день: раз ли, два в неделю, но ходят.

Удочки — через плечо, черви — в банке; пошли. Бабаня идет медленно, за день устала. Мальчонка кружит возле нее, звенит без умолку:

— Мы долго будем рыбалить! Я вот такого поймаю, ты мне поджаришь его?! А для рыбы червяки вкуснее, чем хлеб? А им крючок не больный, когда глотают?

Он спрашивает, тормозит ее, забегает с одной стороны и с другой, снизу вверх заглядывая в лицо, берет ее большую руку, прилаживается к шагу, идет, но ненадолго терпенья хватает. И снова кружится, забегает вперед, бросается ловить кузнечиков в придорожной траве.

— Мы будем до ночи рыбалить? А рыбы ложатся спать? А утром их кто будит?

Мальчонка спешит, убегает вперед и снова возвращается. А она, словно неторопливый большой корабль, плывет и плывет тихой зеленой улицей. С кем-то здоровается, кому-то с улыбкой отвечает:

— На рыбалку. Нужда гонит.

А детская трескотня... Она ее слушает и не слушает. Это — словно шум ветра, шелест листьев. На все вопросы все равно не ответишь, да и не успеешь ответить. Она лишь головою порой кивнет. И ладно. Идет. О чем-то думает или вовсе не думает. Их будто и нет, мыслей. А может, и есть.

Но чем ближе вода, тем на душе покойнее, тише. И вот уже, усмирив и отгоняя дневной жар, речная прохлада повеяла.

Берег, просторная тихая вода, такое же небо над ней — огромное и глубокое. В поселке, меж домами и улицами, — летняя духота. Над водой легко дышится. И разом уходят заботы. Не нужно уже ничего. Лишь сидеть возле воды, глядя на поплавок, на водную гладь. Чайки машут крылами медленно, устало. Крики их словно баюкают. И мальчонка притих, заворожено глядя на поплавок. А потом огляделся и просит:

- Бабаня, я пойду на баржу, к мальчишкам. Там лучше клюет.
- Иди. Да осторожней, в воду не упади.
- Не упаду.

И вот он пошел вдоль берега, рыбачок. Весь — в прабабкину, в прапрадедовскую породу.

Старинные времена, детство... Как оно помнится и как легко оживает в памяти над тихой вечерней водой.

В ту пору Дон был гораздо уже, с песчаными отмелями и перекатами. Плотины не было, он быстро бежал, вода — прозрачная.

А папа всю жизнь был занятым рыбаком. Плотничал и тем кормил семью. Но все свободное время — на воде.

Большая смоленая лодка. Самовязные сети. Переметы стерляжьих, сомовых. Сетчатые вентеры, «котельный» да «бескотельный», с одним да с двумя «крыльями». Плетенные из вербы верши.

- Дочка, поехали?
- Поехали...
- Дитя еще тянешь, — ругается мать. — Чтоб утонула.
- Я плаваю!
- Как колун.

Они уходят. В затоне отмыкают лодку. Отец — за веслами. Она — на корме.

В затоне, в ериках, ловили карасей да шуку; в Дону, на быстряке, на перекатах, — стерлядь, севрюгу; в глубоких омутах — сомов да сазанов. Сомов еще ловили на «квок». Лодка плывет, отец на корме сидит «квочит», несильно ударяя по воде деревянной ложкою — «квоком».

Квок-квок... Квок-квок... — разносится негромкое над водой. Квок-квок...

И сом поднимается, берет наживу.

Доходов от рыбы не было. Отец с рыбалки приехал, мать ворчит: «Куда твою рыбу... — Дочерям команда: — Шураня, Нинка... Крестным отнесите, бабе Гане, Долгачевым...»

Побежали девчата, понесли по родне, по соседям.

Во дворе, под навесом, стоял большой деревянный ларь с вяленой рыбой.

— Кирилыч, рыбки не дашь посолонцевать? — приходили соседки. — Забажалося...

Отец открывал ларь и щедро кидал в бабьи фартуки-«завески» вяленую чехонь, красноперку, синьгу. Осетровые, севрюжьи, стерляжьих балыки висели на стене в холодной кладовой. Вся стена была в жирных подтеках.

Все это было давно, а так ясно над водой вспоминается.

Вечером я тоже стараюсь прибиться к воде — с удочкой посидеть, искупаться, поплавать. Порою вижу там соседей своих: старую женщину, мальчика. Они то рядом сидят, то — порознь. Мальчонка — весь в рыбалке: наживу меняет, место, с поплавок глаз не сводит. Бабаня его — в отрешенье. Сядет и замрет. Она — словно тихая вода, берег вечерний, часть всего — молчалива, недвижна.

Что-то видится, что-то грезится над текучей водой, где жизнь ее проплыла так быстро, так скоро.

Вот она плещется девчонкой на теплой серебряной отмели... Вот на лодке с отцом рыбачит, а потом дремлет на просторной носовой «банке».

И даже все горькое кажется не таким уж и страшным, словно было не с ней. Может, все отгорело?..

Война. Вот они с сестрой идут в отступление, чтобы к немцам не попасть. Пыльная дорога, неубранная пшеница... Самолет с крестами снижается и строчит. Люди с дороги — россыпью, падают в редкую пшеницу. Детвора, бабы... Самолет не уходит, он уже не строчит, но с ревом проносится над головой. Еще и еще раз. Все лежат, и она лежит рядом с сестрой. Он снова проносится низко над ними. Видно, как летчик смеется и грозит. И снова, и снова... оглушающий рев прижимает тело к земле. Уже не страх, а горечь, бессилье.

Нет, не все отгорело. Под пеплом лет — угли. Но они лишь тлеют.

«Ваш дом — как пароход», — хвалили монашки. А ударила рядом бомба — и развалила. Немцы пригнали пленных и в один день все увезли, до фундамента. Мама кидалась к ним, плакала. «Шнель, шнель, — гнали ее. — Шнель, шнель...» Кто-то из пленных шепнул: «Разберите ночью остатки...» Ночь промучились, но выдрали полы.

Пленных держали в бараках, возле станции. Туда она за водой ходила. «Сестра... — просили из-за колючей огорожи голодные люди, — принеси поесть...» Она приносила картошку, свеклу, бросала, когда часовых не было рядом.

«Шнель, шнель!..» — кричали ей часовые. «Шнель, шнель!» — гнали от проволоки пленных...

Ее глаза искали там брата, от которого не было писем с начала войны.

А спасенные доски полов, конечно,годились. После немцев начали лепить землянку, в которой жили потом долго. Пока-пока что-то налажилось, флигелек построили лишь через десять лет.

И снова потекла жизнь, она была всякая...

— Бабаня!! — издали кричит внук. — Гляди! Я поймал!

Что поймал, она, конечно, не разглядела, махнула рукой. Но детская горячая радость, словно своя, согрела сердце.

Садилось солнце, закат полыхал нежно-розовым. Отсвет его лежал на тихой воде.

— Бабаня! Я опять поймал! Гляди!!! Ну, погляди!!

— Гляжу я, гляжу... Вижу...

Тихий двор

Мы встречаемся каждый день порою теплой, когда провожу я лето в поселке, в старом доме своем.

Ветхий забор наш давно потонул в смородиновой гущине; за ним — тоже дикая поросль от корней давно срубленного вяза; тут же акации, молодые кленки — глушные заросли, которым я рад. Они зеленой стеной застилают наш двор от пыльной улицы.

Детишки любят здесь поклевать смородину. Бредущие из стада коровы свернут, чтобы зелени ухватить. Живущая недалеко в соседстве тетка Фая по утрам, спозаранку, режет у нашего двора тонкие ветки с листьями, всякий раз извиняясь и объясняя:

— Кроликов держим. Они — прожористые. А никуда не денешься. Мясо-то на базаре не купишь.

Порою мы с ней говорим недолго.

— Не нашел работу? — спрашиваю ее о сыне.

— Нет... — отвечает со вздохом она. — Ищет, ходит, а никак не может найти.

Когда мы встречаемся днем у магазина, просто на улице, то лишь здороваемся. А по утрам порой разговариваем. Тетке Фаяе хочется поговорить: живой человек. «Я издаля, с хутора Майорова, — когда-то сказала она. —

А муж и вовсе из России. Рядом никого нет родненьких. Некому и пожалиться».

— Ходит, ищет... — рассказывает она о сыне. — Нет работы. Все закрылось: судоремонтный завод, авторемонтный... Своих поувольняли. Нигде нет работы. Ходит, ходит... Глядишь, какого-нибудь дружка встретит, напьются с горя. Не может работу найти. А хочет.

Тетка Фая всегда была высокой, плоскогрудой, работала на речной пристани грузчицей. Тогда, после войны, еще не было кранов да транспортеров, в мешках да рогожных кулях все возили, перебрасывая грузы из речной баржи в вагон, из вагона — в баржу. Таскали на горбу, по трапам. Я пацаном был, а помню, как работали грузчики. Почти все — женщины: тетка Раиса Дубовова, тетка Фиса Бошелукова, Басовы, Черкасова и тетка Фая. Они ходили ватагой, носили черные сатиновые шаровары. В ту пору это было редкостью, чтобы женщина штаны носила. Многие из грузчиц курили. Тоже — редкость.

Теперь тетка Фая давно на пенсии. Она ходит медленно, гнется в поясице, лицо — изжелта-бледное. Видно, что болеет.

— Болею, — подтверждает она, — но креплюсь. Внуку надо до ума довести. А то умру, она останется сиротой.

Сын тетки Фаи, о котором обычно я спрашиваю, не больно путевый Генка, живет с матерью. Ему лет сорок. Он — не женат. Дважды в тюрьме сидел.

А внучка от дочери, от покойной Марии. Сколько лет назад Мария отправилась, я уже и не помню. Девчужка, дочь ее, тогда была невеличкой, а нынче — юная девушка, на велосипеде гоняет. Белокурая, глаза светлые, высокая, видимо, в бабуку. Последнее время вижу, что кружится возле нее чернявый паренек с низкой челкой. Не больно завидный парень, на мой взгляд, вроде прилпатненный. Вместе они гоняют на велосипедах. Часто их вижу и удивляюсь, как быстро выросла тетка Фаи внучка.

— Три года мне надо прожить, — говорит тетка Фая. — Довести ее до ума.

Прежде тетка Фая ходила прямая, высокая. Потом в поясице сломалась и лицом пожелтела. Порою несколько дней не видно ее. Потом встречаемся, она говорит: «Болела... Так прихватило, думала, помру. А помирать нельзя».

По утрам, спозаранку, она приходит к нашему двору зеленых веток наломать, для кроликов. Днем редко, но заходит во двор с матерью моей посидеть. Когда приходит, то мать усаживает ее, как и всех гостей, на старинную просторную табуретку. Другие табуретки да стулья по-нынешнему тонконоги, шатливы — словом, ненадежны, особенно для людей пожилых. Старинный же табурет, давно потерявший краску, облезлый, по-прежнему прочен: он не шатнется, не скрипнет.

Ладил этот табурет тетки Фаи муж, давным-давно уж покойный. Я его и на лицо теперь не припомню: что-то невеликое, мозглявое, шумоватое и вечно пьяное, с черным ликом. Да и как запомнить? Сколько мне лет тогда было? Под стол пешком ходил.

Тетки Фаи мужик был хорошим плотником, столяром и великим пьяницей, к тому же во хмелю — дебошир. От жизни его в моей памяти осталась лишь эта табуретка, которую он сделал по заказу моей тетушки, тоже нынче покойной: Тетя Нюра до самой смерти своей эту табуретку, себя и мастера хвалила:

— Я ему сказала: сделай большую и крепкую, чтобы можно было таз поставить или корыто и стирать. Чтобы была надежная. Он такую и сделал. Молодец. Царствие ему небесное.

Что молодец, то молодец. Помер давным-давно, косточки сгнили. А табуретка — не шатнется, не скрипнет, прочно стоит на полу, на земле уже полвека. Мастер был, хоть и пьяница.

Во хмелю он обычно куражился, шумел в пивных. В ту пору было много пивных. Их называли «бендежка» да «голубой дунай». Водка — на разлив, бочковое жигулевское пиво — в тяжелых стеклянных кружках. Днем «бендежки» пустуют, вечером — шум и гам. Тетки Фаи мужик был горластым, всегда начальство ругал. Позднее таких людей стали именовать диссидентами. Вот он и был первым и самым известным «диссидентом» нашего поселка.

В начале годов пятидесятых приехал в наш поселок маршал Соколовский Василий Данилович, в ту пору то ли начальник Генштаба, то ли первый заместитель министра обороны — словом, фигура очень значительная, тем более для районного городка. Близилась выборы в Верховный Совет, и маршалу досталось быть нашим кандидатом. Время — теплое, народ собрали на площади. На дощатой трибуне — начальство, маршал речь говорит. А позади толпы тетки Фаи мужик свой митинг проводит. Приволок он какой-то ящик, взгромоздился на него и понес:

— Чего вы его слушаете! Брешет он! Народ лебеду ест да желуди, а он в эмалированном вагоне прикатил. Паровоз его отдельный везет. Дюже тяжело! Прикатил! Любуйтесь на него! А потом идите щи из лебеды трескать. Слуги народа...

Маршал свое, привычное, с трибуны вещает, а тетки Фаи мужик режет сплеча правду-матку, как умеют это делать хмельные русские люди. И понемногу народ стал разворачиваться, внимая оратору своему, который говорил душевнее и понятней.

Конечно, оратора остановили и утащили в кутузку. Но быстро выпустили, несмотря на очевидную политическую направленность речей. Видимо, просто его хорошо знали. А еще — всякому милиционеру нужен по жизни плотник да столяр, который все ладно сделает и платы не возьмет, чувствуя вину.

Так он и шумел понемногу, тетки Фаи мужик, митингуя по «голубым дунаям» в пору вечернюю, после работы. Он и дома был не подарком: буйнил, жену под горячую руку бивал, хотя, повторюсь, был невелик и мозгляв, а тетка Фая не даром в грузчицах работала — роста гренадерского, рука тяжелая. Но она покорялась по обычаю, по характеру, как все русские бабы. Хотя покорливость продолжалась до поры. Этот случай не раз вспоминали мои родные, мать и тетушка.

В ту далекую пору существовал добрый обычай награждать хороших работников к праздничным дням, как тогда говорили, «ценными подарками». Для женщин это был обычно отрез на платье, на кофту. Этим отрезом — куском материи, ситцевой, шерстяной, — награждали прилюдно, на торжественном собрании, посвященном Первомаю ли, Октябрьским праздникам или Дню Сталинской конституции.

Наградили таким отрезом и тетку Фаю. В кои веки она выкроила копейку и сшила обнову — платье. Принарядилась, а тут мужик ее во хмелю явился.

— Начапурилась! — кинулся он к ней с порога. — К женихам собралась! И распустил новое платье от ворота до пупа.

Тетка Фая, не помня себя от обиды и гнева, подняла на супруга руку: по голове его кулаком гвозданула. Он и лег.

— Дура... — укорил он потом. — Ты же меня убить могла.

Но с той поры рукам волю не давал, ни пьяный, ни трезвый.

Во времена давние, когда тетка Фая была еще молодой, а детишки — малые, пришлось моей тетушке, заболев, лежать в больнице. С ней вместе, в одной палате, лежала и тетка Фая. Эту больничную палату, срок недолгий, тетушка моя запомнила, рассказывая о том не однажды.

Положили тетку Фаю в больницу с трудом: она отнекивалась да отказывалась, ссылаясь на малых детей, на хозяйство. Но болезнь, видно, была серьезная. Уложили.

И в тот же день объявились в палате тетки Фаи дети — сын Генка и дочь Маша. Они еще в школу не ходили, мелюзга.

Объявились молчаком, глаза настороженны; заглянули в палату, потом, также молча, пробрались к материнской койке и уселись возле нее на полу. Вошедшей медсестры испугавшись, под койку нырнули. На лицо они были милые — светленькие, сероглазые. Но плескался в глазах детский испуг.

Больничная палата была просторной: два десятка кроватей. Хворые женщины, старые и молодые, с первого раза поняли беду тетки Фаи. Никто слова не сказал: мол, мешают и прочее. Напротив, каждый старался приласкать ребятишек, угостить их. Гостинцы они принимали, но не оттаивали, оставаясь волчатами: чуть что, они уже — под кроватью. Хотя их никто не гнал: ни санитарки, ни медсестры, ни даже Глебыч, строгий фельдшер, знаменитый лекарь округи.

И весь срок, пока лечили тетку Фаю, сынишка и дочь ее с утра объявлялись в палате, проводя в ней день то под кроватью, то рядом, сидя на полу и безмолвно глядя на мать свою снизу вверх. Их кормили больничной едой, одаряли домашней, из передач, мимоходом голубили, вздыхали, все понимая.

Тетка Фая, человек немногословный, больничным товаркам не жаловалась, а на расспросы коротко отвечала: «Пьет». И все было понятно, даже в те времена, когда пьющих было несравненно меньше. Тяжелее жили.

Окончив больничный срок и удалившись со своими детишками, тетка Фая через день-другой снова объявилась в палате. Она принесла целую сумку гостинцев, самодельских и покупных, и чекушку водки для фельдшера Глебыча.

Приняли ее подарки не вдруг, говорили: детям, мол, отдай. А тетка Фая расплакалась.

— Примите... — сквозь слезы говорила она. — Спасибо за детей моих, что вы их не ругали, а примолвили. Спасибо...

Когда и как умер муж тетки Фаи, я не помню. Как-то незаметно ушел он давным-давно.

Дети выросли. Старший — Генка. Родная мать зовет его Генкой, Геннадием. Для остальных он так и остался Генкой, иного не заслужив.

На лицо он весьма пригляден, даже красив: прямой нос, большие серые глаза, светлые волосы. Фигурой статен, широкоплеч; летом любит щеголять в спортивной маечке, которая облегает тело, выказывая мощные бугры и узлы бицепсов, трицепсов и прочих мышц. В одежде он разборчив, и порой я не сразу признаю его со стороны, издали. В приличном светлом костюме, при шляпе... В белых джинсах... В легком весеннем пальто... Порою не узнаю, приглядываюсь: кто это идет? Придетый, вида, как говорят, интеллигентного. Пригляжусь: «Ба! Это Генка... Молодец парень...»

Хотя он давно уже не парень, а матерый мужик. С трудом, но закончил школу, потом — местное техучилище. Работал, выпивал, на мой взгляд, немного. И никогда не скандалил во хмелю. Этого я не слышал, и соседи не жаловались.

Но, выпив, он становился каким-то дурным. Глаза выцветали, и не было в них даже капли разума, одна лишь пустота. Это я запомнил. Давным-давно сидел я как-то в нашей поселковой библиотеке, в читальном зале ее. Туда заявился Генка. Я еще удивился: читает. А потом поднял голову и вижу: этот читатель прячет за пазуху толстую пачку журналов, целую подшивку. Я подошел к нему и увидел пьяные пустые глаза, абсолютно бессмысленные. Молча я вынул из-под полы его подшивку журналов. Как сейчас помню, это был «Крокодил». Вынул, положил на место, а самого Генку осторожно проводил к выходу. Он, слова не сказав, послушно вышел. Он просто ничего не соображал.

Проводил я его до двери, повздыхал: «Горе, горе...» А потом услышал, что его посадили. Генка украл в какой-то конторе пишушую машинку. Конечно, пьяный. Хотя и пьяному, и трезвому, эта машинка была нужна ему как прошлогодний снег и даже менее.

Срок ему определили недолгий, но из лагеря Генка вернулся несколько другим человеком. Он как-то возмужал, походку заимел степенную, говорил, как и прежде, редко, но значительно, солидно подкашливая. Он словно образование получил, которым гордился. Часто приходил на люди, к автобусной остановке, присаживался на корточки, чуть в стороне, и курил, вокруг поглядывая. Этим он выделялся. У нас так не принято. Скамейки есть — сиди, а на ногах — значит, стой. А у него это вроде лагерное. Он это старался подчеркнуть.

Потом он еще раз сидел. Тоже недолго и тоже по-глупому.

Отсидел недалеко, в соседнем поселке. Там — лагерь. Мать к нему чуть не каждую неделю на провод ездила.

Отсидел, вышел. Работал на речной пристани крановщиком. Нынче дома сидит. То ли прогнали его, то ли просто «сократили». Сейчас у нас все закрывается, а вернее, закрылось: заводики наши да мастерские. Работу сыскать очень трудно. Нет ее.

А мужик он — рукастый. Кирпичный гараж себе выложил, вроде хотел мотоцикл купить. Коридор к дому пристроил. Про всякие сарайчики не говоря. Кроликов развел. Спокойный мужик. Ни шуму от него, ни крику. Зайдет порой денег занять. Но редко. Дашь — возьмет, откажешь — тоже вроде не обидится. Живет помаленьку.

Мать его, тетка Фая, вздыхает: «Не может работу найти. Ищет, ищет... Ходит, ходит... Дружков встретит, напьются с горя». Она его не ругает, по соседям не жалуется. Она его любит: сынок родной. Да и характер у тетки Фаи не тот, чтобы по чужим дворам слезы лить. Бывшая грузчица. А наши пристанские грузчицы — бабы суровые.

А вот тетки Фаи дочка была вроде не в нее. Маней ее звали. Она была помоложе или постарше Генки на год-два. Теперь уж не помню. Но тихая, в глаза боится глядеть, сразу опускает взгляд. Работала она тоже в речном порту, но, конечно, не грузчицей. Тетка Фая дочку берегла, нашла ей полегче работу: на пассажирской пристани Маня двор мела, цветы поливала из шланга. Девка она была безответная и потому скоро получила кличку «Малка ...». В рифму, но нехорошая кличка. К чему ее повторять. Чем виновата покойница... Девка тихая, а вокруг такие орлы — лихие ребята-речники, молодняк в форменных фуражечках.

Потом она вышла замуж, но тихомолом. Обычные наши свадьбы — на всю улицу шум: машины сигналият, везут жениха да невесту. Соседи дорогу перегораживают, требуя выкуп. Свадьбу ходят глядеть, словно спектакль. Так и говорят: «Идем свадьбу глядеть». А уж песен... Край донской, казачий. Веселые свадьбы.

Как Маню выдавали замуж, никто не слышал. И жениха ее не видали. Ушла она жить в другой конец поселка, квартиру получила, дочку родила. Муж ее куда-то слинял. Так его толком никто и не видел. Ходила Маня к матери с дочкой, такая же тихая, глаза опустив. Работала там же, на пристани.

А потом Маня отравилась. Это все папино наследство сказалось, у нее и у Генки. Но у Мани особенно. Я всегда тетушкин рассказ помню, как в больнице эта малышня словно дикие под кроватью прятались, молчаком. Или молчаком же сидели на полу, с матери глаз не спуская.

Так они и жили — молчаком. А это ведь для души и сердца большая надсада. Маня и отравилась-то вроде из-за пустяка.

Жила она с дочерью в двухэтажном казенном доме. У подъезда — скамейка. Летними вечерами люди выходят, сидят, беседуют. Это не город — поселок. Все знают друг друга.

Маня жила без мужа. Но скучала, хотелось ей, чтобы все было по-людски, по-семейному. Она принимала порой мужиков, но попадались какие-то ненадежные, на короткое время. И вот однажды, когда наметился очередной и будто бы серьезный соискатель руки и сердца, Маня на людях у подъезда сказала:

— Скоро замуж выйду, будем жить...

А кто-то возьми да брякни:

— Да кому ты нужна... Уж сидела бы.

Маня молча поднялась, пошла домой и выпила стакан уксусной эссенции. Увезли ее в свою больницу, потом в город, но спасти не сумели.

И схоронили ее как-то тихо. Не помню похорон. А может, не было меня.

Схоронили. Манина дочка перешла жить к бабушке своей, к тетке Фае. В школу ее каждый день провожали то бабка, то дядя. По теплomu времени шла она нарядная, беленькая. Милая девочка, славная на лицо.

И незаметно выросла. За последние год-два вытянулась, стала выше бабки. Уже юная сероглазая девушка. На велосипеде гоняет. А паренек возле нее крутится не больно завидный. Какой-то шпанистый, с челкой. Но он ей, видно, по нраву.

Тетка Фая в последнее время сдала. Лицом пожелтела. По утрам мы порой встречаемся с ней, она приходит ветки для кроликов резать.

— Болею... — иногда вздохнет. — Но надо крепиться. Три года надо прожить, чтобы внучку поднять. Геннадий — мужик, не пропадет. А внучка сиротой останется. Это — нехорошо... Три года мне надо держаться.

Шумный двор

Зовет его вся наша улица просто Вовкой. Может, потому, что люди старые помнят его с младенчества. А может, иного не заслужил. Вовкиного отца Генкой звали до смерти. Помню его хорошо. Роста невеликого, сухой, темноликий. Летом — в защитной зеленой рубашке вроде форменной, зимой — в полувоенном же ватнике. Работал он то ли в охране, то ли в «пожарке». Приходил к нам часто. А песня одна и та же:

— Алексевна, ты меня знаешь. — Это он к тете Нюре обращался. Она у нас в доме деньгами ведала. — Трояк, Алексевна. Больше не надо. Не надо мне больше давать, — убеждает он горячо, будто пытаются всучить ему деньги великие. — Мне лишь трояк, на пузырек с прицепом. — В ту пору на трояк бутылку водки можно было купить да еще кружку пива и немудреную закуску. — Лишь трояк. Потому что его придется ведь отдавать, отрывать от семьи, — внушает он. — А я ведь всегда отдаю. Отдаю ведь, Алексевна?

— Отдаешь, — подтверждает тетушка моя.

— Вот поэтому мне больше не давай. Только трояк, и все.

Этот трояк он из души, но вынет. Час и два будет у порога стоять и нудеть:

— Алексевна... Ты — человек. И ты знаешь, я с получки отдам. Умру, но отдам...

Позднее такие речи пришлось и мне слушать. По молодости вначале я старался быть жестким, тете Нюре внушал:

— Зачем даете? Ведь на пропой.

Тетья Нюра лишь вздыхала, оправдываясь:

— Он отдает.

Последний трояк Генка так и не отдал, на тот свет заспешив. Что ж, должник — невеликий. Господь простит, а мы — тем более.

Теперь уже сын его, Вовка, на отцовский горький пост заступил. На отца он похож как две капли: такого же невеликого роста и склада и ру-

башка — тоже защитная, от отца, что ли, осталась. Но вряд ли... Вовке — за полсотни лет, а может, поменьше. Но вид стариковский — морщинистый, седой, черноликий, беззубый уже.

Порою до света, чуть забрезжит утро, а он уже скребется в окно. Выйдешь. Кто там? Что за беда? Это — Вовка. Шепотом, сипом просит:

— Три тысячи... Послезавтра отдам. Получаю. Принесу — как штык. Ты меня знаешь.

С утра долгим разговорам — не время. Надо выручать человека.

Это днем да вечером, когда недопьет, можно и восвоеси отправить. Но это непростое. Он будет ходить по двору и канючить:

— Ну я же отдам. Как штык. Отопление людям делаю. В пятницу расчит.

В дом уйдешь, он будет ждать, постанывая у крыльца:

— Ну, выйди. Ну, чего скажу.

Глаза у него хорошие. На темном испитом лице они голубеют, как-то виноватые, беззащитные. Жалко его.

По утрам я особо не разговариваю, даю. Вечерами стараюсь ни с чем проводить. Он усядется, курит, глаголит:

— Ты вот не пьешь и потому не понимаешь, что такое не хватило. Я же теперь не усну, а утром мне — на работу.

Поутру, когда Вовка страшноват ликом, я порой спрашиваю:

— Может, налить тебе?

— Нет, — облизывает он пересохшие губы. — Дай денег. Сашку надо похмелить и еще... Лучше деньги. Послезавтра отдам. Надо семью похмелить, а то подохнут.

Взял деньги и пошел.

Он отдаст. Это и тетя Нюра всегда повторяла, оправдываясь, сначала об отце:

— Генка всегда отдает.

А потом о сыне:

— Вовка отдает.

Это другие порой забывают. А Вовка иной раз и не занимал, а придет отдавать.

— Я тебе сколько должен? — вопрошает он. — На одну или на две брал?

— Не брал вроде.

— А мне кажется, брал на той неделе.

— Не брал.

Вовка глядит недоверчиво, вспоминает:

— Но я же в четверг напился. У кого же я брал?

— Не знаю.

— А я так и думал: у тебя...

— Не брал. Отвяжись, — надоедает мне эта песня.

Вовка удивляется, в задумчивости бормочет:

— Ведь напился в четверг. Придется к бабке Лизе идти спрашивать да к тетке Фае... — И уже за двором в последний раз спрашивает: — Может, все же брал? А ты забыл? А потом вспомнишь... Будешь ругаться.

— Иди, Христа ради...

Вовка уходит со своей нелегкой заботой. Надо вспомнить и надо отдать. Потому что через пару дней придется снова идти на поклон.

Иной раз меня даже удивленье берет. Вроде только что деньги получил и долги раздавал из толстенной пачки. На улице его видел: идет с внучкой в магазин, кричит:

— Культпоход! Ей — пепси, мне — поллитру!

А назавтра уже скребется поутру:

— Да-ай...

— Куда свои дел? В банк отнес?

— Какой банк... Жене, дочке с зятем, они без денег сидят, трохи — матери. А тут налетели. Все: дай!

По утрам я его особо не мучаю. Мужик он — неплохой и сосед — хороший. Живем через два двора, но будто рядом, потому что их гнездо многолюдно, шумливо. С утра до ночи там кипит муравейник: люди, собаки, лошади. И даже с улицы мимо не пройдешь, остановит взгляд странное смешение жилья и стройки: друг подле друга теснятся убогая хатка-мазанка, которую слепила после войны покойная тетка Лена, кирпичный просторный дом на высоком фундаменте, который дочь ее, тетка Шура, нынешняя хозяйка, построила, а на самом виду — огромный, почерневший от времени остов новой великой стройки.

Охраняет двор целая свора: черная большая овчарка и еще одна — черная, кудлатая, словно овца, но величиною с телушку; с ними в компании — три-четыре разномастных шавки. Чуть что — лай на всю улицу.

Собак — свора, но людей — больше. Во-первых, конечно, тетка Шура — в роду она главная: шумливая, еще крепкая, кубоватая статью баба. Далее — вечный должник мой Вовка с женой, взрослой дочерью, зятем. У молодых есть своя хата, но они кружатся здесь, где веселее, с двумя малыши, но горластыми дочками.

Второй сын тетки Шуры — Сашка, младший, но больной, живет бобылем при матери, получая пенсию. Тут же — хозяйкин сожитель, хотя дом его в другой стороне; обычно он прибывает на паре лошадей, да еще с жеребенком.

Двор людный, но умещаются. В старинной землянке теснится Вовка с семьей. Хозяйка с младшим сыном — в большом доме. Она — еще в силе, старухой не глядится, хоть и правнучки рядом.

— Работаю как лошадь и жру как лошадь, — признается она. — Буханку хлеба — за раз. Не то что нынешние, молодые. У них все болит да сербит. Работать надо!

Новый дом, основу его, закладывала тетка Шура, щедро развернувшись в ширину да в длину. То ли хотела она мир удивить, а может, просто душа широкая, размахнулась на всех: чтобы старший сын с женою просторно жил и там — внучка с мужем и правнуки, все одним гнездом. И вначале будто дело пошло: залили фундамент, положили обвязку, поставили каркас. Тетка Шура со своим сожителем возили и возили на лошадях горбыль, доски, рейки, чакан — камыш на прокладку стен, для тепла, глину, песок, навоз, солому для обмазки. Конечно, размер дома был внушительен. Но и народу немало. Сладить можно. Тетка Шура работала и ругалась. Молодые прилеживались и годили.

Время шло. Стройка глохла. И вот уже остов дома от непогоды потемнел. Сколько лет он стоит?.. Пять, а может, и десять... В одном месте глухую стену шалевать начали. Но бросили...

Зимой деревянную пустую клеть заносит снегом, по лету он зарастает зеленым бурьяном. Тетка Шура махнула рукой: «У меня есть где жить...» Хватает у нее забот с хозяйством и огородом. Тем более младший сын пьет и тяжело болеет. Его в больнице резали и перерезали, думали, что помрет. Он выжил, все же — молодой. Тетка Шура в районной газете врачам благодарность писала. Он выжил, получает инвалидную пенсию и пропивает ее. До остального — нет дела.

Старший сын Вовка, когда о доме заходит речь, выражается ясно: «В мазанке родился, прожил, там и подохну». Жена его со свекровью не больно ладит. С молодых вовсе спроса нет, они — дети.

По теплomu времени, когда остов начатого дома тонет в высоких репьях да конопле, Вовка забирается туда, в зеленую глушь, бражничать. Там он и спит порой, на старом тюфяке. «Вот рухнет и задавит дурака», — упреждают домашние.

Оно и правда. Ветер, да дождь, да время. Остов почернел. Почернели и штабели досок, реек и горбыля, обмотанные колючей проволокой — от воров. Все это прет, гниет. Соседи растаскивают глину, песок.

— В мазанке подохну! — машет Вовка рукой.

Младший брат его, Сашка, после больниц и операции водку пьет и молчит.

Как быстро проходит жизнь... Еще вчера ведь молоденький Сашка, высокий, голубоглазый, стройный, праздновал свадьбу, а невеста его была все юной, в кружевной фате. Она по-детски не хотела с фатой расставаться и целый месяц, наверное, после свадьбы носила свадебный наряд. В магазин в нем ходила, благо что рядом он, два шага всего. Славно было глядеть на нее: юная женщина в кружевном белом флере, словно молодая яблонька в первом цвету. А рядом — жених, муж молодой, тоже на загляденье.

А теперь... Оплывающий от водянки или от пьянства, с серыми пузырями подглазий, страшноликий, он уже и говорить-то не в силах, что-то шепчет порой. Юная жена давным-давно улетела.

И лет позади будто немного, а жизнь прошла. Он порой заходит ко мне, шепотом просит на бутылку, до пенсии. Глядеть на него — мочи нет.

Со старшим его братом, с Вовкой, мне ладить проще. Тот рано утром скребется: «До пятницы... Как штык...» Вечером он шумит у себя во дворе, далеко слышать: «В мазанке родился, там и подохну!»

Остов начатого дома по лету тонет в зелени конопли да репьев. Зимой, на снежной бели, он страшен: почерневшие стояки да лаги — словно скелет, словно война прошла или пожар. Но войны, слава богу, нет. Лишь Вовка во дворе шумит: «В бога!.. В креста!..»

Но это — не война, это — жизнь.

Человек с козю

Летние вечера длинны. Заходит солнце. Долго играет розовая заря вполнеба. Потом она гаснет. Но светел мир. Летние сумерки долги. Спадает дневная жара. Окончив дела огородные, люди сумерничают во дворах да на воле, возле ворот, беседуя и отдыхая после трудов долгих, дневных.

В такую пору выбирается со двора сосед мой Алексей Иванович с супругой и молочной козой Катериной.

— В литературе пишут, — объясняет он, — любой скотиняке должна быть прогулка ежедневная, при любой погоде — зимой и летом.

На прогулке — Катерина, коза телом крупная, в телушку величиной, породисто-мослатая, в блестящей от холи и сытости белой шерсти — не абы какой, зааненской породы, родня ее по альпийским лугам Швейцарии бродит. Катерине, по всему видать, это известно: и высокий, чуть не дворянский род, и указания специалистов. И потому идет она всегда впереди хозяев, ступает важно, голову держит высоко, глядит беззастенчиво-наглыми навывкате глазами, чуть что — презрительно фыркает. Людей не ставит ни в грош. Она — на прогулке.

На прогулке и хозяева ее. Алексей Иванович — в светлой рубашке с длинным рукавом (никаких маечек и даже безрукавок), в темных брюках, полуботинках, на голове — кепка. Вся одежда — чистая и проглаженная. Рядом супруга его, словно опрятная курочка: платье, фартук-«завеска», чулки, чиррики, головной платок. Вышли на люди.

Молочная коза для наших краев — большая редкость. Коз пуховых, донских держали и держат многие, особенно на хуторах, где — воля. Держат, щиплют да чешут зимой с них пух, прядут да вяжут из него теплые шали, платки, носки да варежки. Так ведется от веку. А вот молочные козы — очень редки. Только-только их начали заводить. И потому все интересно: сколько молока дает, какой уход?

Хозяин рад объяснить, но Катерина долгих разговоров возле себя не терпит. Постояла, похрумкила недолго вязовыми, кленовыми ветками, из-под ног ухватила былку-другую и подалась прочь, таща за собой на привязи послушных хозяев.

— Нравная... У-ух и нравная скотиньяка, — на ходу объясняет Алексей Иванович. — Все должно быть по ее. Только так!

Так они и путешествуют порою вечернею: впереди — большая комолая коза, за ней — хозяин с хозяйкой. Порою хозяйке неможется. Алексей Иванович выводит козу один и скучает. Он любит поговорить о делах житейских да государственных и потому правит к сидящим возле дворов людям. Коза Катерина тянет хозяина прочь. Похрумтела, мекекекнула и подалась, легко побеждая упор сухонького, ростом невеликого своего хозяина. Сама ведь — большая, мослатая. И очень мудрая: знает, что «в литературе написано» — прогулка, а не посиделки возле чужого двора. А значит — вперед и вперед.

Гонку рядом с козой и ее хозяином выдерживает лишь Юрка, немолодой дураковатый бобиль, ярый сторонник коммунистов, Ленина и газеты «Правда». С последней он носится день напролет, разъясняя встречному и поперечному «политику». К вечеру всем надоест. Вот и скачет за Алексеем Ивановичем и козой его, яростно потрясая газетой:

— Коммунисты все равно победят! Ленин предвидел! Карл Маркс сказал... А нынешний режим...

Коза Катерина агитации, крику не любит и порой идет на Юрку в атаку, даже с прискоком, пытаясь встретиться с надоедой лоб в лоб. Хозяин ее стыдит, окорачивает. Юрка отступает. Но ненадолго. Так они и путешествуют вечер напролет: впереди белая коза Катерина, за ней — Алексей Иванович на привязи, рядом — Юрка с газетой.

Помаленьку темнеет. Остывает вечерняя розовая заря. И вот уже — лишь малиновая полоска на далеких холмах Задонья. Над потухшей зарей — светлая прозелень неба; в стороне восточной вот-вот проклюнутся подслеповатые летние звезды. Тишина. Тихий говор по дворам понемногу смолкает. Время — к ночи.

А ранним утром всякий день слышу я глухой частый стук. Это все тот же сосед мой, Алексей Иванович, проснулся — и сразу в дела. Огород, куры и, конечно, премудрая Катерина. С утра пораньше готовится сечка, травяная, свекольная, мешается с запаренными отрубями — вот и готов первый завтрак животным. А уж потом — себе.

Алексей Иванович перебрался в наш поселок с хутора уже при моей взрослой памяти. Купил невеликий флигелек, подновил его и расширил, чтобы поместиться всем: жена, двое детей. Взрослые работали, дети учились. Кроме огорода сажали еще и бахчу в степи. Во дворе держали кроме обычных кур да поросенка кроликов, нутрий. Не только из-за мяса. Выдывал Алексей Иванович шкурки, шил для продажи шапки-ушанки. Двое детей. А зарплатишки в нашем поселке всегда были невеликие. А еще он понемногу столярничал: оконные рамы вязал, двери, табуретки, скамейки ладил. Кто что закажет.

Но потом, когда дети выросли и стали жить отдельно, своими семьями, а Алексей Иванович с женой пенсии дождался, живность во дворе ликвидировали.

— Возраст свое берет, — объяснял он. — Силы не те, здоровьишко никудовое. Сил уже нет косить сено, зернецо зарабатывать. Годы приказывают: хватит. На пенсию будем жить потихоньку. Нароботались, слава богу. С малых лет... И до каких пор?.. Нам много не надо.

Стали жить. Магазин — под боком. Там всякий день молоко да хлеб. В воскресный день — базар недалеко. Как говорят, не разъешься особенно, но жить можно.

Так и жили — пенсия, огород.

Но огород тоже бывает всякий. В моем, к примеру, помидоры, лук, картошка — все растет, но и траве места хватает. Лебеда ли, пырей, желтоглазый чистотел, одуванчик, ползучая «мокруша», сочная «толстянка», вьюнок... Сколько их! Не успеваешь полоть. Где мотыгой, где руками... Вроде прополот — чистые грядки, смотреть любо-дорого. Но лишь отвернулся — опять все заросло, заплелось, земли не видать. А то еще и петуния зацветет посреди грядки с луком! Радуйтесь на нее. Это — на грядках. А уж в иных местах бывает и глядеть тошно.

А ведь мотыги не успеваешь точить, и руки становятся словно грабушки, от людей их прячешь. Но прет и прет трава.

У Алексея Ивановича огород — картинка, чертеж геометрический: квадраты да прямоугольники. Строгие грядки и грядочки, ряды и рядки. С весны зеленеют, в свою пору цветут, потом стоят отягченные алыми, розовыми, фиолетовыми плодами. Листвы не видать. Болгарский перец, баклажаны, огурцы. Могучие луковицы прут из земли, не уместаясь в ней. Помидорные кусты на прочных шпалерах; по блеклой зелени — три-четыре яруса алых, багровых плодов. Не огород — многоцветная радуга и ска-терть-самобранка.

И — ни единой травинки.

Порою я захожу к соседу, чаще — через забор гляжу, радуюсь, ничуть не завидуя, но понимая, что такое нам просто не по силам.

Гляну через забор, если хозяин рядом, то перебросимся словом, поговорим. Человек он — степенный, приветливый, к себе располагающий: росточка невеликого, худощав, в одежде очень аккуратен. Во дворе, в огороде, чистит у кур, землю копает — никаких стоптанных да сношенных башмаков или калош на босу ногу (такое ведь у нас сплошь и рядом), никаких опорок и латаных штанов, драных рубашек с махрами на рукавах и вороте, засаленных до блеска пиджаков — ни боже мой! Алексей Иванович в работе что и на людях — все чистое, проглаженное, на все пуговики застегнутое: пиджачок, кепка, рубашка, брюки, полуботинки. Жена — ему под стать.

А коза Катерина появилась в соседском дворе недавно. Сначала объявились куры, потом — она, комолая. Сосед мой на пенсии не заскучал, и здоровья у них с супругой не прибавилось. Просто времена пришли трудные.

Вначале он был решительным сторонником перемен и горячо спорил с теми, кто горевал о прежних порядках.

— Свободу надо людям! — горячо доказывал он. — Чтобы райком не считал моих козенок и не указывал, сколь мне их держать. Чтоб не командовал: сей! убирай! Чтобы не затыкал людям рот и по рукам не бил! И пускай цены растут, — соглашался он, — нам будут пенсию прибавлять. Проживем!

Не прожил. Кряхтел, кряхтел, но сначала кур завел, теперь вот козу.

— К яичкам не подступишься, — объяснил он. — И молоко кусается. Не хватает пенсии. Считали и так, и эдак. Топка, уголь резает, лекарства дорогущие... Газ, электричество... Какие цены... Страсть... Вот и приходится. Три литра коза дает. Нам за глаза хватает. Еще и внукам уделяем.

Коза... Тем более единственная. Казалось бы, какие с ней особые хлопоты. У другой соседки, у тетки Моти, как-то были две козы. Вечером попасет их, днем веток нарежет. Сена на дворе не видал. Видно, хлебом кормила.

У Алексея Ивановича другой закон.

— Живое существо, пусть и скотина... — Об этом сосед целую лекцию прочтет, и я ее с удовольствием слушаю. — Но живое... Тот же человек. Ныне наша Катерина, к примеру, вязовые ветки молотит, аж за ушами трещит. А завтра положишь, таких же свежих, она понюхает, фыркнет и отвернется. Плохой хозяин — ноль внимания: мол, забегать еще перед ней, захочет жрать, потрескает. Может, и поест через силу. Но молока от

нее не жди. Молоко — на языке. Скотина должна с аппетитом есть, — подчеркивает сосед. — Живое существо. Я ныне щи с удовольствием хлебаю, а завтра мне лапши захотелось или супчику, а может, ушицы. Перемена. И у скотины так же. Она лишь сказать не может, но ты угадай, если молочка хочешь.

Появилась Катерина, стал сосед ездить на мотоцикле за Дон, сено косить. Один, чаще с сыном да зятем. Раз за разом. Копешка за копешкой. Возит, кормит, а лишнее — сушит. Помаленьку поставил стожок. Ветки везет, несет каждый день. Кто где повалит дерево или обрежет — сосед мой уже там, стучит топориком, во двор тащит. На нынешний день и про запас. Помаленьку растет второй стожок — корма веточного. На огороде появились свекла, турнепс. После ранней картошки кукуруза растет. Пшеница зазеленела, пошла в рост. Первый укос да второй. Все той же Катерине.

— Она у вас как английская королева, — посмеиваюсь я. — Разнообразнейшее меню.

Сосед лишь плечами пожмет и старое молвит: «Молочко — на языке».

Работы ему, конечно, прибавилось. Тот же огород, который прежде кормил лишь людей, теперь и курам, и поросенку, и козе Катерине подмога. И потому всякий клочок его за лето стал два и три урожая давать. На смену редиске — лук, а потом еще и свекла успеет. После ранних помидоров да огурцов — кабачки, капуста, баклажаны. Картошку теперь дважды сажают: одну выкопали, следом — другая. Не огород, а зеленый конвейер.

Но все это — труды, и труды, и труды. Рассада и наращивание — это с середины зимы. Потом — парники, потом — укрывные грядки. Открой да закрой да теплой водой полей. Потом начинается лето, жара. И всякая гадость тут как тут: зеленая тля да черная, капустный червяк да клоп, колорадский жук, плодоярка, медведка, а попросту бирючок подземный — черный страшила, какой корни напрочь съедает, луковая муха... Сколько их... Да еще всякие болезни — фитофтороз, мучнистая роса...

У человека, наверное, хворей меньше.

Но пышно встает по лету огород моего соседа: капустные вилки — в обхват, баклажаны — в локоть, помидоры — в руке не удержишь. Не огород, а цветная журнальная картинка: все алеет, краснеет, багровеет, спеет и зреет. Алексей Иванович с утра до ночи там, в огороде. Рядом — жена его. Ни суеты, ни беготни, ни крика. Лишь работа. Мотыга, лопата, поливальники, ведра. Руки у него большие, крестьянские, но никаких грязных ногтей, цыпок, болячек. И лицом хорош: всегда побрит, подстрижен. Под стать хозяевам их инструмент. Черенки покрашены, лезвия лопат, мотыг — наточены, блестят. От безделья не ржавеют.

Но есть один день, когда во дворе и огороде моего соседа — тишь да покой. Это — воскресенье. Его он чтит. И меня мягко, но останавливает. Косу попрошу, пилу, он говорит: «Нынче не надо. Успеется... Будет время».

В день воскресный, накормив свою живность и отзавтракав, поздним утром отбывает мой сосед на базар. Принаряженный, при пиджачной паре и галстук, садится он на велосипед и катит к базару.

А базар у нас нынче просторный. С тех пор как разрешили вольно торговать, базар перехлестнул рыночную городьбу и разливается все шире и шире. Не базар стал, а кирмаш, шумная ярмарка с товарами всех краев. От нашенских, молочных, с рассыпчатым творогом, густой сметаной, сливками и даже сыром; молочным еще торгуют сытые, словно на подбор, казачки с Камышей, Рюминского хутора, Голубинской, Кумовки, Пятиизбянской — для них старого молочного корпуса уже не хватает, на волю выбрались, в открытые ряды. Мясной корпус второй построили, и он — полон. На волю пошли. Рыбный ряд... Само собой, овощной. Этого добра, слава богу, хватает. Но свое — лишь малая часть торга. Здесь

одеться можно с ног до головы. Всякого добра набрать. Не унесешь — купи машину, трактор. Были бы деньги. За рядом тянется ряд. Стамбульский товар и китайский, украинский и со всего божьего света. В глазах рябит. «Какая-то страсть...» — качают головой и крестятся старые люди, привыкшие к тому, что на поселковом базаре торгуют две бабы молоком да еще две — редиской да мяса привезут две ли, три туши. Так было. А нынче пора иная.

Надо заметить, что для земляков моих воскресный базар не только, а вернее, не столько торг: место продаж ли, покупок, но праздник, место неожиданных и жданных встреч, долгих бесед с новостями. Обычно говорят: «На базаре встретимся...» И встречаются. На базар идут и ездят целыми семьями. Что-то покупают. А потом уговариваются: «Давай походим...» Идут по торгу все вместе или, разбредаясь, поврозь. Мужики тянутся к железкам: запчасти для машин да мотоциклов, инструмент; женщины — к тряпкам. Добро, что их — многоцветное море.

Сосед мой, Алексей Иванович, велосипед оставляет у знакомца, который рядом с базаром живет, и вольным казаком ходит да бродит по людному торгу. Приценивается к нужному и ненужному, встречает знакомых; старается отыскать земляков своих, хуторян. Хоть и лежит хутор далеко-далеко, за полсотни верст, и район другой, но приезжают, особенно те, кто из колхоза ушел в вольные землепашцы. Они привозят пшеницу, ячмень, пахучее золотистое подсолнечное масло. «Живут люди, — потом сообщает Алексей Иванович. — Кто с головой, работающие, они — живут».

С базара сосед мой не спешит, возвращаясь домой лишь к полудню. Покупок обычно немного, зато новостей — короб, до следующего базара хватит.

Тянется день воскресный неспешно: обед, дневной отдых, поездка к сыну, к дочери на том же велосипеде. Дела — лишь неотложные: покормить да напоить животину. Остальное — потерпит.

Но воскресенье бывает в неделю раз. Великих праздников вовсе мало. Остальное — будни.

Рано утром встаю, слышу, как глухо стучит секач. Сосед мой, Алексей Иванович, готовит скотине корм. Потом иные дела — огородные, житейские, — на долгий день хватит. Вечером — коза Катерина.

«Нюся, пора на пост...»

Живут они от нас недалеко. Старая учительница давно на покое, ходит с костыликом, помаленечку гаснет, но духом жива: читает газеты, книги, любит поговорить. Захожу к ней по старой памяти.

Поселок наш зелен. Кроме обычных тополей, кленов да вязов на улицах растут абрикосы, тутовник, смородина. Во дворах — яблони, груши да вишни.

Старой учительницы двор — вовсе зеленая глухомань. Деревья плотно сомкнулись кронами, низко ли, высоко над землей — и теперь, в любой солнцепек, во дворе сумрачно. Сверху — полог листвы, от земли поднимаются задичавшие заросли смородины, малины, шиповника, плетучего винограда — не пробьешься. Лишь тропы ведут к местам необходимым: погребу, колодцу, летней кухне.

Наведываюсь в этот двор, где под старой грушею — круглый стол, и чайник всегда шумит, и гости не переводятся. Хозяйка, отягченная годами и болезнями, по-стариковски мила, строга к супругу своему.

— Придумал... Надо же... — укоряет она. — Яблоно захотелось ему резать. Живое дерево... пилой. А если бы тебя этой пилой, ее зубьями, — подпускает она яду, — взять бы твою руку, пилить да пилить, пилить да пилить. Тебе бы это понравилось? Чего молчишь?

— Но Нюся... — пытается объяснить ей супруг. — Ведь это для пользы дела и дереву полезно. Деревья у нас очень загущенные, потому что мы своевременно не проводим обрезку, как это положено. Давай попробуем, хотя бы одно дерево обрежу, и ты увидишь...

— Не смей. Никаких обрезок. Я об этом и слушать не хочу. Как дереву надо, так пусть и растет. Она умнее нас, эта яблоня. В ней — природа, ее вечный разум. А не твой, ограниченный. И ей твоих подсказок не надо! — воздевает она руку и жалуется гостям: — Варварские какие-то наклонности у него появляются на старости лет.

— Но Нюся... — еще раз пытается возразить супруг.

— Не сметь... — мягко, но решительно говорит она. — Я уже сказала: не сметь.

Супруг удаляется, бормоча и пожимая плечами.

Эта история — давняя. Ей годы и годы. Обычно в наших дворах находится место всему: деревьям и огородным грядкам. Здесь же, в зеленой глуши, где все растет и сплетается по воле божьей, грядкам давно уже места нет. Огурцы, помидоры, болгарский перец — все от соседей.

Время от времени тишайший супруг учительницы пытается бунтовать.

— Нюся, — говорит он, — так нельзя. Надо проредить малину, и тогда будет урожай.

— Проредить?.. Чем? Вот этими, железными... — вспоминает она ненавистный инструмент, — щипцами... Не сметь.

— Но Нюся... Это никакие не щипцы, а садовый секатор — обычный инструмент.

— Это орудие пытки, а ты — палач. Но я не позволю. Не сметь! — грозит она пальчиком. — Иди к железкам своим, их завинчивай, режь, колоти. А живое я не позволю. И никаких разговоров об этом.

Супруг удаляется.

Занятная это пара. Старая учительница. Муж ее — на все руки мастер. Телевизор, радиоприемник, стиральная машина, велосипед, мотоцикл... Соберет, разберет, починит. Да что машина стиральная... Легковая, которая в гараже, древнейший «Москвич», движется, словно старинный дилижанс, лишь потому, что хозяин жив.

Когда заходишь к ним с улицы во двор, отворяя калитку, упреждая хозяев, звенит звонок. Во время вечернее на подмогу пришедшему загорается свет, сначала у ворот, потом возле дома, чтобы не во тьме блукать, спотыкаясь. Проходишь — лампы сами собою гаснут.

Хозяин характером простодушен, идеями окрылен, парит вдохновенно. Порою кажется, что не редкие седые пряди вздымаются над стариковской головой, а клубятся мысли, которым в голове тесно. Одна лишь беда:

— Не смей. Это я запрещаю.

— Но Нюся, это же очень удобно: нажимаешь кнопку — включается двигатель...

— Не смей.

Приходится оставлять такие завлекательные, а главное, полезные идеи, как эскалатор для подъема и опускания хозяина в погреб. Ведь неудобно и все труднее спускаться туда по ступенькам лестницы, а особенно — подниматься. А тут бы сел в кресло, нажал кнопку и поехал.

— Не смей. И думать об этом запрещаю.

Он уходит, вздыхая и бормоча.

Старые люди — что малые дети. Слушаю их, посмеиваюсь, потихоньку горюю: годы, годы...

В пору летнюю тихий поселок наш становится людным. Съезжается народ погостить, навестить родителей да родню. Детворе здесь — рай. Да и взрослым не грех на солнышке кости погреть, покупаться в Дону и просто пожить на родине, в старозаветной тиши, обедаясь всем, чем дарит щедрая отчина: ухой из свежей донской рыбы, густой сметаной, душисты-

ми топлеными сливками — каймаком, сочными, в золотом пушке абрикосами, яблоками да грушами, от которых ломаются ветки, а земля пестрит сладчайшими арбузами, дынями, не говоря уж про помидоры, перцы, баклажаны и прочую зелень.

Съезжаются со всех краев.

Старой учительницы двор, как говорится, «на ходу»: на реку, на базар идти — он на пути. А может, дело в привычке. Когда-то росли здесь две милые особы. Давно молодое минуло, но память жива. Под старую грушею — тот же круглый стол. И чайник шумит, встречая гостей. Их много в летнюю пору. Вечером, когда темнеет, под грушею над столом загорается лампа, освещая круг друзей и знакомых.

Все мы здесь выросли и разъехались. Встречаемся реже и реже. И чаще всего в этом дворе, за круглым столом, под грушею. И словно в прежние годы, те же лица: старая учительница, муж ее, взрослые уже дочери, их друзья.

Времена нынче — для всех непростые. Есть о чем говорить, о чем спорить. Старая учительница, как и прежде, много читает.

— Наша мама... — радуется ее дочь. — Я преклоняюсь перед ней. Она в таком возрасте и так здраво, по-современному судит. Выпьем за мою маму...

Старая учительница в нашем кругу, у стола. Муж ее всегда в стороне. Посидит, послушает, уйдет, потом снова вернется.

— Мне аккумулятор принесли для проверки, — извиняется он. — Я его поставил на зарядку, но надо поглядывать.

— Наш папа... Всего четыре класса образования — но такая светлая голова. Я горжусь им. Давайте выпьем за моего папу.

Выпьем... Летнего застолья долог срок. Встреча друзей. Позади уже не годы, десятилетия. Свет лампы обрезает сумрак вечерний.

А потом старики уходят.

— Нюся, пора на пост, — негромко напоминает супруг.

Старая учительница поднимается. Они уходят вдвоем. Хотя «на пост» идти лишь супругу. Это он работает ночным сторожем. Еще один, невеликий, но приработок. Не столько себе, сколько детям да внукам. Хотя давно они взрослые, но пора нынче трудная. Тот же отпуск. На одни билеты сколько денег уходит. Надо помочь.

Старая учительница провожает мужа до места, прощается с ним до утра, идет домой, но к гостям уже не выходит.

— Мама, иди к нам, — зовут ее дочери. — Все равно ведь не спишь.

Она не хочет к ним. Она про мужа думает: как он там?.. без нее... такой старей.

— Мама, включи телевизор, — говорят ей. — Тебе будет веселей.

Она не хочет веселья.

— Возраст... — объясняют дочери. — А вот папу ничего не берет. Он не может без работы. «Нюся, пора на пост», — вспоминают его фразу, посмеиваются. — Молодец наш папа. Выпьем за него!

Ухожу и я. Застолье будет долгим, а я от этого отвык. Тоже, наверное, возраст.

Поселок уже во тьме. В окнах огни скоро погаснут. Лишь редкие фонари на центральной улице и на площади будут светить до утра. Тоже ведь — «на посту».

Юрочка

Летней порою поутру обойти свои владения: двор, огород и сад — дело для сердца милое.

Солнце лишь поднимается. Солнечный желтый свет — пятнами и косыми лучами меж деревьев. Ласкает взгляд освеженная ночной прохладой зелень. На капустных листьях зреют белые капли росы. Дышится легко.

Медленно идешь межою, тропкою, озираешь; и если пришла пора, собираешь легкую дань: выдернешь сочную редиску, в шершавом укрыве огуречных листов нашаришь зеленец, похрумкаешь, соблазнят тебя румяное яблоко или золотистые абрикосы, их пряная пахучая сладость.

Идешь, собираешь... А заодно — всему хозяйству догляд, своему и, конечно, соседскому, которое за легким забором. Как не заглянуть? Огородных соседей у меня аж семеро. Есть куда поглядеть. К Алексею Ивановичу, на его строгий огородный чертеж; к Коротковым, на могучие валуны тыкв; к тетке Фросе... Лишь к Юрке заглядывать нет нужды. Во дворе его — пустая трава. Огорода он не сажает.

За глаза все зовут его Юркой. В лицо — Юрием да Юрием Ивановичем. Все же возраст — полсотни лет.

— Это какой Юрка? — порою спросят.

— Да какой бегаёт.

И все ясно.

Он и вправду бегаёт, летом и зимой. Говорит, для здоровья полезно. По теплomu времени — в одних трусах. Ноги у него сильные, мускулистые. В непогоду натягивает драный выцветший плащ, на голову — нелепый и тоже рваный башлык. Получается нечто несуразное. Не знающие его люди глядят удивленно. Водители машин притормаживают. А Юрка бежит себе по улицам, потом — через мост, за Дон, далее. При беге на лице его какое-то ожесточение ли, борьба. Все же трудная работа — бег. Десять, двадцать километров — это не шутка.

Соседка корит его:

— Лодырь ты, боле никто. Картошки бы насажал. Варил бы да ел. Ведь ничего не делаешь.

Юрка сердится:

— Дура. А бег? Ты попробуй, тогда говори.

— Кому он нужен, твой бег? Бес побег в лес...

Вечерами Юрий приходит к моей матушке поговорить. Они умеют беседовать, у них получается. Я лишь слушаю издали.

— Ничего не понимают, — жалуется Юрий на соседей. — Глупые люди, необразованные. Бег — это здоровье. Но он требует времени. Потом, я читаю, занимаюсь английским языком. И с Мариночкой нужно много заниматься, чтобы она выросла человеком. Дома кто с ней займется? Что они могут ребенку дать?

Он старается объяснить, тянет худую жилистую шею.

Одет он во всякое рваньё: заношенные рубашки с махрами на вороте да рукавах, брюки — тоже глядеть грех, на ногах — разбитые рваные кеды. Есть у него парадное одеянье, как говорится, поприличней. Но тоже заношенное.

Юрка — одинокий бобыль. У него что-то с головой. Прежде он на аккордеоне играл, работал в хуторских школах. Потом захворал. Отец с матерью его чуть не разом умерли. Теперь живет одиноко. Получает пенсию, конечно маленькую, по болезни.

Прежде, когда еще что-то значила его пенсия, моя мать и еще живая тетушка советовали ему:

— Вы купите с пенсии макарон, круп, маслица, мясца немного. Варите щи да кашу, вот и будете всегда сыты.

— Нет, нет... — старательно объяснял он, вытягивая жилистую шею. — Времени нет. Мне обязательно нужен бег, для здоровья. А после бега я отдыхаю, занимаюсь английским. И Мариночку надо из детского сада привести, погулять с ней.

Мариночка — это соседская девчушка, давняя его забава.

— Нет, нет... — решительно не принимал он советов. — Я в столовой беру щи и какой-нибудь гарнир, лучше макароны. И мне вот так хвата-

ет, — показывал он, пиля себя ладонью по худому горлу. — А утром и вечером у меня молоко и хлеб. А если я с Мариночкой иду в столовую, то беру ей сметану.

— А то вашу Мариночку некому покормить, — осуждали его мои старики. — Мать с бабкой ее наперебой кормят. Вы бы сами побольше ели.

— Мариночка любит сметану, — свое гнул Юрий, и на худом лице его играла довольная улыбка: он был счастлив, что может исполнить желание девочки.

Теперь в поселке, в своем старом доме, мы проводим лишь пору летнюю. Юрка приходит к нам часто, вечерами беседует с моей матушкой. Осенью, когда уезжаем, он, прощаясь, горюет:

— Не к кому мне теперь будет ходить. К тем я не хожу и к тем — тоже. Они ничего не понимают. Раньше я к вам всю зиму греться ходил. Помните?

Мать моя помнит. Помню и я. Приедешь, бывало, их проведать, сидят на кухне: тетушка, мать моя, у печки — Юрка. Дома у него не топлено, холод. Как он зимует, знает лишь бог. Конечно, отчаянно мерзнет. И ходит греться то к одному, то к другому. А гость он — не больно нужный, потому что вонь от него — не продохнешь. Сроду немый, да еще бегаёт всякий день верст по десять и, значит, потеет. Все это на нем копится. Зайдет в тепло, расстегнется, отогреется — такой дух пойдет, что впору из хаты бежать. Кое-кто ему говорит: «Сходи в баню, помойся». Он обижается и в такие дома старается не ходить.

Мои тетушка да мать — люди совестливые — молчали. Да еще накормят его: щей нальют, чаем напоят. Зимой он приходил к моим бабкам дважды в день. С утра — просто погреться. Он так и говорил: «Спал, замерз. Хоть и ватное одеяло, а заколел». Заколеешь, если на улице двадцать градусов мороза. А значит, и в хате — мороз.

С утра он в нашем доме отогревался и уходил. А вечером прибывал со своей кружкой и с магазинной булочкой, просил: «Налейте кипяточку...» Конечно, кормили его, чаем поили. И он, отогревшись, разморенный, сидя засыпал возле печки. Старушки мои его не тревожили, жалея. Потом лишь хату долго проветривали. «Такая вонь, — говорили они. — Прямо глаза щиплет». Это понятно: немывое тело, грязное белье. Но они терпели, не укоряли его.

И потому он теперь вспоминает:

— Я к вам зимою греться ходил, чай пить. Хорошо было.

Но сейчас — лето, пора теплая, до холодов далеко. И потому жизнь Юркина — рай. Правда, пенсии теперь стало хватать лишь на хлеб. Столовские тогдашние щи да макароны давно забыты. Сначала перешел Юрка на хлеб да молоко — три литра молока, две буханки белого хлеба. Говорил, что вполне хватает. Теперь — не до молока, лишь — хлеб.

Всякий вечер у них с матушкой моей об этом разговор, несложные подсчеты:

— Тысяча восемьсот стоит буханка хлеба, и надо еще полбуханки, потому что одной буханки мало. Получается две тысячи семьсот. Умножить на тридцать, это — восемьдесят одна тысяча. Плачу за свет, ведь я вечерами читаю. А одной буханки мне мало, я ведь бегаю.

— Да, да... — соглашается моя матушка, а потом участливо спрашивает: — Может, вам не бегать, не тратить сил?

— Нет, нет! — решительно отвергает ее совет Юрка. — Бег — это жизнь моя.

Все верно. Бег — его жизнь. Когда я вижу поздним утром, как он бежит, сосредоточенный, строгий, то понимаю — дело нешуточное.

А еще — Мариночка. Это Юрка так зовет ее: «Мариночка!» Остальные — просто Марина, даже мать и бабка. Марина ли, Маринка... Когда как.

Соседская девочка. Обычное курносое дитя с конопушками. В детский садик ходила. Теперь — первый класс окончила.

— Мариночка — моя душа, — не раз слышал я, как признается матери моей Юрка. — Мариночка — моя жизнь.

Да это и без признаний видно. Глядишь, бредут рука об руку.

— Ходили с Мариночкой на Дон, она любит купаться. Плавание для ребенка очень полезно. Это — гармоничное развитие.

— Ходили с Мариночкой в Дом культуры, там — бесплатный концерт. Мариночке это нужно.

— Ходили с Мариночкой...

С нею и по дворам ходит.

— Мы к вам пришли с Мариночкой, — докладывает Юрка, хотя все и так налицо.

Мать их усаживает, угощает.

— Ну, нам с Мариночкой пора.

Подались. Со стороны поглядеть — пара занятная: принаряженная девчушка (мать с бабкой стараются), а Юрка в одной поре: разбитые кеды с пальцами наружу, драная, заношенная одежда, на лицо — морщинистый, старообразный. Бредут потихоньку, беседуют. То там встретишь, то — здесь.

Часто играют в Юркином пустом дворе. Прятки, догонялки...

— Не подглядывай, Юрочка.

Соседи лишь головами качают. Седоклокий Юрка старательно «куликает», прячется, спешит «застучаться».

— Я — первая, Юрочка! Я первая! Так нечестно!

Порою игры свершаются под музыку. У Юрки есть старенький проигрыватель. Он его выносит из дома, включает, ставит пластинки.

— Бетховен! Моцарт! Чайковский! Классика! — вздымая руку, объясняет он моей матери. — Мариночка должна слушать настоящую музыку. Ведь по радио и по телевизору теперь передают всякую гадость, иностранщину, разврат. А это — Бетховен!

Крутится пластинка. Звучная музыка плывет над двором. И детский голос:

— Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Юрочка, где ты?!

Порою идут уроки иные:

— Мариночка, хау олд а ю?

Чаще это бывает на людях.

— Мариночка, хау мач...

И ждет, поглядывая на тех, кто рядом. Но девочка молчит, супится.

— Стесняется, — объясняет Юрка. — Но она все понимает. Английский язык необходим, это — международный язык. Мариночка, летс гоу...

Как с английским, не знаю, но читать да считать он и вправду научил ее прежде школы. Теперь она первый класс закончила.

— Отличница! Все пятерки! — торжественно объявляет матери моей Юрий.

— Конечно, вы ей столько времени отдаете, — говорит мать моя. — Занимаетесь, учите...

Юрка доволен. Он счастлив, но и суров.

— Я сделаю все, чтобы она выросла настоящим человеком! — словно клятву дает он. — Сейчас везде разврат: телевидение, радио, газеты, литература — везде секс и насилие. А я сделаю все, чтобы она выросла... Чтобы она...

Вечерет. Потом темнеет. Мать моя рано уходит в дом; молитва да стариковские сборы ко сну. Она уходит, я долго сумерничаю: удобное полотняное кресло, тишь, покой.

Соседские дворы — рядом; как всегда, ругается Вовка с женой ли, с матерью: «Я вас научу! В бога... В креста!..»; одинокая тетка Фрося на

крыльце своем кряхтит, охает, порою негромко плачет или также негромко поет; «До свидания, Юрочка! — слышится в полутьме. — Юрочка, до завтра!»

Вечер. Розовеют, а потом гаснут высокие облака.
В соседских домах зажигаются огни.

Летние вести

Когда приезжаю в наш старый дом на долгое летование, то чувствую, как скоро, не за день, но уже за неделю, уходит ненужное, словно шелуха отлетает. Уже не спешу по утрам за газетами, а вечерами — к телевизору. Иные страсти.

Ранним утром на нежарком еще солнышке сидеть посреди двора, чужая благодать теплых лучей. Нас много таких, мудрых: рядом, на стене дома, распустила свои дивные крыла бабочка-крапивница, тут же — капустница и большие иссиня-черные мухи, выше всех, на узкой сливовой доске, над крышею, пристроилась кошка, дремлет на солнце и жмурится.

Хорошо так сидеть. Птичий посвист в ветвях деревьев: садовая славка журчит, иволга просвистит. Редкий петушиный крик. Тишина. Весь двор, от сарая до вишен, в золотой россыпи цветов одуванчика; так хороши они на зеленой скатерке. А возле крыльца — невеликий клочок степи: пастушья сумка, легкий вейник, овсяница, мышинный горошек — словно мягкая постель. В тени, под вишней да сливою, зеленая гущина ландышей с белыми колокольцами цвета.

Утреннее солнце, зелень, тишина, в небе — ласточек щебетанье. Какие уж тут газеты. До них ли... День-другой обошелся. А потом и вовсе забыл.

В старом доме все долгое лето мои вести лишь здесь, под белым небом. Абрикосы — в цвету; потом — вишня, алыча да смородина; им на смену — груши да яблони. Ласточек щебет. Поднял голову: точно — они, высоко в небе играют. Вот и новость: прилетели касатки.

В пору прежнюю, давнюю, то ли улица наша была вовсе тихой, машины не ездили, то ли коров в каждом дворе держали, но помню ясно: в годы мои мальчишеские ласточки лепили свои гнезда на каждом доме, под коньком крыши. В коровьих стойлах они селились и даже на нашей крошечной веранде, где спал я с весны до осени. Топчан там стоял, а над ним — гнездо. По утрам, просыпаясь, первое, что слышал я, — ласточек щебет. Пол-лета они ныряли под низкий наш кров, туда да сюда. Ласточек, гнезда их и птенцов берегли, твердо зная, что приносят они в дом счастье, а разоришь их гнездо — будет беда.

Теперь ласточки у нас не живут, лишь утром да вечером летают в вышине. А селятся на краю поселка, за Березовым логом. Там — тише, и люди держат коров. Порой я ухожу туда, сажусь где-нибудь на скамеечке у чужого двора и слушаю, и гляжу, как щебечут, как у гнезда хлопчут красногрудые птицы.

А главная нынешняя новость горькая: за зиму погибли сразу четыре яблони. Старый дом, старый сад... Словно чует все: нет хозяина. Яблони не больно старые, но болели. Теперь в одну зиму «бельфлер», «симиренко» и «старкен» погибли. Надо корчевать. Осталась из яблонь одна-разъединя «яндыковка». Каждый год на ней — урожай. Закраснеются яблочки — глаз от дерева не оторвешь. И кормит она всю нашу округу. Ранний сорт, самый едовый. Люди стараются землю использовать «для дела». Картошки побольше посадить, помидоров и прочего. А если яблоню, то сорта позднего, зимнего, чтобы хранились дольше и при случае продать. А яблоки ранние — это вроде баловство. Но баловство-то баловство, а как только зарозовеет «яндыковка» — ее издали видать, — так и идут один за другим: детишкам в радость похрустеть яблочками, да и взрослые не прочь зубки

поточить, пирожка испечь яблочного, варенье сварить на зиму, — все вроде баловство, но без него скучно. Вот и идут: «У вас яблочки такие хорошие». — «Берите, не жалко...» А яблоки и вправду хорошие. Алый бочок, сочная белейшая мякоть, а уж сладость... Выспеет, становится прозрачным, черные семечки выдать. Старинный сорт — «яндыковский». Это еще не я сажал, а мои старики. Сам я потом брал дички, укоренял их и прививал. «Бельфлер»-китайка — могучее дерево, а яблоки крупнющие, белые с розовым. Какой-то редкий для наших краев сорт, будто бы — «старкен», так понравился мне, что привил его на три дерева. Это — яблоки поздние. Висят они на дереве до октября и ноября, становясь по цвету темно-красными, почти черными, как запекающаяся кровь. Они вначале жестки, хотя очень сочны и сладки; но через месяц-другой лежки их мякоть смягчает, по цвету становится желтоватой, медовой. Такой и остается всю зиму. Яблоко может храниться до весны и до лета, до новых яблок. Много я всяких фруктовых деревьев сажал, растил. Слив — не меньше десятка сортов. Из старинных — белослива, «кубышечка», «бутылочка», чернослив, «зеленка»; из новых — «Анна Шпет», «великан». Потом увлекся абрикосами, посадил сразу шестнадцать корней. Груши, смородина, вишни, грецкий орех. И все это не только посадить надо, но, главное, выходить: поливать, окапывать, рыхлить, беречь от вредителей, готовить к зиме — с весны до осени. А теперь, видно, возраст пришел: нет охоты. Сила вроде есть, а охоты нет. Старею. Умирает дом наш, а вместе с ним и сад. Молодые к нему равнодушны. Им — лишь поесть. Правда, и сам я в двадцать лет садом не больно увлекался. Это уж позднее пришло, в годы зрелые. Пришло... А теперь вот ушло. И сад это чувствует — гибнет. Еще год-другой — и умрет. Наверное, вместе с домом.

Вечером, когда долгий день позади, так покойно, так сладко сумерничать. Особенно над речной водой, до которой — два шага. Тянет над Доном прохладный ветер. Задонские холмы — в свежей зелени. Чайки.

Или в том же дворе, возле старого дома. День отошел. По синему высокому небу — белая изморозь перистых облаков. Они горят золотым на закате и долго не гаснут. Нежный перезвон щуров в вышине; их не видно. Гудение пчел на цветущей яблоне; нет им отдыха. И в этом покойном мире душа человечья уже ничего не ждет и не просит, потому что все главное ей дано: земля, небо и долгое время жизни, летний праздник ее.

Отъезд

Как быстро приходит осень. Осень года и осень жизни. Не вчера ли, приехав из города в старый дом свой, раскрывал я окна-двери, чтобы отогреть остывшие за долгую зиму стены, печку топил день за днем. Будто вчера. А вот уже по утрам — тяжелые ледяные росы, вечером — вороний грай. Давно ли мальчонкою впервые ступил я на этот порог и кинулся осматривать дом и двор. На чердаке сыскал настоящий клад — сверток бумажных денег с портретами царей: пышная Екатерина, Петр, Александр с бородой, были там и керенки, и что-то еще. Вроде недавно? А вообще-то давно. Из тех лет мало что помнится. Давно. Но все равно осень жизни подступила неожиданно, словно осень года.

Будто вчера приехал. А вот уже и сентябрь. В первые дни его понемногу сеялся дождь, потом потеплело. Самая пора ехать за шиповником, там же, за Доном, накопать корней солдника. Добавишь его зимою в компот, в настой шиповника — сразу сладость, прная, пахучая. Пора понемногу огород, двор и дом прибирать к порядку зимнему: одно — на чердак, другое — под навес, в сарай, под замок. Времена нынче не больно веселые: бедность, работы нет, много народу праздного, пьющего, непутевого, который тянет все, что плохо и хорошо лежит.

Уходят и уходят дни, забирая лето. Звездные холодные ночи. А днем — тепло. Пышно и сочно цветут георгины. Астры — словно стрелчатые пушистые шары. Последние розы. Белые, синие, сиреневые хризантемы.

— Сейчас бы мне умереть, — говорит мать моя. — Много цветов. Красивые. И у нас, и у Шуры, у Маши. Мне — на могилку. Все осенью умирали: Нюра, Петя, Славочка, Коля. И я хочу осенью умереть.

Правда ли в этих словах или просто осенняя грусть, не знаю. Конечно, матери не хочется уезжать в город. Хотя и легче на зимней квартире, все под рукой: ванная, горячая вода, туалет. И дел особых нет: лишь пыль смахнуть с тумбочек. Читай, телевизор гляди. Но мир — четыре стены да окошки. И все чужое.

«Умереть хочу...» Правду ли говорит она? Вряд ли. Лекарства исправно принимает, врачей слушается. Но истово и подолгу молится утром и вечером. Может, и верит, что там, за гробом, не смерть и забвенье, а новая встреча с жизнью прежней, с родными людьми. Дай бог, дай бог... Мне этого не дано. И потому нечасто, но приходит, особенно по ночам, особенно осенью, ледяющий душу ужас — бесконечность небытия. Стараюсь об этом не думать, тем более не говорить. Жизнь хороша и осенью, когда жара спадает и тонет двор в белых, синих, фиолетовых астрах.

Возле крыльца, прикрывая стену коридора, вольно растет виноград. Я не обрезаю его, и лозы перекинулись верхом на вишню и сливу. Получилась зеленая арка. Осенью — кисти висят. Проходишь, пахнет спелым виноградом. Сладким ладаном отдает. Сорт такой.

Рядом, прямо на земле, возле коридорной стены, лежат арбузы и дыни. Дынный сладкий дух — по всему двору.

Днем порою жарко. Но уже осень. Воронье все ниже и ниже, огромными стаями, караванами тянется в сумерках утренних и вечерних на ночлег, на кормежку. Синицы в саду печально свистят. А других птиц не видно. Смолкла иволга, улетела. И моя журливая славочка убралась к теплу, к югу. Лишь горлицы стонут. Им зимой тоже несладко.

Все цветет, и много всего: дынь, арбузов, яблок, груш, винограда. Но сентябрь берет свое. Вдруг — ветер и ветер, к вечеру похолодало, пошел дождь, с громом и молнией. Дожди у нас редки и потому — в радость. Я сидел на веранде до поздних сумерек, слушая шум дождя. Потом лег спать, а дождь не кончался.

Летние дожди. В детстве от них не прятались, а плясали под теплым ливнем:

Дождик, дождик, припусти!

И теперь дождю радуюсь, встречаю его, словно друга желанного. Чую загодя освежающую прохладу ли, парную духоту. Дождевую тучу выглядываю и жду. От молний и грома в доме не прячусь, а, напротив, устраиваюсь поудобнее под открытым навесом, возле летней кухни, где все видно. Устраиваюсь и жду, встречая низкую сизую, с белесым подбоем или исчерна-фиолетовую тучу. И вот наконец сухой треск молнии, синий излом ее, сполох, громовой раскат, первая редкая дробь дождевых капель по крыше. Дождь пошел.

Грохочущий ливень-тучняк, когда на глазах появляются лужи и дождевые потоки бегут; мелкий, обложной, спорый «ситничек»; или теплый «слепой» дождь, сквозь солнце, когда сияют и светят прозрачные дождевые струи и в освеженном небе вспыхивает огромное коромысло радуги, которую я вижу всю целиком, от края земли до края. Рай-дуга.

Если дождь долгий, то я уйду на веранду и сажу там до позднего вечера, слушая неторопливый говор его.

Любой дождь в пору и в радость мне и старому дому. Кроме последнего, когда пора уезжать.

Утром он моросил. На воле — ветрено, зябко. Это — осень. Дом быстро остынет. Как старый человек скоро зябнет, так и дом наш за два-три дня нахолодает. Из углов, от пола потянет сыростью, неуютом. Все — осень. Лето прошло. Пора уезжать. Долгое было лето, но вот и ему конец.

Говорят, что уезжать в дождь — к удаче. Но я подожду день-другой, пока распогодится, чтобы уехать, но долго помнить зелень, цветы, а не слякоть да грязь.

Разъяснилось. Теперь — пора. Вот-вот ударит первый мороз-утренник. Обычно его не ждешь. Сочно и ярко цветут георгины, астры, мальвы, хризантемы — поздние цветы, не знавшие злого летнего солнца; их лепестки нежны, бархатисты: снежная белиз, синее, голубое, алый пламень. Днем над цветами порхают бабочки, гудят редкие пчелы. Словно лето. Но вот — пронзительно желтый закат. Стылость с вечера. Утром на траве и на крышах — белый иней. Георгины стоят краше обычного — в алом, багровом, желтом сиянии. Но тронешь рукой — лед. Пригрело солнце, лепестки почернели, пожухли. Нет цветов. Лишь черные будылья торчат.

Этой поры я ждать не буду, уеду раньше.

Вот он, последний мой вечер. Скорые осенние сумерки. Густая тьма, а потом — вовсе мрак крошечный, ночной. На земле в двух шагах ничего не видать. Зато небо — в сияющих звездных огнях и серебряном дыме. С каждым часом все ярче, спелее небесная зернь. Кажется, что двор наш и дом поднимаются от земной тверди и тьмы. Выше и выше. И вот уже рядом огни небесные и синие небесные воды.

Скоро, скоро, мой старый дом, и нам уплывать туда, в странствие вечное. Уплывем. И кто-то другой с теплой земли будет следить наш путь.

Но пока еще живы, старый дом мой и я.



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

*

ГОЛЫЕ ГЛАГОЛЫ

* *
*

Все ушло — заметки путевые,
Дневники, полотна без наброска,
Но остались тучки кучевые,
Ты да я да белая березка.

Но ушли и тучки кучевые
Вслед событию без отголоска,
Но остались капли дождевые,
Ты да я да белая березка.

Но застыли капли дождевые.
Смерть — всего лишь сердца заморозка.
И остались мы втроем впервые —
Ты да я да белая березка.

И на небе поняли впервые:
Как в земле ни тесно и ни жестко,
Неразрывны связи корневые —
Ты да я да белая березка.

* *
*

Мне б заплакать, да глаза мои засушливы.
И прошу я у заступника Николы:
Защити моих детей, они ослушники,
Мои дети — это голые глаголы.

Закаляла их в водице разноградусной,
Упреждала: на дворе не та минута.
Сколько можно жечь сердца в стране безрадостной?
Но ослушались и обожглися люто.

Остуди на них ожоги сердцевидные,
Огради и от злопамятливой вспышки.
Сам ты видишь, мои дети незавидные,
Но какие ни на есть — мои детишки.

И людей ты защити, — сны невеселые,
 Дни безденежные, в памяти — проколы...
 И кому нужны мои глаголы голые.
 Простодушные до глупости глаголы?

Колыбельная

В доме — пусто и в стране — не густо.
 Только ложь — рекой.
 Что-то тускло освещает люстра
 под моей рукой.

Ну конечно, под рукою — зыбка,
 в зыбке — никого, —
 Лишь мерцает первая улыбка
 сына моего.

А понятно ли тебе на небе
 ангелов родство?
 Может быть, нуждаешься ты в хлебе
 слова моего?

Я тебя баюкаю, малютка,
 и всю ночь не сплю.
 Нет, не зыбка, под рукою — лютня,
 в лютне — ни лю-лю.

* *
 *

— Когда бы только воду —
 Да на чужую мельницу,
 На мельницу чужую
 И кровь сегодня льем!..

Скажи, на кой юроду
 Стращать сестру-скудельницу, —
 Дай раны зацелую —
 Все порастет быллем,
 Покроется и цвелью,
 И оболочкой радужной
 Зрачков озерных рыбок,
 Куриной слепотой,
 Шмелиною фланелью...
 Да есть ли в жизни каторжной
 Пророк не без ошибок,
 Не без греха святой?



СЕМЕН ЛИПКИН

*

ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА

Вместе с весной

Когда все кружится в закрутке,
В безумной связке двух валют,
Как нежно-старомодны, чутки,
Как звонко соловьи поют,

Звончей, чем в комнате соседней
Кассет шальная новизна.
Пусть будет для меня последней
Неумолимая весна,

Но от нее узнал я вести
О тех, кого не забывал,
И умирал я с нею вместе,
И вместе с нею оживал,

И если поглотятся пылью
Земные родичи мои,
Весною, ставшей давней былью,
Продолжат песню соловьи.

1996.

.
* *
*

В поле лжи, и правды, и добра, и зла
Долгая дорога вдоль воды легла.

Марево — дорога, призрак — водоем,
Мы бредем, не зная, для чего бредем.

Был землею — в землю воротись, лежи,
Там ни зла, ни правды, ни добра, ни лжи.

1996.

Зимняя встреча

Стихов не оставляю я звонких,
Развеет их снежная мгла.
Глаза приоткрыл я в пеленках, —
И жизнь, я увидел, прошла.

Не так я дышал, как мечталось,
Хотел я смешаться с толпой,
А все-таки что же осталось,
Что сделал я, сердце, с тобой?

Мы встретились поздней зимою,
Зимой, перед самой весной,
И стало чертою прямою,
Что было всегда кривизной.

Как видно, дыхание лета,
Не зная о нем, я хранил,
И дни свои жаждою света
Я в пору зимы удлинил.

Искать ли удачливый жребий,
Где смерти растут семена?
На грешной земле и на небе
Одна только ты мне нужна.

1996.

Другу

Давно я не был у твоей могилы,
Мешают старость, транспортный заслон,
Но мне слышней, чем бденья гул постылый,
Твой вечный сон.

Как пламя плотное в летучем дыме,
Как будущее в отошедшем дне,
Так ты, покойный, мыслями своими
Живешь во мне.

Сроднились грязь и разум, зной и морось,
Прозренья боль затоптана толпой,
С тобою гнев делю, с тобою ссорюсь,
Молчу с тобой.

1997.

Ад

Идем, идем, пещера за пещерой —
Длиннющие, их разделяет арка,
Витрины, вывески сверкают ярко,
Но яркость почему-то пахнет серой.

Котлов не видно. Дискотеки, клубы
Без музыки. Здесь безнадежно тихо,
А время пришивает, как портниха,
К безмолвным рта́м людским чужие зубы.

Чистилище над нами. Райским садом
Оно придавлено. Мы это знаем,
Но то нам чуждо, что зовется раем,
Затем, что выросли и слиты с адом.

Лишь иногда над мертвою пещерой,
Над мертвым светом, злобой, ложью, блудом
Вдруг вспыхивают милосердным чудом
Глаза, дарящие надежду с верой.

1997.

Вечный двигатель

Жизненный опыт есть вывод печальный:
Надо казниться своею виной.
Исстари грех совершаем повальный,
Многие ангелы были нейтральны
В споре Творца с сатаной.

Умных исход устрашает конечный
Чудной планеты, где мы рождены,
Путь над Землею рассыплется Млечный,
Но у двуногих есть двигатель вечный:
Наше сознание вины.

1997.



СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН



УРОКИ ПРАВНУКА ВОВКИ

Маленькая повесть

Вовкины родители старательно готовились к продолжительной поездке за рубежи отечества.

Они не скрывали, что отечественные им осточертели, что гораздо более интересна Европа, в которой они прожили (по долгу службы) два года: 1994-й и 1995-й.

Они прекрасно знали, что нужно с собой брать, что брать не нужно.

Зонтики, например, нужно, они все равно заграничные, а в обуви надо ехать в старой, еще советской, чтобы за рубежом ее не жалко было выбросить к чертовой матери и купить новую, пусть и не самой последней моды: в России все равно никто этой устарелости не заметит. Народ у нас стал просвещенным, но не в такой уж степени.

У Полесских было двое детей: дочь Людочка, сын Вовка. Людочка была в свое время предусмотрена, была, по-советски сказать, плановой, а вот Вовка, тот оказался совершенно случайным. Захотел родиться — и родился.

Так вот, Людочка требовала к себе большего и пристального внимания, тем более что она ехала с родителями в заграничку. К тому же она была студенткой не какого-нибудь захудаленького института, а института финансового, и сколько нужно было хлопот и старания, чтобы и ей тоже оформить двухмесячный отпуск не то по состоянию здоровья, не то еще по какому-то состоянию — прадед Юрий Юрьевич толком не знал.

Когда собрались, когда уже чуть ли не упаковались, возник неожиданный вопрос: а неожиданного-то Вовку куда девать? На эти два месяца? Учебный же год! Вовка не отличник, отнюдь, отстанет — останется на второй год, а этого допустить никак нельзя: в этом случае у Вовки не останется свободного года и по окончании школы его тут же забреют в армию. Он и в вуз не успеет поступить, как забреют!

Совещались с участием всех троих «зарубежников», а также деда, бабки и прадеда Юрия Юрьевича, но ни к какому окончательному решению не пришли. Хоть лопни — не получилось консенсуса, а виноват, конечно же, был опять-таки Вовка.

— Не пойду я жить к этому старичью! — имея в виду деда с бабушкой, говорил он.

— Дедушка с бабушкой у тебя такие хорошие, они — папины родители, а ты к ним так. Мы даже и не понимаем, почему ты к ним так, — сказала Вовке его родная мать.

— Они зануды. Оставьте меня с ними — я все равно от них убегу. Без шуток. Даю честное — убегу! Вы и сами знаете, что они зануды, не раз высказывались.

— Куда? К кому убежишь? — спросили, смутившись, родители.

— А не все ли равно куда, к кому? Там видно будет. Может, к кому-нибудь из приятелей, а может, в нашу пустую квартиру. Вы же оставите мне ключи? Не имеете права не оставить. Я же дал вам честное слово, внес ясность, что вам от меня еще надо? Что, спрашивается, вам надо? Вот хотя бы к дедке-старшему убегу, у него светлая голова, и он не такой зануда. Разве что с легка, а чтобы всерьез — я этого не замечал. До сих пор... Не прогонишь меня, дедка? Юрий Юрьевич?

Юрий Юрьевич не любил, когда Вовка называл его, прадеда, дедкой, такое обозначение было ему поперек горла, но самым разумным было молчать. Он и смолчал, лишь, вздохнув, сказал:

— Ну, я — что? Ну, я ничего. Так-так-так!

У Юрия Юрьевича была собственная квартира, однокомнатная, но приличная. Он в свое время на самостоятельном житье перед родными детьми и перед родными внуками настоял и позже, еще при живой жене Евгении Матвеевне, не раз убеждался в том, что настоял совершенно правильно. Он, конечно, не думал при этом, что к нему хоть и на два месяца, но вселится никем не предусмотренный правнук Вовка, и теперь был в некоторой растерянности.

А надо было каким-то образом этот случай предусмотреть. Тем более надо было, что Вовка и еще сказал:

— Вот проживу у дедки два месяца, а там видно будет: может, я у него вообще останусь. Навсегда. Дедка все-таки демократ. Не чета всем вам, консерваторам!

— Вовка, это ты почему же так? — спросила у Вовки его родная мать.

— Очень просто! Потому что мои собственные родители тоже порядочные зануды. Они и сами об этом знают, только молчат. Скрывают от людей.

— Так о родителях нельзя!

— Родители сами должны заботиться, чтобы о них было нельзя. А я вот в любой момент могу доказать, что дело именно так и обстоит. Хотите — докажу?

Вовкиных доказательств никто не хотел, все промолчали, и только Людочка сказала:

— Ты все-таки хам, Вовка. Хам и больше никто!

— Говорю же: просто-напросто я откровенный человек. Ну? Так как? Все-таки? Приступим к доказательствам? Или так обойдемся?

Тут имело место уже общее замешательство, все присутствующие произносили ничего не значащие слова: «Ну и ну!», «Вот так раз!», «Воспитываешь их, а они...» и т. д., и т. д. Но все снова предпочли обойтись без доказательств.

Самое же затруднительное положение создалось у Юрия Юрьевича, и он сказал:

— Я готовить на двоих не умею. На одного — дело привычное, а на двоих — не знаю, как получится.

— Чего тут не знать-то? — удивился Вовка. — Если понадобится, и на троих приготовишь. А на двоих — так это пустяки. Тем более, что я картошку люблю. Поджаренную в масле картошку, а там уж все равно что. Йогурты так йогурты. Черносмородиновые.

В общем, выход из создавшегося положения был один-единственный: Вовка остается с прадедушкой. Тем более, что Вовка закончил разговор еще одним комплиментом в его адрес:

— У тебя, дедка, все-таки светлая голова. Гораздо светлее, чем у всех у этих... у всех этих родителей, у дедок-бабок, тем более у сестренки. Я уверен: ты и прапрадедом станешь, все равно твоя голова останется самой что ни на есть светлой!

— Ну это ты зря, Вовка! — смутился Юрий Юрьевич. — Как это может быть — прапрадед?

— Да очень просто! Вот она, — Вовка кивнул в сторону сестрички, — вот она принесет в подоле какого-нибудь ма-а-аленького крольчонка — и все дела. Ты, дедка, ее спрашивай, как это может быть, как бывает. Она лучше знает!

— Господи, какой хам! — всплеснула руками Людочка. — К тому же тебе-то какое дело до всего до этого?

— Как это — какое? Да ведь я в тот же день стану дядей! Этого тебе мало? Так ведь и отец с матерью станут дедом с бабкой, и дед с бабкой станут прадедкой с прабабкой, а вот он, — теперь Вовка кивнул в сторону прадеда, — он станет прапрадедом, то есть вовсе уже реликвией! И тебе всего этого мало? Ну и запросы у тебя — прямо-таки тоталитарные!

* * *

Вовкины родители оставили деду Юрию Юрьевичу на двухмесячное содержание Вовки семьсот тысяч рублей — почти по двенадцать тысяч на день. Не сказать, что богато, но сносно, особенно сносно, когда вспомнишь о голодающих под землей шахтерах. И теперь за полчаса до того, как начать будить правнука — тому будильник был нипочем, — прадед кипятил чайник, заваривал кофе или какао, резал хлеб и два порядочных ломтя хлеба намазывал маслом, а иногда еще и паштетом, разогревал вчерашнюю кашу геркулес, а тогда уже и приступал к подъему Вовки.

Дело было не из простых.

— В школу же надо! — объяснял правнуку Юрий Юрьевич.

— А пошла она к черту, эта самая твоя школа! — объяснял со всей серьезностью Юрию Юрьевичу Вовка, но глаз не открывал, а почти до пояса залезал под подушку. — Чего я там не видал, в этой школе? — спрашивал он оттуда. — Чего, скажи, пожалуйста?! — чуть ли не плакал под подушкой Вовка.

— Так ведь надо же?!

— Тебе надо, ты и иди. Мне там делать нечего!

— Вовка! Ты мне надоел! Не хочешь — не ходи. Мне-то, в конце концов, какое дело! Тебе уже двенадцать лет, взрослый человек.

— Ну, слава Богу — договорились! — отзывался Вовка и всхрапывал вольготно.

Через минуту, меньше того — через полминуты, все начиналось сначала:

— Вовка! В школу же надо! Ты уже безнадежно опаздываешь! — (На самом-то деле надежда еще была.)

— Опять за свое! — бурчал Вовка. — Опять, старый, за свое. Житья от него нету! Мы же договорились. Ты, дедка, мужчина или уже не мужчина, если первым изменяешь договоренности?

Юрий Юрьевич стаскивал с Вовки одеяло, Вовка сопротивлялся, но говорил «бр-р-р!» и открывал глаза:

— Бог знает что такое! И когда только это безобразие кончится?

С закрытыми глазами, пошатываясь, на ощупь Вовка шел в туалет, возвращался, садился на свою раскладушку и снова прикивал головой к подушке.

— Ну ладно! — говорил Юрий Юрьевич. — Раз так — убираю со стола. Все убираю: и хлеб, и масло, и йогурт. И кашу убираю!

— Перетерплю! — отзывался Вовка как будто радостно. — Без каши. Без йогурта — перетерплю.

— А я ухожу! — убедительно говорил Юрий Юрьевич. — Буду часов в пять вечера. Не раньше. Обедать будешь сам, потому что ты мне надоел.

— Скотская жизнь! — отзывался Вовка и шел к столу. Он знал, что это не шуточки: однажды Юрий Юрьевич так и поступил — со стола все убрал и ушел. Ну если не в пять, так в три тридцать вернулся.

На времени, предназначенном для завтрака, Вовка, как мог, сэкономил: сметал со стола всю еду за минуту и бежал в прихожую. Надевал куртку, за спину забрасывал школьную сумку, Юрий Юрьевич широко распахивал дверь, и Вовка бросался в нее, застегиваясь на ходу. Через две, а то и три ступеньки он прыгал вниз по лестнице. Они жили на четвертом этаже, и Вовка считал, что так быстрее, чем вызывать лифт.

Юрий Юрьевич, послушав, как прыгает Вовка с четвертого до первого этажа, возвращался, прибирал Вовкину раскладушку, не торопясь завтракал, мыл посуду, а после этого он, признаться, ложился, не разбирая постель, на кровать. Не то чтобы засыпал крепким сном — только вздремывал с чувством выполненного долга: отправить Вовку в школу — разве это было не его долгом? Перед Вовкой, перед Вовкиными родителями, перед обществом и государством?

Настроение портилось при мысли о том, что дома мать вряд ли столько же времени возится по утрам с Вовкой, это на нее никак не было похоже, похоже было на то, что Вовка, поселившись у «дедки», беспардонно пользовался его либерализмом.

«Надо быть поостроже! — думал в полудреме Юрий Юрьевич. — Либерализм тоже требует дисциплины. Да еще какой!»

Так Юрий Юрьевич, оставшись один, начинал свои мысли относительно Вовки, кончал же их Бог знает чем и как — и в оптимистическом духе, и в самом пессимистическом. Он вспоминал правнука совсем маленьким и представлял его совсем взрослым... Вовка был для Юрия Юрьевича личностью загадочной, нелегкой личностью, с которой трудно было, а может быть, и невозможно найти общий язык.

Вовкин отец, Юрия Юрьевича внук, совершенно неожиданно для всей семьи, для всего рода Полесских пошел по военной линии, быстро сделал карьеру в инженерных войсках и достиг звания подполковника.

И Вовка лет до восьми тоже благоговейно относился к армии, страсть как любил смотреть по ТВ парады на Красной площади и, вылупив глазенки, считал:

— Р-раз-два, р-раз-два!левой!левой!левой!

Когда же Вовке стукнуло восемь и он переходил в третий класс, отец неожиданно (под настойчивым влиянием жены) из армии ушел в частное предпринимательство и там тоже преуспел. Не то чтобы он был из самых-самых — он не имел виллы ни на Крите, ни под Ниццей, но, в принципе, мысль о вилле была ему не чужда. Вовка быстро охладел к военной выправке, к строевому шагу, он стал человеком вполне гражданским и таким вот загадочным, как сейчас.

Юрий Юрьевич, оставшись на два месяца лицом к лицу с правнуком, не любил думать о нем в его присутствии. Получалось, будто он подглядывает за ним в щелочку, зато в одиночестве попросту не мог от этих размышлений ни под каким предлогом уклониться.

Размышления его были сумбурны. А как иначе, если сам Вовка оказался гораздо более сумбурным, чем прадед представлял его себе издали, общаясь с ним от случая к случаю, чаще всего по воскресеньям во второй половине дня.

* * *

И все-таки Юрий Юрьевич мечтал, чтобы Вовка пошел не в своего отца — военного инженера, ныне бизнесмена, — а в деда, в сына Юрия Юрьевича Гену, инженера-конструктора и эколога. Гена ведь был таким способным: в двадцать девять лет защитил докторскую диссертацию. А Вовка? Да он и в двадцать девять будет таким же шалопаем, каким был

нынче, в двенадцать лет, и Юрий Юрьевич, глядя на правнука, думал: «Только бы еще хуже не был!»

Вот и все тут утешение...

Только бы хуже не было, и по утрам, поднимая Вовку с постели — великий труд! (с Геней таких хлопот никогда не было, ничего подобного) — Юрию Юрьевичу стало приходиться на ум другое. Когда Вовка, не просыпаясь, посылал свою школу ко всем чертям, Юрий Юрьевич вздрагивал: «А может, правильно?!» Непутевая была Вовкина школа, чувствовалось: непутевая!

Юрий Юрьевич тоже иногда ленился вставать, лежал и думал: «А на кой черт? На кой черт ради сегодняшнего дня, ради нынешнего времени вставать-то?» И ему казалось, что так не он один, отнюдь! Вся Россия просыпается с тем же чувством. Ну, не вся, Зюганов, Ельцин, Лебедь, может, и по-другому, но России-то, право же, от этого не легче. Не хочется России что-то делать, все у нее не впрок. Не хочется даже дать кому-нибудь по морде, не хочется взбунтоваться, хотя все без исключения властители, все претенденты на власть только и делают, что к этому толкают. Рано или поздно дотолкаются.

Это в Албании обманутые вкладчики банков свергают правительство, у нас — не то. У нас была Великая Октябрьская, она от бунтов людей отучила. Мы-то знаем, чем бунт может кончиться. Вот уж если станет совершенно нечего есть — вот тогда...

Но Вовка-то здесь при чем? А при том, что он об этом знает, знает, в какой стране он живет, малым своим умишком догадывается. Догадался уже, звереныш. Почти ничего не знает, но почти обо всем догадывается. Инстинкт!

Юрий Юрьевич на всю свою оставшуюся жизнь запомнил, как три дня тому назад он, вконец рассердившись, не стал будить Вовку, а ушел из дома.

Когда вернулся, Вовка, полуодетый, сидел за письменным столом прадеда, положив на стол руки, а на руки — косматую, с неопределенного цвета волосами голову.

«Дедка» вошел — Вовка не пошевелился.

«Дедка» стал разогревать обед, ставить обед на кухонный стол — Вовка не пошевелился.

«Дедка» стал обедать, Вовка пошевелился — видно было из кухни: он поднял голову, зло зевнул и пошел обедать. Обедал молча, изредка поглядывал на «дедку»: дескать, сейчас убью. Поест, конечно, надо, а потом уж — убить.

«Чего доброго... — думал Юрий Юрьевич, — переходный возраст... К тому же в школе карате занимается». Он вспомнил себя в переходном возрасте: он не убил бы, но тарелкой об пол — мог. Впрочем, кто его знает, дети тогда смиренными росли.

Вовка в тот раз пообедал, по-прежнему совершенно молча оделся, молча ушел.

Правда, взял с собой тетрадки, значит, ушел к кому-нибудь из друзей заниматься, узнать, что проходили сегодня в шестом классе «В».

* * *

Пришел Вовка поздно, Юрий Юрьевич уже лежал в кровати и сделал вид, что спит.

Ужин стоял на столе в кухне, Вовка к ужину не притронулся, не притронувшись, лег спать.

«Успел у кого-то из друзей пожевать-полакать, щенок! — подумал Юрий Юрьевич. — Как-то завтра утром будет вставать — опять так же брыкаться?»

Вовка вставал почти так же, разве только чуть-чуть попроворнее.

Надо было или объявлять правнуку войну, или примириться с существующим положением вещей. На войну у Юрия Юрьевича духа не хватило, он пошел на примирение, и когда нынче Вовка позавтракал и рванул на лестничную площадку, Юрий Юрьевич успел сделать поглаживающее движение по его голове с пестрыми волосами.

В такой-то вот жизни прошла неделя... Надо было что-то делать, хоть как-то действовать, и Юрий Юрьевич подумал: «А что, если я предложу Вовке заниматься с ним домашними уроками? Днем, покуда один, буду готовиться к занятиям, а вечером заниматься? Хотя бы раз в неделю?»

К удивлению Юрия Юрьевича, Вовка, три раза пожав плечами, согласился, согласившись, сказал:

— И охота тебе... охота мараться?

Наверное, Вовка тоже был все-таки склонен к миру, а не к войне. Вот и все человечество так же, только не всегда у человечества получается.

А у них с Вовкой, будь уверен, получится!

* * *

Несколько дней Юрий Юрьевич усиленно готовился к первому занятию по учебникам, которые Вовка оставлял дома, потому что в этот день по этому предмету уроков не было. Ну, и по другим источникам.

Предметом же предстоящего занятия оказалась ботаника, и Юрий Юрьевич добросовестно проштудировал все разделы, которые в шестом «В» классе уже прошли. Они-то там, в школе, со своей ботаничкой уже прошли, а Юрий Юрьевич вот уже сколько лет, сколько десятилетий не задумывался над наукой ботаникой, хотя и любил цветочки. Простенькие. Полевые: незабудки, ромашки, красный и белый клевер. Но вот на старости лет — сколько ему еще оставалось житья-то: ну, год, ну, два-три? — и вдруг ботаника ему понадобилась!

Он очень внимательно прочел по учебнику разделы «Ботаника — наука о растениях», «Роль семени в жизни растения», «Роль корня в жизни растения», «Роль листьев в жизни растения», «Роль стебля в жизни растения», «Вегетативное и семенное размножение растений», а урок — решили они с Вовкой — Юрий Юрьевич проведет с ним по картофелю: «Происхождение картофеля» и «Распространение картофеля в России». Выбор был не случайным: Вовка любил картофель. Тонко нарезанный и поджаренный на сливочном масле.

Да и сам Юрий Юрьевич не без интереса узнал, что «в поисках пищи человек издавна искал съедобные корни и клубни» и что, «достигнув плоскогорий, лежащих между горными цепями Анд, предки американских индейцев нашли здесь клубни дикого картофеля».

Вопрос по поводу картофеля был сформулирован правильно, ну а дальше дело пошло, и Юрий Юрьевич рассказал Вовке:

...что картофель относится к семейству пасленовых, что насчитывается более полутора тысяч его видов, что куст картофеля в зависимости от вида насчитывает от четырех до восьми стеблей, что цвет его цветов — белый, красный и фиолетовый, что клубни в среднем содержат четырнадцать — двадцать четыре процента крахмала, что...

Вовка слушал как будто отсутствуя, будто он стал совершенно пустым: это он умел — вовлекать в себя пустоту: глаза полузакрыты, веснушки на щеках бледнеют, губы плотно сжаты — вроде как не дышит. Но это только кажется: спроси его что-то по ходу разговора, он ответит.

...что проросшие клубни являются вредными для здоровья, что картофель возделывается от Ашхабада на юге до семидесятого градуса северной широты, где-то на полуострове Ямал (Юрий Юрьевич не успел посмотреть на карте, где именно),

...что клубень тем богаче крахмалом, чем он больше, что сорта картофеля называются интересно: июльская красавица, снежинка, еловая шишка, желтый русский, император Рихтер, саксонская луковица, канцлер, белый слон и т. д., и т. д.,

...что кожура картофеля намного богаче жиром, чем клубень, что...

Увлечшись, Юрий Юрьевич стал незаметно для себя рассказывать о том, как он, когда был еще моложе Вовки, лет восьми-десяти, ходил в поле, где у его родителей был картофельный участок, там они картофель сажали, ходили окучивать рядки тяпками...

— Что такое тяпка? — спросил Вовка.

— Ну вроде топорика из тонкого железа. На палке-рукоятке. Тяпка для того и существует, чтобы сорняки выпалывать, рыхлить землю, окучивать овощи, а картошку — прежде всего...

— А-а, знаю, знаю. Просто я сначала забыл, а вот теперь вспомнил...

...Ближе к осени, после целого дня на картошке и подкопав уже созревающие клубни в темноте, Юрка и его родители возвращались домой с полными корзинками картошки: у папы — корзинка большая, у мамы — поменьше, у Юрки — совсем маленькая, но тоже тяжелая.

Теперь Юрию Юрьевичу очень хотелось рассказать обо всем этом прочувственно, с лирикой, но Вовка перебил:

— Значит, у тебя тоже были родители? Мне лично это странно... Может, и не для меня одного странно. Ну, это между прочим... Не обращай внимания. А картошка в магазинах или на базаре тогда не продавалась?

— В магазинах в нашем городишке, нет, не продавалась, не было овощных магазинов в нашем Бийске, а на базаре — дорого, и только осенью, и только возами.

— Понятно. Это — понятно... Воз картошки сколько стоил?

— Точно не помню. Но рубля три стоил. Так вот, идем мы, значит, со своими корзинками, а кругом уже темным-темно, глаз выколи. Домики на улочках маленькие и тоже совершенно темные, в ту пору люди рано ложились спать...

— Это — почему же?

— Чтобы рано встать. И безо всякой там канители. Раз-два — и готово! На ногах!

Вовка промолчал, Юрий Юрьевич продолжил свою лирику:

— Так вот, идем мы, идем со своими корзинами — темно. Даже если в каком домишке горит керосиновая лампа, света с улицы все равно не видно: окна закрыты ставнями.

— Что такое ставни?

— Створки такие дощатые, они на ночь закрываются, а железные болты сквозь кругленькие отверстия просовываются снаружи внутрь дома и там на ночь закрепляются...

— От воров? — догадался Вовка.

— От воров...

— А что, неужель воров и тогда было вдоволь?

— Да нет... Я что-то и не слышал, чтобы кого-то обворовали... Но — привычка.

— Так это же значит, что каждое утро надо вставать раньше, идти на улицу, открывать ставни? Даже в выходной день?

— Надо... Но это же совсем не трудно... Так вот, идем мы, значит, со своими корзинками, один домик проходим, другой, третий, десятый, а около каждого обязательно стоит скамейка. По-другому — лавочка.

— Для чего стоит?

— Чтобы, кто хочет, мог присесть, отдохнуть. С соседом чтобы поговорить. Вот и мы на каждой пятнадцатой или двадцатой лавочке отдыхать садимся. Отдыхаем. Разговариваем.

— Все, наверное, переговорили? Все-все?

— Не помню уже... Но не молчали, нет. Разговор непременно находился. Обязательно!.. Как сейчас помню — находился.

Помолчав, Вовка сказал:

— Мы в школе за один урок изучили картошку, лен и хлопчатник... А ты разводишь, разводишь. Конца-краю не видеть.

— Тебе не интересно?

— Буза это все... Ну какое мне дело, какого цвета у картошки цветочки? Буза... Когда я картошку ем, я что, о цветочках картофельных, что ли, думаю?

— О чем же ты думаешь?

— Чтобы вкуснее было. И — полезнее. Скажи, может человек прожить на одной картошке?

У Юрия Юрьевича ответ оказался под рукой:

— Чтобы картофелем заполнить дневной человеческий рацион — белковый и в калориях, — надо съесть десять килограммов картофеля.

— Вот как? — заинтересовался Вовка. — Вот как в природе глупо устроено: рацион обязательно должен состоять из разных пищевых продуктов. А не проще ли было съесть, скажем, две буханки хлеба и потом ни о чем весь день не заботиться... Это все потому, что природа не думает.

Юрий Юрьевич взвился:

— Природа думает! Еще как!

Вовка пошел на компромисс:

— Ладно, ладно... Я не хочу, чтобы ты, демократ, всерьез завелся. Ладно уж! Природа думает! Не хуже тебя!

Спать ложились и правнук, и прадед в состоянии мира.

Вовка лицом в подушку уткнулся, в ту же секунду послышалось: хмш...хмш...хмш...

Уснул...

* * *

А Юрию Юрьевичу не спалось, он думал, почему это Вовке всякого рода знания вот как нужны, но они ему не интересны и скучны, а ему, Юрию Юрьевичу, и жить-то осталось, ну, год, ну, два, а его хлебом не корми — еще и еще что-нибудь узнать? Он насчет картофеля уже начитался и доволен, будто важное дело сделал.

Почему так?

Если бы записать все-все, что он знает, какая бы книга получилась! Сколько толстых томов? Но во всем свете нет автора всех своих знаний. И не будет. Это во все времена было невозможно... Ни один человек не знает, не отдает себе отчета во всем том, что он знает, что узнал и постиг на своем веку...

Так, размышляя о том о сем, Юрий Юрьевич чувствовал, что мысль его вот-вот снова вернется к Вовке.

И она вернулась: почему это Вовка — злой? Грубый? Ласкового слова от него не услышишь? Юрий Юрьевич уж как старается — изо всех своих стариковских силенок! Разве Юрий Юрьевич не заслужил? Он сосчитал — шесть поколений фамилии Подлесских он поддерживал своими трудами и усердиями: свою бабушку (деда он не помнил: дед его был убит на Гражданской войне) — это раз, своих родителей — два, себя и свою жену — три, своих детей — четыре, внуков — пять, а вот теперь и правнука Вовку — шесть! Кем только он не работал, как только не старался! Студентом был — и в то же время ночным сторожем. Ледяные катки научился заливать через шланги — очень хороший был осенний приработок; ни одни студенческие каникулы не провел просто так, в отдыхе, обязательно на ка-

кой-нибудь работе — чертежной, корректорской, а то шел каменщиком на стройку. Не мог он оставаться без работы хотя бы два-три дня, не мог не думать о своих близких: как-то они без его помощи?

А — Вовка?

Ну, сегодня он еще малый и нет в нем признаков какой-то заботливости о ком-то другом, кроме самого себя. Но когда переживет переходный возраст, тогда, дай-то Бог, что-то в нем изменится. К лучшему. А если Бог не даст, не изменится?! Похоже, не даст...

Ну а пока Вовка — лодырь и грубиян, грубиян и лодырь. «Значит, у тебя тоже были родители?» Сказал и зевнул.

Сказать — это он умеет и знает, но в магазин за хлебом сбежать его уже нет, принципиально не может быть. Чуть промелькнет, что его куда-нибудь могут послать отец или мать, дед или прадед, — а его уже и нет, он уже сгинул.

Зато обидеть кого-то из взрослых ему страсть интересно. Тут на днях (Юрий Юрьевич не знает даже, стоит ли вспоминать) произошел один случай.

* * *

Юрий Юрьевич вернулся из туалета слегка повеселевший. Он страдал запорами.

Вовка сидел за столом, делал уроки, а тут поднял голову и сказал (очень серьезно):

— Ну? Управился? Успешно? Поздравляю! От души!

Юрий Юрьевич опешил, хотел что-нибудь в таком же духе ответить Вовке, но тот сидел склонившись над тетрадкой и с карандашом в руке. Такой серьезный, такой вдумчивый, нельзя ему было мешать.

Юрий Юрьевич не помешал.

Но на другой день, обгладывая ножку Буша, Вовка снова спросил:

— Ну как, дедка? Здорово я тебя вчера поддел?

Юрий Юрьевич сделал вид, что не понял:

— Когда? По какому случаю?

— Будто не понимаешь? Ну, насчет сортира?

И тут Вовка рассказал историю, которая происходила у них в классе.

У них учился мальчик — хорошо учился, но страдал недержанием и по несколько раз на день поднимал руку, просил учительницу разрешить ему из класса выйти.

Учительница разрешала, хорошо учившийся мальчик Вадик устремлялся к дверям, Вовка же кричал ему вслед:

— Приспичило? Беги-беги скорее, а то...

Класс хохотал, учительница делала Вовке замечание:

— Полесский! Что ты издеваешься над человеком? Как не стыдно?

— Я не издеваюсь, я смеюсь! Потому что я веселый!

— Это нехорошо!

— Смеяться нехорошо? Вот вы никогда не смеетесь — и чего хорошего? Никогда ничего хорошего!

Класс хохотал снова. Вовка был горд, был весел, а теперь рассказывал деду:

— Но у этого, у нашего Вадика, это кончается. Он теперь уже все реже да реже просится выйти, досиживает до перемены. Надо думать и соображать — над чем теперь смеяться? Перманентно?

И серенькие глазки Вовки сверкали страсть как зло, зеленым светом.

И вот еще что удумал мальчишка: зная, что Юрий Юрьевич очень не любит, когда Вовка называет прадеда «дедкой», удумал еще более обидное слово: «детка».

* * *

Следующим уроком у них была литература.

Из современных писателей в шестом классе проходили Астафьева, Распутина, Искандера.

Юрий Юрьевич выбрал Распутина.

Он давно слышал: Распутин, Распутин... Слышал, но не читал, все как-то не приходилось, откладывалось на потом.

А года два тому назад прочитал. «Прощание с Матёрой» — и сразу же «Живи и помни», «Последний срок», «Деньги для Марии», «Пожар», чуть ли не всего Распутина прочитал он и все удивлялся, удивлялся. И восхищался, восхищался очень серьезно.

Теперь ему и карты были в руки, и хоть малую часть своего удивления-восхищения он надеялся передать Вовке, никак не ограничиваясь рассказом «Уроки французского», который входит в учебник для шестого класса.

Юрий Юрьевич начал с того, что Валентин Распутин — на редкость человеческий человек. Таких людей мало — человеческих. Может, на миллион один.

— А вот тогда это зря! — тут же перебил «детку» Вовка.

— Что — зря? — не понял Юрий Юрьевич.

— Ну, если на миллион — один, тогда зачем он? Что он сделает один-то? Самое большее, что он сделает, — уж ты, детка, извини меня, — но самое лучшее, что он сделает, — это разбередит душу такому хлюпику, как, например, ты, демократ. И — всё. И больше ничего. В истории же самое главное — это большинство. Большинство и самый большой политический начальник над большинством — это и есть настоящая сила. Понял? Все остальное ровно ничего не значит.

Хлюпик «детка» готов был снять с себя ремень и хорошо отвезить своего незваного учителя — Вовку, но он сдержался. Не ради себя, ради Валентина Распутина. Ему первый раз в жизни выпала честь сделать что-то ради Валентина Распутина, и мысленно он сказал себе: «Гордись! А с ремнем — это уже не гордость».

В то же время Юрий Юрьевич был удивлен: «Вовка-то! Рассуждает вроде как совсем взрослый человек! Взрослый, но уж очень недалекий. То есть из самых вредных».

И ему не очень захотелось продолжать разговор. Тем более, что Вовка и еще спросил:

— Детка! Родители-то сколько дали тебе на мой прокорм?

— Сколько надо, столько и дали.

— А сколько тебе было надо? — не моргнув глазом очень заинтересованно, очень серьезно спросил Вовка.

— Как раз. Столько, сколько они мне дали.

— Я думал, может, мне что-то на карманные расходы перепадет.

— Какие же у тебя карманные расходы, Вовка, могут быть?

— Ну, всякие. Как у всякого порядочного человека, у меня тоже должны быть карманные.

Продолжать разговор о Валентине Распутине уже было Юрию Юрьевичу не по душе, неуместно было, и только он хотел сказать об этом Вовке, как тот принял соответствующую позу и сказал первым:

— Я слушаю... Внимательно! Ты, поди-ка, готовился к уроку-то? Знаю — готовился. Не зря же?

Теперь уже Юрию Юрьевичу было неудобно отказывать.

— Значит, так... Значит, Россия несколько столетий, ну, по крайней мере лет полтора, жила не то чтобы по Толстому, этого никогда не было, но жила она в том мире, в котором и Толстой, и Пушкин жили, в

который они погружались, изъясняли его, этот мир, так, как сами его понимали. Спорили с ним и со своими современниками, призывали их к лучшему, ну и, конечно, сильно этот мир ругали... На то они и были великими писателями. И людьми тоже великими. Но вот этот мир, эта Россия кончились. Они не в первый уже раз кончались, и раньше бывало, такие вещи не происходят за один раз, а за два-три раза. На это обязательно нужно многоразие, но тут дело было окончательное: нету того, что было, — и все тут! Нету ни пушкинских, ни толстовских героев, нету даже воздуха того и неба того же, которые были при них, не говоря уж о птицах, о полях-лугах, о деревнях и городах. Кто-то из русских людей этого просто-напросто не заметил, кто-то заметил, но махнул рукой: «Нету? Ну, значит, так и надо!» Кто-то обрадовался: «Наконец-то!» Но никто, почти никто, с тем миром по-человечески не попрощался. Как положено людям. Люди, они как? Они, если кто-то из близких умер — мать, отец, сын, дочь, — они хоронят того, провожают покойника на кладбище, прощальные слова говорят. А тут — ничего. Умерло прошлое, вчерашний день и тот умер — и ладно, и хорошо: не мешается под ногами. Выбросим его на помойку! Окончательно! Песня тогда пелась, называлась «Интернационал»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!» Всем! Ты фонари на улицах бил? Приходилось?

— Фонари? Они мне не мешают. Они мафиози мешают, и то не очень.

— Это я и без тебя знаю, что не мешают. Я тебя не об этом спрашиваю, я спрашиваю: ты фонари на улицах бил? Приходилось или не приходилось?

— Что-то толком не припомню, детка. Может, и приходилось. Ручаться, во всяком случае, не могу.

— Ну вот, а тогда было так: половина населения России била фонари, другая половина эти фонари защищала. Дескать, зачем? Они еще пригодятся, еще поспевают. А устареют — сами погаснут. Без битья. И получилась Гражданская война, долгая получилась, больше четырех лет. Жестокостей всяческих было! Террора было!

— Как сейчас?

— Вроде того. Во всяком случае, очень похоже. И как сейчас, война между теми и другими называлась политикой. Плохое слово!

— Это — точно! Мы у себя в классе постановили: политикой не заниматься! Чем угодно, только не политикой.

— Чем угодно — тоже нехорошо.

— Лучше, чем политика. Все равно лучше!

— Говорю же: кровищи было! Террор был жуткий!

— А это всем известно. Как есть всем. И вовсе незачем это повторять и повторять!

— Малыши — не знают.

— Все знают, все! — подтвердил Вовка. — Именно потому, что это вроде как сейчас.

— Похоже. Согласен — похоже! — кивнул Юрий Юрьевич. — Но, представь себе, время прошло, многие десятилетия, когда Гражданская война воспевалась на все лады, на все голоса, — и вдруг появляются люди, писатели появляются, которые сказали: нет и нет! Человеческий порядок хоть и через многие десятилетия, а должен быть восстановлен: пушкинские и толстовские времена должны быть не то чтобы восстановлены, нет, что было — то прошло, но проводить прошлое надо с великим сочувствием, с пониманием. По-толстовски проводить. А для этого, как ты думаешь, кто нужен? Какие люди?

— Ну, старцы какие-нибудь. С бородой, как у Толстого.

— А вот ничего подобного! Это сделали писатели. Молодые, лет сорока, того меньше. Оказалось, что то окровавленное, на помойку выброшен-

ное прошлое чудом каким-то в них проявилось, оно жило в них даже сильнее, чем их собственное настоящее. Оно восстановилось в них во всем своем свете, по-другому сказать — во всем том самом-самом хорошем и человеческом, что когда-то было. Было и ушло. Такими писателями оказались Василий Белов, Федор Абрамов, Валентин Распутин. И другие были, но эти — прежде всего. Валентин Распутин, так тот ни много ни мало, а Толстого прямо-таки продолжил. Для этого надо быть гениальным. На мой взгляд, Распутин такой и есть.

— А так может быть?

— Может! Распутин для своего толстовства бороду не отращивал, он по-другому сделал: он нашел людей, которые даже и не читая Толстого все равно его знали как бы даже наизусть. И не только знали, но во всей своей жизни, в совершенно новые времена все равно Толстым руководствовались, дух его исповедовали.

— И что же это были за люди такие?

— А это были старушки деревенские. Старуха Анна в повести «Последний срок» и старуха Дарья в другой повести — «Прощание с Матёрой».

— Что такое? Матерное что-нибудь?

— Дурак! — не выдержал Юрий Юрьевич. — Дурак и есть! Матёра — это остров на реке Ангаре. Которая из Байкала вытекает. На Ангаре ГЭС строили и Матёру водой затапливали, а там деревня была под тем же названием — Матёра! В деревне люди жили. Бабуся Дарья жила. Дуб стоял высокий-высокий, либо кедр — забыл уже, но как сейчас помню: его какие-то пришлые люди спилили. Чтобы не мешал пароходам по будущему водохранилищу плавать. И все это, вся Матёра, она как бы стала прощанием с тем, с толстовским, прошлым. С тем, которое и до Толстого было, но Лев-то Николаевич носил его в себе и войну тысяча восемьсот двенадцатого года в романе «Война и мир» описал. А вот Распутин тот, ушедший вместе с Толстым, мир провожал спустя годы и годы. И гениально проводил. По-человечески. Я даже не представляю себе, что Распутин не на бумаге, а в самом-то себе при том прощании должен был пережить. Что?

— А мне вот понятно: он элемент совести пережил! Только вот зачем это нужно — представлять себе, что в каждом человеке внутри его делает? Я лично доволен, что не представляю, как там внутри у тебя. И хорошо, и правильно делаю. Я каждого человека своими собственными глазами вижу, и мне этого достаточно. По горло! Людей слишком много, чтобы в каждом копать, вот в чем все дело-то... Ну а старуха Анна? Она — что?

— Старуха Анна умирала, и смерть человеческую Распутин показал сильнее, даже более мудро, чем сам Лев Толстой. Так мне кажется. У Толстого — смерть, ну, скажем, Ивана Ильича, а у Распутина — смерть времени, большой-большой эпохи.

— Старуха умрет — и весь белый свет кончится? Так ты хочешь сказать?

— Не кончится, нет. Он продолжится, но уже в другом качестве. В совершенно другом. В том, в котором живут ее, Анны, дети. Дети приехали попрощаться с умирающей матерью, и каждый из них представляет собой то ли, иное ли качество нового времени. Незавидные качества новой России. Нет, незавидные качества, скажу я тебе, Вовка. Мне бы вот тоже хотелось помереть, как старуха Анна помирала, это любимый, самый близкий мне персонаж. Но вряд ли удастся...

— А что мешает? Как хочешь, так и помирай. И к тебе твои дети придут проститься. И внуки. И даже я — правнук. Честное слово, приду! Не веришь?

— Не очень верю. Вот так. Прийти-то вы, может, и в самом деле придете, а я-то? Я-то кто такой? Мне со старухой Анной не сравняться! Она

знала, из какого она времени уходит, а я не знаю: слишком много самых разных времен пережил. Самых разных.

— А тебе, детка, видать, хочется, чтобы тебя проводил какой-нибудь Валентин Распутин. Найдется такой?

— Такого — нет, не найдется... что-нибудь вроде такого...

— Вижу, детка, гляжу на твою личность и вижу: ты приуныл. Напрасно. Ты смотри в будущее с надеждой — и на тебя найдется какой-никакой Распутин, и о тебе напишет прощальное письмо. Кто-нибудь да скажет «аминь».

— Распутина Валентина не найдется — это я точно знаю!

— Даже если и так, все равно надо оптимистически воспринимать; какой-никакой чудак, а найдется... Какой-нибудь чудик...

Помолчали...

— Вот что, детка! — и еще сказал Вовка. — Я знаю, сейчас ты подашься в какие-нибудь философии, уже подался. Теперь я узнал также, что в повестях Распутина имеются элементы совести. И все равно мне срочно необходимо к Мишке сходить. Надо обязательно. Он к тому же Сергеевич, а фамилия у него Горбатенко. Вот мы ему и говорим: «Быть тебе, Мишка, Михаилом Сергеевичем, то есть лысым. Сам не полысеешь — мы тебе поможем». Ха-ха! Обязательно поможем! Ха-ха!

* * *

Вовка убежал, Юрий Юрьевич стал думать о себе и о своем уроке. Самокритично стал думать.

Во-первых, он на этом занятии назвал Вовку дураком. Хотя Вовка и отнесся к этому с полным безразличием, но все равно — как это можно было себе позволить?! Позволить учителю?

Во-вторых, Юрий Юрьевич и в самом деле ударился в недозволительную в этом случае философию. Он сидел и разговаривал с Вовкой так, как будто против него сидел он сам, Юрий Юрьевич, и он сам себя убеждал в том, в чем давным-давно был убежден. Разве это урок?

В-третьих, еще была какая-то нелепость. Была, присутствовала, хотя назвать ее Юрий Юрьевич не мог. Он ее допустил, и он же — не мог назвать... Что-то такое вообще...

Можно было бы и соснуть часок-другой, куда Вовки нет дома, Юрий Юрьевич уже и к подушке прислонился, он любил соснуть днем, тем более день был выходным, но что-то не спалось.

Он, куда объяснял Вовке смену эпох и времен — про старуху Анну объяснял и про старуху Дарью, — сильно разволновался. Вовке — как об стенку горох, а ему, старику, нет, его собственные объяснения касались его непосредственно. В самом деле обидно: его-то никто не проводит как следует, никто. И детям, и внукам, и правнуку — всем-всем некогда, всем куда-то скорей-скорей, а Распутина Валентина на него не найдется, не может найтись: что о нем можно написать, если он сам себя не знает? И потребности такой — быть вполне определенным, что-то общее из своего времени в себе одном хранить — у него никогда не было. Он и коммунизм хранил, потому что так ему велели, а перестали велеть — он хранить не стал. «Ну если мы такие хорошие, такие за нами мировые дела, такое духовное прошлое, почему же мы так плохо, так неустроенно живем? Так бесчестно?» — думал он.

* * *

Вот и Вовка, как только пришел жить к Юрию Юрьевичу, первое он что сделал? Первым делом он спросил, сколько на его прокорм родители оставили Юрию Юрьевичу. Спросил и пояснил: «Мне карманные деньги крайне нужны. Без денег ни один нормальный человек нынче не живет! —

снова и снова вспоминал Юрий Юрьевич тот потрясший его разговор. — Имей в виду: если не дашь — я все равно каким-нибудь путем деньги достану».

— Это какой же у тебя будет путь? — спросил тогда Юрий Юрьевич. И услышал:

— Мало ли какой... Мало ли... Самое простое — взять в долг. Под возвращение родителей. Родители приедут, я им по всей форме доложу: должен! Ну а они уж как хотят пусть выкручиваются. Им вовремя нужно было думать, а не ставить меня в невысшимое положение. Они — не дети. Должны по-взрослому соображать.

— Вот что, Вовка! У нас занятие, у нас урок, мы договорились. Договорились — значит, сиди и слушай, не хлопай ушами.

— Я не хлопаю.

— А я не слепой. Я вижу.

— А я вижу, что ты ничего не видишь, интеллигент... «Гении, гении!» Какой мне толк от гениев? Мне лично? Если их на десять миллионов один — им и самим-то нечего делать на этом свете. Разве что всё те же деньги делать? Если умеют.

Вот какого потомка воспитывали Вовкины родители. Они чтити запланированную дочку Людочку, а к незапланированному Вовке относились как к недоразумению. Вовка точно так же, и даже точнее, относился к родителям. Заодно и к прадеду.

В то же время Юрий Юрьевич думал: а все-таки покуда Валентин Распутин живет, почему бы и ему, старику, не пожить еще? Не подождать, что еще Валентин напишет?

* * *

— Чингисхан — это значит «могучий хан», — начал свой урок по истории Юрий Юрьевич. (Тема — монголо-татарское иго.) — Между прочим, настоящее имя «могучего» было Темучин, это уже позже ему дали такое наименование. Он родился в тысяча сто шестидесятом году, но это примерно, а вот год его смерти известен точно: тысяча двести двадцать седьмой. В русских дореволюционных учебниках о нем говорилось, что он — величайший завоеватель всех времен и народов.

Вовка сидел за кухонным столом маленький-маленький, усердно ковырял в носу, а на Юрия Юрьевича смотрел с некоторым сожалением, если уж не с презрением.

Вот так: Юрий Юрьевич Вовке — о величайших в истории человечества событиях, о потрясающей судьбе России и других народов, а Вовка «козу» из носа тащит.

Может быть, великие трагедии потому и происходят и никогда не кончаются, что малыши плюют на историю? Плюют на нее и когда подрастают?

Юрий Юрьевич к уроку покуда готовился, много чего пережил, о многом подумал, многое почувствовал, а Вовка ничего не переживает, ничего по этому поводу не думает и ровным счетом ничего не чувствует.

Нехороший, неприятный разрыв, нехорошее, неприятное разноязычие.

— Чингисхан, он мало того что сам воевал, он династию завоевателей основал, его внук Батый воевал Россию и надолго погрузил ее в рабство. Это рабство, Вовка, сказывается в нас и нынче.

Вовка «козу» из носа вытащил, внимательно рассмотрел ее и сбросил под стол.

«Такова учительская доля!» — подумал Юрий Юрьевич, не оставляя, однако, попыток приобщить Вовку к великой трагедии.

— Династия Чингисхана, его сыновья, внуки и правнуки, завоевывали все новые и новые страны, присоединив к своей империи все тюркские, все татарские и почти все славянские народы...

— А этим-то чего надо было? — зевнув, спросил Вовка.

— Кому? — не понял Юрий Юрьевич.

— Ну, этим, как их, детям, внукам и правнукам? Сделал для них предок хорошее дело, подарок им сделал, ну и сидели бы. Жили бы и радовались. Нет, им все мало, все мало... Правда, что история — это глупая вещь. Только и делает, что учит глупостям.

— Ты слушай, Вовка. Слушай и не перебивай. Комментировать историю позже будешь.

— Когда позже?

— Ну, когда ее выучишь...

— Странно... — пожал плечами Вовка. — Ну ладно, я тебя слушаю...

— Несмотря на Великую Китайскую стену, монголы взяли Пекин, потом пошли на запад, разрушили очень мощное государство Хорезм. Это в Средней Азии. Это было очень культурное государство, оно возникло в шестом-седьмом веке до нашей эры, там были прекрасные оросительные системы и высокопроизводительное земледелие. Были развиты искусства, но под игом монголов многое погибло.

Юрий Юрьевич развернул на столе географическую карту, специально для этого урока приготовленную, и показал примерные границы государства Хорезм.

Вовка посмотрел на карту, потом на Юрия Юрьевича, вздохнул и сказал:

— Ничего не скажешь — порядочно. Значит, было — и не стало. Значит, как корова языком слизнула...

— Но этого мало, какое там! Монголы обогнули Каспийское море с юга, ну вот тут, где в настоящее время находится Иран, и заняли Закавказье. Потом вышли в заволжские степи и разбили печенегов, которые тоже были мощным племенем, но до этого их разбил великий князь Киевский, князь Ярослав Мудрый. В конце концов печенеги отошли в Венгрию. Вот она, Венгрия-то, где, на каком на западе!

— Далековато проскакали. Им, наверное, в Лондон хотелось.

— В Лондон? Там же пролив. Пролив Ла-Манш.

— Ну, о Ла-Манше они могли и не знать. А подъехали бы к берегу и свернули бы на Париж. Далее — на Мадрид.

Об исторических событиях Вовка и всегда-то имел привычку говорить насмешливо и как бы между прочим. Юрия Юрьевича это страшно раздражало. Иногда, сказать по совести, просто бесило, но он и на этот раз сдержался, помолчал минутку, взял себя в руки и решил сказать по поводу монгольского вторжения в Европу что-нибудь живописное, что-нибудь для Вовки увлекательное. Он подумал и сказал так:

— Нет, ты только представь себе, в армии монголов было шестьсот тысяч всадников! Это и по нынешним временам уму непостижимо — шестьсот тысяч! Монголы были кочевниками, кочевали по степям, жили в кибитках, пасли, перегоняли с места на место огромные-преогромные табуны овец и лошадей. Им такой поход был не в диковинку. Им, а больше никому на свете он не удался бы.

— Уж это — как пить дать... — согласился Вовка.

— Теперь дальше: каждый монгольский всадник вел в поводу еще двух-трех лошадей и менял их на ходу. Пересаживался, чтобы под его тяжестью лошадь слишком не уставала. Поход-то продолжался от зари до зари и все время рысью, рысью.

— Да хоть бы и десять лошадей у каждого, я все равно им не завижусь...

— Теперь прикинь: если у каждого всадника — три лошади, значит, всего в армии был один миллион восемьсот тысяч, считай — два миллиона лошадей.

— Считаю... Получается — ты, детка, прав.

— Когда армия монголов проходила по местности, за ней оставался след пустыни: два миллиона лошадей — это ведь восемь миллионов копыт!

— Ты, детка, все-таки здорово соображаешь: так и есть, восемь миллионов. Восемь — все растопчут. Восемь — камни перемолотят. Вот пылищи-то было!

— Ага, значит, ты себе представил, что это такое!

— У меня развитое воображение. Достаточно развитое. Мне учитель географии именно так и говорил.

Юрий Юрьевич продолжил свою живопись:

— Монголы были страшно жестоки, все живое уничтожали на пути, но жестоки они были и к самим себе. В их армии существовал порядок: самой малой частью считался десяток всадников, десять десятков составляло сотню, десять сотен — тысячу, потом десять тысяч. Десятью тысячами командовал уже бо-ольшой начальник, по-нашему — генерал.

— Все может быть! — согласился Вовка. — Может быть, что и не просто генерал, а, скажем, генерал-лейтенант...

Теперь уже Юрий Юрьевич согласился с Вовкой:

— Все может быть, — и продолжил свой рассказ: — Так вот, если один монгольский воин бежал с поля боя, тогда казнили смертью весь десяток, а если бежал десяток — казнили сотню.

Тут Вовка заинтересовался:

— А если тысяча бежала? Если бежало десять тысяч? Тогда?

— Тогда... тогда я что-то не знаю.

— Ну вот! Не знаешь! То-то и оно! Если бежит один — за него казнят десятерых, а если бежит десять тысяч — за это никого. Командующий десятью тысячами остается жив-живехонек и, я думаю, даже не лишается генеральского звания. Такой порядок, он на все времена и у всех народов. До тебя дошло?

— Кажется, дошло...

— До историка обязательно должно дойти.

Несколько сникнув, Юрий Юрьевич не забыл все же своего намерения коснуться самого главного, ради чего он, собственно, и избрал тему монгольского ига на Руси.

— Теперь представь себе, Вовка, — заговорил он несколько иным, еще более трагическим тоном, — представь себе, каково было русским людям два и даже более века находиться под чужеземным игом, под игом государства гораздо менее культурного и гораздо более жестокого. Монгольские вассалы грабили русский народ, если те вовремя не платили дань, они уводили людей в рабство. Они приостановили процесс нормального развития славянства — одной из самых культурных наций того времени в Европе. Европа — это был земледельческий материк, а культура всегда начиналась от земли, от земледелия. При земледельце водится домашний скот, а кочевник — тот сам водится при скоте, его стада сегодня здесь, через неделю — за сто километров, а через месяц — за двести. Поэтому он и не создает архитектуру, живопись, а литература у него устная. У него нет театра, почти нет школ.

— Школ нет?

— И школ нет. Не было. А ты, поди-ка, и доволен?

— Как сказать. Начальные классы все-таки должны быть. Читать, писать, считать — это всё должны уметь все-все. А вот если дело доходит до всякой бодяги, откуда, например, взялась картошка или почему Батый по-

шел на древнюю Русь, — это все оч-чень сомнительно. Пусть все это, всю эту бодягу, изучают бодяжники, а тем, кому все это до лампочки, — им-то зачем навязывать? Вот тебе и твоя культура, твоя демократия! Ты их любишь-уважаешь, а они насильники вроде Чингисхана. Или хотя бы внука его, хана Батыя. Правильно я сказал — Батый?

— Сказал-то правильно... Но там кроме Батыя было еще много разных ханов... Хан Мамай, например. Хан Узбек — от него пошло название «Узбекистан», так я думаю. Все они были деспотами. Всем им культура была врагом.

— Думать можно обо всем на свете. Даже об истории. А у нас в классе тоже Мамай есть.

— Фамилия такая?

— Фамилия у него — Мамаев. А зовут Мамаем. Все зовут. Иной раз так и учитель скажет: «Мамай, к доске!» Ну уж тут мы похочем так похочем! Учитель сам не рад, а мы — ржем и ржем, ржем и ржем. Глядишь, минут десять прошло. А там, глядишь, и звонок.

— Не так уж и смешно.

— Конечно, не так.

— Тогда чего же вы ржете-то?

— Как — чего? Товарища выручить. Кому это охота к доске выходить? И вообще, чем скорее урок кончается, тем лучше.

— Зачем вы тогда в школу-то ходите?

— Не ходили бы, если бы знали, что это совершенно не нужно. Но раз уж без этого нельзя... От Чингисхана, от Батыя с Мамаем и Узбеком можно было в лес убежать, а от твоей культуры куда убежишь? Куда без диплома об окончании средней школы? И даже какого-никакого засраного института. Знаю я вас всех, культурников, — на краю света догоните.

— И в то же время ты предпочитаешь рабство Чингисхана? И не Россия тебе нужна, культурная и свободная, а чтобы ты был у кого-нибудь в рабстве и жил и думал как раб? Так это же — позор! Неужели не понимаешь — позор! Тебе дикость предпочтительнее? Вовка! Даже я о тебе так плохо не думаю!

— Детка Юрий Юрьевич! Во-первых, я ничего не предпочитаю, по мне, как идет, так и идет. Лучше сказать — как шло, так и шло. Во-вторых, как ты обо мне думаешь — мне совершенно все равно. Думай как хочешь обо мне, я буду как я хочу — о тебе, это и есть настоящая свобода. А в-третьих... Как тебе сказать-то... Сказать нужно так: культурные люди — они что, разве не дикари? Если они всё знают про картошку, всё про Чингисхана и про Петра Первого, они уже не дикари? Чингисхан, тот имел восемь миллионов лошадиных копыт, а Клинтон, да и наш Ельцин тоже имеют ящички, в ящичках — кнопки. Нажал один раз — и десятка, сотен миллионов людей как не бывало. Кто из них дичее-то? А?

Вот тебе и Вовка!

Юрий Юрьевич в недоумении спросил:

— Сам дошел? Или тебе объяснил кто?

— Всяко... Когда сам, а когда так в кружок к одному сектанту заглядывал, тот объективно говорил. Говорил, а не навязывал свои мысли. Три раза ходил на его беседы.

— И сейчас ходишь?

— Нет, это в прошлом. Сейчас не хожу. Некогда, культура заела, к тому же тот сектант ни с того ни с сего начал грубо нам навязываться, и мы, четверо мальчишек и одна девчонка из нашего же класса, совсем бросили к нему ходить. Свобода лучше. Ну их к черту, всех проповедников!

— А я, по-твоему, — кто? Тоже проповедник?

— Ну кто же ты еще-то? Сам подумай — кто? Впрочем, ты и сам не знаешь, кто ты есть.

— Нет! Я знаю: я инженер, я кандидат наук технических, я — конструктор! Я пенсионер, а ты у меня — шестое поколение, которому я помогаю жить. Помогаю, как умею.

— Так вот я тебе скажу: ты лучше проповедуешь, чем наши учителя, но все равно — плохо... Впрочем, нам надо кончать... Мне к одному другу необходимо сбегать. Я уже опаздываю. Если задержусь — значит, так надо.

— Подожди, Вовка. Ты уж не лидер ли в своем классе? По части всяческих пакостей? Лидер или нет? Если да — тогда зачем тебе?

Вовка задумался. Вовка крепко задумался, взвесил ответ и ответил:

— У меня поддержки нет. Настоящей. От тебя, что ли, дождешься? А родителям моим совершенно на меня наплевать. Отсюда и я: мне наплевать на них. Мы — каждый сам по себе. Ну вот. А чтобы быть лидером, обязательно должна быть поддержка. Вот у того же Мамаю. У того же Вадика, который страдает — страдал уже — недержанием. У них родители созывают в свой дом мальчишек человек пять-шесть, хорошо их угощают и, того гляди, на «вы» с ними заговорят. То есть создают репутацию своему сынку. Поддерживают его, делают очень важный жест в сторону его лидерства. А — я? Я, можно сказать, беспризорник. Обо мне никто не заботится, никто не развивает во мне мои способности, перспективу лидерства. Но я не горюю, нет. Я думаю, что разовьюсь посильнее, чем Мамай: жизнь научит меня самому о себе заботиться. Уф! Вот ведь как высказался. Сам не думал, что смогу, — уф!

— А зачем тебе лидерство, Вовка? Зачем, объясни мне по-человечески?

— Зачем? Вопрос и в секте, которую я посещал, тоже возникал: зачем? Да затем, чтобы быть лидером. Чтобы не ты подчинялся, а тебе подчинялись люди твоего круга. Свой круг подчинил — тогда и шагай в круг следующий. Сектант нам проповедовал: это нехорошо! А я его слушал и думал: дурак! Вот теперь-то мне и объясни, дурак, для чего мне лидерство. Скажи мне, пожалуйста: вот, к примеру, в оркестре первая скрипка. Что — эта первая будет стараться, чтобы сделаться не первой? Спроси об этом даже и не у меня, мне ты не веришь, — найди первую скрипку и спроси у нее: зачем?

— А ты в концертах-то бывал ли?

— Раза два приходилось. Достаточно, чтобы увидеть первую скрипку... Один раз так я не очень и смотрел на оркестр, у меня поручение было. От родителей. Людка, видите ли, со своим каким-то хахалем отправились на концерт, а родители сказали: «Только втроем!» И послали с ними меня. А мне сказали: «Присматривай за ихним поведением!» Я и присматривал.

— Каким образом?

— Обыкновенным. Чтобы не очень-то жались друг к другу. Чтобы в ладоши хлопали, когда аплодисменты.

— Теперь, Вовка, скажи «уф!». Ну скажи, пожалуйста.

— А вот не скажу.

— Тогда я скажу. Знаешь, что потом с монголами случилось? Образовалось сильное маньчжурское государство, оно и Китай, и Монголию к себе присоединило. Часть монголов хотела уйти под власть России, но маньчжуры не позволили. И представь, стали монголы самым мирным, самым покладистым народом, пасли свои табуны, и только. Политикой не занимались. О завоеваниях и думать забыли.

— Правильно сделали. Почему бы и нынче многим-многим государствам так же не сделать? Завести побольше домашней скотины — и все дела!

А то всем нужны свои Наполеоны, Сталины, Гитлеры — кто там еще-то? Всех не знаю! Всех сроду не запомнишь! Да и зачем стараться? В общем, мне некогда. Я сейчас ухожу, урок — в другой раз!

* * *

Юрий Юрьевич, оставшись один, так разволновался, так разволновался... Все в нем давно постарело, но способность к волнению — ничуть. Она стала чуть ли не больше. И даже — определенно больше! Вопреки общему состоянию организма.

Раскопал-таки Вовка «деткину» проблему: Юрий Юрьевич, прожив восемь десятков лет, не знал, кто он! Если бы умер лет в пятьдесят, он знал бы, каким человеком он умирает. А нынче вот не будет знать. Значит, тридцать с лишком годочков оказались для него лишними, он в них запутался. И теперь, как только мог, пытался об этих запутанных годах забыть. Не получалось. Не получалось забыть о всенародном и как бы даже праздничном энтузиазме стукачества, о ГУЛАГе, о преследованиях, ставших в его пору чем-то обычным, повседневным и вполне приемлемым. Посадили твоего давнего знакомого и друга — значит, так и нужно, неизбежно, по-другому быть не может.

Тот же Зюганов как Юрия Юрьевича нынче по ТВ уговаривает: «Забудь! Зачем тебе? Вот я же — забыл, и как мне стало вольготно! Какой я стал фигурой! А когда бы не забыл — никакой фигуры из меня не получилось бы, из моей партии не получилось бы! Ну? Сообразил?»

А Юрий Юрьевич был не в силах забыть. Он однажды понял и уже не способен был не понимать.

* * *

Во время войны Юрий Юрьевич плыл на пароходе «Карл Либкнехт» по Иртышу — Оби, плыл из Омска в Салехард... Там, на Севере, еще севернее Салехарда, уже в то время, еще раньше, затевался некий «оборонный» проект, в связи с проектом и приходилось ему бывать за Полярным кругом. Не впервой он то плыл, а то летел по этому маршруту, но тот раз был разом особенным, навсегда вклинившимся в его жизнь: шлепая колесами по свинцово-серой иртышской воде, по медно-коричневой воде Оби, «Карл Либкнехт» со скоростью пять — семь километров в час тащил за собой две металлические нефтеналивные баржи. Но в баржах нефти не было, а были дети, совсем изредка попадались старики и — женщины, женщины, женщины... Все с изможденными лицами, их изможденность была видна с кормы «Либкнехта». На Оби пароход звали «Карлушей», и что-то тянуло «Карлушиных» пассажиров, что-то звало их затаив дыхание внимательно рассматривать изможденных женщин. Их рассматривали, но не было на носу баржи женщин с улыбками, с самым коротким хотя бы смехом, в свободной позе, просто в спокойствии, а было все то же, все то же измождение и ничего больше. Иногда живые женщины медленно зашивали мертвую в мешковину, привязывали к трупам груз и сбрасывали за борт. Морской обычай, конечно, неприемлем на реке, но не причаливать же было «Карлуше» с его баржами к берегу, рыть на берегу могилку?

Может быть, еще и крестик на могилке ставить?

И флегматично шлепал плисами «Карлуша», останавливаясь только на крупных пристанях и загружаясь дровами для своего допотопного, еще парового, еще дореволюционного двигателя тех времен, когда «Карлуша» назывался «Скороходом».

Все на «Карлуше» нынче знали: это женщины из Ленинграда. Что как только ленинградская блокада немцев была прорвана, так женщин аресто-

вали, посадили в поезд, привезли в Омск. В Омске посадили на баржи и вот везли в Салехард, еще куда-то севернее. И все это потому, что у них были немецкие фамилии. У иных эти фамилии были еще со времен Петра Первого, тот страсть как любил внедрять немецчину в свой рукотворный град, другие были русачки из русских, но вышли замуж за Шмидтов, Саксов, Гофмаймеров, Гиллеров. Может быть, что и за Карлуш Марксов, и за Карлуш Либкнехтов.

А женщины те, молчаливые, беззвучные, предназначались рабочей силой на заполярные рыбозаводы. Юрий Юрьевич на этих заводиках тоже бывал, знал, что там за работа, что там за труд, да еще подневольный, да еще в одежонке не заполярной, а ленинградской.

Из одной блокады женщин везли в другую; изможденные, они это знали, понимали это.

Не знали, знать ничего не хотели те, кто их эвакуировал из гордого Ленинграда, в чью трудовую обязанность входило не знать, но доносить, обыскивать, сажать в тюрьмы, расстреливать либо оставлять в живых по заказу заполярного Севера.

Забыто было многими — но не Юрием Юрьевичем: значительная часть тех энтузиастов жива по сей день, процветает под Зюганова знаменами.

Нынче Юрий Юрьевич мстить не хотел, не имел права, он только удивлялся: Зюганов-то, он что же — человек без прошлого? Без истории?

Давно это было, но и до сих пор Юрий Юрьевич помнил: стоя на корме, он ощущал, что «Карлуша» — не один, что и он сам помогает «Карлуше» буксировать ленинградских женщин в Новый порт, еще куда-нибудь севернее, и, когда это ощущение становилось нестерпимым, он уходил в свою каюту. Его каюта была в носовой части парохода, там было легче. Там была какая-то надежда: с левого берега тянулись заливные луга, с правого, высокого, — тайга, тайга и тайга, впереди же — никого, только очередной поворот реки, освещенный неярким, но очень светлым солнцем северного дня.

Если на то пошло, то даже Вовка и тот был человеком с прошлым: побывал в секте и сектантская пропаганда ему никак не понравилась, он ушел, а это уже не что иное, как прошлое.

Тут же вспомнился Юрию Юрьевичу эпизод из недавних занятий его с Вовкой (которые Вовка тоже называл «пропагандой»).

Он рассказывал Вовке о монгольском иге и вдруг вспомнил:

— Я ведь что-то и еще хотел тебе рассказать. Но — забыл.

— Постарайся вспомни!

— Нет, забыл.

— Пожалуйста! Очень тебя прошу!

Юрий Юрьевич сильно удивился неизвестно откуда взявшейся Вовкиной любознательности:

— Чего ты вдруг забеспокоился-то? На тебя не похоже.

— Я не за себя беспокоюсь, — громко вздохнул Вовка. — Если бы за себя — тогда полбеда...

— А тогда — как понять?

— Я за историю беспокоюсь. Это для истории может быть страшная потеря!

О чем-то Вовка, мерзавец, догадывался. И даже можно было сказать, о чем именно: Юрию Юрьевичу на фоне историческом, литературном и ботаническом очень хотелось высказаться перед самим собой. Вот он и затеял домашние занятия с Вовкой.

Помимо событий мировой и русской истории, помимо всего на свете у Юрия Юрьевича все-таки и несмотря ни на что оставалась и своя собственная история. Может, и крохотная, она все равно требовала своего места в общей истории. Опять-таки крохотного, но места.

И о чем бы Юрий Юрьевич нынче ни говорил, о чем бы ни думал отвлеченно от дня нынешнего, он это местечко отыскивал.

Безрезультатно отыскивал, но иначе он не мог: уже сам процесс отыскания был для него необходим.

Он отыскивал человека, который бы помнил что-то о Юрии Юрьевиче и тогда, когда тот умрет. Не обязательно, чтобы этот человек знал генеалогию своего предка, помнил, что и когда с предком случилось, что для самого предка в его жизни было существенным, а что нет, пусть бы он предка ругательски ругал, пусть бы говорил о нем неблагожелательно, но говорил бы, то есть помнил.

И сын Юрия Юрьевича, и его внук подкармливали отца и деда добротными субботними и воскресными обедами, это так, но о том, что отец и дед их жив, они уже забыли. «Ах да, придет сегодня пообедать? Ну что же — пусть приходит!»

И вот, как это ни странно, Юрий Юрьевич ставил нынче на Вовку: у Вовки все еще не так много было собственного житья, чтобы не хватило местечка для прадеда. Самого маленького местечка в его маленькой памяти.

Вовка — человек дурной, Вовка — мальчишка скверный, ему бы над прадедом посмеяться, поиздеваться, и все дела. Ну и что же? Пусть запомнит, как когда-то над прадедом насмеялся-издевался. А вдруг он все-таки вырастет порядочным человеком и будет чуть-чуть краснеть, вспоминая свои издевательства? Вдруг и добром вспомнит кое-что из того, что прадед толковал ему о картофеле, о Чингисхане, о повестях Распутина, и слегка догадается, что это за человек был такой — его прадед? Сам-то прадед об этом не догадывался, а вдруг — правнук?

И вот уже Юрий Юрьевич решал: вернуться Вовкины родители из-за бугра, он их уговорит — пусть Вовка приходит к нему раз в неделю для занятий по углублению школьной программы.

Пусть приходит, а чтобы приходил, Юрий Юрьевич готов правнуку за это приплачивать. Он еще прикинул свой бюджет и установил: по десять тысяч за урок — такую сумму можно осилить.

* * *

Мало что мог рассказать Юрий Юрьевич о себе. Страсть как мало. Может быть, оттого, что пережито было много, в одну жизнь не укладывалось, а надо бы в одну.

Женитьба, всякие там путешествия, может быть, и были бы интересны Вовке, но самому-то Юрию Юрьевичу — нет, для него его общественная жизнь казалась самой главной.

В частности — как Юрий Юрьевич сначала стал, а потом перестал быть членом партии.

За Юрием Юрьевичем водился грешок, по его собственным понятиям, немалый: он происходил из дворян.

Он был дворянином мелким, не столбовым, а служивым, на тот же манер, что и папаша Владимира Ленина.

Но Ленин этот грех, видимо, не ощущал вовсе, а Юрий Юрьевич — повседневно, и даже был удивлен, что ему, «отщепенцу», позволили закончить втуз при закрытом оборонном заводе.

Мало того — по окончании Юрия Юрьевича при том же закрытом заводе оставили (на высокой должности).

Мало этого — приняли в партию.

Мало этого — год-два спустя предложили пост секретаря парткома: все из-за того, должно быть, что у него дела по производственной линии шли

хорошо, и очень хорошо. А может, на этом заводе своя разрядка была на «бывших»? На бывших выходцев из дворянского сословия?

Во всяком случае, в райкоме Юрий Юрьевич предложение получил от первого секретаря, разумеется согласованное еще выше.

И Юрий Юрьевич согласился. На таких условиях: никаких материальных поощрений Юрий Юрьевич не принимает, ни особых зарплат, ни путевок на юг, ни прикреплений к спецполиклинике, ничего такого.

И начал Юрий Юрьевич вкалывать день и ночь и еще какое-то неизвестное, но существующее для партработы время. И начали о нем говорить: перспективный. Очень! Не в райком ли его? Не в горком ли? Не в ЦК ли КПСС?

И как-то незаметно-незаметно льготы тоже стали к его жизни сами по себе присоединяться... Так и шло. Очень серьезно шло.

Присоединялось, присоединялось, а отсоединилось в один какой-то счастливый солнечный день: он пошел в партком и положил на стол партбилет:

— Хватит с меня! Я уже старый, пора на покой, пора кое о чем подумать.

Вот тут-то все его коллеги впервые догадались: вот что значит «из бывших»!

Конечно, Вовке вот так прямо не объяснишь, но, беседуя с ним вокруг да около, себя излить надежда была. Призрачная, но была. Уж очень хотелось найти повод с кем-нибудь поговорить.

Ну хотя бы с Вовкой, раз никого другого на этот случай не выпало.

А случай этот, Юрий Юрьевич твердо знал, был последним.

* * *

Как бы это найти повод успеть в этой жизни перед кем-нибудь за жизнь объясниться? За собственную и вообще? Плохое это дело — так и не объяснившись помирать. Конечно, таких, как Юрий Юрьевич, было много, но объясняться за жизнь чудаку с чудаком? Даже смешно!

Мысли о жизни и смерти переменялись пустяками.

Еще перед уроком литературы вот что случилось: когда Вовки не было дома — а это чуть ли не каждый Божий день бывало, — Юрий Юрьевич соблазнился, пошарил в его школьной сумке. Так и есть — на дне сумки лежала коробка «Казбека», в коробке две сигареты.

Коробка «Казбека» была давних времен, нынче такие и не выпускают, но удобной для хранения сигарет, а марку сигарет Юрий Юрьевич, сколько ни рассматривал, определить не мог... Тем более, что они были разной длины, а следовательно, разных марок. Одна сигарета была чуть начата. «Кто-то помешал докурить... — догадался Юрий Юрьевич; руки его тряслись. — Все-таки, нет, не зря я забрался в Вовкину сумку, я как знал!» — убеждал он себя.

После возник вопрос: как быть? Устроить Вовке выволочку? До урока истории или после? Или — вовсе не надо? На Вовку это не подействует! Ничуть!

Решил ничего не решать. Вернутся родители, тогда и подумать вместе.

Подлеца все не было и не было дома, и Юрий Юрьевич стал себя утешать: «Ну не все же правнуки такие, как Вовка! Далеко не все».

Хорошо было бы четко и понятно представить Вовку совсем другим мальчиком, к двенадцати годам выросшим в какого-нибудь вундеркинда, но для этого у Юрия Юрьевича не хватало воображения. Хотя Юрий Юрьевич в свои годы на свое воображение никогда не жаловался. А тут — стоп!

Другое что-то само собой, прямо-таки с Вовкиным нахальством, лезло в голову. Вопрос лез: кем вырастет не запланированный легкомысленными родителями Вовка?

Кем угодно! Убитым он может быть? Чуть-чуть подрастет — и вот говенький. Для какой-нибудь разборки. Для какой-нибудь перестрелки.

А?

А убийцей?

Не исключено! Если уж не фифти-фифти, тогда около того, тогда — сорок к шестидесяти из ста.

Тут и еще на память пришел случай...

Когда Вовка с раздражением констатировал, что родители, уезжая, не оставили ему на карманные расходы, он заметил:

— У нас в классе, если родители немощные, тогда сыновья кто как подрабатывают...

— Как же это? Каким образом? — поинтересовался Юрий Юрьевич. — Какими способами?

— Разными! Кто газетами и журнальчиками приторговывает в автомобильных пробках, но там слишком большая конкуренция. А вот Венька Соколов, тот недавно за полчаса триста баксов отхватил! Серьезно, а?

— Вполне серьезно. Мне даже не верится...

— Просто! Какие-то мафиози попросили: «Постой, мальчик, вот на этом углу на стреме! Ты, кажется, хороший мальчик, постой с аппаратиком. Увидишь, что милицейская машина вот в этом направлении идет, в этот или в тот переулок, — нажми в аппаратике вот на эту кнопочку». Всего-то и дела — нажать, а триста баксов у тебя в кармане. Какой дурак откажется?

— Так это же соучастие в преступлении! Вот что это такое!

— Ну и что? Его-то, Веньку-то, никто не задержит. А задержат — отпустят, он же совершенно несовершеннолетний. Он даже и не знает, зачем-почему кнопочку нажимать. Ему все равно зачем. Может, люди таким образом развлекаются?

— Ну а родители? Родителям же отвечать придется?

— А пускай родители зарабатывают, тогда Венька не будет кнопочку нажимать. А то у его матери двое, а мать пятьсот тысяч получает. Попробуй проживи. Попробуй, если у нас в классе считается прожиточный минимум один двести на человека в месяц.

— А кто у Веньки мать?

— У Веньки мать врач. Свои пятьсот получает через три месяца. Нет уж, если государство так со своими гражданами обращается, то и люди к государству должны так же. И ты, пожалуйста, не спорь: знаю, что говорю!

Сердце у Юрия Юрьевича заболело. Не то так просто, не то предынфарктно... Он это уже проходил. Дважды. Один раз — так себе, другой — очень серьезно. Впрочем, если прислушиваться, то сердце у него все время болело. То ли с того лета, когда он стоял на корме «Карлуши», рассматривая изможденных ленинградских женщин на нефтеналивной барже, то ли с октября года тысяча девятьсот девяносто третьего... Теперь уже это все равно, даты в его жизни перестают иметь прежнее значение.

Кроме сердца почему-то в тот же самый момент заболело его самолюбие: он вспомнил, что давно уже живет с ног до головы обманутый и оплеванный всяческими обещаниями, указами, распоряжениями, жэковскими дамами и обитателями шикарных кремлевских и прочих кабинетов. Будто бы один из недавних начальников, придя в «Белый дом», истратил два миллиона долларов на ремонт своего кабинета. А вот это уже не буд-то, это точно: государство, не умея получить триллионы с тех, кто ему эти

триллионы должен, обирает тех, кому само должно. У кого конфисковало в свое время их трудовые вклады, кому вручило липовые ваучеры, кому не выплачивает зарплату. Противно. Жить неохота. Вовки дома нет, потерялся, так вместо него к нему ворвались все его обиды-огорчения, каждая кривляется, строит гримасы: ага, попался! Подожди, не то еще будет! Когда выяснится окончательно, что Вовка навсегда убит! Вот-вот, это и выяснится.

Когда наступил второй час ночи, а подлеца все не было, Юрий Юрьевич сошел с ума. Он был уверен, что сошел. Иначе и нельзя было, как только сойти. С ума.

А что еще оставалось?

Оставалось еще — не думать ни о себе, ни о Вовке, ни о ком другом.

* * *

У Юрия Юрьевича в приятелях ходил некто Семен Михайлович. Тоже прадед.

Удивительным мальчиком был правнук Семена Михайловича: четыре года — читает, хоть и печатными буквами, но пишет и до тысячи считает. Поет. Театрал — ни одного детского спектакля не пропускает.

Они общаются, и вот малыш Гоша иногда утром будит Юрия Юрьевича телефонным звонком:

— Дядя Юра! Извини, пожалуйста, сколько сейчас на улице градусов? У нас градусник за окном не работает, потому что разбился, а мне в садик идти, но мы не знаем, как мне одеваться.

Значит, не все такие, как Вовка?

Как день ясно и понятно — не все.

Что примечательно: Гоша никогда не звал Юрия Юрьевича «дедкой», тем более «деткой», но всегда «дядей». Дядя Юра.

Однако этих отвлечений хватало на минуту-другую, не больше, потом снова подступало сумасшествие: кровь чья-то виделась ему, трупы какие-то... Юрий Юрьевич соскакивал, садился за стол, набрасывал текст телеграммы своему внуку, Вовкиному отцу, которую он пошлет завтра утром:

«Вчера вечером Вовочка ушел из дома не вернулся тчк необходимо твое срочное возвращение для поисков тчк дед».

«Возвращайся срочно исчез Вовочка необходимы розыски тчк догадки самые неутешительные».

«...самые тревожные...»

«...самые разные».

Едва ли не больше всего Юрия Юрьевича угнетала мысль о лидерстве, которая была высказана Вовкой перед тем, как он исчез из дома. Как только в воображении возникали трупы какие-то, какая-то кровь, так сразу же помимо его воли возникали и Вовкины слова: «Лидер! Лидерство!»

А может, в эту ночь Вовка на стреме стоит? Ждет, чтобы нажать на кнопку? А кто-то, не слыша Вовкиного сигнала, спокойно убивает?

Еще страшнее стало Юрию Юрьевичу, когда он подумал: «Неизвестно же, кто может в конце концов получиться из Вовки: убиенный или убийца?» Снова и снова получалось фифти-фифти!

Впрочем, догадка-то была одна-единственная: погиб! По нынешним временам — это запросто. И он сам, Юрий Юрьевич, тоже этого заслужил.

Другие — нет, а он-то всегда чувствовал: настанет время — придется расплачиваться.

Время наступило. Вот оно: хочешь — проклинай его, хочешь — себя самого, оно все равно настало.

И самое лучшее, что мог Юрий Юрьевич, — это погибнуть тоже. Не смотреть на мертвого правнука, не смотреть в глаза внуку, в свои собственные глаза.

Кажется, это была единственная надежда Юрия Юрьевича: он этой ночи не переживет, он отдаст телеграмму соседу по лестничной площадке, пусть тот отправит с дополнением: «Юрий Юрьевич скоропостижно скончался».

Когда передать телеграмму соседу? Ночью будить неудобно, утром будет поздно? Опять — задача!

Часов около семи началось движение в подъезде, лифт заскрипел, заподвывая, будто принимая участие в судьбе Юрия Юрьевича, в его переживаниях. «Вот сейчас и пойду к соседу! — решил Юрий Юрьевич и стал натягивать брюки. — Чуть не забыл натянуть! — подумал он. — Еще бы секунда-другая — и забыл бы»...

Вдруг... Что такое? Показалось Юрию Юрьевичу — кто-то вставляет ключ в замочную скважину входной двери. С брюками в руках он кинулся в прихожую.

Ключ в скважине еще скрежетнул, дверь открылась, и вошел... Вовка.

— Мерзавец! — заорал Юрий Юрьевич счастливым голосом. — Что ты со мной делаешь? Ты скажи — что?

— Я? — удивился Вовка. — Я — ничего. Впрочем, привет, детка!

— Да где же ты был-то? Погибал — где? Милиция, что ли, тебя задержала?

— При чем тут милиция? Скажет, чудак! При чем здесь милиция? Я в гостях на дне рождения был, у Витальки Крахмальникова был. Ему тринадцать стукнуло, отмечали как надо. По всей форме. Вот и всё. Ничего особенного.

— Хотя бы позвонил!

— А разве я не звонил? Нет? Значит, забыл. Чего особенного? Пожрать бы чего, а? А то опоздаю на первый урок, а первый у нас математика, а математичка хотя и зануда, и даже стерва, но иногда мне пятерки ставит.

— Нет, ты скажи, почему ты не позвонил? Знаешь, как я переживал?! Представить себе трудно! И даже невозможно!

— Говорю же: забыл. С каждым бывает.

— Как это так — забыл?

— Очень просто! Ты, что ли, ничего не забываешь?

— Представь себе, но я на память до сих пор не жалеюсь.

— Напрасно. Надо жаловаться. Надо.

— По какому, например, случаю?

— Да хотя бы по случаю Чингисхана! Не мог назвать его года рождения.

— Это наука не выяснила. Во всех источниках так и написано: «около одна тысяча сто шестидесятого года» родился твой Чингисхан.

— Во-первых, он не мой, а твой, ты взялся его преподавать. А во-вторых, взялся — преподавай как следует. Мне-то какое дело, что выяснено, а что — нет? Не я, а ты преподаешь, вот и отвечай за свои слова! А у Витальки в гостях девчонки были. И мы танцевали. Две хорошенькие хорошо танцевали, ну просто спасу нет, как хорошо!

— Ну что тебе девчонки? Может, ты из-за них и детке не позвонил?

— А что? Ничего особенного — может, из-за них. Все люди женятся. А прежде надо подучиться приглядываться. К тому же они тоже любят, когда к ним приглядываются. Шестой класс — это так себе, а в десятом, в одиннадцатом, там дело уже по-настоящему поставлено. А Витальке родители компьютер подарили. Дешевенький, а все равно личный компьютер. И вообще — кто что мог, то и подарил. Один только я хамом оказался,

я — ничего! Нет уж, детка, дело так дальше не пойдет: хочешь меня учить — учи, но и совесть надо иметь — хотя бы помалу, но расплачивайся. Ох, времени-то уже без семнадцати!

Юрий Юрьевич радостно сказал:

— Идет! По десять тысяч за урок!

Вовка схватил сумку и кинулся к выходу. Слышно было, как проскакал по лестнице до первого этажа. Как внизу дверь хлопнул.

Оставшись один, Юрий Юрьевич надел брюки — они все еще висели на спинке стула.

На кухне он что-то поскреб ложкой в тарелке — кажется, кашу геркулес.

Сел за стол. Посидел неподвижно минуту-другую, протянув руки по столу, взглянул на телеграмму в нескольких вариантах, один из которых он едва не отнес соседу, и вдруг почувствовал себя самым счастливым человеком на свете: Вовка вернулся! Живым, невредимым!

Впрочем, рассусоливать некогда: надо было готовиться к уроку. Следующим уроком была география.

В детстве это был любимый предмет Юрия Юрьевича: где, что и почему.



ЛЕОНИД РАБИЧЕВ



НА ЭМАЛИ

Рука

Два ангела с цитатами из книг,
На горизонте — города и горы...
Смотрели вопросительно на них
С крестов вероотступники и воры.

Речь шла о муках смертных, о слезах,
О наших покаяниях и столах,
Но было что-то детское в глазах,
В туниках их и голубых хитонах.

Луч солнца через щель проник в окно,
И тень от них на мне остановилась,
Я чувствовал, что тайно и чудно
Она с моей рукой соединилась.

Танец 1944 года

Семь зимних закатов,
Семь вьюжных февральских ночей
Крестьянки для нас не жалели
Лучин и свечей,
В холодных домах
Под гармошку губную плясали,
Стуча каблуками
Трофейных немецких сапог.
Смотрел на них с черной иконы
Таинственный Бог,
И медные ангелы
На бирюзовой эмали
В такт пляске счастливой
Худыми крылами качали.

Конверт с фотографией

«Я постарела и сошла с ума,
Считаю дни и думаю о смерти»...
Смеющаяся девочка в конверте
Надушенного грустного письма.

Рабичев Леонид Николаевич — профессиональный график и живописец. Родился в 1923 году в Москве. Окончил Московский полиграфический институт. Участник пяти персональных выставок. Работы находятся в частных собраниях и музеях России, ФРГ, Франции, Польши, Израиля, Англии, Испании. Живет в Москве.

Пилотка, гимнастерка, две косы.
 Мечусь, мечусь по комнате без толку,
 Поставил фотографию на полку,
 Нашел иголку, потерял часы.

Лампа

Переходы, переходы,
 Три границы, двести рек,
 В наступлении от взвода
 Шесть осталось человек.

От трубы и огорода
 До единственного брода
 По пылающей земле,
 А потом окно и небо,
 Бесконечная свобода,
 Лампа, книги на столе.

Запах хлеба, запах йода,
 Звон посуды, благодать.
 Господи! Какое чудо!
 Неужели снова буду
 Жить и воздухом дышать?

Факт

Глупо, но факт,
 Чтобы писать
 Черное черным,
 Белое белым,
 Надо быть смелым.

* *
 *

Лето было наполнено грохотом пушек,
 Голосами людей, говоривших не то,
 Демонстрацией чувств стариков и старушек,
 Политических шоу и рейсов в ничто.

Подоплеки речей, бесконечные съезды,
 Мой язык заблудился в секретах земли,
 А потом я забрался в глухие уезды,
 Где по улицам тихие реки текли.

Две заброшенных дачи, четыре оврага,
 Тюбик охры и несколько банок белил.
 По утрам приходил ко мне доктор Живаго,
 Размышлял о России и доски пилил.



ЮРИЙ КОСАГОВСКИЙ

*

НЕОБЪЯТНОЕ СВОБОДНОЕ МЕСТО

* *
*

двое очков у меня
для работы
и для гулянья...
(разные вижу в них вещи
разнообразно и время препровождения)
но почему же ощущение потери?

* *
*

зеленые травы как мысли
потому что
их много
и по ним можно бродить

* *
*

я стал настоящим взрослым человеком:
который заказывает солянку
который с удовлетворением выбирает
плавающие кружочки нарезанных сарделек
который по-деловому морщится
от бесцветного варева этой самой солянки
который не гнушается съесть
плавающее сало аккуратно нарезанное
и принадлежавшее бегавшему животному
вспоминая при этом что особенно хорошо
сало на вечеринках — когда много пьешь
забывая при этом
а точнее игнорируя
что аккуратно нарезанное сало
принадлежит — спине

Косаговский Юрий Юрьевич — профессиональный живописец. Родился в 1941 году в Сызрани. Окончил Московский полиграфический институт (заочно). Работы находятся в собственности автора и в частных собраниях Европы, Америки, Средней Азии, Дальнего Востока, а также в крупнейшем собрании неофициального отечественного искусства за рубежом — в галерее г. Костаки (Кёльн, Германия). Входит в энциклопедию «Художники России XX столетия». Живет в Москве.

или животу
бегавшего по долине существа
— за доброту характера которого
его называют — животным

* *
*

озера в поле весной
как нежные слова
к тому же еще нету листьев
на бесчисленных прутьях леса

* *
*

я несколько раз тебя провожал
выходя на улицу
и каждый раз слышал
как деловито ты спешила
(равнодушно убегая от моего мира)
как за домом стучали твои каблуки

и оставался на минуту с тишиной
ночного города (с тишиной напоминающей
о встречах с ней — когда идешь один
ночуешь на лестнице
наслаждаясь до тоски одиночеством)
после этого я уходил домой

я несколько раз тебя провожал
выходя на улицу
и слышал
как ты уходишь
и вдыхал остановившуюся в тишине
холодную потому что позднюю — ночь

* *
*

ах сколько
бабочек летает!
на солнце... утром... у путей!
и проезжающий вздыхает
и хочется иметь детей

* *
*

в зеркальце женщина смотрит
и сразу похорошела:
вспомнила может быть
свои отраженья
в бесчисленных взглядах...

* *
*

после того как Вы ушли
я видел за одним домом
как ни странно цветы
(ведь сейчас осень):
они собрались
на середину клумбы большие и белые
как стая цапель
среди заводи осенних листьев

* *
*

над Цивилизацией...
над Пространствами...
над Временем...
(если бы оно было)
так тонко и прозрачно парит птица!
это — любовь

* *
*

читает женщина газету
а впрочем с ней я был знаком
и два сюжета для поэта
сплелись как будто снежный ком
и только снегири летают
ко мне и снова к ней
как будто несколько весенних дней
среди зимы остановиться как не знают

* *
*

это была старая женщина
две груди
у нее висели на груди
как два чугунных ядра —
был жаркий день
и поэтому она очень устала:
вот так
подперев устало кулаком живот
откинув плащ
чтобы не умирать от жары
она и вышла на угол тротуара
около булочной

* *
*

все естественно и без нашего ведома:
вот например кудрявая старая женщина
не один десяток раз изменявшая
своему мужу
но не изменившая моде
в которую вошла молодой и красивой
настойчиво идя сквозь город
в своем длинном-предлинном пальто
она настойчиво просит —
будьте снисходительны
ко всему что естественно

* *
*

и вот
когда отлетает любовь
мне чужд
человеческий курятник

* *
*

мы с женой вдвоем
сдвинули наш дубовый стол
в угол комнаты
и вздохнули:
увидев необъятное свободное место
где можно уместить сразу
несколько танцующих пар
Курлула сказала:
мы завтра же выкинем его!
тогда бы мы конечно выбросили
целый дом
с точки зрения маленького человечка
если бы он был
этот маленький человечек
похожий на нас
ну так вот: выбросить
из дома дубовый стол
это значит лишить ребенка
настоящего детства



Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

КРИСТОФ РАНСМАЙР



БОЛЕЗНЬ КИТАХАРЫ

Роман

*Фреду Ротблатту
и памяти моего отца
Карла Рихарда Рансмайра.*

1. Пожар в океане

Черные лежали среди бразильского января двое мертвецов. Пожар, что уже много дней бушевал в дебрях острова, оставляя за собой полосы гари, высвободил трупы из путаницы цветущих лиан и заодно испепелил одежду на их ранах, а были это двое мужчин, под сенью каменного карниза. Они лежали на расстоянии нескольких метров друг от друга, меж стеблей папоротника, в нечеловечески вывернутых позах. Красная веревка, которая связывала одного с другим, спеклась от жара.

Огонь опалил мертвецов, выжег глаза, стер черты, потом, фыркая и треща, ушел прочь, но воротился, влекомый тягой собственного жара, и плясал на рассыпающемся прахе, пока ливень не вогнал пламя в чугунно-серую золу рухнувших каресмейровых деревьев и еще дальше — в нутряную сырость стволов. Там пожар угас.

Так и случилось, что третий покойник в пепел не обратился. Вдали от останков мужчин, под пологом воздушных корней и колышущихся побегов, лежала женщина. Худенькое ее тело, пропитание красивых здешних птиц, было сплошь истреблено и изъедено — целый лабиринт ходов прогрызли в нем жуки, личинки, мухи; они ползали по этой обильной пище, вились вокруг, отпихивали друг друга — шуба из шелковисто поблескивающих крылышек и панцирей; праздничный пир.

Пилот топографической службы, который в ту пору с ревом кружил на своем самолете над бухтой Сан-Маркус и, уходя от надвигающегося грозового фронта, вновь и вновь поворачивал к мысу Кабу-ду-Бон-Жезус, — этот пилот обратил внимание, что на скалистом острове, расположенном милях в десяти от атлантического побережья, беспорядочно змеятся полосы гари, дымная су-

Австрийский писатель Кристоф Рансмайр (род. в 1954) дебютировал в 1982 году книгой «Сияющий закат. Ирригационный проект, или Открытие сумасшедшего». В 1984 году выпустил написанный на документальной основе роман «Ужасы льда и мрака» — историю австрийской северной экспедиции Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, открывшей в 80-е годы прошлого века архипелаг Земля Франца-Иосифа. Мировую известность принес Рансмайру опубликованный в 1988 году роман «Последний мир». Книга имела сенсационный успех, была переведена на множество языков, в том числе и на русский, и заняла место в ряду таких бестселлеров европейской литературы последних лет, как «Имя розы» Умберто Эко и «Парфюмер» Патрика Зюскинда. Творчество Рансмайра отмечено рядом престижных литературных премий. Новый роман писателя «Болезнь Китахары» увидел свет в 1995 году.

© 1995 by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

© Перевод Н. Федоровой, 1997.

масшедшая дорога сквозь джунгли. Топограф дважды прошел над пожарищем и закончил свое радиодонесение, полное треска атмосферных шумов, тем словом, что стояло на его карте под названием острова: *Deserto*. Необитаем.

2. Моорский крикун

Дитя войны, Беринг знал только мирное время. Всякий разговор о часе его рождения был напоминанием о том, что первый крик он издал ночью, дождливой апрельской ночью, когда Моор единственный раз подвергся *бомбардировке*. Случилось это незадолго до подписания перемирия, которое после войны на школьных уроках истории называли не иначе как *Ораниенбургским миром*.

Эскадра бомбардировщиков, отходившая к побережью Адриатики, сбросила тогда во тьму над Моорским озером остатки своего бомбового груза. Мать Беринга, беременная, с отечными ногами, как раз несла от подпольного мясника мешок конины. Обеими руками она прижимала к себе тяжелое, мягкое, едва-едва обескровленное мясо и невольно думала о мужнином животе — и тут у самого озера взметнулся над прибрежными платанами исполинский огненный кулак, потом еще и еще... Она бросила мешок на дорогу и не помня себя побежала в сторону пылающей деревни.

Адское пекло пожара — ничего подобного ему по силе она в жизни не видела — уже опалило ей брови и волосы, когда чьи-то руки вдруг схватили ее, втащили в черноту какого-то дома и дальше, в глубины подвала. Там она разрыдалась и плакала до тех пор, пока судорогой не свело горло.

Среди заплесневелых бочонков, на несколько недель раньше срока, и явился в мир ее второй сын, а мир этот словно откатился вспять, в эпоху вулканов: под багровым ночным небом земля вспыхивала дрожащими отблесками огня. Днем фосфорные облака омрачали солнце, и в каменных пустынях пещерные жители охотились на голубей, ящериц и крыс. Шел пепловый дождь. А отец Беринга, моорский кузнец, был далеко.

Спустя годы этот отец, глухой к кошмарам ночи рождения сына, будет пугать свою семью, расписывая страдания, каких натерпелся в войну он, *он сам*. И у Беринга всякий раз — и сотый, и тысячный — пересыхало горло и саднило глаза, когда он слышал, что на фронте отец, истерзанный жаждой, на двенадцатый день боев напился собственной крови. Было это в Ливийской пустыне. У перевала Хальфайях. Ударная волна броневой снаряды швырнула отца на каменную осыпь. И когда в этом пекле, в этой пустыне по лицу вдруг побежала красная, на удивление прохладная струйка, отец по-обезьяньи выдвинул вперед нижнюю челюсть, сложил губы ковшиком и начал втягивать в себя жидкость, сперва оторопело, с отвращением, потом все более жадно: ведь в этом источнике было его спасение. Из пустыни он вернулся с широким шрамом на лбу.

Мать Беринга много молилась. Год от года война с ее погибшими уходила все глубже в землю и наконец исчезла под свекловичными полями и люпинами, а она по-прежнему слышала в летних грозах раскаты артиллерийской канонады. И ночами ей, как тогда, бывало, являлась Богородица и шептала на ухо прорицания и вести из рая. Когда священный образ угасал и Берингова мать подходила к окну остудить лихорадочный трепет, она видела мрачный берег озера и черные волны невозделанных холмов, катящие к еще более черным цепям гор.

Обоих Беринговых братьев семья потеряла; младший погиб, утонул в Моорском озере, ныряя в ледяную воду одной из бухт за *клыками* — так назывались затопленные, обросшие красными водорослями и пресноводными ракушками боеприпасы разбитой армии, медные пули, которые он камнями отколачивал от патронных гильз, просверливал и носил, точно клыки хищника, на шнурке вокруг шеи. А старший брат эмигрировал в Америку и сгинул где-то в лесах штата Нью-Йорк. Последней весточкой от него, полученной много

лет назад, была открытка с видом Гудзона, чьи серые воды неизменно воскрешали и печаль по утонувшему.

Когда в годовщину смерти утонувшего сына мать Беринга пускала по волнам озера букетик голубых анемонов и зажженные свечи в деревянных площадках, один из плавучих огоньков всегда был памятью о польке Целине, которая пришла ей на помощь в ночь той бомбежки.

Целина — ее вывезли из Подолии на принудительные работы — спряталась тогда в земляном подвале горящей винодельни и затащила в это безопасное место мать Беринга. Меж дубовых бочонков она постелила мешки и сырой картон и уложила на них рыдающую кузничиху, у которой внезапно начались схватки, а после завязкой от фартука перевязала пуповину, перегрызла ее зубами и вином обмыла новорожденного.

Кое-как освещенное сальными свечками подземелье содрогалось от грохота разрывов, и полька, обнимая мать с младенцем, громко молилась Черной Ченстоховской Богоматери, а заодно все чаще прихлебывала скверное кислое вино и под конец вперемежку с короткой скороговоркой молитв и монотонными литаниями начала вершить суд над минувшими годами.

Теперешняя огненная буря — это кара, посланная Матерью Божией за то, что Моор вверг своих мужчин в войну и заставил их прошагать в страшных полчищах до Шоновиц, даже до Черного моря и Египта, возмездие за то, что ее жениху Ежи, улану, пришлось на берегах Буга идти в атаку против танков, а потом под гусеницами... его красивые руки... красивое лицо...

Царица Небесная!

Кара за спаленную Варшаву и за каменотеса Бугая, которого со всей его семьей и соседями пригнали на лесной двор к углежогам, чтобы они вырыли себе там могилу.

Мать Божия, утешительница скорбящих!

Отмщение за поруганную честь невестки Кристины...

Пристанище грешников!

...и за скорняка Зильбершаца из Озенны... Два года прятался горемыка в известковой яме, потом кто-то выдал его, и вытащил оттуда, и в Треблинке навеки бросил в известь...

Владычица милосердная!

Воздаяние! за пепел на польской земле и растоптанные луга Подолии...

Так жаловалась и плакала полька Целина, когда наверху давно уже настала мертвая тишина, а мать Беринга от изнеможения уснула.

Моорские мужчины, шептала Целина в крохотные кулачки младенца, снова и снова прижимая их к губам и целуя, моорские мужчины поднялись против целого мира — и теперь этот мир в ярости своей хлынет на здешние поля, как Страшный суд, со всеми живыми и мертвыми, ангелы с огненными мечами, калмыки из степей России, орды неприкаянных душ, которых без церковного утешения выбили из их бранных оболочек, призраки!.. И польские уланы в бешеной скачке, и евреи из Святой земли, бряцающие пулеметными лентами и штыками, и все, кому уже нечего было терять, все, кто не мог уже обрести иной веры, кроме веры в отмщение...

Аминь.

Именно подневольная работница Целина Кобро из Шоновиц в Подолии стала в Мооре первой жертвой, что погибла четыре дня спустя под пулями батальона, прошедшего через деревню в победоносном наступлении. Виной всему была ошибка. В потемках трусоватый пехотинец принял закутанную польку, которая крадучись вела в поводу лошадь, за снайпера, за спасающегося бегством врага, дважды тщетно крикнул на непонятном языке: *Стой!* и *Тревога!* — а потом выстрелил.

Первая же очередь полоснула Целину по груди и шее и ранила лошадь. Целина завязала коняге хrap, а копыта обмотала тряпками, чтобы втихомолку отвести бесхозную тварь из захваченной деревни в укрытие, в сосновую рощу, и тем спасти от конфискации или забоя; коняга этот был ее *трофеем*. Он при-

храмовая бросился в ночь, а Целина осталась лежать на замшелых камнях и приближающиеся беглые шаги пехотинца слышала уже как далекий, странно-торжественный шум своей смерти: шелест листьев, хруст веток, глубокое, бездонно глубокое дыхание — и наконец сдавленный возглас, брань солдата, после чего все шорохи замерли и навсегда вернулись в лоно тишины.

Наутро Целину схоронили под обугленными привокзальными акациями, рядом с рабочим из моорской каменоломни, военнопленным грузином, который умер от голода всего через час-другой после того, как в деревню вошли победители.

Уже в первые недели после гибели Целины вроде как начали исполняться не только пророчества, слетевшие с ее уст в ночь, когда родился Беринг, но и сокровеннейшие ее мечты об отмщении, которыми она жила все эти годы на чужбине.

Моорских жителей выгоняли из домов. Дворы побежденных приверженцев войны стояли в огне. Надзиратели из местной каменоломни, прежде наводившие панический страх, теперь волей-неволей молча сносили все унижения; на седьмой день после освобождения, в пятницу, двое из них качались на холодном ветру, с петлей на шее.

Моорских кур и тощих свиней гоняли по *площади Героев* и по черным от копоты полям, они стали теперь подвижными целями, на которых тренировались снайперы: расстреливали живность, а трупы швыряли собакам — в голодающем Мооре... А в одночасье потерявшие всякую ценность знаки отличия, ордена и бюсты героев, завернутые во флаги и никчемные уже мундиры, тонули в навозных ямах либо исчезали в чердачных и подвальных тайниках, и в огне их тоже сжигали, и в землю спешно закапывали. В Мооре властвовали победители. И какие бы жалобы на эту власть ни поступали в комендатуру, ответы и справки оккупационных войск сводились, как правило, лишь к ядовитым напоминаниям о жестокости той армии, в которой покорно несли службу моорские мужчины.

На перепачканных глиной ломовых лошадях разъезжали по деревне, понятно, не всадники Страшного суда, и из танковых люков и с открытых платформ армейских эшелонов смотрели не ангелы мщения и не призраки из пророчества Целины — но в бывшей общинной канцелярии, а ныне *комендатуре* водворился, первый в череде иностранных начальников, полковник из Красноярска, беловолосый сибиряк с бесцветными глазами; не в силах забыть своих убитых близких, он стонал в ночных кошмарах, а назначая, нарочито нерегулярно, комендантский час, приказывал открывать огонь по всему, что об эту пору двигалось на улицах и в садах Моора.

Война кончилась. Но Моору, такому далекому от полей сражений, за один только первый мирный год суждено было увидеть больше солдат, чем за все унылые столетия прежней его истории. Порой казалось, будто на окруженных горами моорских холмах не просто осуществляются планы стратегического развертывания войск, а идут какие-то путаные титанические маневры, которым надлежит продемонстрировать именно здесь, в *этой* глуши, совокупную глобальную мощь: на изрытых полях и виноградниках Моора, на пустых дорогах и хлюпающих под ногами топких лугах в этот первый год наслаивались и пересекались оккупационные зоны шести разных армий.

На карте в комендатуре холмистый моорский край выглядел всего-навсего лоскутной выкройкой капитуляции. Соперничающие победители без конца вели переговоры, определяли и меняли демаркационные линии, передавали долины и трассы из благосклонных рук одного генерала в жестокие руки другого, делили изрытый кратерами ландшафт, передвигали горы... Но уже через месяц новая конференция опять все перекраивала. Однажды Моор на две недели угодил во вдруг разверзшуюся нейтральную зону между армиями, был оставлен войсками — и снова оккупирован. Беринговская усадьба постоянно находилась в тисках переменчивых границ, однако всегда была не более чем жалкой добычей — закопченная кузница, пустой хлев, овечий выгон, заброшенная земля.

Первые две недели после прекращения огня в Мооре распоряжались исключительно сибиряки красноярского полковника, потом они ушли, и в деревню вступила марокканская батарея под французским командованием. Настал май, но тепла по-прежнему не было. Марокканцы забили двух дойных коров, спрятанных в развалинах моорской лесопилки, расстелили на мостовой перед комендатурой молитвенные коврики, а когда, к ужасу Беринговой матери, которая глазам своим не поверила, один из *африканцев* выстрелом снес Мадонну кладбищенской часовни с золоченого деревянного облака, он остался безнаказанным, перуны небесные его не поразили.

Батарея стояла в деревне до середины лета, после чего ей на смену явился шотландский Хайлендский полк, гэльские снайперы, которые по меньшей мере раз в неделю отмечали годовщину каких-то незабвенных баталлий — с торжественным подъемом флага, игрой на волынке и распитием темного пива; и наконец, когда с немногих засеянных полей убрали урожай и они снова лежали черные и голые, как и весь скованный морозом здешний край, шотландцев сменила американская рота — и начался режим майора из Оклахомы.

Майор Эллиот был человек своенравный. По его приказу к дверям комендатуры привернули большое зеркало, и каждого просителя или жалобщика из оккупированных районов он спрашивал, кого или что тот, входя в помещение, видит в этом зеркале. Если майор был рассержен или просто не в духе, он нудно повторял одни и те же вопросы, пока проситель в конце концов не говорил то, что комендант хотел услышать: мол, свинячью голову, щетину да копыта.

Впрочем, майор Эллиот не только подвергал деревню странным репрессиям — с этими унижениями побежденные в итоге примирились, сочтя их непонятными чудачествами, — в целом жить при нем стало полегче: безудержный, стихийный самосуд освобожденных подневольных рабочих и маршевых частей отступил перед военным законом армии-победительницы. В первую мирную зиму майор чуть не ежедневно издавал хотя бы один новый приказ, направленный на пресечение опасной анархии, — распоряжения насчет мародерства, саботажа, хищений угля. Сухопарый сержант, страстный поклонник бейсбола и немецкой поэзии XIX века, переводил параграфы новых уголовно-правовых норм на диковинный канцелярский язык, а затем приколачивал свое творение к доске объявлений в комендатуре.

Родная деревня нищала день ото дня, а Беринг, запеленатый в лоскутья флагов, лежал себе тем временем в бельевой корзине, подвешенной к потолочной балке, лежал и заходился криком, худенький, чесоточный младенец, лежал в своей пахнувшей молоком слюнявой беспомощности — и рос. Пусть Моору суждено погибнуть — у сынишки пропавшего в пустыне кузнеца с каждым днем прибывало сил. Он орал — и его кормили, орал — и его брали на руки, орал — и кузнечиха, которая ночи напролет бодрствовала, качая колыбель и молясь Божией Матерью о возвращении мужа, целовала его и тетешкала. Младенец не выносил твердой почвы, словно любой контакт с землей повергал его в ужас, и бушевал не смыкая глаз, если измученная мать брала его из корзины в свою постель. Как ни старалась она унять его, как ни увещевала, он орал не своим голосом.

Первый год жизни Беринг провел в темноте. Еще и спустя много лет после войны оба окна в его комнате оставались заколочены: хотя бы эту комнату, единственную в доме кузнеца, которую пощадила ночная бомбежка — ни трещин в стенах, ни следов пожара, — нужно было защитить от мародеров и жужжащих на лету железных осколков. В полях по-прежнему попадались мины. Вот так Беринг и покачивался, парил, плыл в своей темноте, иногда слыша в глубине под собою надтреснутые голоса трех несущек, спасенных в бомбежку из пылающего курятника и в конце концов вместе со всем мало-мальски ценным скарбом запертых в невредимой комнате.

Квохтанье и шебаршенье кур в их проволочной клетке неизменно слышались в беринговской темноте куда громче любого внешнего шума. Рев танков,

маневрирующих на лугах, и тот проникал сквозь забитые окна к люльке младенца глухо, как бы из дальней дали. Беринг, летун среди крылатых пленниц, пожалуй, любил этих кур, и когда одна из них ни с того ни с сего, хлопая глазами и дергая головой, подавала голос, он, бывало, обрывал даже самый отчаянный крик.

Мать ходила по дворам, а иной раз целыми днями скиталась из одной деревни в другую, выменивала болты, подковные гвозди, а в конце концов и спрятанный в подвале кузницы сварочный аппарат — на хлеб, мясо или банку плесневелого джема; тогда за Берингом присматривал старший брат, вспыльчивый, ревнивый подросток, люто ненавидевший крикливый сверток в колыбели. В бессильной ярости он терзал насекомых, ночных бабочек и тараканов, выгонял их из щелей в деревянной обшивке стен, отрывал одну за другой тоненькие ножки и швырял искалеченных тварей под братишкину корзину, курам, а после таких кормежек, вооружившись зажженной свечой, поднимал среди несущек панику. Не шевелясь, Беринг прислушивался к голосам страха.

Даже спустя годы петушиный крик будил в нем непонятные, загадочные ощущения. Нередко это был меланхолический, бессильный гнев, который не имел определенного адресата и все же более, чем всякий звериный или человеческий звук, связывал его с родным домом.

Мать Беринга уверовала в небесное знамение и с ужасом вынесла куриную клетку вон из комнаты, когда снежным февральским утром младенец — он целый час вел себя спокойно, только внимательно прислушивался — снова раскричался и голос его походил на кудахтанье курицы: крикун квохтал словно несущка! Крикун размахивал руками, высовывал из корзины скрюченные белые пальчики — словно птичьи когти. И голову вроде как рывками поворачивал...

Крикун думал, что он птица.

3. Вокзал у озера

В ту сухую осень, когда моорский кузнец вернулся из Африки и из плена, Беринг умел произнести десятка три слов, но гораздо больше ему нравилось копировать птичьи голоса, множество птичьих голосов, да так похоже — он был курицей, и горлинкой, и сычом. Шел второй мирный год.

Накорябанная на открытке полевой почты весточка о приезде отца преобразила кузницу: за каравай хлеба беженец из Моравии заштукатурил щели и побелил стены, и заколоченные окна беринговской комнаты наконец-то опять открылись. Теперь шум внешнего мира обрушился на Беринга со всей своей силой. Младенец кричал от боли. Уши, сказал моравец, окуная кисть в известку и щедро замазывая побелкой пятна копоти, у ребенка слишком чуткие уши. Слух очень уж тонкий.

Беринг заходился криком, и утихомирить его было невозможно — он и правда будто спасался бегством в собственный голос, искал у голоса защиты... будто собственный крик и правда был терпимее — не такой пронзительный и резкий, как грохот мира за открытыми окнами. Крикун еще не сделал первого шага в этот мир, но, кажется, давно почувствовал, что, имея тонкий слух, куда лучше искать прибежища в голосе птицы, нежели в грубом рыканье людей: промежуток от низов до верхов животной песни заключал в себе всю бестревожную защищенность, о которой можно тосковать в расколоте дома.

Когда моравский беженец ушел из кузницы, из побеленных, еще не просохших комнат, там остался запах тухлой воды — и убогого ребенка. Мать Беринга, вняв совету моравца, за две рюмки шнапса купила у него восковые пробки, про которые он сказал, будто отлиты они из слез метеорских свечей — целительных свечей пещерных обитателей Метеоры! — и теперь, как только сын принимался орать, затыкала ему уши.

Моорский кузнец приехал домой на праздник урожая, в зараженном дизентерией эшелоне. У озера, в руинах вокзала, освобожденных дождалась гус-

тая толпа. На железнодорожных насыпях царила мрачная тревога. В приозерье ходили упорные слухи, что этот эшелон — последний в Мооре, железная дорога будет демонтирована.

День выдался пасмурный, земля белела первым инеем, и холод резко пах сожженной стернею. В октябрьской тишине давно уже слышалось мало-помалу приближающееся ритмичное пыхтение паровоза, и вот наконец над тополями возле пруда, где разводили карпов, появился и пополз к озеру желанный шлейф дыма.

Беринг, шупленький полуторогодовалый мальчик, крепко держался за материнскую руку, он был в самой гуще толпы, невидимый среди множества ног, пальто — и плеч, то смыкавшихся над ним, то снова размыкавшихся; однако ж он раньше других различил вдали пыхтение поезда и наострил уши. А звук приближался — загадочное, никогда еще не слышанное дыхание.

Поезд, который буквально шагом въехал наконец в разбомбленный дебаркадер, состоял из закрытых «телятников» и на первый взгляд походил на те скорбные, битком набитые подневольными рабочими и пленными *врагами* эшелоны, что в годы войны, как правило на рассвете, вползали в моорскую каменоломню. Такой же стон доносился из вагонов, когда состав тащили к берегу, на запасный путь, и там он с металлическим лязгом останавливался у тупикового бруса. Такой же смрад бил в нос, когда наконец раздвигали двери. Только на сей раз вдоль насыпей стояли не вооруженные до зубов надсмотрщики в мундирах и не горластая полевая полиция, а всего лишь несколько скучающих пехотинцев из роты майора Эллиота, которым было приказано только наблюдать за этим спектаклем — прибытием эшелона.

Вагоны замерли без движения, но тотчас в движение пришла толпа. Сотни людей, сбросив груз многолетнего ожидания, кишели вокруг эшелона, точно вокруг исполинского наконец-то убитого зверя. Невнятный их говор набрал силу, стал громким криком. В большинстве они были такие же истощенные и оборванные, как и те бывшие солдаты, что, пошатываясь словно пьяные, ладонями прикрывая глаза от света, без вещей, вылезали теперь из вагонов. Море приветно машущих рук, одинаковые серые пятна лиц, неузнаваемые в ослеплении. Растрепанные цветы и фотографии пропавших без вести — точно козыри в карточной игре со смертью; имена, просьбы, мольбы.

Ты видел вот этого человека, моего мужа?

А моего брата не видел, может, знаешь его...

Он-то с вами ли...

Наверняка с вами...

Вы же из Африки...

...толкотня, давка, пока уже нашедшие друг друга обнимаются, что-то бесвязно шепча или не говоря ни слова, но вот они в конце концов делают вместе первые шаги, уходят из войны — и тут же опять начинают орудовать локтями и кулаками, чтобы в числе первых добраться до зала ожидания, над которым нет крыши. Говорят, там можно разжиться хлебом.

В этом зале под открытым небом стоит майор Эллиот, уронив руки по швам, рядом с моорским секретарем, за ними — духовой оркестр в штатском, который по знаку секретаря играет сперва медленную старинную песню, а уж потом — марш. На слух заметно, что оркестр в неполном составе. Кларнет всего один. А труба вообще отсутствует.

Потом наступает тишина. Кто именно произносит речь там, под двумя флагами, с перрона разглядеть невозможно. Динамики, укрепленные на деревянных столбах, разносят слова оратора — над рельсами, над головами, над озером.

Мы рады вашему возвращению... родина в развалинах... будущее... и мужайтесь!

Кому теперь охота слушать речи. Берингу физически больно от вылетающих из динамиков нестройных визгливых звуков, которые представляются ему одним противным голосом.

Оратор умолкает — и снова музыка, писклявый напев цитры и аккордеон, как в довоенных рестораниках; потом певица, она дважды сбивается, поскольку то ли плачет, то ли чихает — не поймешь.

Музыканты, певцы, ораторы и сам майор Эллиот исчезают в толпе. Официальная встреча закончена. Только теперь эшелонным бедолагам выдают хлеб и сухое молоко — недельный рацион; секретарь ведет списки и подписывает накладные. Некоторые обладатели пайков уже не в силах держаться на ногах и, скорчившись, оседают на колени. Каждый волен идти куда хочет, впервые за много лет — куда хочет. Но куда?

Кузнечиха стоит как потерянная среди этой суматохи, за одну ее руку цепляется Беринг, за другую — его брат, который, по обыкновению, злится, но помалкивает, опасаясь, что мать приведет в исполнение свои угрозы. Беринг тоже не раскрывает рта. В ушах у него еще вовсю пытит паровоз.

Кузнечиха не размахивала фотографией. Толпа увлекала ее и мальчишек за собой, то в одну сторону, то в другую, и она не сопротивлялась. Потому что знала, потому что отчаянно хотела верить, что на сей раз ее ожидание в черных стенах моорского вокзала не будет напрасным. Она пришла с цветами, Берингов брат сжимает их в кулаке. Цикламены, сорванные возле запруды.

С детьми кузнечиха не может, как другие, пробиваться сквозь толпу. Она и он вообще никогда не спешили навстречу друг другу, подходили нерешительно, порой даже стыдливо и смущенно. Потом война намела между ними песчаные барханы Северной Африки, расплескала целое море. Они ведь не успели толком познакомиться.

Но как прежде, так и теперь кузнечихе приходится ждать *его*. Ждать в гуще толпы, и вставать на цыпочки, и осматриваться, пока на холодном озерном ветру не начинают болеть глаза и по щекам не текут слезы.

Она не знает, что плачет, не слышит, что повторяет имя кузнеца, вновь и вновь, точно заклинение, точно формулу. Беринг льнет к матери, ошарашенный первой в жизни толпой и бешеным пульсом, который чувствует в руке, сжимающей его ладошку.

После раздачи хлеба суматоха вокруг возвращенцев стала беззаботнее, прямо-таки повеселела; маленькие группки, обнявшись, одна за другой выбирались из толчеи, слышался смех, подъезжали телеги, и даже грузовик. Эллиотовские солдаты изъяли у какого-то горлана возницы запрещенный флаг — полотнище разорвали, мужика затолкали в свой джип. Никто почти не обратил на это внимания. Лишь перепачканная глиной кудлатая собака арестованного с лаем металась вокруг машины, норовя куснуть хозяйских врагов, и отстала, только когда один из солдат огрел ее по голове прикладом.

Не измерить,

не измерить время, которому суждено пройти до той минуты, когда плечи и головы в вышине над Берингом исчезают и толпа рedeет. Будто судорожное, успокоившееся теперь дыхание расчистило место — мать внезапно тянет Беринга и его брата прочь.

Наконец-то и кузнечиха может пройти вперед, туда, где среди серого дня еще стоит множество серых фигур, так и не смешавшихся с ожидающими. Дважды ей мнится, что она нашла потерянное и такое знакомое лицо, и дважды это лицо оказывается чужим; только спустя целую вечность она видит кузнеца — совсем рядом, без малого в трех метрах. Сердце у нее колотится как безумное, отнимая все силы, и она чувствует, что уже была готова примириться с тщетностью поисков.

Исхудалый человек — это и есть кузнец — остановился так резко, что идущий следом с размаху ткнулся ему в спину. Устояв на ногах, он смотрит на нее. Оброс бородой. На лице черные пятна. В ее воспоминаниях он и такой, и совершенно не такой. О шраме на лбу ей известно из письма с фронта. Но

лишь сейчас она пугается. Что же это была за война, на которой он так долго пропадал и с которой теперь *вот так* возвращается? Она уже не помнит. Полмира погребло вместе с Моором, это она помнит; помнит и что с полькой Целиной и четырьмя коровами ее собственной усадьбы исчезла в земле и в огне половина человечества. Пресвятая Дева Мария! Но из всех пропавших он единственный когда-то держал ее в объятиях. И он вернулся домой.

Сыновья робеют. Брат упорно не желает вспомнить этого человека, а Беринг еще никогда не видел его. Сыновья цепляются за мать, у нее же руки теперь заняты, как у всех счастливых в руинах вокзала.

Так они глядят друг на друга, сыновья — на страшного незнакомца, незнакомец — на мать, и на брата, и на Беринга. Все молчат. А потом незнакомец делает шаг, который исторгает у Беринга вопль ужаса. Исхудалый человек показывает на него, медленно делает два шага, хватает его под мышки, забирает от матери — к себе на руки.

Беринг чувствует, в этом человеке не иначе как живет то дыхание, что слышалось ему издалека. А сейчас перед глазами — шрам на лбу кузнеца, рана, из-за которой *этом*, наверно, и стал таким одышливым и тощим; и Беринг истошно вопит наверху, на отцовских руках, выкрикивает слова, которые должны сказать матери — она у него за спиной, — чем *этом* так его пугает, он вопит

Кровь!

вопит

Воняет!

и бьется в руках исхудалого, и знает, что слова не помогут. Мать — всего лишь тень далеко за спиной. Так проходит секунды три-четыре, и внезапно Беринг чувствует, как что-то дергает, рвет его крик и словно молотком вколачивает обрывки голоса в самую верхушку головы, и наконец он вновь слышит из собственных уст тот другой, охраняющий голос, который пронес его сквозь тьму первого года, — и *квохчет*, квохчет на руках у отца! Квохчет неистово, безумно — перепуганная курица, хлопающая руками-крыльями, до смерти перепуганная птица, которую исхудалый мужчина не в силах удержать. Трепыхаясь, она падает наземь.

4. Каменное Море

Через три недели после возвращения кузнеца *поезд свободы* все еще стоял в тупике. Из открытых настежь «телятников» разило мочой и дерьмом, в прелой соломе ворковали голуби, на которых охотились беженцы, обитавшие в палатках возле насыпи, — стреляли из рогаток, ловили сетями. Глубокие колеи приозерной дороги уже поблескивали в эти дни первым ледком, разносчики стучались в двери и окна, но даже за опущенной железной ставней моорской колониальной лавки качались на сквозняке одни только сухие пучки лаванды — и майор Эллиот, удовлетворив прошение кузнеца, на время выделил этому «возвращенцу» сварочный аппарат из армейского имущества.

Первые вспышки и отсветы огня из вновь открытой кузницы, а вслед за ними — оглушительные удары молота по тележным дышлам, сетчатым загородкам хлевов и флюгерам; и железная, докрасна раскаленная дубовая ветвь тоже плясала по наковальне — первый заказ вновь созданного Союза ветеранов. Кузнец разговаривал сам с собой, жалобно стонал во сне, но в шуме своих трудов нет-нет да и начинал вдруг напевать, солдатские песни или просто *ля-ля-ля*, а Беринг между тем все еще не оправился от падения из отцовских рук. Голова в бинтах, как в тюрбане, отчего лицо казалось крохотным и совсем уж птичьим.

Впрочем, кузнецу этот грязный тюрбан на голове сынишки напоминал только о фронте, о пустыне, и он рассказывал истории про барханы, под которыми погибали усталые конвои, рассуждал за кухонным столом про летучие тески — предвестья бури, которые сотнями фонтанов и фонтанчиков в одну

секунду взметались в воздух и тотчас же опали, а при этом звенели, будто иголки сыпались на стеклянную землю... Живописал он и оазисы, дарившие уют каравану, прежде чем тусклое солнце гасло в песчаных тучах.

Однако, невзирая на все отцовы старания растолковать семейству, что такое пустыня, невзирая на все попытки изобразить гримасы дромадера или хохот гиен, Беринг так боялся исхудалого мужчины в постели у матери, что неделями не говорил ни слова и даже птичьих криков не издавал.

Шло время, а поезд, на котором приехал исхудалый мужчина, — девять вагонов да паровоз с тендером — все стоял в руинах моорского вокзала, словно выпавший из расписания, забытый всеми властями и комендатурами, и, как видно, не суждено ему было покинуть эту конечную станцию.

Безоблачным морозным днем прибывшая с равнины американская инженерная колонна начала разборку путей. Будто в знак особой кары, первые удары кувалды обрушились на пост централизации, пресловутое *моорское распутье*, снискавшее себе печальную славу в каменоломне, среди подневольных рабочих. Это распутье — стрелка, спрятавшаяся в зарослях глухой крапивы, мяты и куманики, — в войну делило все составы, подходившие к моорскому берегу, на *белые* и *слепые*.

Белые поезда и в войну привозили к озеру тех же пассажиров, что и в мирное время: курортников со свистящим астматическим дыханием, тучных подагриков, покупателей на рыбный рынок, открытый по вторникам, и «челноков» с равнины. Где-то далеко шли бои, и в Мооре становилось все больше отпускников с фронта и тяжелораненых офицеров, которые доживали последние свои дни в полосатых шезлонгах под тентами «Гранд-отеля». Для *белых* поездов стрелку всегда переводили вправо, и они катились по отлогому спуску к конечной станции — моорскому вокзалу.

Слепые составы до этого вокзала не добирались никогда. Слепые, потому что без окон, потому что без табличек, из Ниоткуда в Никуда. Слепые — запертые товарные вагоны и «телятники» эшелонов с военнопленными. Только на площадках вагонов, в тормозных будках, а иногда на закопченных крышах виднелись люди — надзиратели, солдаты. Для таких поездов стрелку с лязгом переводили налево. Потом они тоже катились под уклон, к пыльному берегу, смутно вырисовывающемуся вдаль. К берегу каменоломни.

С опорного каркаса разбитой артобстрелом наблюдательной вышки, что находилась возле *распутья*, открывался прекрасный вид на озеро. Десятилетия спустя Беринг, пленник Бразилии, вспомнит этот пейзаж как образ родины: казалось, там, в глубине, лежал зеленый фьорд, сверкающий на солнце морской рукав. Или это была река, что за долгие зоны пробила себе русло в камне и теперь, укрошенная, ползла по каньонам собственного упорства? Меж лесистых и голых склонов змеилось это озеро далеко в глубь гор, пока не упиралось в скалистые кручи бездорожной глухомани.

Если смотреть с другого берега, в ясную погоду террасы каменоломни казались всего лишь огромными светлыми ступенями, ведущими из облаков вниз, к воде. А в вышине, где-то над вершиной этой исполинской гранитной лестницы, высоко над пыльными тучами от взрывных работ, над просевшими кровлями барачного лагеря при камнедробилке и над следами всех пыток, пострадавших на Слепом берегу, начинался дикий край.

В том мире, который открывался взгляду из Моора, не было ничего мощнее и величавее гор, вздымавшихся над каменоломней. Каждый поток, что струясь по галечному ложу, сбегал с ледников и терялся в туманной дымке, каждая пропасть и щель каньона, над которой мельтешили галочки стаи, уводили в глубь каменного лабиринта, где любой свет обращался в тени — пепельно-серые, и синие, и окрашенные всеми цветами неорганической природы. На большой, во всю стену, карте, что висела в комендатуре, имя этих гор, написанное поверх обозначений высот и причудливых линий изогипс, было обведено красным: *Каменное Море*. Запретное, бездорожное, заминированное

на всех перевалах, раскинулось это Море меж зонами оккупации, голая, погребенная под глетчерами ничейная земля.

Когда дождевые шквалы атлантического циклона туманили панораму озера, горы с их снегами, не тающими даже в разгар лета, подчас были совершенно неотличимы от косматых хмурых туч. В такие дни Каменное Море как бы расплывалось, представляя взору нечетким барьером из скал, облаков и льда, — и неизгладимо в памяти Беринга запечатлелась на этом барьере надпись:

**ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ УБИТЫЕ —
ЧИСЛОМ ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ТРИ, —
И УБИЛИ ИХ
УРОЖЕНЦЫ ЭТОЙ ЗЕМЛИ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МООР**

На пяти незасыпанных ступенях гранитного карьера, на пяти неровных циклопических строчках, по приказу майора Эллиота была поставлена — *сооружена!* — эта надпись, над которой в принудительном порядке трудились и каменотесы, и строители. Каждая буква в рост человека. Каждая буква как отдельная, скрепленная цементом скульптура из обломков лагерных бараков, из фундаментов сторожевых вышек и железобетонных осколков взорванного бункера... Так Эллиот превратил в памятник не только заброшенный карьер приозерной каменоломни, но и сами горы.

Конечно, обитатели Моора, Ляйса, Хаага и других береговых деревушек пытались возражать против этой надписи в карьере — рассылали протесты, заверяли в своей невиновности, даже провели на набережной жиденькую демонстрацию и перед саботажем не остановились: дважды обрушивались украдкой подпиленные подмости вокруг букв, а как-то ночью превратилась в обломки длинная, почти сорокаметровая, строка, сообщавшая число убитых, — смотреть на нее было невозможно.

Но Эллиот был комендант. И достаточно зол и силен, чтобы не бросать слов на ветер: он пригрозил, что за каждый следующий акт саботажа велит сделать на обрывах, холмах и стенах домов новые обвинительные надписи, еще похуже этой. И в конце концов огромные буквы в карьере стали во весь свой рост, корявые, выкрашенные известкой, заметные издали, стали *плечом к плечу*, как пропавшие без вести моорские солдаты, как строй подневольных рабочих на поверке, как победители под знаменами своего триумфа. И какова бы ни была увековеченная в них страшная цифра, никто не подвергал сомнению, что в каменных осыпях и в проросшей корнями елей и сосен земле у подножия надписи лежали мертвецы из барачного лагеря при камнедробилке.

Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят три... Конфискованные лагерные *книги записи смертей*, бесконечные перечни имен, выведенные почерком, похожим на орнамент из ножевых клинков, Эллиот держал под замком в сейфе комендатуры и, пока был у власти, доставал их оттуда только в годовщины Ораниенбургского мира, но впервые он это сделал в те дни, когда в карьере сооружали надпись. Целую неделю лагерные книги лежали тогда под охраной военной полиции в стеклянной витрине у пароходной пристани, открытые, выставленные на всеобщее обозрение, а на фонарных столбах вдоль набережной хлопала на ветру черные флаги.

Когда в последний день этой выставки прибыла инженерная колонна и, уничтожив «моорское распустье», начала превращать железнодорожную насыпь в пустой, никчемный вал, мать Беринга заткнула воском чуткие уши сына: лязг цепей и сорванных рельсов гулко разносился по деревушке и окрестному побережью.

Перепуганные этим лязгом и буханьем кувалд, за какой-то час к насыпи сбежались сотни людей. И становилось их все больше. Столбы дыма от костров, в которых сгорали просмоленные деревянные шпалы важнейшей маги-

страли, связывавшей Моор с равниной и большим миром, были видны даже из таких дальних деревень, как Ляйс или Хааг.

Возмущенная толпа грозила солдатам кулаками, выкрикивала вопросы, проклятия. Сейчас, на самом пороге зимы, сбывались наихудшие слухи о закрытии железной дороги. Закрытие! Моор вновь отброшен на проселок! Отрезан от мира.

Солдаты невозмутимо срывали рельсы, один за другим, и сваливали на грузовые платформы, которые затем оттаскивали паровозом чуть дальше от озера. Товарняк потихоньку отползал к равнине, забирая с собой свою дорогу.

Возмущение и растерянность Моора, казалось, только раззадорили солдат. Несмотря на холод, некоторые скинули френчи и рубахи, будто надрывали пуп в летнюю жару, и выставили на обозрение свои татуировки: чернильно-синие орлиные головы и птичьи крылья на плечах, синих русалок, синие черепа и скрещенные огненные мечи.

В ответ на крик и брань толпы один из татуированных соорудил из двух ломиков подобие ножниц и принялся отплясывать — во все более узком пространстве между своими товарищами и населением приозерья. Он притопывал и кружился, затаил что-то жалостное и разыграл гротескную пантомиму, изобразив, будто ножницы перерезают ему горло. Неотрывно глядя на зрителей, он завывал все громче и мало-помалу перешел на крик, в котором моорцы распознали исковерканный собственный язык: *Тыквудолой-тыквудолой-тыквудолой!*

Двое-трое приятелей плясуна подхватили: *Бу-до-лой! ву-до-лой!* — отбивая такт кирками, лопатами и кувалдами.

Внезапно в воздухе просвистел камень. И еще один. А секунду спустя ярость взметнулась с насыпи градом щебня и обрушилась на татуированных полуголых солдат. Но еще в тот миг, когда были брошены первые камни, начальник караула, сержант, успел выпустить над головами предупредительную автоматную очередь.

В тишине, мгновенно воцарившейся вокруг, были слышны только шаги коменданта. Майор Эллиот соскочил с грузовой платформы, оттолкнул сержанта, стал между притихшей толпой и готовыми к контратаке татуированными — и устроил разнос. Кричал он долго — что-то про *начало*, про *первый шаг* и поминутно повторял одно и то же странное слово. Это было имя, которого здесь еще не слышали: *Стелламур*.

5. Стелламур, или Ораниенбургский мир

Берингу сравнялось семь лет, когда он потерял свои птичьи голоса. Произошло это на одном из пыльных спектаклей, которые майор Эллиот именовал *Stellamour's Party* и проводил в карьере, четырежды в год: среди гранитных глыб и в руинах барачного лагеря при камнедробилке Моор должен был извещать, что такое зной летнего дня или мороз январского утра для пленного, который во всякое время года поневоле влачит свою жизнь под открытым небом.

В тот августовский день, знойный, как в пустыне, отец Беринга в разгар эллиотовской речи упал под тяжестью пятидесятикилограммовой ноши, а потом, лежа на спине, тщетно пытался вновь стать на ноги.

Диковинное зрелище — дрыгающий ногами отец — так рассмешило семилетнего мальчонку, что под конец он, словно в какой-то истерической игре, сам упал возле этого огромного жука, у края лужи, и тоже с воплями дрыгал ногами и руками, пока солдат-охранник не заткнул ему рот яблоком.

Теперь, после этого припадка смеха, когда бы сын кузнеца ни искал прибежища в курятниках или в тени взлетающих птичьих стай, он свистел, ворковал и вхохтал уже только как человек, который лишь пытается подражать курице, дрозду или голубю, — настоящий птичий голос пропал навсегда. Правда, у него вполне сохранилась способность узнавать даже редчайших птиц и

случайных гостей озерного края по одному-единственному крику: белобрюхого стрижа, голубого зимородка, белую чайку и полевого луня, малую серебристую цаплю, лебедя-кликуну, горную трясогузку, разных бегунков, малую овсянку... — их именами Беринг в школьные годы заполнит пустые столбцы старой амбарной книги, в которой кузнец когда-то давно записывал заказы.

Большие и маленькие портреты Стелламура — лысого господина с улыбкой на лице — красовались в те годы на досках объявлений, на воротах, а то и на брандмауэре сгоревшей фабрики или казармы, огромные, во всю стену.

Судья и ученый Линдон Портер Стелламур в кресле у кабинетного стеллажа, на фоне ярких книжных корешков...

Стелламур в белом смокинге между колоннами вашингтонского Капитолия...

и Стелламур в рубашке-сафари, машущий обеими руками из короны лучей на голове американской статуи Свободы...

Стелла-
Стелла-
Стелламур
Высокий судья Стелламур
Из Покипси в цветущем штате
цветущем штате Нью-Йорк... —

эти слова сделались припевом странного гимна — не то шлягера, не то детской песенки; смешанные хоры исполняли его на церемониях подъема и спуска флага и на праздничных собраниях. Имя Стелламура, с трудом, по буквам усвоенное на слух в нетопленых, продуваемых сквозняком школьных классах, многократно накорябанное мелом на грифельных досках и, наконец, выведенное, скорее даже выгравированное, авторучками на деревянистой бумаге, — имя Стелламура давно уже неизгладимо врезалось в память нового поколения. Даже над воротами вновь отстроенных водяных мельниц и вновь созданных свекловодческих товариществ развевались транспаранты с нашитыми на них изречениями судьбы:

На наших полях произрастает грядущее.

Впрочем, попадались и афоризмы иного рода:

Не убивай.

С той поры как инженерная колонна майора Эллиота ликвидировала железнодорожную связь с равниной и Моор бесследно исчез из графиков движения поездов, жители оккупационных зон в ходе долгого процесса демонтажа и разорения мало-помалу уразумели, *не могли не уразуметь*, что *Линдон Портер Стелламур* не просто новое имя, принадлежащее какому-то представителю Армии и администрации победителей, но единственное и подлинное имя возмездия.

В Мооре еще вполне отчетливо и с не угасшим даже после стольких лет возмущением вспоминали день, когда Эллиот впервые приказал населению приозерных деревень сомкнутыми колоннами явиться в карьер: в этот день было не только назначено торжественное открытие треклятой *надписи*, текст которой давным-давно обошел все побережье, но самое главное — по крайней мере так сообщалось в листовках и афишах этой первой *party*, — должны были обнародовать мирный план Стелламура. (Сообщалось также, что явку будут проверять по спискам и отсутствующим на празднике без уважительной причины грозит военный трибунал.)

И вот в назначенный час многочисленная, полная и ненависти, и страха процессия потянулась к каменоломне: под водительством *секретарей*, которых Армия посадила на место прежних, канувших в исправительные лагеря, бургомистров и коммунальных советников, шагали обитатели приозерья по мертвой железнодорожной насыпи, тряслись в запряженных лошадью и волами телегах по узкой щебеночной дороге вдоль ее подножия или выгребали по озеру

на плоскодонках и обветшалых шаландах. Хмурое, приниженное общество, в котором самые отчаянные храбрецы разве что осмеливались, прикрыв рот рукой, шепотом воскликнуть, что комендант окончательно помешался.

Спору нет, так мог распорядиться только помешанный: черные стены барачного лагеря, рваные спирали колючей проволоки и ржавые надолбы были разукрашены точно к веселому празднику. С транспортеров и изломанных трубопроводов, покачиваясь, свисали лампы, на замшелых гранитных глыбах блестели пучки металлических цветов и венки из дубовых листьев, которые кузнец несколько дней выкраивал из рулона катаной жести, а торчащую из большой лужи стрелу крана обвивали гирлянды.

— Чтоб он сдох, — сказал кузнец, привязывая свою лодку к причалу каменоломни, и сплюнул в воду.

— Обороны нас от него, — прошелестела кузнечиха и поцеловала ладанку Черной Богоматери.

Где бы Эллиот ни появлялся в тот день на джипе или на носу патрульного катера, все украдкой, чтоб он не видел, грозили ему кулаком. Но когда в сумерках засветились лампы и на пяти строчках-ступенях карьера вспыхнули огромные, в рост человека, факелы, деревни все же выстроились длинными безмолвными шеренгами, неотрывно глядя на еще закрытую надпись, на кричаще-пестрые полотнища в краках войны.

Сшитые из сотен кусков и лоскутьев, из френчей, из перепачканного коптою маскировочного брезента и старых моорских флагов, эти полотнища вздувались на ветру, хлопали и, словно волны прибоя, пробегали над каменными буквами.

Здесь лежат убитые — числом одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят три. А Берингу, который стоял в этот час среди моорцев, и с восторгом наблюдал за каждым из этапов церемонии, и знать ничего не знал о смысле надписи, — Берингу казалось, что под этими подвижными полотнищами блуждают люди и, вытянув перед собою руки, ощупью ищут выход на волю, обратно в мир.

Но в конце концов перед закрытой еще надписью в световом конусе прожектора появился все тот же комендант и молча взмахнул рукой. Полотнища сползли вниз, на сырой песок и в лужи, и некоторое время чавкали, пока не замерли в неподвижности, набрякнув водой.

Шеренги молчали. В карьере собралось более трех тысяч человек, но слышны были только озеро, порывы ветра да треск факелов. Побеленная известью, видная издалека, огромная надпись как бы парила над головами, отбрасывая в котел каменоломни шаткие, сумбурные тени.

Комендант прохаживался перед каменными буквами слов ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ — от «Р» мимо «О» к «П» и «О» и обратно, — и конус света двигался за ним. Потом Эллиот внезапно повернулся лицом к шеренгам и, словно отгоняя мух, взмахнул кулаком, в котором были зажаты свернутые наподобие кулька листы бумаги, и выкрикнул:

— Назад! Убирайтесь назад! В каменный век!

Шеренги, усталые от долгой дороги и долгого стояния, недоуменно смотрели вверх, на жестикулирующую фигуру, и не понимали, что из десятка громкоговорителей, прикрепленных к сучьям деревьев и столбам, гремит им навстречу голосом Эллиота послание Стелламура.

Эллиот раз-другой расправил свои листки, упрямо норовившие опять скататься в трубку, наконец поднес их к самым глазам и стал читать параграфы *мирного плана*, да с такой быстротой, что люди в шеренгах выхватывали только обрывки фраз, иностранные слова, а в первую очередь оскорбления и комментарии, которыми Эллиот то и дело перебивал официальный тон.

Подонки!.. Намильхозработы... сеновалы вместо бункеров... — трещало и хрипело из динамиков, — ...не будет больше ни фабрик, ни турбин, ни железных дорог, ни сталеплавильных заводов... Армии пастухов и крестьян... Перевоспитание и преобразование: поджигатели войны станут пасты свиней и выращивать

спаржу! Генералы возьмутся за навозные вилы... Назад на поля!.. овес и ячмень в развалинах заводов... Капустные кочаны, навозные кучи... а на шоссежных магистралях задымятся коровьи лепешки и будущей весной взойдет картофель!..

После *параграфа 22* майор угостил слушателей очередной тирадой, а потом так же внезапно и яростно, как начал, оборвал речь, скомкал листки мирного плана и швырнул их под ноги стоявшему рядом человеку — своему ординарцу.

В тот вечер собрание завершилось не духовой музыкой и не гимнами. Шеренги стояли и стояли в тишине, пока не догорел последний факел и выбеленная известкой надпись не стала тусклым пятном среди мрака. Тогда только комендант отпустил деревенских — в ночь.

На следующей неделе была остановлена электростанция на реке; *согласно параграфу 9* мирного плана, турбины и трансформаторы с подстанции укатали прочь на русских армейских грузовиках. Однако вооруженным до зубов часовым, охранявшим демонтаж, на этот раз надрываться не пришлось: никто в Мооре не протестовал.

У кого не было в сарае или в погребе дизельного движка, тот опять зажигал по вечерам керосиновые лампы да свечи. На улицах и в переулках ночью царил крошечная тьма. Только на плацу и вокруг доски объявлений у дверей комендатуры мерцали беспокойные венцы электрических лампочек.

Однажды утром два солдата протопали по снегу на холм, к кузнице, и от имени Стелламура потребовали вернуть сварочный аппарат. Берингова мать и та не узнала, чем кузнец их подкупил, потому что в конце концов они убралась восвояси с какой-то старой железякой, а сварочный аппарат благополучно остался в подвальном тайнике.

Кузнец в эти дни частенько сидел подле неисправимо помешанного на птицах сына и произносил названия инструментов, но, живя бок о бок с богомолкой женой, он становился все неразговорчивее и даже в пивнушке у пристани давно растерял всех дружков.

Моор неудержимо скользил сквозь годы вспять. Витрины колониальной лавки и парфюмерного магазинчика погасли. По берегам установилась тишина: неконфискованные и неуезенные моторы покрывались пылью. Горючее было на вес золота, как корица и апельсины.

Только там, где в частных домах квартировали офицеры, и близ казарм, в теплом соседстве Армии, всегда хватало света, по субботам допоздна играли оркестры, а по будням — музыкальные автоматы и ни в чем не было недостатка. И все-таки за один-единственный год уже стало заметно, что скользящее вспять время оставляло следы даже в этих резерватах исчезающего Сегодня: численность войск сокращалась. Взводы один за другим возвращались на равнину. Дома стояли пустые, холодные, и солдаты теряли бдительность — терпели жалкую контрабанду, которая снабжала товаром жалкий черный рынок; порой закрывали глаза на поддельные печати в паспортах и пропусках; безучастно наблюдали, как первые эмигранты покидают эти забытые Богом глухие деревушки. Но что бы ни происходило, со стен канцелярий, с афишных тумб и плакатов неизменно улыбалось лицо Стелламура, портрет лысого поборника справедливости.

Впрочем, майор Эллиот был по-прежнему неумолим. После каждой оттепели буквы *Великой надписи* в обязательном порядке белили заново, и четыре раза в год — в октябре, январе, апреле и августе — обитателей прибрежных деревень собирали в каменоломню на *Stellamour's Party*, и они стояли длинными шеренгами между ямами с грунтовой водой и высоченными стенами зеленого гранита. Вместо того чтобы предоставить события их естественному течению и позволить ужасам военных лет мало-помалу поблекнуть и затуманиться, Эллиот изобретал для этих мероприятий новые и новые мемориальные ритуалы. Похоже, комендант и сам был пленником прошлого, которое вновь и вновь приказывал ворошить.

В приемные часы Эллиот, словно этакий счетовод огненной стихии, сидел среди стопок опаленных и обугленных папок и канцелярских книг, и скоро не только каждый проситель и жалобщик, но вообще весь Моор знал, что это спасенные из огня, реквизированные документы принудительного труда, поименные списки, столбики цифр, кубатуры, реестры наказаний — почерневшие бумаги, запечатлевшие не что иное, как историю барачного лагеря.

В январе того года, когда Берингу суждено было утратить свои птички голоса, Эллиот обнаружил среди документов папку с фотографиями. Были это подпорченные водой во время тушения пожара любительские фотографии каторжной лагерной жизни: узники в полосатых робах, узники в каменоломне, узники, стоящие навывтяжку перед бараками... Эти-то снимки и натолкнули Эллиота на мысль о повинности, которой он увековечил себя далеко за пределами своего комендантского района.

Он начал использовать эти фотографии в качестве образцов для жутковатых массовых сцен, какие по его приказу разыгрывали в ходе очередной *party* обитатели приозерья, а один из полковых фотографов снимал их на пленку. Фотографии должны были походить на образец. Эллиот нашел в спасенных документах записи насчет разделения узников на «классы» и потому требовал правдивых костюмов, заставляя моорских статистов переодеваться *евреями, военнопленными, цыганами, коммунистами или осквернителями расы*.

Уже на следующей *party* обитателям приозерья, костюмированным как жертвы разбитого режима, за который погибло столько моорских мужчин, пришлось облачиться в полосатые тиковые робы с нашивками, указывающими национальность, с опознавательными треугольниками и желтыми Давидовыми звездами и стоять в очереди перед воображаемыми вошебойками; с кувалдами, клиньями и ломачами позировать в роли *подневольных польских рабочих* или *венгерских евреев* перед какой-нибудь исполинской гранитной глыбой и строиться на перекличку у фундаментов разрушенных бараков — в точности как было изображено у Эллиота в альбоме.

Но Эллиот не был жесток. Он не требовал, чтобы его статисты, как люди на одном из покрытых пятнами плесени снимков, стояли полураздетые в снегу, наоборот, на время позирования даже обеспечивал их одеялами и старыми шинелями; детям и старикам в промежутках между съемками разрешал укрыться в палатках. Только от часов переклички, от жуткого, ледяного, невыносимого времени, тянувшегося под карканье команд, номеров и имен, — только от этой вечности по-прежнему никто уйти не мог. Такие вот сцены изображались на стелламуровских мероприятиях в январе и в апреле.

По случаю *летнего праздника*, в тот день, когда отец Беринга, точно жук, лежал на спине и дрыгал ногами, комендант назначил воспоминание о фотографии, внизу которой, у зубчатого белого края, кто-то написал карандашом: *Лестница*.

На фотографии были многие сотни согбенных спин, длинная вереница узников, у каждого на спине деревянная «коза», а на ней — большой обтесанный гранитный блок.

Узники тащили свой груз в походном строю вверх по широкой, вырубленной в камне лестнице, которая шла от самого дна карьера через четыре уровня выработок до исчезающего в тумане верхнего края. Эта *лестница*, без повреждений пережившая войну, и освобождение и разрушение лагеря, и первые мирные годы, была до того крутая и неровная, что одолеть ее и налегке было далеко не просто.

Моор хорошо знал эту лестницу. Конечно, уже при Эллиоте на первых допросах именно сей факт яростно отрицали, а все-таки каждому в приозерье было известно, что большинство мертвецов, похороненных в братской могиле у подножия Великой надписи, скончались именно здесь, на лестнице, — были задавлены собственным грузом, умерли от изнеможения, от побоев, пинков и пуль надсмотрщиков. Беда, если кто падал на лестнице и хоть секунду, хоть короткий удар сердца мешкал подняться на ноги.

Но Эллиот не был жесток. Эллиот и на сей раз требовал только внешнего сходства и не принуждал статистов нагружать на «козу» *настоящий*, весом не менее пятидесяти килограммов, каменный блок из тех, что по сю пору во множестве валялись у подножия лестницы, как памятники вынесенным смертным мукам. Эллиот хотел только добиться сходства фотографий и не настаивал на нестерпимом бремени реальности.

Стало быть, каждый желающий мог с согласия коменданта нести муляж — «камни» из папье-маше, картона или склеенных лоскутных комьев, да что там, Эллиот мирился и с еще более легким материалом, чуть ли не веса пушинки! — скомканными газетами, каменно-серыми подушками...

Одна только лестница была такой же крутой, широкой и длинной, как на фотографии. И жара стояла несусветная.

Моорского кузнеца и еще двоих в этот летний день не то гордыня обуяла, не то упрямство, они не приняли поблажек майора и не стали имитировать груз.

Когда Эллиот дал команду начинать, кузнец взвалил на «козу» большущий каменный блок, привязал его, пошатываясь встал и вместе с колонной поднялся ступенек на тридцать, а то и больше. Но мало-помалу он все замедлял и замедлял шаг, пока страшная тяжесть не потянула его назад, не заставила попятиться и в конце концов рухнуть в пустое пространство, которое шедшие следом уже обходили стороной.

Он кувыркком покатился по ступенькам и вот уже замер внизу, на спине, не в состоянии подняться, а колонна так и шла вверх, не оглядываясь на него, — а Беринг отделился от кучки детей и стариков, освобожденных от всякого груза, подбежал к смешному и странному отцу и еще на бегу, в восторге от этой прежде не виданной игры, разразился пронзительным хохотом.

6. Два выстрела

Когда младший братишка утонул в озере, Берингу было двенадцать... и девятнадцать ему сравнялось, когда старший брат тоже исчез из его жизни, отправился с армейским паспортом искать лучшей доли в гамбургском порту, а потом в лесах Северной Америки... В тот же год мелкие железные стружки, брызнувшие от токарного станка, почти совершенно ослепили его отца — кузнец теперь видел мир как бы сквозь крохотное, покрытое морозными узорами оконце.

Исчезновение братьев сделало Беринга единственным сыном и наследником, и после несчастного случая он принял из рук полуслеплого отца мастерскую, ночами успокаивал мать, которую вконец замучили видения — ей уже являлось все блаженное небесное воинство, — а помимо этих обязанностей исполнял теперь скрепя сердце еще и функции моорского кузнеца.

Ведь в разоренных усадьбах, на густо заросших сорняками полях и заболоченных лугах никак нельзя без кузнеца — кто, как не он, заварит треснувший плут и наточит косилочный брус; а вот механик, страстно увлеченный воздухоплаванием и вообще техникой, никому не нужен: какой прок от того, что Беринг разбирался в клапанной системе редких моторов и собирал из прутиков, проволоки, резины и рубашечных лоскутьев трепещущие птичьи крылья?

Так Беринг и варил из обломков сгоревших джипов инвентарь, который изрядно облегчал уборку свеклы, сооружал из холста и жести проворные ветряки, а когда за несколько месяцев насобирав железа и цветного металла, построил генератор, и теперь, как только черный рынок заливал в канистры и ведра достаточно горючего, кузница целый вечер сияла огнями.

Наследник трудился в кузнице, растил на узеньком участке капусту и картошку, держал курятник с несушками, летом непременно свозил в сарай тощую подводу сена и обихаживал лошадь и двух-трех свиней.

Когда мартовские и апрельские бури иной раз гнали через топкие поля тучи красной пыли, мельчайший песок, про который в Мооре говорили, буд-

то южные ветры приносят его из пустынь Северной Африки, Берингову отцу вновь докучала давняя рана на лбу и песок мерещился всюду; он проклинал свою судьбу и нелюдимость сына: женщина! в доме позарез нужна женщина, кровь из носу, хотя бы из армейского борделя, хотя бы лишь затем, чтоб она истребила в усадьбе скрипящий на всех подоконниках и на полу летучий песок, а с ним — боль воспоминаний.

Но даже если не жаловался, не сыпал упреками и не выкрикивал проклятия, отец Беринга, похоже, вознамерился употребить свою «отставку» на то, чтобы со всей беспощадной, острой наблюдательностью отошедшего от дел следить за каждым шагом наследника. Совершая контрольный обход запущенного сада, старик лупил тростью по стволам плохо обрезанных деревьев, часами молотил по опорным жердинам трескучего ветряка или сидел в сумрачной, зараженной домовым грибком горнице и крупным, как у всякого подслеповатого, почерком вел в школьной тетради реестр просчетов и упущений своего приемника.

В четверг дохлый стриж в колодце и собака не на цепи. В пятницу в дымоходе сгорела рукавица, а в сенах опять полно песку. Ночью скрипел несмазанный флюгер. Буря. Спать не могу. И так далее.

Мать Беринга давно перестала обращать внимание на окружающий мир, она просто бредила Девой Марией и день и ночь тщетно мечтала о рае. По велению Богородицы она изгнала кощунника и сквернословия мужа из супружеской спальни, да и в другие комнаты заходила только после его ухода. С Берингом она разговаривала исключительно шепотом, мяса в рот не брала и вообще питалась в одиночку, на кухне, а каждую искру, вылетавшую из печного зольника, считала знамением свыше.

Чуть ли не ежедневно ей теперь являлась полька Целина, парящая над пожарным водоемом, с кровоточащими ранами, — полька Целина, *ангел-хранитель*, который передавал ей советы и послания Божией Матери и которого она ублажала цветочными венками, брошенными в воду образками святых и прочими пожертвованиями в надежде, что он найдет жену ее одинокому сыну.

Беринг ненавидел свое наследство. Точно в осаде полуразвалившихся джипов, лафетов, выпотрошенных бронемашин — всю эту технику уходящие войска побросали, а он притащил на *Кузнечный холм*, — корячилась его усадьба над крышами Моора. Окна в кузнице были разбиты или наглухо заколочены, звезды трещин на стекле проклеены вошеной бумагой. Там, где и бумага поверх трещин разорвалась либо вообще отсутствовала, в темноту мастерской уже проникли ветви запущенного сада. Даже в этом саду под высокими плодовыми деревьями — грушами и грецкими орехами — тулились машины, тонули в дебрях кустарника и дикого винограда, никуда не годные, бурые от ржавчины, порой глубоко вросшие в мягкую почву; тут — обомшелый броневик без покрышек и без руля, там — сеноворошилка, разобранные шасси двух лимузинов и, точно сердце динозавра, водруженный на массивные деревянные козлы мотор без поршней и клапанов, черный, выпачканный смазкой и такой огромный, что он никоим образом не мог принадлежать ни одному из драндулетов под деревьями.

Молодой кузнец давно уже не находил применения проржавленным винтам, которые не берет отвертка, карданным валам и подкрылкам с этого железного кладбища, а все же нет-нет да запрягал лошадь и притаскивал на вершину холма очередную рухлядь, очередную никудышную железину, как бы желая еще плотней стянуть вокруг ненавистной усадьбы кольцо железной осады. На Кузнечном холме воцарилось то же запустение и тот же хаос, как и во всем прочем обозримом оттуда мире.

Однако Беринг, по рукам и ногам скованный обязанностями перед отцом и матерью, перед кузницей и хозяйством, никогда бы, наверно, не бросил свое наследство на произвол судьбы и не уехал, если б орда головорезов не вынудила его замарать кровью и сделать непригодным для житья собственный дом; случилось это буквально через день-другой после Берингова двадцатитрехле-

тия. Безветренной, теплой апрельской ночью Беринг, кузнец из Моора, застрелил одного из налетчиков.

Мертв? Неужели этот пьяный бандит, кинувшийся к нему из темноты, вправду истек кровью от огнестрельных ран, что во сне и наяву вновь и вновь отверзаются перед взором кузнеца: две дымящиеся дыры в черном кожаном панцире на груди, два небольших рубца, превративших железного парня в мягкое, до невозможности мягкое, как бы бескостное существо, которое, однако, почему-то не упало, а за долю секунды вдруг *выросло!* — и лишь потом неуклюже повернулось и рухнуло вниз по лестнице в объятия спешивших на подмогу дружков.

Мертв? И убил его я? Я? Неужели преследователь, от которого всего через несколько минут после выстрелов, и наутро, и еще много дней спустя только и оставалось что темный кровавый след бегства, капли и потеки, терявшиеся в щелбе на дорожке в кузницу... неужели этот алкаш, этот подонок вправду и безвозвратно мертв?

Всякий раз, как Беринг задавал себе этот вопрос, изощряясь в бранных эпитетах по адресу безымянного ночного противника, память в итоге все время вынуждала его твердить одно и то же: *Я убил его, я его застрелил, я.*

Чужак, вооруженный цепью и обрезком стальной трубы бритоголовый *горожанин*, один из шести не то семи, в кровь избил его тогда возле памятника мирносоцу Стелламуру, гнался за ним через плац, сплошь заросший диким овсом, и по щебеночной дорожке до самой кузницы, и по двору, за ним, смиренным, незлобивым кузнецом, которому и отбиться-то от преследователей было нечем — на бегу он только выхватил из открытого ящика да швырнул через плечо горсть подковных гвоздей.

Банды головорезов прятались в развалинах обезлюдивших городов, в лабиринтах горных пещер и периодически, вот как той апрельской ночью, совершали набеги на беззащитные медвежьи углы вроде Моора и соседних с ним деревушек. Когда войска ушли из приозерной глуши в равнинные районы и эти забытые Богом дыры оказались предоставлены самим себе, любая наглая шайка, даже не имея огнестрельного оружия, могла безнаказанно творить что угодно.

Бывало, пяток-другой крестьян-свекловодов да работяг из гранитных карьеров брались за топоры и камнеметы и сообща обороняли въезд в деревню, а так бандам вовсе никакого удержу не было. Военные патрули уже давно охраняли только линии связи между равнинными комендатурами и, как правило, оставались глухи к призывам о помощи из захолустных деревушек.

Эпизодические карательные экспедиции, которые иной сердобольный генерал снаряжал к озеру или в какую-нибудь горную долину, бандитов ничуть не пугали: приметные издали армейские колонны дня два-три тащились по деревням, ставили палатки под прикрытием разоренных хуторов, иногда в камнях хоронили убитых... Солдаты допрашивали жертв налета, составляли протокол, тут и там, демонстрируя свою непреклонную решимость, обстреливали лесной массив или ущелье, где давным-давно никого не было, — и снова уходили.

Немногочисленные армейские агенты среди местного населения обладали достаточным влиянием, чтобы пользоваться своими привилегиями, однако, по условиям стелламуровского плана, все они остались без стрелкового оружия и были слишком слабы, чтобы хоть как-то защитить от налетов вверенную им нейтральную зону.

Банды могли объявиться где угодно и тотчас же стремительно исчезнуть; они громили все, что вставало им поперек дороги, собирали *денежную дань*, якобы за охрану, нападали даже на общины кающихся, которые длинными вереницами тянулись тогда через поля бывлых сражений и к братским могилам уничтоженных лагерей, воздвигаая там памятники погибшим и часовни.

Кающиеся были защищены десятками законов военной юстиции, и, несмотря на это, бандитский сброд гонялся за ними по полям, жег их флаги и

транспаранты, рвал в клочья и швырял в огонь портреты мирносоца Стелламура.

В ту ночь шайка под конвоем двух мотоциклистов, словно возникнув из небытия, заявила в Моор на угнанном в каком-то сельхозтовариществе грузовике; в кузове было полно булжников и бутылок с керосином. Машина громыхала по набережной и по улочкам, временами она замедляла скорость почти до черепашьей, и тогда на окна и ворота усадеб обрушивался шквал зажигательных снарядов. Парни в кожаной броне стояли пошатываясь вдоль бортов грузовика и с истошным улюлюканьем, под неумолкающий рев клаксона осыпали Моор горящими бутылками. Строптивая глухомань должна, черт побери, уразуметь, что от этого бедствия их избавит только *пожарный грошник*, охранная мзда.

В конце концов они добрались до плаца, вылезли из машины, вломились в дом моорского секретаря, выволокли орущего мужика на улицу, облили керосином и, угрожая поджечь, погнали к старой пароходной пристани. Там его привязали к якорю разбитого прогулочного катера и по дощатому настилу подтащили вместе с этой железиной прямо к воде, он уж думал: все, смерть пришла! — и кричал не своим голосом, но они вдруг отстали, бросили рыдающую жертву, словно наскучившую игрушку.

Между тем из разбитых окошек секретарского курятника, трепыхая крыльями, выскакивали во тьму куры, а избитая цепями умирающая дворовая собака, скуля, ползла через плац.

Лишь спустя месяцы Беринг осознаёт, что после первого же удара, который обрушился на его голову, как раз когда он нагнулся над собакой, он думал об одной-единственной возможности спасения — о вороненом армейском пистолете, спрятанном в кузнице, в старой печной трубе. В тот год, когда состоялась передача имущества, отец выменял оружие у какого-то дезертира за сушеные яблоки, одежду и копченое мясо, а потом завернул бесценное и запретное для всего гражданского населения сокровище — даже хранение каралось смертью! — в промасленную тряпицу и повесил в дымоходе.

Все это время Беринг не просто был осведомлен об отцовском секрете, но регулярно доставал пистолет из холщового свертка, разбирал, собирал снова и освоился с этим чудом механики не хуже, чем с куда более грубым кузнечным инструментом, что отцу, кстати говоря, было невдомек, узнал он об этом лишь в роковую апрельскую ночь. Так или иначе, пистолет висел себе и висел в дымоходе, вычищенный и заряженный.

Ударяя тогда от бандитов, Беринг пробежал не одну сотню метров в крошечной тьме, по дороге, усеянной выбоинами, но в памяти весь этот путь от плаца до кузницы запечатлелся как один-единственный скачок из незащитности во всемогущество обладания оружием.

Стремительно мелькает под ногами заросший травой плац, ловушки выбоин Беринг перепрыгивает — со спасительной уверенностью животного, бегущего от погони. Но мчится он не в кузницу, не в укрытие, не в нору, а за оружием, только за оружием.

Подбегая к усадьбе, к лестнице, к ступенькам на чердак, Беринг уже слышит тяжелый топот преследователя, пыхтение, пудовые башмаки его дружков. *Дальше! Вверх по лестнице!* Он задыхается, жадно ловит ртом воздух, перед глазами пляшут радужные круги — и вот наконец он у железной дверцы дымохода, резким ударом открывает задвижку, хватает болтающийся на шнурке холщовый свертки. Секунда — и промасленная тряпка летит во тьму.

Рука сжимает пистолет. В этот миг он до странности легок, прямо как пушинка. А в тайных забавах эта механическая игрушка всегда казалась тяжелой, словно кузнечный молот.

В четырех, в трех шагах, вплотную перед собой он наконец-то воочию видит преследователя, освещенного собственным фонарем: малый хохочет. Настиг добычу, чувствует за спиной численный перевес дружков и с торжеству-

ющим воплем взмахивает цепью, только воздух свистит, — и вдруг все тонет в чудовищном грохоте.

Первый выстрел подбрасывает руку Беринга вверх, будто цепь — она с лязгом исчезает в ночи — и вправду достала его. Грохот рвет барабанные перепонки, ввинчивается в мозг, терзает болью, какой до сих пор не причинял ни один звук. Молния дульного пламени гаснет, погасла целую вечность назад, а перед ним все еще высвечено вспышкой лицо врага — разинутый рот, немое удивление.

Когда это лицо блекнет и тоже грозит погаснуть, Беринг никак не желает, чтобы оно ушло во тьму, — и второй раз жмет на курок. Лишь теперь оружие обретает давний вес. Рука опускается. Дрожа всем телом, он стоит в ночи.

Странно, что теперь в голове бьется одна-единственная фраза, снова и снова одна лишь эта фраза, которая стремительно опутывает его, которую он шепчет, выкрикивает, вопит вниз, в глубину, где что-то топает прочь, что-то кидается наутек, что-то исчезает... Жизнь вокруг, стало быть, попросту идет своим чередом, здесь шуршит, там громко топочет, еще где-то скользит почти неслышно, а он знай как дурак орет неизвестно кому: *Вот оно как, вот оно, значит, как, вот как...* — и не может остановиться.

Потом, непонятно когда, он видит мать — с коптящей лампой в руках она поднимается по ступенькам; слышит отца, который хватает его за плечо и надсадно кричит. Он не соображает, о чем его спрашивают. Потом внутри словно что-то рвется и хлещет вон, он не в силах удержать телесную влагу: горячая струя течет по ногам, слезы катятся по лицу, рубашка насквозь мокрая от пота; *вся* влага течет и каплет из него и испаряется в воздухе, который пахнет холодной смолой и совершенно заledenел. Но сам он пышет жаром, стоит неловко привалившись к дымоходу. И говорит. И просит воды.

Он безропотно позволяет отвести себя вниз, на кухню, начинает отвечать на вопросы, сам не зная, что говорит. Пьет и выташнивает воду. Пьет еще и еще, и опять вода выплескивается вон, прежде чем он успевает ее проглотить.

Под утро старики и наследник впервые за много лет снова сидят вместе на кухне. Голова у отца свесилась на плечо, челюсть отвалилась; струйка слюны медленно ползет из уголка рта на грудь и обрывается, когда он судорожно всхрапывает. Мать оплела руки четками и спит, полуприкрыв глаза. Печь остыла. Беринг сидит у окна, уставясь в свой железный сад, и каждый удар пульса отдается в нем колючей болью, словно кровь в сердце и в жилах выпала кристаллами и превратилась в песок, мелкий стеклянистый песок.

7. Пароход в деревнях

Ночью выпал снег. На цветущие деревья, на высокий уже чертополох, на продавленные крыши лимузинов и, точно маскировка, на весь этот железный хлам вокруг кузницы. Снег в мае. Никто в Мооре не помнил, чтобы за двадцать три послевоенных года хоть раз в такую пору, почти что летом, выпадал снег.

Даже на токарный станок у окна мастерской порывы холодного ветра с Северной Атлантики намели маленькие сугробы; из одного торчал напильник, а рядом — клешня струбины. И ведь начался этот год на редкость мягкой погодой: кусты раkitника зацвели за десять дней до праздника Сорока мучеников!

Но в этот майский день даже снежная буря не смогла омрачить радостное возбуждение в деревнях у дороги на Моор и к озеру. По обочинам, под сенью тополей и каштанов, и вдоль слякотной мостовой в поселках спозаранку толпились принаряженные крестьяне и батраки, а то и особые комитеты встречающих и певческие хоры свекловодческих товариществ или камнедробильных мельниц, с букетами цветов, с бумажными флажками, — ждали *Доставки*.

Арки из еловых лап красовались над щебеночными дорогами, которые успели кое-как подлатать — завалили выбоины гравием, обломками коры и

опилками. По домам в это снежное утро сидели только хворые да престарелые. Все, кто мог, в ожидании высыпали на улицу, самые нетерпеливые — еще до рассвета, чтобы не пропустить ни мгновения той грандиозной процессии, что косвенно заявила о себе уже несколько месяцев назад: в Мооре расширили и замостили обратный поворот дороги, укрепили сперва мост у запруды, а потом — виадук, и в конце концов *летучий* строительный отряд снес, спилил, вырубил все фактические и мнимые препятствия по запланированному маршруту следования.

Там, где ни деревья, ни заросшие крапивой развалины времен войны не заслоняли обзор, красные мигалки процессии были видны издалека. Возглавляемый патрульной машиной с вертящимися маячками, приближался транспорт — вроде тех большегрузных автопоездов, которые в первые годы Ораниенбургского мира сотнями покидали страну, груженые турбоагрегатами, стальными валками прокатных станков и оборудованием целых фабрик; от пыли таких автопоездов страна как бы выцвела и поблекла.

На сей раз в черной туче дизельных выхлопов тащился за патрульной машиной один-единственный седельный тягач, весь в пятнах маскировочной краски; мотор у него явно был слабоват — в горах и даже на более отлогих склонах моорских холмов этот тягач приходилось то и дело умошнать, впрягая в него крестьянских лошадей или десять — двенадцать пар яремных волов.

Так он с натугой и подчас лишь со скоростью тягловой скотины двигал вперед свой груз: принайтовленное цепями и стальными тросами великое обетование и в то же время смутное воспоминание о довоенных летних днях, когда пароходная пристань в Мооре грозила рухнуть под тяжестью оживленных групп экскурсантов, а возле концертного павильона в парке прибрежного «Гранд-отеля» толпились отдыхающие... на низкой платформе тягача лежал корабль — пароход с гребными колесами и чернополосатой трубой! Он резко пахнул свежей краской и смолой конопатки и ниже ватерлинии по-прежнему был в гирляндах ракушек; окантовка иллюминаторов, разъеденная солью Адриатики, окрашена белым; поручни красного дерева отполированы ладоными несчетных пассажиров... Ветхий, но горделиво блестящий, пароход скользил, покачиваясь, навстречу пресным водам Моорского озера.

В ожидающих деревнях говорили, что этот пароход — подарок некой истрийской верфи, символ примирения и дружбы в третьем десятилетии оккупации. Дескать, один бывший узник, инженер, которому удалось сбежать из лагеря при камнедробилке, после войны дослужился до старшего управляющего этой верфью и прислал сюда корабль из доков Пулы. Вроде как отблагодарил, хотя и с опозданием, тех крестьян приозерья, что некогда спрятали беглеца от поисковых команд и собак-ищеек из каменоломни. Говорили и еще много чего...

Впрочем, моорский секретарь, камнелом-пензионер, зверски избитый во время последнего налета и обреченный с тех пор передвигаться на костылях, — моорский секретарь был осведомлен много лучше. Сегодня утром он, конечно, распорядился украсить флагами и флажками держав-победительниц и свою контору, и даже клены вокруг плаца, однако, равно как и другие посредники и агенты Армии, помалкивал о том, что корабль этот вовсе не подарок и не символ примирения давних врагов, а попросту развалюха, списанная, снятая с рейсов, ветхая посуда адриатического каботажного пароходства... И крестьяне в приозерье, по крайней мере живущие на выделе старики, тоже прекрасно знали и тоже помалкивали, что ни один из них никогда не прятал *беглого лагерника*, и отчетливо помнили, что страх перед полевой полицией и свирепыми догами из каменоломни *в свое время* был неизмеримо больше сострадания.

Но кому захочется портить такими воспоминаниями величайший праздник всех послевоенных лет? Восторги по поводу этого парохода, доставленного с Адриатики через Альпы, не оставляли места для сомнений. Дунайские верфи, строившие озерно-речные суда, давным-давно демонтировали и вывез-

ли, а те, что были разрушены, так и лежали в руинах. Да ни одна из равнинных верфей и не смогла бы обеспечить Моорское озеро столь большим парходом.

«*Спящая гречанка*», колесный пароход, который красовался на довоенных открытках как символ озерного края, сгорел в ночь моорской бомбежки под градом осколков, среди леса водяных фонтанов, и с тех пор, обвеваемый водородными и тиной, лежал в зеленой глубине возле причала, хорошо различимый в штиль при спокойной воде.

Долгое время моорский секретарь упорно, однако же безуспешно ходатайствовал о новом судне. Копии прошений и отказов заполняли ни много ни мало две папки в его должностной канцелярии. И ведь в конечном счете материал для решения *корабельного вопроса* нашелся опять-таки буквально под боком, в том месте, которое, как никакое другое, запятнало историю Моора, — в приозерной каменоломне.

Одна из адриатических страховых компаний, желая возродить былую роскошь своей триестинской конторы, стала наводить справки о происхождении расколотых облицовочных плит и в итоге установила, что они привезены с родины Беринга. Такой гранит, темно-зеленая коренная порода, добывался на земном шаре лишь в двух карьерах. Один, покрупнее, был расположен у атлантического побережья Бразилии, второй — на Моорском озере.

После долгой переписки и обстоятельных переговоров региональное командование разрешило единовременную поставку зеленого гранита на Адриатику — оттуда и полз теперь в Моор этот пароход, основная часть выторгованной компенсации.

Пароход в горах взбудоражил всю округу, и не только потому, что одолел альпийские перевалы; подлинной сенсацией было другое: он превозмог рогатки торговых ограничений, что намного труднее, и теперь сквозь заграждения из колючей проволоки, под дулами автоматов направлялся к озеру. Вот в народе внезапно и воспрянула надежда, что великая свобода средиземноморского побережья и цветущее изобилие юга — да что там, даже Америка! — быть может, все-таки ближе, чем позволяют думать одичалость моорской округи, развалины, мертвые насыпи железной дороги и опустелые, остановленные заводы.

Ожидающие деревни погрузились в мечтания.

Средь лязга своих духовых оркестров они мечтали об изысканной красоте Италии, о дворцах и пальмовых аллеях, о неистощимых универсальных магазинах Америки и дальних краях, где всего вдоволь, где после войны все только росло, развивалось и хорошело. Этим снежным утром в разговорах ожидающих не иначе как ожили расцветенные яркими красками чаяния последних лет — чаяния, представлявшие будущее в сиянии свободы и роскоши.

Этот пароход, так мучительно медленно подползавший к Моору следом за допотопным армейским тягачом, за клячами и ярменными волами, был вымечен на девять подвод камня и все же стоил неизмеримо больше... Конечно, он не очень-то и велик, просто старый прогулочный пароходишко, который и в лучшие свои времена возил из риекской гавани к скалистым островкам залива Кварнер не более трех сотен пассажиров. Красивым его тоже не назовешь, никакого сравнения с легендарным латунным блеском «*Спящей гречанки*», к которой по сей день, в годовщины ее гибели, наперегонки спускались ныряльщики, чтобы украсить занесенный илом остов букетами цветов и вымпелами. Тот из ныряльщиков, кто первым выскакивал на поверхность с обрывком сгнившего прошлогоднего убранства, получал в награду право на поездку в Вену или в еще более отдаленные и экзотические зоны оккупации — в Гамбург, Дрезден или Нюрнберг.

Все долгие годы скудости и лишений, когда сожженная «*Спящая гречанка*» покоилась в глубинах, озеро держало на своих волнах разве что торпедные катера армейских маневров да дощатые плоскодонки рыбаков, которые днем коптили в глиняных печах свой улов и развешивали сети на прибрежных лу-

гах. Из окон «Гранд-отеля» росли дикий овес и трава, а обвалившаяся кровля концертного павильона прикрывала хаос разбитых стульев и зонтиков от солнца, полотно которых давно обратилось в прах.

Да, судно было не особенно внушительное, но, что ни говори, самое крупное из тех, какие довелось видеть послевоенному поколению здешних деревень, ведь о блеске мира молодежь в основном знала только по иностранным журналам, которые пользовались на черном рынке куда большим спросом, чем цитрусы и кофе.

8. Собачий Король

В заснеженной тиши грохот удара был слышен даже на холме, в кузнице. Беринг как раз волоком подтащил к мастерской тяжеленное, чуть не в тонну весом, зубчатое колесо рудной мельницы и уже отпрягал лошадь, длинногривого битюга, когда этот громкий лязг, донесшийся с берега, разбился о стены усадьбы и замер. Только звон стекла продолжался на мгновение дольше — дробное позвякивание дождя осколков.

Битюг в испуге вскинул голову и ненароком отвесил хозяину могучий тычок — не устояв на ногах, Беринг перелетел через зубчатое колесо и грохнулся наземь, в слякотное снежное месиво. Вот ведь незадача! Мокрый, перепачканный глиной кузнец, однако ж, браниться не стал; по-прежнему стискивая в одной руке конский мундштук и налобник, а другой держась за ушибленный бок, он подковылял к воротам.

Глубоко внизу тянулась безлюдная прибрежная дорога; развороченная парходным транспортом, изрытая ногами зевак, она была всего лишь темной пограничной чертой, разделяющей зимнюю сушу и свинцово-серые воды озера. Дорога эта шла по названной именем Стелламура каштановой аллее — соцветия каштанов за ночь превратились в этикие снежные кулаки, — пересекала шуршащий камышом полуостров, затем круто сворачивала к бухте у разрушенной гостиницы «Бельвю» — и вот там-то ее перегораживало неожиданное, блестящее препятствие: возле украшенного лапником и гирляндами съезда к гостиничному пляжу, где под вечер назначили спуск на воду и «крещение» парохода, стоял разбитый лимузин. Смятый капот выглядел как причудливая скульптура, оторванный бампер покорежился и торчал вверх, словно хромированный сигнал бедствия... грязный след на снегу изобразил ход сей метаморфозы в виде красиво изогнутой сплошной линии: машина не вписалась в поворот, титаническая центробежная сила вынесла ее с проезжей части, ударила у воды о новую каменную стенку, возведенную для укрепления берега, и рикошетом швырнула обратно на дорогу. Два отлетевших колесных колпака, целые и невредимые, поблескивали в снегу.

Даже на таком расстоянии Беринг сразу узнал разбитую машину. Комендантская — бело-синий «студебекер», мощный легковой автомобиль, из тех, что жителям приозерья были знакомы главным образом по картинкам в заплесневелых журналах, найденных среди казарменного мусора, восьмицилиндровый, с пуленепробиваемыми шинами, двуцветной лакировкой, полированными молдингами и фарами, которые могли разом выхватить из темноты целый порядок домов!

Еще подростком Беринг вместе с ордой восторженных мальчишек бегал за этим чудом, когда Эллиот на малой скорости ездил по деревням и, случалось, бросал из окна горький шоколад и лакрицу. В памяти Беринга эти инспекционные поездки оставили более глубокий след, чем на моорских проселках: не удержишь, как танк, лимузин устремлялся в глубокие выбоины и в любую впадину местности, выплывая оттуда еще краше прежнего.

Хотя сам майор после состоявшейся в карьере грандиозной прощальной церемонии давным-давно вместе со своей частью отбыл на равнину, «студебекер» до сих пор нет-нет да и появлялся на проселочных дорогах, как заплутавший призрачный символ власти. Ведь на прощанье Эллиот подарил самый

впечатляющий знак своего могущества единственному моорскому обитателю, который за годы оккупации снискал его доверие.

Этот человек — в глухих деревнях на него, любимца Армии, смотрели и завистливо, и враждебно — был обязан коменданту не только этим бесценным подарком, но вообще *всем*, что разжигало ненависть по его адресу: своим прямо-таки аристократическим положением управляющего гранитной каменоломней, реквизированным домом (где был даже радиоприемник!), а также пусть ограниченной, но тем не менее неслыханной свободой передвижения и, наконец, даже именем. Потому что в последней предотъездной речи комендант с почти ласковой насмешкой назвал своего фаворита *мой Собачий Король*. И теперь, годы спустя, лишь немногие в приозерье помнили, что настоящее имя Собачьего Короля было — Амбрас.

Вне всякого сомнения, Амбрас был человек незаурядный. В прошлом лагерный узник, он имел на левом предплечье заметный, с палец шириной, рубец — отпечаток раскаленного напильника, которым он после освобождения навсегда уничтожил позорную татуировку, арестантский номер. Свои дни он проводил на террасах карьера или в пыльном конторском бараке при каменоломне, а ночи — в особняке под названием *вилла «Флора»*, который потихоньку ветшал на взгорье среди одичавшего парка. Он был единственным жильцом этого двухэтажного фахверкового дома с деревянными верандами, эркерами, галереями и салонами — и все ж таки довольствовался одной комнатой, бывшим музыкальным салоном, чьи окна смотрели на озеро: здесь он спал на диване, расшитом пейзажами райского сада; обтянутый зеленым сукном ломберный стол служил ему как обеденный и рабочий, за ним он съедал по вечерам свой холодный ужин, а одежду бросал перед сном на закрытый рояль. Все прочие помещения в доме, зачехленная мебель, пятнистые от плесени обои и дырявые парчовые занавеси, гипсовые фавны и разворованная библиотека были отданы во власть десятка полудиких собак.

Много лет вилла «Флора» стояла необитаемая. Ее хозяин, некто Гольдфарб, владел в свое время гостиницей «Бельвю» и примыкающими к ней пляжами и купальнями, где было устроено что-то вроде санатория, который вечно балансировал на грани разоренья, — так вот, еще в войну чиновники государственной тайной полиции нагрязнули однажды ноябрьской ночью к этому Гольдфарбу, затолкали его вместе с женой и глухонемой дочкой в автомобиль без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении. В Мооре тогда говорили: в лагерь, в Польшу; но говорили и другое: какой лагерь, какая Польша, довели до ближайшего леса — и дело с концом.

После войны, на допросе у майора Эллиота, их кухарка (она была родом из семьи плотника и выросла в горной долине недалеко от Ляйса) рассказывала, как господа елозили на четвереньках по полу салона, в полнейшей растерянности укладывая в чемодан зимнюю одежду, потом опять все распаковали, а в конце концов достали из громадного кофра и сложили в две сумки всегонавсего плюшевого жирафа да шерстяные детские вещи, потому что чиновники велели взять с собой минимум багажа; особенно же кухарке запомнилось, что один из этих чиновников, тот, что без пальто, курил сигареты в хозяйском кабинете — в кабинете господина Гольдфарба! — где до того часа вообще никогда не курили.

Так или иначе, ни единой весточки владельцы не прислали — ни из Польши, ни из какого другого лагеря, — и обратно они тоже не вернулись, ни в войну, ни в годы Ораниенбургского мира.

«Бельвю», как и «Гранд-отель», служил в ту пору домом отдыха или приютом смерти для раненых офицеров-фронтовиков, а вилла «Флора» — летней дачей какого-то партийного функционера, ну а потом Моор захватили русские пехотинцы и нашли этого функционера перед зеркалом в гардеробной, с простреленной головой; пистолет он зажал в кулаке мертвой хваткой — тот не выпал из окоченевших пальцев, даже когда солдаты завернули труп в перепач-

канный кровью ковер и вместе с дубовым венком и каким-то хромированным бюстом выбросили из окна.

Но и победители пробыли в этой вилле недолго. Там, сменяя друг друга, квартировали разные оккупационные части, а когда они совсем ушли, в доме изредка ночевали беженцы из разбомбленных городов, потом изгнанники из Моравии и Бессарабии и, наконец, бродяги — пока майор Эллиот не запер разоренную виллу и не распорядился охранять ее впредь до выяснения судьбы пропавшего владельца.

Именно тогда моорский кузнец по приказу Эллиота навесил на взломанные ворота цепи и замки; выбитые окна заколотили досками, а парк обнесли колючей проволокой. Затем майор распорядился выпустить в усадьбе на волю двух псов, здоровенных ирландских овчарок, подаренных ему на счастье союзниками — одним из шотландских Хайлендских полков. Кобели подчистую сжирали все, что им кидали через проволочное ограждение военные патрули, набрасывались на любого непрошеного гостя и даже пытались выхватывать из воды карпов, которые лениво плавали в прудике с кувшинками. Когда до их владений иной раз долетал через озеро, из каменоломни, грохот взрывов, они настороженно замирали, упершись передними лапами в перила деревянных веранд, готовые к прыжку, свирепые, и выли, неотрывно глядя на Слепой берег. Вилла «Флора» стала неприступной.

В здешних глухих деревнях звали те времена *собачьими годами*: мясо, и мыло, и все предметы первой необходимости были и оставались в дефиците, ведь мирный план Стелламура даже от самой что ни на есть убогой общины требовал самообеспечения. У кого пашня или сад приносили урожай, у того было чем кормить семью, а глядишь, хватало и чтоб обменять на черном рынке курицу на сигареты и картофельный шнапс на батарейки. Так что в эти годы не только в разрушенных городах, но и во многих крестьянских усадьбах собака и та была лишним ртом.

Собак гнали со двора, бросали на произвол судьбы, или они сами убежали с голодухи, сбиваясь в лесах и горных долинах в злобные стаи, которые нападали даже на красную дичь, а бывало, и могилы времен войны раскапывали. Когда голод заставлял их выходить из лесных дебрей к казармам, Эллиот разрешал своим солдатам устраивать на них охоту и десятками отстреливать, но не допускал никаких расправ со стороны местных жителей, не имевших огнестрельного оружия, — силки, петли, капканы были под запретом. Ибо охота на собак, как вообще любая охота, была делом Армии. И Армия снисходительно относилась к тому, что иные из одичавших собак отыскивали лазейку в колючей ограде виллы «Флора» и либо обретали там убежище, подчинившись ирландским зверюгам, либо погибали от их клыков. Так в парке виллы мало-помалу собралась неукротимая стая, которая время от времени совершала набеги на деревушки и снова пряталась за колючей проволокой, пока однажды дождливым летом в Собачьем доме не водворился новый хозяин.

В те первые августовские дни, через девять лет после освобождения из барачного лагеря, вернулся на Моорское озеро фотограф Амбрас, узник № 4243, подневольный рабочий каменоломни. Мастер портрета и пейзажа, но без средств, без фотокамеры, без студии и темной комнаты, Амбрас откликнулся тогда на призыв Армии, которая подыскивала управляющего для вновь открытого в Мооре гранитного карьера.

Приезжего никто не узнал. Впрочем, и давнему товарищу по лагерю наверняка было бы трудно признать в этом незнакомце тощую как скелет, жалкую фигуру, которая в день освобождения брела вдоль порванной электроограды к прачечному бараку. Амбрас был тогда слишком измучен, чтобы стоять в очереди, дожидаясь вычищенной куртки либо рубахи покойника, или хотя бы скинуть полосатую робу, и прямо под открытым небом впервые за много месяцев он устроил себе ванну — улегся в дымящуюся жижу неглубокой сточной канавы и стал смотреть на снежные облака. Глядя, как небо уползает в горы по террасам каменоломни, слушая далекие голоса, приказы,

крики, внимая отдаленному рокоту моторов и шуму ветра в соснах и в опорах караульной вышки, он хотел только одного: лежать вот так, в этом желанном тепле, что обволакивало его, будто густое, вязкое молоко, — как вдруг двое могильщиков (моорские жители, которых танкисты силой заставили выполнять эту работу) подхватили его за руки и за ноги и швырнули на труповозку.

Я еще жив, прошептал Амбрас снежному небу, чувствуя за спиной что-то круглое, твердое, а на шее — волосы, холодную щетину, *я еще жив*, но не оторвал взгляда от гор и от облаков.

Даже спустя девять лет в первом своем разговоре с майором Эллиотом уцелевший мог совершенно точно, в масштабе, изобразить на листке бумаги прачечную, крематорий, бункера, туннели и бараки моорского лагеря. В течение этого предварительного разговора его *паспорт жертвы*, черный от штемпелей и пометок, лежал открытый на письменном столе Эллиота рядом с водочной рюмкой. И хотя на все вопросы о лагерных годах Амбрас отвечал по видимости безразлично, иногда он вдруг запинаясь, хватал рюмку и, с минуту повертев ее в пальцах, делал глоток.

После полудня коменданта и чужака видели на паровой пристани, они о чем-то разговаривали, оживленно при этом жестикулируя. Эллиот даже смеялся. Или это смеялся его спутник? Они ждали парома на Слепой берег, потом переправились на этом пыльном понтоне в каменоломню и вернулись только в сумерки, сидя в рулевой рубке паромщика и все еще разговаривая.

На следующей неделе на листовках и на доске объявлений в комендатуре под именем нового управляющего стояло предупреждение, что всякий бунт против этого управляющего будет караться столь же сурово, как нападение на самого Эллиота. Так имя Амбраса стало угрозой еще прежде, чем он отдал в каменоломне свои первые распоряжения.

Но бояться приезжего Моор начал лишь в тот вечер, когда он укротил собачью стаю виллы «Флора».

— Вилла?.. Собачий дом?

Конечно же, Эллиот недоверчиво переспросил, когда Амбрас захотел поселиться именно там, отказавшись и от комнаты в номерах у паровой пристани, и от пустующих усадеб моорских эмигрантов. Но, в сущности, коменданту было все равно, *кто* защитит от мародеров имущество без вести пропавшего Гольдфарба. Поэтому он возражать не стал.

В тот же день, в час вечерней кормежки, Амбрас стоял перед запертыми на цепь воротами виллы. В одной руке он держал набрякший кровью холщовый мешок с костями и мясными обрезками из казармы, в другой — довольно толстый обрезок железной трубы. Стая уже поджидала его.

Вилла «Флора». Сколько раз в лагерные годы он видел ее как исчезающее маленькое светлое пятнышко на противоположном берегу. В иные вечера это пятнышко вдруг ярко взблескивало в лучах низкого солнца — невидимые окна, хлопавшие на сквозняке или уже закрытые на ночь, стремительной последовательностью вспыхивая посылали через озеро отражение солнца.

Каждый раз, когда эти огни из *другого мира* ослепляли его, Амбрас, где бы он ни находился — между бараками, на лагерной дороге и даже под караульной вышкой возле камнедробилки, — на один миг, на краткий вздох переставал видеть и слышать свою нынешнюю преисподнюю и даже спустя много часов и дней после того, как сигналы гасли, представлял себе лица, новые и новые лица, тех незнакомцев, которые там на свободе растрчивали счастье жизни.

В вечности лагерных лет эти отблески света сделались в итоге единственным доказательством, что моорская каменоломня — еще не *все* и что за электрической оградой, наверно, по-прежнему существует другой мир, хотя, кажется, давно забывший о нем и ему подобных.

Запахавшись на крутом подъеме от ветхого лодочного сарая к вилле, он опускает мешок с мясом наземь. Собаки подняли лай, еще не видя его, когда он был в гуще кустарника на склоне. Теперь они яростно кидаются на ржавую

решетку ворот, на кованые побеги, листья, виноградные гроздья. Через эти железные заросли он, широко размахнувшись, раз за разом швыряет им кости и требуху.

Стая набрасывается на жратву с алчностью, хорошо знакомой ему по лагерю. Голодные забывают о враге у ворот, сейчас они враги только друг другу. Можно отпереть висячий замок. Цепь падает в листву, которую ветер за много лет надел к решетке.

Двенадцать, тринадцать, четырнадцать... Собак он считает вслух, а дойдя до последней, начинает сызнова и каждую цифру выговаривает примирительно и проникновенно, держа всех псов в поле зрения, так и сыплет цифрами, ласковыми прозвищами, шепчет команды из лексикона дрессировщиков, да и всякую бессмысленную чепуху тоже, ни на миг не умолкая, а тем временем изо всех сил налегает на ворота — и наконец одна створка с глубоким стоном поддается, и он может протиснуться в щель.

Ирландские кобели оттащили свою долю к пруду с кувшинками — оба тотчас замирают, перестают рвать и жадно заглатывать добычу, поднимают тяжелые морды, глядят на открытые ворота. Неподвижно смотрят на Амбраса, наверно, начинают рычать, шерят клыки, но по-прежнему, точно каменные истуканы, стоят у воды, как бы недоумевая: неужели возможно совершить такую дерзость, какую сейчас совершает Амбрас, — он что-то бормочет, что-то шепчет и направляется к ним.

Но не ирландские кобели — нет, серый в коричневых пятнах, покрытый шрамами охотничий пес словно по неслышной команде внезапно бросает свиное копытце и, даже не гавкнув для предупреждения, прыгает на пришельца.

Впрочем, Амбрасу давно уже не требуется от врага никаких предупреждений. Он взмахивает железной трубой и наносит нападающему такой могучий удар по морде, что пес, не допрыгнув, валится на гравий дорожки. И там кашляет, *лает* кровью и, вот уж не в силах сомкнуть разбитые челюсти, — роняет голову на камни.

Самый свирепый пес поддыхает, а остальным и дела нет, они глаз не сводят со своего укротителя. Про еду все забыли. Мертвый кобель с открытой пастью лежит на гравии, Амбрас продолжает путь к дому и уже вновь завел беседу со стаей, говорит примирительно и проникновенно, как раньше, — и тут поодаль, у прудика с кувшинками, выходит из оцепенения один из ирландцев, тот, что покрупнее.

Поначалу его движения медлительны, чуть ли не заторможены. Но мало-помалу они все убыстряются, и, набрав бешеную скорость, разъяренный пес огромными скачками *летит* к чужаку.

Его тоже настагает железная труба, точно пика, она врезается в разверстую пасть, обламывает клыки, заталкивает в глотку клочья нёба.

Кобель — хотя ему уже нечем дышать — умудряется, резко, до хруста в костях, мотнув башкой, вырвать у Амбраса оружие, давясь, выплюнуть из себя пiku и тяпнуть нового хозяина вилицы за плечо. Но тот, кто хочет сейчас остаться в живых, должен убить. А сил на убийство у него нет.

Зато Амбрас с воплем ярости и боли, похожим скорее на лай, чем на человеческий крик, кидается на собаку, обеими руками захлопывает ей пасть и чувствует, как ее тело превращается в один-единственный неукротимый мускул. Он сдавливая остервенелую бестию ногами, намертво вцепляется в нее пальцами — только бы не выпустить эту башку, эту пасть. Собака и человек кубарем катятся с дорожки в колючие кусты. И вот там Амбрас сумел сесть на своего врага верхом.

Человек наклоняется, словно хочет вонзить *свои* зубы в горло животного, приближает свои глаза вплотную к собачьим, свой рот — к собачьей пасти. Но потом, стиснув руками голову пса, изо всех сил запрокидывает ее назад, пока лоб зверюги не погружается в ошетиленную шерсть на загривке и пес наконец не становится жертвой. С громким, далеко слышным хрустом ломается шея. И

тогда Амбрас на мгновение вправду чувствует под собой лошадку, теплого, шерстистого жеребенка, который слабеет под своим наездником.

Позднее в Мооре обнаруживались все новые и новые *очевидцы*, якобы наблюдавшие за этой схваткой из какого-то укрытия — из сарая у колючей проволоки, из овчарни, даже просто из ямы. В своих драматичных и во многом несхожих повествованиях они живописали, к примеру, как Собачий Король еще несколько времени сидел на мертвом кобеле, а потом встал и пошатываясь побрел к своему дому, к своей резиденции. Одни твердили, что стая предприняла третью атаку, другие говорили, что победитель, спотыкаясь, беспрепятственно поднялся по наружной лестнице на веранду, и божились, что псы повесив голову убралась с его дороги.

Фактически все эти свидетельства просто-напросто повторяли и переиначивали рассказ одного из рыбаков, который ловил тогда в глубоких омутах Бельвюской бухты слепых лещей, безглазых, странно сладких на вкус рыб.

В ожидании звона поплавок рыбак задремал и проснулся от собачьего лая. В бинокль он увидел, как некий мужчина — судя по летной куртке, вроде бы управляющий каменоломней — открыл ворота виллы. А потом он увидел атаку. Схватку. И хотя в линзах бинокля зрелище порой утрачивало четкость и подрагивало в такт его пульсу, рыболов таки увидел достаточно, чтобы вечером того же дня доложить обо всем в пивнушке возле пароходной пристани.

Но ни рыболов, ни кто другой в Мооре так и не узнал, что помимо великого множества пересказчиков действительно существовал второй очевидец схватки: Беринг, в ту пору девятилетний мальчишка, которого обветшала вилла притягивала как магнит, искал тогда неподалеку от ворот дикие орхидеи, и тут вдруг из кустов вылез Амбрас. Укрытый лозами заброшенного виноградника, Беринг не только от начала до конца видел, как Амбрас разделался со своими противниками, но и слышал странные ласковые прозвища и команды, какие захватчик, продвигаясь по дорожке, кричал сбитой с толку стае. Видел и как укрошенные псы после всего случившегося опять принялись жрать, — видел, холодея от страха.

А потом Амбрас похоронил своих врагов: швырнул собачьи трупы в поросшую бузиной низинку и завалил обломками штукатурки и мусором, которые вынес из дома в сад.

Беринг долго не осмеливался покинуть укрытие. Только ужас перед густеющим ночным мраком в конце концов согнал его с места. Он кинулся наутек, точно спасаясь от смерти. Но дом у него за спиной остался безмолвен. Лишь одно-единственное окно, в котором беспокойно трепетал огонь — не то свеча, не то факел, — светило ему вдогонку. Стая была незрима и не издала ни звука.

В последующие годы Берингу не доводилось видеть Собачьего Короля с такого близкого расстояния, как в эти часы захвата виллы: Амбрас давным-давно разъезжал по деревням в комендантском лимузине — тень за рулем; Амбрас каждое утро стоял у поручней парома, направляясь в каменоломню, сидел в окружении псов под гигантскими соснами виллы «Флора» или, расположившись на трибуне под тентом, наблюдал церемонии общин кающихся... Все эти годы управляющий каменоломней оставался для Беринга далекой фигурой, которая неизбежно присутствовала лишь в отцовских проклятиях да в злобных сплетнях моорцев.

Хотя в воспоминаниях Беринга об укрощении псов лицо этого человека имело вполне определенные черты, они тоже все больше становились чертами библейского героя, которого он видел в благочестивых календарях кузнечихи, — непобедимого царя, что голыми руками прикончил льва и изгнал своих врагов, златошлемных *филистимлян*, в пустыню, обрекши их на погибель.

Образ этого библейского воина стоял и перед внутренним взором двадцатитрехлетнего Беринга, когда он утром, перед корабельным крещением, вышел за ворота и узнал разбитую машину, перекрывающую поворот на «Бельвью». Со-

бачий Король на боевой колеснице. Собачий Король после битвы. Король в разбитой своей колеснице.

Для многочисленных зевак, шедших этим холодным и снежным майским утром к Бельвюской бухте поглазеть, как будут спускать на воду «Спящую гречанку», — для зевак искореженный «студебекер» был лишним праздничным развлечением. Автомобильная катастрофа в стране конных телег, тачек и пешеходов! Ярмарочная сенсация! Окутанный облачками пара от собственных проклятий, управляющий каменоломней стоял рядом с разбитой машиной, порой пинал увязшие в грязи колеса, но о помощи не просил. Приозерное население толпилось поодаль, обсуждая его беду, одни злорадствовали, другие снисходительно и громко осведомлялись, как он изволил доехать, и раздавали ненужные советы. Но поскольку для любимца Армии никто ничего не делал без особого его распоряжения, Амбрас так и стоял один возле разбитой машины.

Он отогнул от переднего колеса рваное крыло и раза два-три тщетно попробовал запустить мотор, и вот тут-то Беринг, поддавшись магнетизму удивительной машины там, на берегу, снова взнуздal лошадь. Грязный после падения, морщась от боли, он взгромоздился на неоседланного битюга и погнал вниз по снежному склону, к озеру.

Собачий Король как раз вышиб из рамы бокового окна застрявшие осколки, когда на него упала тень всадника. Беринг нагнулся к Амбрасу с высоты взмыленной лошади — словно к батраку. Впервые он посмотрел управляющему в лицо.

— Я могу вам помочь. — В холодном воздухе голос его прозвучал пискляво и хрипло. Он даже поневоле сглотнул.

— Помочь? — спрашивает Собачий Король, выпрямляется и пристально глядит на него, и Берингу ни с того ни с сего кажется, будто управляющий каменоломней и главный моорский судья смотрит не куда-нибудь, а на его руку, в которой он тогда держал пистолет. Только на эту руку, которой он убил исчезнувшую жертву.

— Помочь? Этой вот конягой? — спрашивает Амбрас. Куртка у него порвана, один рукав мокрый от крови.

— Этой вот конягой, лошадью моей... лошадью и инструментом. Машина будет на ходу, я ее отремонтирую.

— Ты?

— Да, я, — говорит Беринг, не зная, как положено говорить с Королем, и не спешиваясь.

— Ты кто — торговец металлоломом или чернокнижник?

— Нет... я... — растерянно бормочет Беринг. И вдруг откуда-то из дальней дали к нему прилетает слово, которого он никогда не слышал, но читал в кузнечихиных календарях: — Нет, *ваше превосходительство*, я кузнец.

9. Большой ремонт

И Собачий Король, и моорский кузнец не были в тот день на «крещении» парохода, спуске со стапеля и празднике. Не видели, как были выбиты последние подпоры, как судно с шумом съехало в воду, окруженное тучами сверкающих снежинок. Нос его круто ушел в глубину — мощная волна оплеснула палубу и сорвала с планширя два спасательных круга и несколько цветочных гирлянд. Пароход угрожающе завалился сперва на один борт — в сторону гор и Слепого берега, потом на другой — в сторону черной от людей пристани, но мало-помалу, точно колыбель, которую слишком резко качнули, все же выровнялся и наконец спокойно замер на волнах перед развалинами гостиницы «Бельвю».

Только теперь моорский секретарь разбил о форштевень бутылку вина. В сумятице, возникшей, когда судно так внезапно с шумом плюхнулось в воду, он чуть про нее не забыл, думал лишь о том, что надо подать знак, махнуть

рукой! А знака этого никто ждать не стал. И он громко выкрикнул новое имя колосса — с тем же опозданием, с каким теперь духовой оркестр на зачаленном понтоне заиграл что-то трескучее, а праздничная толпа на берегу грянула свое «*браво!*». Имя было давно знакомое, канувшее на дно, наконец-то вновь поднывшееся из пучины — и тотчас вновь утонувшее в шуме ликования.

— Нарекаю тебя... — крикнул секретарь, тщетно стараясь перекрыть оглушительный рев, закашлялся от натуги, начал еще раз и в конце концов *пропел* формулу «крещения» хилым, сухим, как бумага, голосом, которого и вовсе никто не услышал: — Нарекаю тебя именем «*Спящая гречанка!*»

Снег, осыпавшийся со скамеек, надстроек и палуб, плавал в бухте как мимолетное воспоминание о льдинах и, пока народ ликовал, мало-помалу превращался в мшисто-зеленую воду. На причале пел хор и выступали ораторы, там поднимали флаги и за неимением фейерверка пускали сигнальные ракеты, а тем временем подул порывистый теплый ветер, наполнил бухту рябью иссиня-черных теней, растопил снег на болотистых лугах, на склонах холмов, обнажив великую топь.

Беринг и Амбрас, конечно, видели в эти часы огненные шары ракет, а вот хоровую и оркестровую музыку ветер доносил до них через камыши только обрывками неузнаваемо искаженных звуков. Среди пассажиров, которые хлынули на парход, не было ни Собачьего Короля, ни кузнеца — напрасно встревоженный распорядитель, заметив отсутствие одного из почетных гостей, расспрашивал о нем на причале и на палубе. В конце концов «Спящая гречанка» с множеством людей на борту вышла в свой первый *прогулочный рейс* без Амбраса.

Отсутствие Беринга никому в глаза не бросилось, ведь он не был приглашен. Но то, что управляющий каменоломней и главный моорский судья не появился на этом величайшем из послевоенных праздников, породило множество кривотолков как на берегу, так и на борту пархода: Собачий-то Король после аварии лежит в моорском лазарете искалеченный, с легкими повреждениями, с тяжелыми увечьями, при смерти, уже сыграл в ящик, одной собакой меньше, невелика потеря...

Что? Помер? Этот — и помер? Да никогда. Таким, как он, даже конец света нипочем, из любой передрыги вывернутся, разве что пару ссадин на физиономии заработают в худшем случае, но каменной их неприступности это не поколеблет.

Этот? Наверняка торчит со своим биноклем где-нибудь в скалах, читает по губам и берет на заметку каждого, кто о нем рассуждает...

Место Амбраса на верхней палубе «Спящей гречанки», за столом, на котором резвился ветер, так и осталось пустым. Никто из гостей не дерзнул занять его. Одно блюдо сменяло другое, остывало на предназначенной ему тарелке и нетронутое вновь исчезало: свекольник, перловая каша и сырники, свинина, рубцы, маринованный в уксусе лещ-слепыш, копченые пороссячи пятачки в желе и даже тушеные, фаршированные рублеными грецкими орехами калифорнийские персики с расформированного армейского склада... — все это, исходя паром и аппетитными запахами, остывало на зависть гостям перед стулом Собачьего Короля и, провожаемое долгими жадными взглядами, вновь отправлялось на камбуз, в горшки и кастрюли.

А тем временем двое отсутствующих, голодные и злые, выбиваясь из сил, затаскивали разбитый «студебекер» на Кузнечный холм. Беринг уже давно ругал себя за то, что поехал на берег. Собачий Король принял помощь без слова благодарности — и теперь, под яростные командные окрики этого *превосходительства*, Беринг в кровь обдирает ладони о шершавый буксирный канат. И с натугой, точно подневольный работника, толкал амбрасовскую машину в гору, к своему дому. И не рискнул возмутиться, когда Амбрас выдернул у него из-за голенища кнут и начал охаживать лошадь, *его*, Берингову, лошадь!

С храпа кобылы летели наземь хлопья пены. После каждого удара она рывком натягивала постромки, так что слышался звук как от тугой тетивы. Но

ни рывки, ни битье не помогали. Все было напрасно: у разьеженного подъема прямо перед воротами кузницы даже Амбрас нехотя признал, что двум мужчинам и одной лошади «студебекер» навверх не затащить.

— Хватит. Распрягай.

Беринг освободил от упряжи взмыленную лошадь, сорвал на обочине несколько пучков дикого овса и принялся вытирать ей бока.

— Брось.

Лошадь еще секунду-другую тщетно ждала хозяйской ласки, а потом понуро двинулась вверх по склону, к воротам. Кузнеца Амбрас не отпустил.

— Пойдешь со мной.

Молча, каждый замкнувшись в своей собственной злости, они в конце концов все-таки зашагали к Бельвюской бухте. Там Собачий Король собирался потребовать джип или хотя бы воловью упряжку, править которой будет кузнец.

— Ты ведь умеешь править волами?.. А как насчет джипа? Машину водишь?

Кузнец умел все. Тот, кто разбирает или чинил ветхие армейские механизмы и моторы, знал бронетранспортеры и джипы ничуть не хуже, чем музыкальные автоматы и прогоревшие тостеры из опустелых казарм.

На полпути к празднику, когда над кронами огромных сосен уже завиднелась провалившаяся китайская крыша «Бельвю», им встретились сразу шесть тягловых волов из тех, что были заняты на транспортировке парохода и теперь освободились. Скотник общины кающихся (эта община вела монастырски уединенную жизнь на одном из высокогорных пастбищ Каменного Моря) не единожды выстоял у причала очередь за горьким и теплым даровым пивом, после чего старший скотник — тоже изрядно подвыпивший — отправил его домой. Сейчас, плаксиво рассуждая сам с собой, он нетвердой походкой тащился за волами. Беринг знал его. Слабоумный. На прошлой неделе принес наточить корзину ножей и с блаженным похрюкиванием пялился на огненный дождь сварки, пока от слепящего света вовсе не почернело в глазах. Потом он с мокрой тряпкой на веках битый час, а то и больше пролежал на токарном станке возле горна.

Когда Амбрас еще издали зычным голосом окликнул его, недоумок от ужаса разрыдался. Решил, что они бандиты; не так давно, в феврале, какая-то шайка нещадно избил его, а после заставила бежать по сугробам и загнала в речку. Поэтому сейчас он подобрал камень и начал озираться по сторонам в поисках иного оружия и путей отступления, но все же узнал управляющего и даже скумекал, что перечить его приказам не стоит.

Шестерка волов тянет лимузин, пьяный скотник нахлестывает скотину, Беринг с Амбрасом ковыляют то позади, то опять сбоку, стараясь, чтобы разбитый «студебекер» не съехал с глинистой скользкой колеи: ни дать ни взять карикатура на ту величественную процессию, что нынче утром проследовала по деревням; в конце концов Собачий Король и его свита добрались до кузницы — и там, у ворот, их встретил отборной бранью Берингов папаша. Старик вообразил, что в усадьбу приволокли очередной бесполезный хлам, кидался в волов комьями земли и грозил кулаками, пока одна из человеческих фигур, которые виделись ему как серые тени, не рывкнула на него голосом управляющего и не приказала заткнуться и исчезнуть. Он мгновенно умолк и скрылся в черных недрах кузницы.

Сноровисто, будто вовсе и не заглядывал в бутылку, скотник провел волов во двор, развернул упряжку и по указаниям Беринга так установил под навесом искореженный лимузин, что разбитые фары вытарацились поверх моорских крыш на озеро. Затем Амбрас выудил из кармана и дал парню горсть сушеных слив и две монетки — за труды. На радостях тот хотел было поцеловать управляющему руку, а уж поклонился на прощание так низко, что шапка упала с головы.

После праздника Моор увидел «студебекер» сперва без капота и решетки радиатора, а под конец и без колес — машина стояла на подмостках из нетесаных жердин под навесом кузницы. Ворота были распахнуты настежь. Со двора доносился лязг большого ремонта.

Даже разбитая, эта машина была угрозой. До сих пор банды и те далеко обходили дома и усадьбы, возле которых стоял «студебекер». Ведь если этот автомобиль иной раз и обнаруживали вроде как брошенным где-нибудь в винограднике или подле кострища в верхнем конце долины, то при малейшей попытке подойти ближе на заднем сиденье поднимался пепельно-серый дог; щеря клыки и рыча, он кидался на окна, пока они не запотевали от его дыхания, и тогда за мутным, обслонявленным стеклом виднелись только морда и клыки. Но на Кузнечном холме этой зверюги не было и в помине. Кузнец беспрепятственно занимался починкой.

После спуска парохода на воду все в Мооре словно бы изменилось: чтобы «Спящая гречанка» могла без помех швартоваться и отчаливать, общинам кающихся впредь было заказано совершать на пристани их длинные и сложные обряды, во время которых они пускали по волнам исписанные именами и датами горящие бумажные кораблики. Еще в мае, незадолго до праздника, ветер прибил такой *поминальный кораблик* к берегу и поджег камыши.

С особым же удовлетворением Моор отметил, что Собачий Король хоть и не покалечился, не умер и не исчез, но все-таки остался без тачки. В сопровождении двух-трех брехливых псов из своей стаи он каждое утро вышагивал верхней дорогой отвиллы «Флора» до Кузнечного холма, проверить, как там с машиной, какие планы у механика и как продвигается ремонт, потом спускался к пристани и уезжал на пароме в каменоломню. Теперь он был единственным его пассажиром. Ведь с появлением парохода уже не один этот пыльный понтон дважды в день пыхтел через озеро — «Спящая гречанка», новый *символ* Моора, тоже ходила к Слепому берегу, белая и соблазнительная, с дымным шлейфом, по форме которого — продолговатой, перистой или рваной — деревенские выучились предсказывать погоду. Когда резкий пароходный гудок прокатывался вдоль берегов, эхом возвращаясь с гребней Каменного Моря, у моорской набережной тучами взлетали лысухи и чайки, беспокойно кружили над озером, а потом, утомившись, с пронзительным хохотом вновь исчезали в камышах.

Взрывники, камнеломы, каменотесы и вообще все, кто работал на Слепому берегу или хотя бы поневоле участвовал там в стелламуровских мероприятиях, переправлялись теперь на прогулочном пароходе и на нем же плыли обратно. В любую погоду «Гречанка», прошивая строчками своих маршрутов озерную пучину, связывала прибрежные деревушки не в пример надежнее да быстрее, чем петлистая, зачастую непроезжая из-за селей *береговая дорога*. А другой пароход с тем же названием, изрешеченный осколками, весь в колышущихся прядях водорослей, так и лежал на дне перед шпунтовыми сваями старого причала и с каждым новым рейсом как бы становился незримее, будто колеса, винт и руль нынешней «Гречанки» баламутили, омрачая видимость, не только донный ил и песок, но и само забвение.

Мир вправду *изменился*. Железный сад вокруг беринговской усадьбы, который подступал уже чуть ли не под окна, в конце концов принес плоды. Ведь с тех пор, как под навесом водворился «студебекер», этот поросший бузиной и жгучей крапивой склад металлолома служил не просто арсеналом запасных частей для изношенных сельхозмашин, чья грубая механика явно казалась любителю птиц едва ли не смехотворной, — теперь железный сад наконец-то стал лабораторией, где создавалось произведение искусства.

Кузнец как одержимый копался в обломках, выискивая все, что маломальского могло согдиться для воплощения его мечты, извлекая на свет Божий давно утонувшие в земле, в зарослях и мху железки, очищал это «сырье» от лишайников и ржавчины, промывал в масляной ванне.

Когда его руки исчезали в дегтярно-черной жидкости и детали опять-таки были только ощутимы, но не видны, он порой минуту-другую неотрывно смотрел на обрубки своих предплечий, и ему казалось, что исчезнувшие руки никогда не держали пистолета. Невидимый палец скользил по виткам резьбы, пока не нащупывал зазубрину, — и тотчас он пробуждался от своих мечтаний и вдруг опять чувствовал рыбок отдачи и слышал отзвук выстрелов той ночи, болезненный гул где-то глубоко в мозгу. Впрочем, работа над амбрасовской машиной приглушала этот гул, и временами он даже забывал, что где-то там, среди скал, в камышах или в лабиринте старых бункеров Каменного Моря, лежит мертвец, его жертва.

Амбрас ни о чем не спрашивал. Единственный на весь Моор человек, который после отъезда майора Эллиота имел все полномочия, чтобы взять владельца оружия и убийцу под стражу, вынести ему по законам военного времени обвинительный приговор или сдать армейским властям, — этот человек не интересовался ни поступками Беринга, ни его мечтами. Каждое утро Амбрас взбирался на холм и стоя выпивал в кузнице две чашки цикорного кофе, который Беринг варил в кофейнике над горном. Потом Собачий Король ходил вокруг «студебекера» и слушал объяснения кузнеца или, широко расставив ноги, стоял во дворе и рассматривал эскизы конструкции, которые Беринг чертил кочергой в дворовой жиже или в пыли.

Иной раз эти чертежи казались Амбрасу поистине китайской грамотой, но одно он понял сразу, с первого же взгляда: в былом блеске «студебекера», наследство майора Эллиота, уже не восстановить. Но кузнец использовал каждую вмятину, каждую трещину корпуса для создания новой формы. Этот кузнец был изобретательнее, а главное — упорнее армейских механиков, которые в минувшие годы без особого усердия чинили машину или делали ей профилактику. (Если бы подписанный майором Эллиотом приказ не обязывал их выполнять такие работы, «студебекер» наверняка бы давным-давно перекочевал на задворки казарм, на свалку.)

До сих пор, с документом о собственности и замасленным эллиотовским приказом в перчаточном отделении, Амбрас два-три раза в год ездил на равнину: многие километры по щебенке, по растрескавшимся мостам и виадукам, долгие часы ожидания у контрольных постов и на зональных границах, потом долгие дни праздных шатаний возле мастерских на казарменном плацу, ночевки в помещениях для рядового состава или в спальном мешке, между списанными танками и броневедомолами, — и все лишь затем, чтобы добиться от какого-нибудь скучающего сержанта гарантированной Эллиотом профилактики... И вот неожиданно выяснилось, что этот моорский кузнец на редкость здорово соображает в моторах! Амбрас был так доволен продвижением ремонтных работ, что уже при втором своем визите в кузницу оставил там две банки мясной тушенки и баночку арахисового масла — деликатесы, которые несколько умиротворили даже Берингова отца и на целый день перекрыли поток его брани.

Конечно, находки из железного сада в первоначальном своем виде для «студебекера» не годились. Конечно, кузнецу пришлось точно так же выпрямлять кувалдой, гнуть и заваривать деформированные, рваные и помятые детали кузова, как и старые железяки из «сада», пришлось ковать и резать обломки, чтобы придать им одинаковую форму и собрать из них что-то новое. Но зачем он годами копил этот хлам, зачем стоял в тучах искр и терпел пронзительный звон от ударов собственного молота, если не ради подготовки к этой работе, к самой большой в его жизни задаче по механике? «Ладно. Согласен. Делай как знаешь...» — так Амбрас отвечал на любое его предложение, а уж технические пояснения перестал слушать давным-давно. «Ладно. Тачка должна ездить, и баста. Понятно? Ездить!»

Это ж надо — так говорить об *автомобиле!* Совершенно не понимая, что только от механика и зависит, останется ли он заурядной машиной или превратится в катапульту, которая даже инвалида сумеет забросить в стремитель-

ный мир нечеловеческих скоростей... мир, где заросшие маком-самосейкой поля становились алополосатыми потоками, холмы — подвижными дюнами, улочки Моора — шуршащими стенами, а горизонт — зыбкой гранью, которая летит навстречу *ездоку* и исчезает под колесами.

Много, слишком много часов провел Беринг, шагая по щебеночным моорским дорогам, слишком много груза перевез на воловьих и конских упряжках, чтобы не видеть в *автомобиле* прежде всего большое облегчение, а в скорости — смутную аналогию жизни птиц. Но на чем он мог испытать себя до сих пор? На тихоходных тягачах, на моторах циркульных пил и соломопрессов, а в порядке исключения — на застрявшем из-за поломки джипе или грузовике, шофер которого в благодарность за помощь разрешал ему потом сесть за руль и, точно во хмелю, сделать один-два круга? На обломках и моторах тех двух лимузинов, что ржавели под грушами у него в саду, он всего лишь изучал секреты механики, как археолог изучает полиспасты незапамятных эпох; такие развалины можно было только разобрать по винтику, но не привести в движение.

И вот теперь — «студебекер». Шикарная машина! Один день ремонта — и в ее моторе вновь забилось не просто четкое стаккато всякой механической подвижности, но ритм самого Путешествия — знамение мира, который после спуска на воду «Спящей гречанки», казалось, был вновь достигим и для Моора.

«Ладно. Согласен. Делай как знаешь...»

Свободой, которую предоставил ему Амбрас, Беринг воспользовался так решительно и целеустремленно, словно в ожидании своего шанса за долгие годы успел до тонкости отработать каждый прием. Он резал, и варил, и вытягивал в длину задние спойлеры, пока они не стали похожи на хвостовые перья! Он снял с полок своего арсенала карбюраторы, много лет пролежавшие там наготове, и, расширив до огромных размеров моторное пространство, подключил по одному к каждой паре цилиндров «студебекера». Сами цилиндры он рассверлил, а их головки отшлифовал; спрямил и укоротил изгиб всасывающих трубок и отполировал их шершавые внутренние поверхности, повысив тем самым скорость истечения топливной смеси, — он *в целом* увеличил скорость и мощность автомобиля, а затем принялся обрабатывать кувалдой и резаконком дверцы, пока не сообщил им форму плотно прижатых крыльев птицы в пикирующем полете; длинный же капот, теперь заостренный, приобрел у него сходство с вороньим клювом. Решетку радиатора Беринг и вовсе выковал в виде растопыренных когтистых лап.

Сколь ни причудлива была эта метаморфоза, сколь часто ни судачили о ней в трактире у пароходной пристани либо на борту «Спящей гречанки» во время рейсов к Слепому берегу, изо дня в день, снова и снова, — Собачьему Королю ни клюв, ни когти, похоже, не мешали.

Ворона? Тачка прямо как из «павильона ужасов». Когда один из камнеломов как-то утром рискнул завести с Амбрасом разговор о кузнецовой причуде и вскользь упомянул непочтительные трактирные сравнения, управляющий только рассеянно посмеялся. Ворона, галка, курица — не все ли равно? Птица — она и есть птица. Ведь в той туче искр, в которой молодой кузнец ковал из обломков новую машину, обретало новый облик и наследие майора Эллиота: отслуживший свой век, привязанный к армейским мастерским лимузин наконец-то становился *его* машиной; давний, подвижный символ власти Эллиота — неоспоримым знаком *его* воли, а новая, до блеска отполированная черно-серая лакировка — зеркалом *его* силы.

Шла седьмая неделя Большого ремонта, и вот ранним утром, когда бригада косарей выкашивала на склонах Кузнечного холма первые кормовые травы, один из них вдруг замер и с удивленным возгласом указал вверх, на кузницу: беззвучно, в слепящих солнечных бликах на ветровом стекле, хrome и лаке, из ворот появилась «Ворона».

Последний косарь не успел еще поднять глаза от скошенной травы к этому лучезарному зрелищу, как заработал мотор — с ревом, с рычанием, будто и не машина вовсе; бригада ничего подобного в жизни не слыхала. Автомобиль

съехал метров на двадцать — тридцать вниз по склону и затормозил в быстро тающем облаке выхлопных газов и пыли. Рык сменился размеренным громом, заставившим моорских обитателей чуть не поголовно устремиться к окнам. Все взгляды были прикованы к кузнице.

А там, словно опомнившись от первого испуга, из черного провала ворот с лаем выскочили четыре пса. Неторопливо, помахивая, точно плеткой, стальными цепочками поводков, шагал за ними их хозяин. Собаки кружили возле машины, пытались тяпнуть зубами свежеекрашенные черные покрывки, пока Амбрас не подошел ближе и, открыв заднюю дверцу, не впустил их внутрь.

Только теперь шофер, Беринг, снял руки с руля и хотел было выйти из машины, уступить место хозяину. Но Амбрас одной рукой, на которую были намотаны цепочки, перекрыл приотворенную дверцу, а другой рукой взял его за плечо и вдавил в водительское сиденье:

— Место!

Собаки следили за каждым движением Амбраса, будто связанные с ним незримыми нитями, а он раз-другой обошел сверкающую машину, потом распахнул дверцу, уселся рядом с Берингом, привычным жестом рванул дверцу на себя, так что она, легко ходившая теперь на петлях, громко лязгнула замком, и хлопнул кузнеца по плечу:

— Трогай!

— Я?.. Мне вести машину? Сейчас? Куда? — Беринг предпочел бы хоть ненадолго вылезти из машины, снять кожаный фартук и предупредить отца, к тому же на огне в мастерской кипел цикорный кофе.

Но Собачий Король, огорошив кузнеца внезапным распоряжением, проводочек не терпел.

— Трогай. Куда глаза глядят... Домой. К вилле. Езжай к вилле «Флора».

10. Лили

Сокровеннейшим достоянием Лили были пять винтовок, двенадцать противотанковых гранатометов, шестьдесят три ручные гранаты и более девяти тысяч единиц стрелковых боеприпасов — все упаковано в древесную шерсть, картон и промасленную ветошь и уложено в черные крашенные ящики, до того тяжелые, что даже самый маленький из них она могла только тащить волоком, поднять его и нести было ей не под силу.

Зато ценнейшее ее достояние весило не больше яблока — мешочек из оленьей кожи, найденный во время одного из рейдов на равнину в развалинах кинотеатра и за несколько лет наполнившийся мутными изумрудами, которые она разыскивала в ущельях и карах Каменного Моря.

Но Лили знала не только вырубленные в скалах забытые оружейные склады времен войны, не только ледниковые ручьи, где на стремнине среди гальки перекатывались изумруды, — нет, она знала в горах *все* стежки-дорожки, в том числе запретные, через минные поля выше зоны лесов, и даже впотьмах могла не споткнувшись бегом спуститься по крутейшей каменной осыпи.

В здешней глухомани собственное проворство защищало ее от дикарей бандитов куда лучше любой винтовки, хотя изредка она все же брала с собой одну из них, в разобранном виде, спрятав под шерстяным плащом.

В тот день, когда в Мооре ждали пароход, она уходила от двух разведчиков какой-то бродячей шайки и забралась так высоко в горы, что, наконец отделившись от преследователей, поневоле должна была искать короткий путь к озеру — ведь ей очень хотелось увидеть, как будет спущена на воду «Спящая гречанка». Без веревки и крючьев вниз по обледенелому свесу северной стены — такими маршрутами за нею не мог пройти никто.

Лили была последней и единственной обитательницей моорской *метеобаши*, что стояла среди приозерных лужаек спальной водолечебницы. В этой круглой постройке с куполообразной крышей и железными флюгерами, возвышавшейся над развалинами давних крытых галерей, соляриев и бюветов,

она чувствовала себя в безопасности, как ни в каком другом доме у озера. Раньше в нишах наружной стены помещались огромные приборы — термометр, гигрометр и барометр, — сообщавшие отдыхающим о температуре, влажности и давлении целительного озерного воздуха, а хромированный самописец отмечал плавное поднятие и опускание уровня воды, вычерчивая на бесконечном бумажном рулоне острозубый график. Но теперь эти некогда застекленные ниши зияли пустотой и были черны от копоти, как и оконные проемы старенького домишка берегового смотрителя под липами на берегу.

Стоя у наружной лестницы виллы в окружении виляющих хвостом собак, Лили привязывала поводья мула к руке каменного фавна, когда «Ворона» с оглушительным хлопком — пропуск зажигания! — свернула с приозерного грейдера на подъездную дорожку виллы. Девушка успокоительно потрепала мула по холке, вытянула из седельной сумки еще шматок сушеного мяса, разрезала и кинула собакам, а те, не зная, куда броситься — к лакомству или к неспешно приближающейся машине, — подняли скулеж.

Автомобиль скользил меж исполинскими соснами подъездной аллеи, исчезал за могучими стволами, появлялся снова, взблескивая на солнце, а едва затормозив у лестницы, мгновенно был взят в осаду лающими псами. Лили захлопала в ладоши, засмеялась: вот, значит, какая она, эта железная птица, этот монстр, о котором ей за последние дни все уши прожужжали и в крестьянских усадьбах, и на дорожных кордонах, где бы она ни останавливалась на пути с равнины к озеру.

Шальные от радости, собаки металась вокруг машины, наскакивая передними лапами на капот, на спойлеры, когда Амбрас открыл дверцу, выпустил дога, двух лабрадоров и черного водолаза, а уж потом вышел сам.

— Конечная остановка, кузнец. Глуши мотор.

Беринг заглушил мотор, но так и остался в машине, вцепившись в баранку и даже не замечая ветшающей роскоши виллы «Флора». Сквозь пляску собак он видел только одно — смеющуюся женщину. За всю свою жизнь он ни разу еще не смотрел в глаза незнакомкам — разве что мельком, не дольше секунды. Вот и теперь опустил взгляд в тот же миг, когда Лили посмотрела на него.

Амбрас шел навстречу Лили, а руки его мельтешили над буйной собачьей стаей, гладили морды и головы, отпихивали грязные лапы.

— Гостя с берега! Вот уж сюрприз так сюрприз. Давно ждешь?

— Довольно-таки, если успела скормить твоим зверюгам недельный запас провизии.

— В благодарность они увидят тебя во сне... В среду и в пятницу я заглядывал к тебе на башню. Ты была в отлучке?

— Да. За кордоном.

— За кордоном? Вот как?

— У всячего моста возле водопада дорога опять перекрыта — четверо парней в коже, с пращами, стальными прутьями и полевым телефоном.

— И они тебя пропустили?

— Меня? Разве я Амбрас? Я прошла через перевал.

— С мулом?

— А кто бы тащил мое барахло?

— Много наменяла?

— Много. Всякий хлам.

— Долго ездила?

— Неделю.

— Что поделывает Эллиот?

— Нет его.

— Нет? Как это?

— Наш майор попросил о переводе. Домой уехал, в Америку... Полтора месяца назад. Он кое-что оставил для тебя в казарме. Я привезла. — Лили взялась за недоуздок, и мул тотчас упрямо запрокинул голову, но девушка

потянула его к себе, и из кожаной сумки, висевшей на седельной луке, достала узкий сверток в синей бумаге, перевязанной собачьей цепью. — Эллиотовский сержант сказал, что ты вроде как забыл эту цепь, когда приезжал последний раз.

Лили так внезапно бросила сверток Амбрасу, что от неожиданности тот не успел его поймать — сверток упал в гущу собак.

Амбрас явно оторопел. Неловко нагнувшись за свертком, который почему-то возбудил у псов живейшее любопытство, он сказал:

— Забыл? В жизни ничего в казармах не забывал.

Он поднял сверток, и собачьи морды мгновенно образовали пирамиду, почти упершуюся в его руки. Только когда он отвязал цепь, с лязгом упавшую наземь, и надорвал бумагу, собачье любопытство немного поутихло.

В разрыве синей бумаги завиднелась еще более темная синева. И на этом синем фоне — белые звезды. Потом бумага полетела над собачьими головами в траву, а в руках у Амбраса остался аккуратно свернутый флаг Соединенных Штатов Америки.

— Там наверняка что-то еще, — сказала Лили, — флаг не может быть таким тяжелым.

Амбрас взвесил флаг на ладони и встряхнул, как подушку, — сверток развернулся, флаг захлопал на ветру, и опять что-то упало под ноги собакам, металлически звякнуло о камни. Испуганная резким звуком стая на миг отпрянула, освободив круглую площадку, посредине которой поблескивала совершенно несъедобная вещь. Амбрас так и стоял вытянув руки и смотрел вниз, на прощальный подарок майора Эллиота. Под ногами лежал пистолет.

— Доктрина Стелламура, параграф третий, — сказала Лили, подражая тому голосу, что иной раз звучал из радиоприемника в моорском секретариате и, усиленный батареей динамиков, громыхал над плацем. — Частное владение огнестрельным оружием преследуется по законам военного времени и карается смертью...

Амбрас собрал флаг в кулаке, перебросил через плечо, как тогу, и дополнил цитату Лили нигде не зафиксированным пассажем:

— Доктрина виллы «Флора», параграф первый: закон военного времени зовется Амбрас. Параграф второй: исключения украшают закон. — Потом он наклонился за пистолетом, обхватил ствол пальцами, точно рукоять молотка, и направил на Беринга, который опустил стекло и открыв рот сидел за рулем: — Вылезай же наконец. Иди сюда!

Кузнец сконфуженно повиновался и через десять шагов стоял перед женщиной и Собачьим Королем не поднимая глаз и в замешательстве теребя завязки кожаного фартука — узел за спиной никак не развязывался. Псы обнюхивали его, и когда мокрый собачий язык лизнул пальцы, он и вовсе вздрогнул от испуга.

— Кыш! — сказал Амбрас, и язык тотчас убрался.

— Узлы развязывают пальцами, а не кулаками, — послышался вдруг голос женщины, и сию же минуту Беринг ощутил, как руки Лили, на удивление мягкие, прохладные, отвели его пальцы от затянутого узла, как эти руки, ненароком скользнувшие по спине, вогнали его в краску. От центра прикосновения вверх по позвоночнику пробежали мурашки и исчезли в корнях волос. А потом замасленный фартук упал наземь — этакая старая-престарая шкура.

— Вот смотри — средство улучшить мир. — Амбрас держал пистолет так, будто вознамерился сунуть его Берингу в ладонь. — Знакома тебе эта штуковина?

Вопрос грянул точно гром среди ясного неба, еще секунду кузнец легким перышком плыл по волнам блаженства, но затем смысл сказанного дошел до его сознания, и он почувствовал, как мгновенно взмокли ладони. Казалось, вся влага и сырость той *единственной* апрельской ночи именно теперь хлынула из него наружу — на висках выступил пот, капли одна за другой поползли по щеке. Он видел блики солнца на никелированном стволе в руках Амбраса,

видел во вспышке дульного пламени двух выстрелов, как чужак падает из слепящего света во тьму. И слышал лязг брошенной цепи... Собачий Король знал о выстрелах той ночи. Знал об убитом. Знал всё.

— Не бойся, — сказал Амбрас, быстро вытащил обойму и тотчас свободной рукой загнал ее обратно, потом, будто собираясь произвести салют, направил пистолет в небо, рванул затвор назад и с резким щелчком вернул в прежнюю позицию, — не бойся, он не заряжен.

Пистолет. Та же модель. Беринг знал это оружие лучше любого другого механизма, который ему доводилось разбирать и собирать вновь. Наутро после выстрелов отец взял пистолет кузнечными клещами, словно кусок раскаленного железа, и унес в мастерскую. Там он швырнул его на наковальню и яростными ударами молота превратил в кучку обломков, выкрикивая в такт: *Болван! Ох и болван! Этот дурак доведет нас до виселицы! Это ж надо — стрелять в родном доме!*

Курок, предохранитель, пружина обоймы, направляющая, затвор и прочие детали — сколько раз за минувшие годы побывали они у Беринга в руках, сколько раз он смазывал их и стремительно собирал вновь, в одну и ту же игрушку, и вот теперь все это со свистом, как попало разлеталось по мастерской. Только когда какая-то железка расколотила окошко — а достать такую редкость, как новое стекло, было почти невозможно, — старик опомнился и велел сыну подобрать обломки и закопать их. Беринг так и сделал, меж тем как мать освященной губкой из Красного моря и святой лурдской водой замывала кровавые следы на полу и на лестнице.

— Ну, так что это за штуковина? Ты оглох? — Амбрас поднес пистолет к самым глазам кузнеца, чтобы он мог прочесть выгравированную на металле надпись.

И Беринг вполголоса, покорным тоном изобличенного, который наконец прекращает сопротивление и во всем признается, прочел гравировку; за долгие часы своих механических забав он так освоился с этими словами, что мог расшифровать их даже впотьмах, на ощупь, кончиками пальцев, как брайлевское письмо для слепых:

— *Colt M-1911 Automatic. Government Model. Calibre 45.*

Амбрас опустил руку с оружием.

— Отлично. А обращаться с такими инструментами умеешь? Стрелять-то можешь?

— *Стрелять?*

Значит, это был не допрос? Не изобличение? Собачий Король просто-напросто задал ему один из несчетного множества вопросов, на которые можно ответить так или этак и после которых время улетает в ничто, ни чуточки не меняя ни своего течения, ни смысла? Все осталось как раньше. О той ночи Амбрас ничего не знал.

— Один лейтенант, — медленно проговорил Беринг, — один лейтенант показывал мне прошлый год такой пистолет. Мы... мы стреляли из него по солнечным часам возле прачечной.

Даже и врать незачем. Лейтенант из карательной экспедиции, что намеревалась стать лагерем в парке гостиницы «Бельвю», именно так и расплатился за починку сломанного дизель-генератора — стрельбой по мишени и парой почти неношенных сапог. Циферблат солнечных часов подле разрушенной прачечной, на первый взгляд, был пустяковой мишенью. Веер часовых обозначений изображал апокалиптических всадников — выцветшую, облупленную рать. Но Беринг тогда целую обойму извел, целясь в гербовый щит какого-то костлявого воина, и ни разу не попал.

— Стрелять он тоже умеет, — сказал Амбрас. — Раз так, забери наконец эту штуковину. Она твоя. Закон военного времени гласит: кузнецу требуется молот.

Лили присела на корточки возле одного из лабрадоров и чесала ему за ухом, а Берингу, вновь подпавшему под давнее обаяние оружия, внезапно

вновь захотелось почувствовать руки этой женщины, ее мимолетное прикосновение. Едва дыша, он посмотрел ей в глаза. Потом протянул руку и взял у Амбраса пистолет.

11. Бразильянка

Через перевал прошла. По лавиноопасным участкам и глубокому, по колено, снегу прошла через перевал. Мы встретили ее у Ледяного Двора. Вчера вечером. Мул с тяжелой поклажей! Опять на равнину ездил, в казармы.

В этот раз целый ящик зажигалок привезла, а еще — нейлоновые чулки! На шее у мула висел транзистор — не то радио, не то магнитофон, — во всяком случае, из него слышалась эта ихняя американская музыка. Н-да, будто ей батарейки девать некуда. Американская музыка.

Сейчас она, скорей всего, на пути в Ляйс. Нынче утром была на пароходной пристани, а потом на нижней палубе «Спящей гречанки» продавала камнеломам темные очки. Шкиперу она посулила флакон одеколона, если он пустит ее на борт вместе с мулом, а на обратном пути из каменоломни зайдет в Ляйсскую бухту. В Ляйсскую бухту — ради нее одной! Больше никто там на берег не сходил.

Ну и как?

Что — «ну и как»? Ясное дело, добилась своего. А шкипер-то чуть не посадил «Гречанку» на мель у ляйской пристани...

Когда Лили на своем муле возвращалась с равнины, Моор жадно следил за каждым ее шагом. Ведь *эта, с метеобаши*, одна во всем приозерье только и ходила через границу, одна только и снабжала черный рынок дефицитным товаром, даже когда из-за армейских маневров единственную дорогу на равнину перекрывали и в моорском секретариате ни за какую мзду не выдавали пропуск.

Лили не было дела ни до запретных зон, ни до пропусков, она просто ходила своими дорогами и каждому привозила то, что ему нужно: моорцам — южные фрукты, инструменты или зеленый кофе в зернах с армейских складов, а офицерам-снабженцам и солдатам, служившим на этих складах, — те дьявольские сувениры, которые обнаруживала во время своих рейдов по Каменному Морю, в кавернах, пещерах или где-нибудь в гниющих листьях: проржавевшее холодное и огнестрельное оружие времен последних боев и мелких военных стычек, простреленные каски, штыки, Железные кресты и всевозможный хлам, потерянный или брошенный армией моорцев на ее пути к гибели. Ведь для тогдашних победителей война с ее триумфами давным-давно стала таким же далеким, непостижимым воспоминанием, как для побежденных — поражение; вот почему спрос коллекционеров на эти железки постоянно возрастал, а значит, возрастала и цена, которую Лили в ходе своих меновых операций все время назначала заново. За канувшие в забвение вражеские регалии победители расплачивались дефицитным товаром. И Лили выменивала в казармах каски на медовые дыни, кинжалы с эмблемой мертвой головы — на лакрицу и бананы, ордена — на нейлоновые чулки и какао.

И даже для Собачьего Короля, которому не требовалось ничего, совершенно *ничего* из этих меновых товаров, ибо под покровительством Армии он пользовался всеми привилегиями и недостатка ни в чем не испытывал, — даже для Собачьего Короля Лили припасала нечто такое, за что он готов был уплатить практически любую цену, — *камни*. За один-единственный изумруд, извлеченный со дна ледникового ручья, Амбрас давал ей больше провизии и предметов роскоши, чем она обыкновенно выручала в казармах за все свои вьюки, набитые военными трофеями.

Собачий Король обожал камни. Уже засыпая, он иной раз шепотом подсчитывал кубатуру исполинских гранитных блоков, которые по его приказу взрывчаткой выламывали в карьере на Слепом берегу, и видел во сне тяжеленные глыбы, которые в лагерные свои годы таскал на деревянной «козе», под

ударами кнута... Но с того февральского дня, когда Лили попросила у него щенка, предложив в обмен изумруд, у него мало-помалу скопилось больше дюжины ее находок и все чаще он погружался в мерцающие глубины кристаллических структур. Теперь даже тусклый блеск свежего гранитного излома напоминал ему о строении самоцветов, и днем он, бывало, часами сидел в конторском бараке, рассматривая в лупу зыбкие вростки в недрах своих изумрудов. В этих крохотных кристаллических садах, где цветы и туманные разводы сияли в контурном свете серебристой зелены, он видел таинственный, беззвучный и безвременный образ мира, на мгновенье заставлявший его забыть ужасы собственной истории и даже свою ненависть.

Так Амбрас сделался не только самым щедрым клиентом Лили, но и единственным в приозерье человеком, который звал ее по имени. Ведь она, хоть и провела почти всю жизнь в той же скудости и под тем же заключенным в раму гор и холмов небом, что и всякий обитатель побережья, была и оставалась для Моора всего-навсего *Бразильянокой*. Приезжей. Из чужих краев.

В тот год, когда родился Беринг, на берега Моорского озера занесло целый обоз беженцев из разрушенной Вены, среди них была и Лили — пятилетняя девчушка, лежавшая в scarлатинном жару, под грубыми одеялами из конского волоса, на отцовской ручной тележке.

Сколько дней и недель двигалась по спаленным войной землям эта вереница повозок, тощих верховых лошадей и тяжело нагруженных пешеходов? Позднее Лили вспоминала прежде всего ночевки: заиндевевые деревья, конусы света, в которых появлялись и снова исчезали молочно-белые фигуры; сараи, где гулял сквозняк и в балках лепились птичьи гнезда; ярко-красные, будто в праздничном освещении, окна горящего вокзала. Дом без крыши, и в нем — засыпанные снегом люди. А однажды вечером путь преградили коровьи трупы — вороны расклевывали им глаза и ноздри... Но в первую очередь Лили вспоминалось манящее, волшебное звучание того слова, которое беженцы твердили как заговор от всех мук и ужасов дороги, шептали в бессонные часы, а возница одного из больших фургонов даже напевал: *Бразилия. Мы едем в Бразилию!*..

Но подобно тому как ручеек, оставив прежнее русло, всегда ищет путь наименьшего сопротивления и тут зарывается в песчаную почву, там обтекает валун, разбегается струйками среди булыжника, а легкие предметы вроде всякого мусора и обломков сухих веток просто подхватывает и уносит с собой, так и беженский обоз тогда не единожды уходил от опасности: от пылающих деревень, от рек без мостов и паромов, от застав и заграждений, а то и просто от слухов о жестокости какой-нибудь шайки разбойников с большой дороги — и предпочитал хоть сто раз сделать добрый крюк, никогда не теряя надежды выйти к побережью, к морю, где плывут корабли, плывут в Бразилию. Потому-то путеводной звездой обозу поочередно служили крупные порты Адриатики, Лигурийского моря, а под конец даже Северной Атлантики, пока однажды на исходе зимы он не прибыл в Никуда, в Ничто, в Моор.

И здесь тоже — в который раз за время странствий! — в людях воспрянула надежда: скоро они двинутся дальше, и картошкой с хлебом разживутся, и ночевать будут под крышей. День-два, максимум неделю переждут в пустых курортных гостиницах, а там сядут на поезд и по железной дороге поедут через снежные перевалы — через Альпы! — в Триест, а оттуда пароходом — в райские, счастливые края.

Уже свечерело, когда обоз вышел к озеру, к железнодорожной насыпи, где в ту пору еще были рельсы, к составу из пустых телятников, — покинутый безлюдный берег. Но разграбленные мародерами промерзшие гостиницы — «*Белью*», «*Стелла Полярис*», «*Европа*» и «*Гранд-отель*», — с чьих китайских крыш ветер сдувал длинные вуали снега, были уже переполнены другими обессиленными скитальцами, изгнанниками, которых военные бомбежки лишили дома и родины, и теперь они теснились у костров в бывших салонах и готовы были палками и кулаками драться за каждое место ночевки.

Вдруг приказ: *поворачивай обратно, все назад, вниз, на берег.* Местный начальник, комендант, что ли, отвел беженскому обозу для ночлега здание старой водолечебницы.

Девочка Лили в этот вечер решила, что они уже у цели. В лепных розах, в гирляндах гипсовых ракушек и мерцающих искрами мозаиках большого бювета, в белых статуях прогулочных галерей и всей этой пыльной роскоши, что скользила мимо, пока отец тянул и толкал тележку по переходам водолечебницы, ей чудились приметы обетованной страны, о которой без конца рассказывали на сон грядущий в сараях и под открытым небом среди студеной полей. И ни пылающий от жара лоб, ни слабость не помешали ей откинуть одеяло и соскочить с отцовской тележки; раскинув руки, она вприпрыжку бегала вокруг мертвого фонтана и громко выкрикивала: *Бразилия! Бразилия! Мы приехали, мы в Бразилии!*

Но этим вечером в моорской водолечебнице девочка не только испытала разочарование: ведь никто другой не желал называть этот заснеженный берег *Бразилией* и перед курортными променадами раскинулся не обещанный океан, а просто замерзшее озеро... В давнем гимнастическом зале, меж длинных рядов раскладушек и соломенных тюфяков, находились тогда кроме беженцев из Вены еще десятка три бывших подневольных рабочих; получая скудное пособие от быстро меняющихся оккупационных властей, эти люди дожидались отправки в родные края, откуда целую вечность назад были насильно вывезены к Моорскому озеру. Крайнее истощение и тяжкие увечья не позволяли им присоединиться к проходившим через Моор пешим колоннам, и вот уже который месяц они жили надеждой на то, что какой-нибудь крепкий возвращенец, забыв о канонах самосохранения, повесит на себя обузу — калеку или больного, что в конце концов с чьей-то поддержкой, на носилках или в повозке выберутся из этого светопреставления и попадут домой.

Среди этих закутанных в одеяла, оборванных фигур был и бессарабский торговец постельным бельем, который так и не смог оправиться после смерти жены — она умерла у него на глазах в эшелоне депортированных, в тесном, удушливом телятнике. Даже теперь, спустя три бесконечных лагерных года, он лежа в темноте, и закрывая глаза, и вообще всегда как наяву видел перед собою ее лицо. Когда отец Лили вошел в зал, этот человек скорчившись сидел возле шведской стенки перед еще теплым, спешно опорожненным котелком и ногтями соскребал со своих рук болячки и отмершую кожу.

Отец не обратил внимания на тощую фигуру, которая, вдруг оставив свое занятие, с открытым ртом выгарашилась на него. Выхватив дочку из ее горячего танца вокруг фонтана, он завернул ее в овчинный полушубок и на руках нес к тюфякам, которые были отведены беженцам для ночлега, — вот в эту самую минуту бельевщик с трудом встал и направился к нему, спотыкаясь, перешагивая через одеяла, и узлы, и спящих людей, и фибровые чемоданы и приговаривая: *вон тот, вон тот, с девочкой...* да-да, он не кричал, а именно приговаривал, даже не особенно громко: *Вон тот. Вон тот, с девочкой.* Только рука, вытянутая вперед, не опускалась, хотя он поминутно спотыкался, и указывала на отца.

В лихорадочно-беспокойном зале никто сначала не проявил интереса к тому, что отец резко остановился, втянув голову в плечи и прижимая к себе дочку, не выпрямился, не обернулся и даже не пробовал защищаться, когда живой скелет наконец достиг его и принялся бить кулаком по спине. Спокойно, как бы не замечая этих слабых ударов, он уложил дочку на тюфяк и укрыл полушубком. Только теперь он выпрямляется во весь рост. Но на удары не отвечает. Молча, широко раскрыв глаза и окаменев от ужаса, Лили лежит на соломе.

Тощий уже не бьет, но крепко держит отца за рукав, словно толком не знает, за что бы его иначе ухватить и как пронять человека, который просто останавливается, не оказывает сопротивления, не убегает. В растерянности он оборачивается к своим товарищам и теперь все же кричит, кричит через весь

зал, будто зовет на помощь: *Это он. Один из тех.* Даже голос у него какой-то высохший, тощий.

Ясное дело, теперь тут и там в гимнастическом зале слышится брань: *заткнись! они что, спятили?..* — кто-то пытается даже урезонить тощего: *перестань, хватит, спать охота...* С какой радости усталый человек, повывавший на своем веку и кое-что похуже драки, станет мешаться в чужие свары? Ну лупит где-то там, в потемках, один мужик другого по спине — и пусть его! Главное, чтоб нам на ноги не наступали. И в котелок с картошкой ненароком не влезли. Разнимать их никто не торопится. Да они ведь и не дерутся. Один вцепился в другого, и только.

И вдруг тощий уже не одинок — его окружают товарищи. Они раньше всех остальных сообразили, что в дальнем конце зала один из них намерен поквитаться с *одним из тех.* А в минувшие годы все они, бывало, мечтали о мести; в одиночку *такие* мечты не осуществить. И они пришли тощему на помощь. Наседают на отца, о чем-то спрашивают и пинают его ногами, хотя он ничего не ответил. Пинками и тычками гонят его вон из зала, сами еще толком не зная куда, просто на улицу. Их тянет наружу, в ночь, где они будут с ним одни. Пришельцы из погибшего города ничего в этом не понимают. Они хотят спать. Им только на руку, если в зале опять станет поспокойнее.

Позднее никто не мог сказать, был ли давний бессарабский бельевщик единственным среди перемещенных лиц, кто в этот вечер опознал в венском беженце одного из своих мучителей времен войны, *одного из тех,* из черномундирников, что неизменно были на платформах, в лагерях, в каменоломнях, под виселицами — повсюду, где не только расставались со счастьем и жизнью их жертвы, но вообще рушился целый мир. Быть может, каждый из этих уцелевших, глядя на отца Лили, вспоминал о своем. А вспомнить можно было многое: не он ли устраивал *ледовый праздник?* Среди зимы на плацу поливал водой голых узников, пока они не покрывались на морозе коркой льда и не становились похожи на стеклянные статуи. Или это *кочегар,* который еще живыми сбрасывал смертельно раненных заложников в яму, где пылал костер?..

Бельевщик по крайней мере не сомневался. Он бы узнал это лицо среди миллионов других лиц: человек, вышвырнутый ими сейчас в ночь и упавший наземь, был тот самый черномундирник, которого он видел из телятника, сквозь перетянутую колючей проволокой отдушину. Тогда. На бессарабском полустанке. Этот человек прохаживался взад-вперед под полуденным солнцем и курил сигарету, меж тем как страдальцы в битком набитом вагоне отчаянно молили о воде и о помощи. Небрежно, как на прогулке, ходил он взад и вперед, но когда сквозь колючую проволоку отдушины к нему потянулась рука с пустым жестяным котелком, он вытащил пистолет и выстрелил в эту руку.

Шрам на руке бельевщика вновь пульсирует жгучей болью, как рана тогда, давно.

Этот человек просто пошел дальше, котелок дребезжа скатился с платформы на рельсы, а в темном, полном криков вагоне от жажды умирала женщина. Всю жизнь она с удовольствием носила крахмальные блузки, прикалывая к ним серебряную брошь, а теперь лежала на соломе в собственных испражнениях и уже не узнавала мужа, который сидел с нею рядом на корточках и которому она говорила *сударь,* когда просила воды. Он не хотел показывать ей свою пустую, кровоточащую ладонь, только шептал в этот последний час, раз сто, а может, и больше: *не покидай меня, не покидай.*

Ну так куда его?

Куда эту сволочь?

На берег, куда же еще. К воде. Ничего не остается — только озеро. По мокрому снегу прибрежной лужайки они волокут отца к воде. Пустим на корм рыбам — и порядок, армия-то его вся вышла, и город тоже. За ними тянется широкий след и черные разводы. Кровь? Вот и причал яхт-клуба, длинные дощатые мостки, конец которых незримо тонет в ночи. Топают по настилу. Бросают отца вниз, во мрак.

Но лед в узкой бухте не ломается под его тяжестью; упав с двухметровой высоты, он неподвижно лежит на черной ледяной поверхности. Уровень озера по-зимнему низок.

Ишь ты, не желает он кормить рыб! Ладно, пошли вниз. К нему. Но кое-кто из них теперь отстают, в том числе бельевщик. Он не был даже среди тех, кто сбросил отца на лед. Еще на пути через лужайку ненависть его вновь стала намного меньше боли, вместе с которой к нему возвращается другое лицо, *ее* лицо. И рядом с ее лицом для разбитой морды вот этого уже нет места. Он исчез. Лежит во льду.

А некоторые из товарищей бельевщика как раз теперь себя не помнят от ярости. Не отступаются. Жажнут довести до конца свое дело. Вот сволочь, не желает кормить рыб!

И тут они замечают старую вышку для прыжков в воду — она будто сию минуту выросла из-под земли, многорукое деревянное сооружение, с которого в полузабытые летние дни совершали головоломные прыжки: и с оборотом, и солдатиком, и винтом. Устремленный в ночь черный контур на фоне ясного звездного неба — виселица.

Позднее мать Лили так и не могла вспомнить, когда именно, в какую минуту разглядела своего мужа посреди зыбкой пляски факелов, направлявшихся по льду бухты к вышке. С синей эмалированной кастрюлькой она стояла тогда под аркадами в очереди к полевой кухне и видела, как ватага не то хулиганов, не то вдрызг пьяных забулдыг потащила куда-то свою жертву; впрочем, это могла быть и грубая, жестокая забава. И вдруг кровь бешено застучала в виски: она узнала сперва шинель, потом фигуру. И, наверно, в этот же миг услышала свое имя. Лишь теперь, с запозданием, словно яростная ватага промчалась мимо быстрее любого крика, опережая время, — лишь теперь тишина наполнилась стонами, хлопками ударов, шумом *их* мести, а она услышала крики отца. Он звал на помощь. Звал жену, по имени.

Но они уже добрались до вышки. Стоят на прочном льду. Кто принес с собой веревку? Откуда она взялась? Длинная, крепкая, она падает откуда-то сверху, из ночи, на лед и захлестывает ноги жертвы. *А теперь тяни вверх! Вира! Вира помалу!*

Кто эта фурия, которая вдруг поднимает крик у них за спиной и норовит протиснуться вперед? Она что, имеет к нему какое-то отношение? Ее просто оттирают назад. Стоят плотной стеной. Эта остервенелая баба ему не поможет. *Выше тяни!* В дни освобождения так же вот висели и другие из этих, и на виселицах похуже здешней. Когда-нибудь, пусть в первый и единственный раз в жизни, эти черномундирики должны покраснеть, да-да, *покраснеть!* Если не от стыда, то хотя бы от крови, которая в последний, смертный, час бросается им в голову.

Отец качается надо льдом, руки его связаны за спиной. Качается в пустоте под градом тычков и ударов. Потом висит в ночи неподвижно. Роняющий капли лот.

Затем события приняли столь неожиданный оборот, что *целостную* картину впоследствии удавалось сложить лишь из многих, зачастую противоречивых, отрывочных свидетельств участников и просто очевидцев акта мести: слепяще-белый световой конус прожектора внезапно выхватил из мрака вышку, толпу вокруг и жертву. Бичом хлестнули по льду слова команды. Солдаты протопали по причалу и по винтовой лестнице на вышку. Прикладами и пинками разорвали кольцо бывших узников. Даже раза два-три пальнули для остратки в воздух. Потом зазубренный штык перерезал веревку, и отец снова упал на лед. Солдат, пытавшийся поймать его, не сумел удержать такую тяжесть.

Но это падение не спасло отца, оно было началом загадки, которую мать Лили в грядущие годы называла не иначе как *отцова судьба*. Отец, правда, был жив, и что-то невнятно бормотал, и о чем-то просил солдат, которые подхватили его, грязного, окровавленного, под руки и вместе с бельевщиком и несколькими его товарищами увезли на армейском грузовике... Но оттуда, куда

был увезен в ту самую ночь или в последующие дни, недели и месяцы, он так и не вернулся.

Столь же безуспешно, как прежде сквозь стену мстителей, мать пыталась в тот час пробиться к мужу сквозь заслон «избавителей». Солдаты снова и снова выкрикивали одни и те же непонятные слова и отталкивали ее. Она бежала за громыхающим по мерзлой лужайке грузовиком, бежала до береговой дороги, а там поневоле остановилась, едва переводя дух, и после всю ночь, сидя возле дочкиной постели, ждала, что они вот-вот придут за ней.

Утром пошел снег, крупные влажные хлопья падали с неба, когда бельевщик и его товарищи в сопровождении военного патруля вернулись в водолечебницу за своими пожитками. *Домой, домой едем* — вот что беженцы слышали в ответ на все вопросы. Бельевщик молчал. А мать Лили, ни на шаг не отходившая от патруля, получала лишь односложные, равнодушные ответы, в конце концов какой-то офицер перевел ей, что военный преступник находится в комендатуре, его там допрашивают. Мать Лили немедля взяла за руку горящую в жару хворую дочку и, расспрашивая всех встречных и поперечных, поспешила в комендатуру; часу не прошло, а она уже была там, но опоздала, отца только что увезли: моорский комендант передал его Красной Армии.

Куда его отправят? В какой город? В Россию? Куда?.. На эти и иные вопросы ответов уже не было. Отец не вернулся. Ни через день, ни через неделю. Беженцы двинулись дальше. Не пропускать же поезд, единственный поезд на Триест, из-за какого-то чужака, который однажды присоединился к ним вместе с женой и дочкой, а теперь вот снова исчез? В Бразилию есть и другие пути, ну а пропавшего пускай ждут те, кому его не хватает. Их ведь всего двое.

Так Лили с матерью остались в Мооре, Лили выздоровела и, выздоравливая, мало-помалу уяснила, что этот истоптанный берег с черными деревьями... и эти горы, и эти статуи, и этот фонтан... и вообще все вокруг никакая не Бразилия. Но мать решила остаться. Ее муж пропал здесь, в Мооре, сюда же он когда-нибудь и вернется, *должен* вернуться. В свое время, пока родной город не был разрушен до основания, мать Лили писала декорации в мастерских *Буртеатра*, теперь она снова взялась за кисти — начала с картины Страшного суда на свежоштукатуренной стене отреставрированной кладбищенской часовни, потом перешла к «парадным» портретам крестьян, камнеломов и торговцев копченой рыбой. Писала она и шаланды кающихся в камышах, и голубоватые горы, и озеро на закате — с парусниками и без оных — и получала взамен муку, и яйца, и вообще все необходимое для жизни.

Но по воскресеньям она частенько после обеда трудилась над большим поясным портретом мужа, хотя так никогда его и не завершила. Писала она по фотографии, с которой не расставалась до самой смерти и на которой был запечатлен смеющийся отец на фоне здания Венской оперы. Отец — в черном мундире, при всех регалиях, в фуражке, глаза тонут в глубокой тени козырька. Мать сидела за мольбертом, и с каждым мазком ее кисти мундир превращался в зеленый суконный костюм с пуговицами из оленьего рога, а фуражка — в фетровую шляпу, украшенную букетиком вереска.

Когда самая последняя из все новых и новых беженских групп покинула залы водолечебницы и отправилась навстречу лучшим временам, комендант, а за ним и моорский секретарь, проявив терпимость, позволили художнице и ее дочери занять пустующий домишко берегового зрителя. Комендант не пожелал за это разрешение никакого подарка, секретарь в знак благодарности получил писанный маслом портрет. В домовой прачечной, громко именуемой *студией*, на девятнадцатом году Ораниенбургского мира Лили нашла свою мать рядом с опрокинутым мольбертом, в луже льняного масла, скипидара и растекшихся красок. Где на руках, где волоком Лили дотащила бесчувственную женщину до лодочной пристани, уложила в плоскодонку и, отчаянно налегая на весла, погнала суденышко через озеро, но, когда вдали уже завиднелся хаагский лазарет, заметила, что мать мертва.

Только через год Лили все же оставила их общий дом, испросив разрешения поселиться в метеобашне. Ведь в те дни из множества построек водолечебницы уцелел лишь самый верхний этаж этой башни, все прочее уничтожил пожар, которым одна из банд Каменного Моря покарала Моор за отказ выплатить *пожарную мзду*.

Поджигатели кучами свалили тогда в большом бювете и в галереях трухлявые шезлонги, зонтики от солнца, ширмы, обломки разбитых дверей и ставен и подожгли, пресекая все попытки моорцев потушить огонь. Град битого стекла и увесистых камней обрушивался из темноты на каждого, кто норовил приблизиться к огню с ведром воды или просто из любопытства, до тех пор, пока ничего уже было не спасти и всю водолечебницу не поглотила раскаленная туча.

Той ночью Лили была в горах и с места своей стоянки видела только загадочное слабое зарево на пластах тумана внизу, пульсирующий свет, который с таким же успехом мог идти от свадебного костра или от огненных жертвоприношений процессии кающихся. Ни о чем не подозревая, она через два дня вернулась к озеру, на пожарище, и, едва войдя в домишко смотрителя, тотчас принялась собирать вещи.

Поджигатели, а за ними, наверно, и мародеры не оставили почти ничего мало-мальски пригодного: газовые рожки и те были сорваны с обугленных балок; жестянки с консервами исчезли; все стекло полопалось или было разбито — черные осколки усеивали пол сплошным ковром. Уцелели только сложенные в подполе остатки родительской жизни: большой кофр с одеждой, фотографиями, тюбиками красок, кистями и всякой макулатурой, — уцелели просто потому, что входной люк оказался засыпан пеплом...

В этом кофре Лили нашла старую географическую карту и, водворившись в метеобашне, первым делом припилила ее к свежевыбеленной стене — как единственное украшение. Хотя синеву океанов на этой карте покрывали пятна плесени, а береговая линия во многих местах прерывалась из-за трещин на гнибах, все равно поверх сетки параллелей и меридианов прочитывалось напечатанное странно причудливым шрифтом слово, в котором для нее ожили детство и забытая мечта, — *Бразилия*.

12. Охотница

Лили могла убить. Одинокая женщина в горах или где-нибудь в развалинах гостиницы высоко над озером, она была вынуждена снова и снова спасаться бегством от похотливых бандитов, мчаться вниз по склонам, удирать от убийц и поджигателей в самые глухие места, а нередко в ночь и хорониться в ущельях Каменного Моря, в прибрежных зарослях у озера или в пещерах. Там она сидела ни жива ни мертва и, зажав в кулаке складной нож, с замиранием сердца ждала, что шаги преследователей остановятся возле ее укрытия...

Но два-три раза в году — случалось это нерегулярно и непредсказуемо — Лили превращалась из быстроногой, почти неуловимой жертвы в столь же проворную охотницу, которая всегда незримо таилась высоко в скалах и даже на расстоянии пяти сотен метров могла поймать добычу в перекрестье прицела и убить. Два-три раза в году Лили устраивала охоту на своих врагов.

В такие дни она внезапно просыпалась еще до света, а то и вовсе глубокой ночью, укладывала в вещмешок все необходимое для бивака, хлеб и сушеные фрукты, одевалась потеплее: как-никак путь лежал высоко, в зону снегов, — и шла к лодочной пристани. Там она бросала в плоскодонку несколько буйков и небрежно свернутые сети и гребла в бухточку, расположенную к востоку от Моора. Тот, кто наблюдал за нею в этот час, — ну, скажем, рулевой «Спящей гречанки», который любил спозаранку посидеть в рубке, обозревая в бинокль водный простор, — видел просто рыбачку, направляющуюся к месту лова. Не вызывая ни малейших подозрений, Лили исчезала из виду в глубокой тени скальных обрывов. Там она вытаскивала плоскодонку из черной воды,

прятала ее под пологом терновых кустов и плакучих прибрежных ив и уходила в Каменное Море.

Часа четыре с лишним поднималась Лили в такие дни по все более отвесным бездорожным кручам, без отдыха, пока не достигала поросшего сосновым стлаником скального выступа. Неподалеку от этого выступа, чуть ниже присыпанного каменными обломками ледникового языка, зиял вход в пещеру, где она много лет назад в поисках янтаря и изумрудов обнаружила оружейный склад — *свое* оружие.

Лили не знала, кто притащил в высокогорье эти черные деревянные ящики с гранатами, винтовками и противотанковыми гранатометами, а тем самым в конце войны или уже в годы Ораниенбургского мира обеспечил себя оружием для грядущих боев. Оружие было из арсеналов разных армий: американские гранаты, английские снайперские винтовки «Энфилд» с оптическим прицелом, русская автоматическая винтовка Токарева и немецкий карабин лежали в древесной шерсти между коробками с фосфорными зажигательными боеприпасами, которые, попав в цель, выпускали дымящийся огненный язык и тем указывали стрелку место попадания...

Лили никогда не пыталась ни разыскать настоящего хозяина склада, ни перепрятать оружие в более удобный тайник. Ведь когда она под прикрытием стланика наблюдала за входом в пещеру, замаскированным камнями и валежником, наблюдала, чтобы проверить, не нашел ли кто сюда дорогу со времени ее последней охоты и не вернулся ли наконец, спустя десятилетия, за своей добычей хозяин, — всякий раз в невредимости маскировки и в отсутствии следов ей виделся знак, говорящий: все, что она делала, это не иначе как судьба.

Пускай процессии кающихся на берегах озера и прочие смиренники, богомольцы и ханжи зажигают в своих часовнях погребальные свечи, молятся душам погибших и верят в небесную справедливость или хотя бы в приговоры военных трибуналов — Лили верила только в черную пасть этой пещеры. Какая бы сила или случайность ни привела ее сюда, указав ей этот инструментальный *земной* справедливости, — черная пасть звала ее, требовала, чтобы она использовала свою находку, била своих врагов, разгоняла по глухому безлюдью.

Если бы хоть один знак, след чужой ноги на фирне или сломанная ветка маскировки предупредили ее, что она не единственная вооружается здесь и преобразается, — быть может, она бы даже с облегчением оставила свое укрытие в стланике и пустилась в обратный путь к озеру, чтобы никогда больше не приходиться сюда. Но, не считая винтовки «Энфилд», *ее* винтовки, все оружие уже многие годы лежало нетронутым.

Вот она и делала то, чего требовала пасть, — проникала сквозь валежник в гору, открывала глубоко в ее недрах ящик (всегда один и тот же) и вооружалась. А когда выходила затем из темноты на дневной свет, в руках у нее был не допотопный и никчемный музейный экспонат, из тех, что она разыскивала в листьях и в земле на полях давних сражений и боев и на армейских складах выменивала на дефицитные товары и продовольствие, а блестящая снайперская винтовка без малейшего пятнышка ржавчины.

Среди солдат оккупационной Армии, которые похода научили ее обращаться с таким оружием, когда, к примеру, по завершении меновой сделки хвастались прицельным боем своих винтовок и палили в казарменных тирах по крохотным шарикам, — среди этих солдат теперь наверняка ни один не превзошел бы ее в меткости. Но Лили неизменно оставляла своих мимовольных учителей в уверенности, что она наблюдает за их упражнениями с боязливым восторгом и что лишь после долгих уговоров и увещаний может иной раз для пробы стрельнуть сама. И если она затем на глазах у солдат все же стреляла по шарикам, тарелочкам или картонным *противникам*, то посылала свои пули *мимо цели*, не внушая никаких подозрений.

В охотничий сезон Лили со своей винтовкой часами, а порой и целыми днями шла, взбиралась, ползла и карабкалась по Каменному Морю, подбирала, наверно, тут и там красивые окаменелости, а переправляясь вброд через

речки и ручьи, еще и осколки изумрудов, но *искала* на этих дорогах только одно — свою дичь. Ведь банды не имели постоянного местопребывания в руинах разбомбленных высокогорных укреплений и взорванных бункеров; лишь тот, кто желал надежно оградить себя от скорого возмездия за грабительский набег, от разборок с соперниками, а то и от карательной экспедиции, на несколько дней или недель прятался в эти каменные лабиринты, чтобы затем совершить новый налет на какую-нибудь усадьбу, глухую деревушку или общину кающихся. Лили знала множество бандитских укрытий, однако в своих охотничьих походах заставляла их большей частью пустыми.

Лихорадочное возбуждение, всепоглощающее чувство страха, торжества и ярости овладевало ею всякий раз, когда она обнаруживала врага: охотница, бесшумная и незримая в скалах, а глубоко внизу, на тропе противоположного склона, на альпийском лугу или среди осыпи, — шайка «кожаных» либо маршевая колонна находящихся в розыске ветеранов; в линзе оптического прицела они были вроде безликих насекомых. Но хохот и крик порой слышались даже на таком расстоянии, и спутать их с иными звуками было никак невозможно. Обманчивая уверенность в собственной силе — вот что вводило их в соблазн вести себя так предательски шумно. После недавней рукопашной они в хмельном угаре орали наперебой, вспоминая особенно сокрушительные удары; а если шли с добычей, то нередко выражались весьма гротескным образом, в окровавленное платье своих жертв, и на ходу передразнивали стоны поверженных, притворно звали о помощи в этой каменной пустыне, где в безветренную погоду гулко разносился даже крик одинокой галки.

Прижимая к щеке приклад винтовки, Лили одного за другим ловила своих врагов в дрожащее перекрестье голубой оптики прицела. В такие мгновения ее ничуть не интересовало, кто эти подвижные цели там внизу — уцелевшие на войне ветераны, десятки лет скрывавшиеся от военного трибунала победителей и ведшие в здешних карстах существование изгоев, или уже новое поколение, рожденное в развалинах городов, тупоголовые бандиты, которые чихать хотели на все воспитательные программы мирноносца Стелламура, собирались в шайки и упивались жизнью без сострадания и жалости... В такие мгновения Лили помнила лишь об одном: любая из этих фигур уже завтра ночью может с факелом или с цепью в кулаке объявиться возле ее башни и, вообще, возле какого угодно моорского дома или усадьбы, и потребовать *все*, и голыми руками совершить убийство.

Окончательно выбрав себе мишень, охотница дулом винтовки прослеживала последний путь своей добычи так неторопливо и уверенно, будто ее руки, плечи и глаза соединялись с оптическим прицелом и ружейной механикой в единую систему, наполовину из органики, наполовину из металла. Секунду-другую она смотрела в визир, и в ритме ее пульса голова и грудь добычи, как маятник, то уходила из поля зрения, то вновь появлялись в перекрестье, затем наконец она спускала курок — и почти в тот же миг маятник падал, а банда *разлеталась* в разные стороны...

Ведь еще прежде, чем эхо выстрела успевало вернуться из необъятных просторов Каменного Моря и умолкнуть, все те, кого пуля *не тронула*, совсем недавно горластые, сильные, непобедимые, кидались в укрытие, мгновенно исчезали в зарослях соснового стланика, среди камней, за скалами. В такие секунды Лили приходили на память пассажиры цепной карусели: словно титаническая центробежная сила внезапно вырвала из крепежа летящие по крутой сиденья и расшвыряла во всех направлениях... Видеть, как грозная банда этак вот *рассеивается*, было до того смешно, что Лили иной раз начинала невольно хихикать и опускала винтовку.

А там внизу, посредине этой разбитой карусели, мало-помалу развевался дымный знак фосфорного заряда, едкий сигнал попадания. И запашок там, поди, вроде как в преисподней. Ноздри у Лили раздувались, когда она невооруженным глазом следила за тающей стружкой дыма. Под этой стружкой темнело крохотное неподвижное пятнышко. Ее добыча.

Но не приведи Бог, если это темное пятнышко вдали дерзало еще раз шевельнуться, поднять голову, заскулить или позвать своих. Тогда Лилины смешки мгновенно смолкали. Тогда она еще раз ловила добычу в перекрестье прицела, как бы приближала ее к себе, и снова спускала курок, и чертыхалась в раскаты эха. А потом сквозь линзу прицела долго смотрела на мертвеца.

Он лежал в том полнейшем одиночестве, в каком остается лишь человек, сраженный пулей в секторе обстрела, бесконечно далеко от всякого укрытия. У границ этого одиночества, невидимые за камнями и стлаником, прятались его дружки; скованные смертельным страхом, они не смели уже ни броситься наутек, ни пошевелиться, ни окликнуть друг друга... Только теперь Лили на- всегда отпускала свою добычу из перекрестья прицела — отпускала вдаль, где все вновь выглядело маленьким и незначительным.

Перевела с немецкого Н. Федорова.

(Продолжение следует.)

К УКЛОНЧИВОЙ ЗВЕЗДЕ

МАРТИНЮС НЕЙХОФ



Песня безумных пчел

Надзвездный запах меда
в цветах рождает зависть,
надзвездный запах меда
нас выманил из ульев.

И запах, и жужжанье,
застывшие в лазури,
и запах, и жужжанье,
без пауз, без названья,

прельстили нас, наивных,
забыть сады земные
позвали нас, наивных,
изведать роз нездешних.

Забросив род и рой свой,
мы, пчелы, в приключенья,
забросив род и рой свой,
ликующе пустились.

Никто по доброй воле
не может страсть отринуть,
никто по доброй воле
не может смерть снести.

Все больше изможденны,
все ярче просветленны,
все больше изможденны,
к уклончивой звезде —

взлетели и исчезли,
беззвучны, бестелесны,
взлетов, мы растворились
повсюду и нигде.

Кружится снег. Мы гибнем,
на землю возвращаясь.
Кружится снег. Мы гибнем.
Меж ульев снег идет.

Impasse*

Мы собирались кофе в кухне пить.
А мне покоя не давал вопрос.
Но стыдно было спрашивать всерьез...
Хотел как бы случайно я спросить.

И вот сейчас я мог ее застать
Почти врасплох: плитой поглощена,
Она могла быть незащищена,
И вскользь я обронил: о чем писать?

Как раз наш громкий чайник закипел,
И пар, ее окутав, отлетел
В раскрытое окно, в глициний синих стаю.

И молвила она, по чашечкам струя
Уютный кипяток, чья тонкая струя
Дарила аромат, — заступница моя,
Она сказала просто: я не знаю.

1934.

ХЕНДРИК МАРСМАН



Ладонь поэта

Ладья судьбы, моя ладонь!
Лист ясных линий открываю
И, тайным знаньем наделен,
Бесстрастно о себе читаю:

«...Гнать по дубравам, в рог трубя,
Глотать огонь из пенных чарок,
И, женщин огненных любя,
Встречать рассвет в походах ярых,
И, как нахлынет новый день,
Втравлять в игру то свет, то тень,
А брызнет ночь узором чистым,
Мечтать под небом бархатистым —

Все то тебе не суждено.
Вино разбавится водою.
Любовь не постучит в окно.
Меч также не учтен судьбою.
Но, как глухонемой монах,
Исчухнешь в тщетных ты трудах,
Истаешь, как свеча в каморке,
И день и ночь моля послать
Луч вдохновенья, чтоб опять
Разжечь пожар во грезах горьких...

* Безысходность, тупик (голландск.).

Вообще кратка твоя верста:
 Вот так же, ночью, в гулком доме,
 Умрешь. Без друга, без креста.
 Лишь верные сложив ладони».

1929 — 1933.

Ландшафт

На лугу зеленом
 Стадо отдыхает.
 Над озерной гладью
 Цапля воспаряет.
 Выпи взглядом впились
 В зеркало воды.

А в полянах поймы
 Скачут кони вольно,
 По струистым волнам —
 По волнам травы.

1936 — 1937.

ПАУЛ ВАН ОСТАЙЕН



Песня альпийских охотников

Voor E. du Perron.

Один господин по улице вниз
 один господин по улице вверх
 два господина сходя и всходя
 один господин сугубо спускаясь
 другой господин сугубо взбираясь
 у магазинчика «Хиндерикс-Виндерикс»
 у магазинчика «Хиндерикс-Виндерикс» почтеннейших шляпников
 и горожан
 у самых дверей повстречали друг друга
 один господин приподнял свой цилиндр
 правой рукой
 другой господин приподнял свой цилиндр
 левой рукой
 и вот они мимо проходят друг друга
 правый и левый сходя и всходя
 правый спускаясь левый взбираясь
 и так они мимо проходят друг друга
 каждый с цилиндром с личным цилиндром каждый с сугубо приватным
 цилиндром
 и так они чинно минуют друг друга
 у магазинчика «Хиндерикс-Виндерикс»
 у магазинчика «Хиндерикс-Виндерикс» почтеннейших
 шляпников и горожан

потом надевают те два господина
 правый и левый сходя и всходя
 пройдя уже двери а также друг друга
 на голову каждый свой личный цилиндр
 хотелось бы мне чтоб вы поняли верно
 каждый господин надевает свой сугубо личный цилиндр на свою соответственно-
 личную голову
 и это заметьте их личное право
 приватное право двух этих господ
 1927 — 1928.

Melopee

Voor Gaston Bursens.

над водой луна усталая скользит
 под луной вода усталая скользит
 по воде и под луною лодочка плывет в лиман

вдоль речного вдоль ночного тростника
 мимо луга заливного и песка
 плавно следует ладья плывя в лиман
 плавно следует ладья с луной в лиман
 так они втроем плывут в лиман
 лодочка луна (de Maan) гребец (de Man)
 почему плывут в лиман de Maan de Man

1925.

ОБ АВТОРАХ

МАРТИНИУС НЕЙХОФ (Martinus Nijhoff; 20.04.1894 — 26.01.1953) родился в Гааге, где, за исключением студенческих лет в Амстердаме, прожил всю свою жизнь. Адвокат и филолог по образованию, внук известного голландского издателя. Дебютировал в 1916 году книгой стихов «De wandelaar» («Странник»). Это была поэзия романтическая и декадентская, которая тематически включала одиночество, страх перед жизнью, тоску по детству.

Наиболее крупными, значительными и, возможно, непревзойденными по мастерству в нидерландской поэзии того времени явились две поэмы Нейхофа: «Аватер» («Awater», 1934) и «Час Ч» («Het uux U», 1937).

Не прибегая к неблагодарному способу пересказа, следует констатировать, что обе эти поэмы относятся к шедеврам мирового уровня. В них обеих поражает необычайная, прозрачная простота стиля, невероятная пластическая виртуозность, легкость, «бесшумность» — и вместе с тем какая-то неоспоримая монументальность. Нейхоф, испытывая в это время закономерное влияние экзистенциализма, сумел придать так называемым «современным вопросам» характер изначальности, а форме, в соответствии со своим вкусом и талантом, — стройность и чистоту классических линий.

Что касается его драгоценной лирики, Нейхоф часто прибегал к форме сонета. Кроме того, им создано драматургическое произведение в стихах «Святое дерево» («Het heilige hout», 1950), где представлены три пьесы на библейские мотивы. И наконец, будучи полиглотом и человеком, открытым мировым культурам (что, кстати, характерно для голландцев как таковых), поставя эти качества на высоко-профессиональную основу, Нейхоф явился первоклассным переводчиком поэзии и драматургии таких авторов, как Эврипид, Шекспир, Элиот, Ронсар.

Следует отметить, что нидерландский друг и переводчик Бродского Кейс Ферхейл в свое время познакомил его с поэзией Нейхофа, которая произвела на Бродского сильное впечатление. В своем предисловии к переводам стихов Бродского Кейс Ферхейл высказывает убеждение, что «Песня безумных пчел» оказала влияние написание Бродским его «Осеннего крика ястреба».

Мартинус Нейхоф умер в Гааге — в том же городе, что и родился. О положении, которое он занимает в нидерландской поэзии, можно судить уже и по тому факту, что в Голландии существует литературная премия, названная его именем. Переведен на многие языки мира.

ХЕНДРИК МАРСМАН (Hendrik Marsman; 30.10.1899 — 21.06.1940) родился в Зяйсте, недалеко от Утрехта; в самом Утрехте закончил юридический факультет университета и проработал некоторое время адвокатом.

В 1921 — 1922 годах он совершает поездку в Германию, — его первый сборник стихов «Стижи» («Versen», 1923) содержит в себе явное влияние немецкого экспрессионизма.

Следует заметить, что в своем мировоззренческом развитии Марсман последовательно прошел три этапа: витализма — этот период заканчивается 1933 годом, когда Марсман публикует манифест «Смерть витализма»; мортализма — этот этап лучше всего характеризует его сборник «Porta Nigra» («Черные ворота», 1934); и, наконец, во время третьего этапа, то есть после 1936 года, Марсман, синтезируя, органично соединяет оба предыдущих. Смерть видится поэту как художественное завершение жизни, придающее ей смысл. К этому последнему периоду относится наиболее значительная книга Марсмана «Tempel en kruis» («Храм и крест», 1940).

Марсману принадлежат известные переводы работ Андре Жида и Фридриха Ницше. Он внес свой вклад и в обновление поэтического языка. Ему принадлежат щемящие пейзажные зарисовки Голландии. Но, может быть, его истинная родина находится где-то вне конкретного географического пространства, однако связана прочно с временами минувших («ярких», «жарких») эпох.

Интересная деталь: в поэтических пророчествах Марсмана заметная, даже зловещая роль отводится воде. Так, например, в подстрочном переводе стихотворения «Ладонь поэта» говорится: «...я только читаю мелкий яркий текст... много воды...», а в финале стихотворения «Воспоминание о Голландии», после довольно светлых картин, внезапно и уже гораздо более отчетливо сказано: «И во всех краях / Слышится голос воды, / С ее вечными бедами, / Голос, внушающий страх».

С зоркостью истинного поэта Марсман довольно точно предчувствовал свою судьбу. В июне 1940 года, спасаясь от немецкой интервенции, он пытается бежать морским путем в Англию. Однако подводная лодка, в которой находился поэт, была торпедирована и взорвана. Хендрик Марсман утонул.

ПАУЛ ВАН ОСТАЙЕН (Paul van Ostaïen; 22.02.1896 — 18.03.1928) — известный бельгийский авангардист голландского происхождения. Проводя внешние аналогии, этого поэта можно было бы сравнить с Хармсом, Хлебниковым, Маяковским.

Паул ван Остайен родился в городе Антверпене, что расположен во Фландрии (части Бельгии, делящей с Голландией общий язык), в семье строгого католического уклада. В отрочестве он получил сильное душевное потрясение, вызванное смертью любимого брата, а затем и сестры, — оба умерли от туберкулеза, что угрожал также и Паулу ван Остайену всю его недолгую жизнь.

Свою деятельность (для заработка) он начал в качестве чиновника (1914 — 1916 годы) в том же Антверпене, однако уже в этот период состоялся и его поэтический дебют: вышла первая книга. В ноябре 1918 года, опасаясь преследований за свою оппозиционную политическую деятельность (он выступал за придание Фландрии статуса независимости), Паул ван Остайен перебирается в Берлин.

Берлинский период (1918 — 1921 годы) играет громадную роль в духовном и профессиональном формировании ван Остайена. Испытав нигилистический кризис, он сближается с дадаистами, а также со многими художниками других направлений. В это время ван Остайен пробует силы в жанре сатирического рассказа, пишет критические статьи по литературе и искусству. Что касается стихов, тогда же

ван Остайен постепенно создает и утверждает свою собственную поэтику, так называемый «органический экспрессионизм», только на пути которого, как был убежден этот автор, может развиваться «чистая поэзия». Он соединил поэзию с молитвой, считая лирику как таковую только низшей ступенью мистического экстаза. Эта новая, «синтетическая», лирика («магическая алхимия», как называл ее ван Остайен) стремилась главным образом к автономизации стихотворения от его лирической предпосылки...

Из наиболее известных изданий поэта следует указать книги стихотворений: «Music-Hall» («Мюзик-холл», 1916, дебют), «Sienjaal» («Сигнал», 1918), «Bezette stad» («Захваченный город», 1921), «Het eerste boek van Schmoll» («Первая книга Шмолла», 1928), «Feesten van angst en pijn» («Пирсы страха и боли», 1928, посмертное издание).

Поэтическое направление, в рамках которого экспериментировал Паул ван Остайен, для того времени является чуть ли не всеевропейским. Однако в голландской поэзии именно Паул ван Остайен по праву считается самой значительной фигурой этого течения.

Переведен почти на все западноевропейские языки.

Перевод с голландского
и комментарий Марины Палей,
при участии Сильваны Ведеман.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

Архимандрит АВГУСТИН (НИКИТИН)

*

КРАСНЫЕ И ЗЕЛЕННЫЕ В ИМПЕРИИ ХО ШИ МИНА

...**В**есной 1975 года мировую печать обошел снимок: северовьетнамский танк советского производства проламывает решетку и врывается на территорию американского посольства в Сайгоне. В тот же день, 30 апреля 1975 года, Грэм Мартин, американский посол в Южном Вьетнаме, покинул Сайгон на вертолете, стартовавшем с крыши американского посольства; с собой он прихватил и звездно-полосатый флаг. Этот снимок танка так же памятен вьетнамцам, как нам — красный флаг над рейхстагом. ...А двадцать лет спустя — весной 1995 года — в Ханое открылось американское посольство. За это время Вьетнам совершил «большой скачок» на пути к открытому обществу¹.

Поначалу правящая верхушка не приняла перестройку Горбачева. Вьетнамские коммунистические лидеры осудили участие некоммунистов в правительствах стран восточного блока как буржуазную либерализацию, называя демократическую революцию контратакой империалистических кругов против социализма. В конце 1989 года Генеральный секретарь Нгуен Ван Линь заявил: «Мы решительно отвергаем плюрализм, многопартийную систему и оппозиционные партии». Но в феврале 1990 года правительство призвало к большей открытости, что на партийном жаргоне означает снятие многих запретов, которые десятилетиями подавляли нормальную человеческую деятельность.

...Месяц во Вьетнаме — не такой уж и долгий срок, чтобы составить полное представление о происходящем в стране сегодня. Но на Востоке картины пишутся несколькими ударами кисти, и по отдельным штрихам зритель может восполнить в своем воображении отсутствующие детали.

«Удар первый»: для въезда в страну приглашение теперь необязательно. Визу во Вьетнам можно купить через посредническое бюро в любой «нормальной» азиатской стране. Правда, с былых времен остались «режимные» строгости: во Вьетнам можно въехать только через тот пункт, который указан в анкете, причем не ранее заявленной даты. Вот как это происходит на лаосско-вьетнамской границе.

Когда в «Новом мире» (1995, № 11) был опубликован остросюжетный «Репортаж из 37-го года...» о путешествии в Бирму за подписью — архимандрит Августин (Никитин), некоторые наши читатели пришли в недоумение: уж слишком разнятся, кажется, две эти ипостаси — православного батюшки и отважного, неутомимого путешественника, добирающегося в самые отдаленные и экзотичные уголки земного шара...

Архимандрит Августин (род. в 1946) — доцент Петербургской Духовной Академии, в прошлом — выпускник физического факультета ЛГУ. Автор многочисленных статей по вопросам экуменизма.

¹ Гигантская цивилизация Центральной и Юго-Восточной Азии, где тоталитаризм на глазах линяет, не разрыхляя, а накачивая притом государственную мьшшу, — цивилизация XXI века. Вот почему мы продолжаем публикацию очерков об этом регионе будущего, чья мировая роль стремительно возрастает (см.: Солженицын Е. Р. О. М. О. Л. А. И. От горсти риса — до сотовой связи. — «Новый мир», 1996, № 12). (Примеч. ред.)

Пограничный пункт Лаобао. Лаосские и вьетнамские «челноки» выходят из автобуса, приткнувшегося у обочины на нейтральной полосе перед шлагбаумом. Иностранцы сбиваются в отдельную группу. Вместе с двумя японцами-туристами следуем к деревянному бараку, в котором восседает краснопогонный офицер. Японцы — «в полном порядке», а красный, еще советский, паспорт вызывает вопросы. Пограничник зовет сержанта-переводчицу, и та спрашивает по-английски: почему нет «аппликэйшн»? Оказывается, к паспорту нужно приложить особый лист с фотографией, как это сделали японцы. Начинаю волноваться, но вида не подаю. «Авторитетно» разъясняю, что виза, проставленная в паспорте, — это законное основание для въезда, что ни в одной стране нет никаких «аппликэйшнз». Офицер молча слушает переводчицу, а затем, немного подумав, ставит въездной штамп в паспорт — мы, дескать, не формалисты какие. Несколько лет назад это было б немисливо, а сегодня партия дала команду «не бояться», и армия ответила: «Есть!» А сопредельный Лаос — вообще не заграница; офицер берет пачку паспортов лаосских челноков и проштамповывает их, не глядя на страницы.

«НЕ В ДОНГАХ СЧАСТЬЕ, А В СКВ»

Доллары во Вьетнаме уже не рассматриваются как валюта «потенциально-го противника», а обладание «зелеными» — как измена родине: если и были в прежние времена «расстрельные» валютные статьи, то теперь их изъяли из уголовного кодекса. Иностранцы, въезжающие во Вьетнам по суше, сталкиваются с «валютным вопросом» еще на «нейтральной полосе»: еще до прохождения паспортного контроля иностранцев осаждают юные особы, предлагающие поменять валюту на вьетнамские донги. В руках у девиц счетные машинки и пачки денег, перехваченные резинками. Они охотно берут тайландские баты; «зеленые» — в особом почете. Лаосские «челноки» включаются в обмен тут же, под развевающимся вьетнамским государственным флагом красного цвета с желтой пятиконечной звездой. Под безразличными взглядами пограничников процессия движется мимо шлагбаума к пункту паспортного контроля, совершая на ходу валютные сделки.

Однако российский путешественник, знающий об отечественных «кидалах», не торопится включиться в игру. Надо узнать официальный обменный курс, и это лучше всего сделать в банке или меняльной конторе. Пусть потребуются больше времени на заполнение разных бумаг, но все же это как-то надежнее. Однако и в банке «чейндж» идет молниеносно: клиент сует в окошко тоненькую стопку долларов и через секунду оттуда вышвыривается толстая пачка донгов. Страна пережила инфляцию, и один доллар зашкалил за десять тысяч донгов — отсюда и толщина пачки. Курс обмена тот же, что и рыночный. Особенно везет толстосумам: сто- и пятидесятидолларовые банкноты ценятся чуть дороже, и при этом не нужны никаких паспортов, квитанций и подписей — ну просто разгул демократии!

Если вы прибыли в город вечером, когда банки и обменные конторы уже закрыты, — не отчаивайтесь, а смело идите в любую гостиницу. До 1989 года западным туристам разрешалось жить лишь в некоторых больших отелях и только там расплачиваться долларами. Сегодня вы можете селиться в любой гостинице — и в государственной, и в частной. Менеджеры в гостиницах (когда одеты еще в полувоенные френчи) называют цену за номер в долларах и охотно принимают зеленые купюры, впрочем не отказываясь и от донгов.

Рикши, подряжаясь везти седока-иностранца, начинают торговаться от двух долларов, постепенно сбрасывая цену до одной-двух тысяч донгов (10 — 20 центов). Во Вьетнаме все чаще вспоминается шутка о том, что «счастье не в деньгах, а в валюте». Доллары во Вьетнаме — это параллельная валюта; донги — не деньги, а «дензнаки». Американские банкноты в ходу везде; порой они затерты до невозможности, как будто их пропустили через стиральную ма-

шину — «отмывание» по-вьетнамски. В США такие купюры давно бы изъяли из оборота, европейские банки эту ветошь не приняли бы, а здесь они ходят до полного истирания.

Цена в долларах указана и при входе в музей; для иностранцев это раз в десять выше, чем для вьетнамцев. Посещение гробницы какого-нибудь вьетнамского императора стоит столько же, сколько Метрополитен-музеума в Нью-Йорке.

Но предположим, донги на исходе, а нужно брать билет на вечерний поезд, скажем, из Центрального Вьетнама до Ханоя, расположенного на севере страны. Турист растерян: в преysкранте стоимость проезда указана в донгах, а внизу начертана строгая надпись: платить только в местных дензнаках. Но не нужно отчаиваться: у железной дороги тут особая любовь к иностранцам — для них и цены выше, и места только в мягких вагонах. На фирменном билетном квитке откровенно написано: «Билет для иностранного пассажира». При входе в кассовый зал вас встречает «дилерша»-посредница. Узнав о пути следования, она называет сумму в долларах и, получив твердую валюту, идет к спецкассе оформлять плацкарту. Заметив недоумение пассажира, она ласково говорит ему что-то вроде: «А вы пока присядьте!» Через минуту перед клиентом на столик ложится желанный билет и сдача (в долларах). Правда, в билете стоимость проставлена в донгах, и в пересчете по официальному курсу окажется, что пассажир заплатил чуть дороже. А если обратиться в эту же кассу без посредницы — напрямую, то окажется, что «билетов нет и не будет».

К концу 80-х годов, выведя войска из Камбоджи, вьетнамское руководство осознало наконец, что официант с подносом в руках приносит больше дохода, чем солдат с «калашниковым». Был сделан «большой скачок», и из закрытой страны Вьетнам становится туристической меккой. В 1995 году страну посетили 1 миллион 200 тысяч гостей из-за рубежа. Правда, в том же году за границей побывало всего 20 тысяч вьетнамских туристов.

В Хайфоне мало что напоминает о войне. Неподалеку от порта сохранился дот, вросший наполовину в землю. Мимо дота проносятся на «вольво» «новые вьетнамцы». В центральной части города стоит обшарпанное здание российского генерального консульства — памятник былых советско-вьетнамских «особых отношений». А в соседнем Досоне в 1994 году открылось первое вьетнамское казино — «социалистическое по форме и капиталистическое по содержанию». Там блюдет социалистическая законность: местный люд в казино не допускается — вход только для иностранцев. Зарубежные вьетнамцы, желающие «сделать игру», должны при входе предъявлять паспорта. Внутри — капиталистический уклад: ставки делаются только в твердой валюте, а чтобы вокруг столиков не отиралась разная шелупонь, минимальная ставка — сто долларов.

Но эта валюта идет в «закрома родины». А как быть частному сектору? Здесь наблюдается интересная закономерность: чем дальше от Ханоя на юг, тем меньше транспарантов и больше предприимчивости. Например, в курортном Нячанге, лежащем на берегу Южно-Китайского моря, не увидишь лозунгов на красном кумаче. Зачем раздражать западных туристов, ведь они же не на корриде. Правда, школьники ходят и здесь в обязательных к ношению пионерских галстуках.

А вот бывшие комсомольцы уже перестроились и ушли в курортный сервис. Стоит только вечером туристу выйти из отеля, чтобы пройтись по набережной, как он попадает в оборот. К нему подкатывает велорикша и начинает задушевный разговор. Он, дескать, хочет попрактиковаться в английском языке. Через две-три фразы звучит вопрос: вы приехали один? Вам одиноко? Сразу все становится ясно — и на этом беседу надо заканчивать. Однако он не отстает: могу познакомить с приятной девушкой, «за комиссию» возьму недорого.

Получив отпор, сводник растворяется в темноте, но через несколько минут велорикшу сменяет мотогойша. «Ночная бабочка» — за рулем мотоцикла;

разговор идет по той же схеме. Потерпев фиаско, «мадам Баттерфляй» прибавляет газ и едет вдоль тротуара, высматривая очередного клиента. На набережной — груды кокосовых орехов на продажу, ресторанчики, лотки с пепси, а напротив — бесчисленные огни отелей. Пока мы заканчивали строительство «светлого прошлого», вьетнамцы расставались с ним «с усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом» или, точнее, — над «старшим братом».

«...А ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ В СОСЕДНЕЙ КАМЕРЕ?»

Кто бы мог еще недавно представить, чтобы туристы запросто приезжали в приграничный Лаокай? Этот небольшой городок стоит на берегу реки Хонгха (Красная), а на противоположном берегу — китайская территория, и вечером на вывесках многоэтажных отелей вспыхивают чужеземные иероглифы.

Иностранцы, сходящие с поезда в Лаокае, чувствуют, что их постоянно и открыто «пасут», — от слежки никуда не скрыться. Но «объект» отслеживают не профессионалы-«наружники», а обычные «сикло» — велорикши. Они контролируют каждый шаг путника и, пока он не сядет в их коляску, ни за что не отстанут. А «зеленых фуражек» на вокзале вообще не видно, они «водятся» лишь у пограничного моста, переброшенного через реку Хонгха (у китайцев она же — Юаньцзян). Сидя около будки, они лениво бросают взгляд на иностранца, наблюдающего за тем, как по мосту взад-вперед снуют местные жители. Если хочешь «смотреться в Поднебесную», плати за визу — и нет проблем!

У берега привязаны лодки из бамбука, пропитанные смолой, их видно из окна гостиницы, смотрящего на китайский берег. Несколько лет назад «наличие плавсредств» в приграничной полосе строго запрещалось. Сегодня восторжествовал здравый смысл: ведь никому в голову не придет, рискуя жизнью, переплывать реку, чтобы из одной «красной» страны попасть в другую. Как говаривал Станислав Ежи Лец: «Ну, пробьешь ты стену лбом, а что будешь делать в соседней камере?»

Однако быстрая река иногда заглатывает невинные жертвы. Вот на берегу — плотная стена местных жителей, у крутого спуска копошатся лодочники. Они вытаскивают из воды тело утонувшего подростка и кладут его на бамбуковый плотик. Наверху раздаются рыдания родственников; мать пытается броситься вниз, но ее в последний момент удерживают. Плотик-носилки с телом мальчика поднимают на высокий берег и, очистив посиневшее лицо от тины и водорослей, осторожно опускают утопленника в гроб, после чего начинается погребальная церемония. К ногам покойника подходит морщинистый старец, без бороды, в темном пальто и в берете. На служителя культа он явно не похож; видимо, это местный наставник — хранитель традиций. Он берет пучок соломы, поджигает его и чертит перед гробом замысловатые фигуры, затем резко вскрикивает. Старцу подносят пластмассовую бутылку, и он набирает в рот жидкость. Закончив чертить магические знаки, старец встает у самого гроба и подносит горящий пучок к своему лицу. Судя по всему, он должен теперь потушить огонь, sprыснув его водой изо рта. Действительно, он делает резкий выдох, но огонь не гаснет: изо рта вырывается огненный дракон! Оказывается, в бутылке была не вода, а керосин! Проделав этот цирковой трюк, благостный старец повторяет его в головах у покойника, словно пытаясь пламенем отогнать от тела подростка темные силы. На этом основная часть церемонии заканчивается. Старец отходит от гроба и прополаскивает рот. На этот раз — водой, поскольку сразу после этого безбоязненно закуривает сигарету. Ход церемонии нарушается животным криком: мать, вырвавшись из дома, куда ее увели, бросается ко гробу и пытается сорвать крышку. Ее оттаскивают и снова, в клубах пыли, волокут в бамбуковую хижину. Присутствовавшие при этой тягостной процедуре молча расходятся: церемония окончена.

В отличие от тайландских и лаосских буддистов, вьетнамцы покойников не сжигают. Гроб зароят на кладбище, куда его доставят на автобусе, покрытом сверху темной траурной материей (как в старину лошадь — черной попной). На гробе будут гореть свечи, а из автобусных динамиков польется погребальная мелодия, несколько странная для уха европейца — скорее мажорная, чем трагическая.

«ОТ НИЩЕТЫ МЫ ПЕРЕШЛИ К БЕДНОСТИ»

Общеизвестно, какую большую помощь оказывал Вьетнаму Советский Союз. Вопрос о вьетнамском долге России до сих пор не урегулирован. До 1991 года долг Вьетнама оценивался в 9,9 миллиарда рублей. За многие годы братской помощи у «младшего брата» выработалась иждивенческая психология, и когда в конце 80-х годов наша помощь развивающимся странам стала сокращаться, у вьетнамского руководства началась «ломка». В те годы бытовала такая шутка: со Старой площади в Ханой отправляют телеграмму: «ПридетсЯ затянуть пояса». Вечером приходит ответ: «Высылайте пояса».

У вьетнамских вождей были проблемы и с диаспорой. Компартию беспокоило, что вьетнамские студенты и рабочие в СССР и восточноевропейских странах вернутся домой с политически неприемлемыми идеями. Как оказалось, большинство этих вьетнамских посланцев вообще не захотели возвращаться, а многие бежали в Западную Европу в поисках политического убежища. Когда-то вьетнамские челноки сновали по странам Восточной Европы, и, когда они пересекали «внутрилагерную» границу, их нещадно обирали на брестской таможне. «Прошу всех покинуть купе», — обращался к белым пассажирам таможенник, оставаясь с бедным Нгуеном один на один. Но вьетнамцы упорно сколачивали начальный капитал. Сегодня бывший «челнок», если он вернулся во Вьетнам, как правило, имеет трехэтажный дом: на первом этаже — ресторанчик, на втором и третьем — живет семья.

За последние годы вьетнамцы сделали еще один рывок — с велосипедов пересели на дешевые мотоциклы марки «Минск». А теперь с белорусского «Минска» они пересаживаются на японские «хонды». То же произошло и с телевизорами. Уже выросло поколение, которое не знает, что такое черно-белый экран. В Ханое, например, есть целые кварталы, где сплошь стоят магазины, торгующие японской видеотехникой. Средняя зарплата вьетнамцев — 30 — 50 долларов в месяц, и путь к достатку нелегок. Так что во многих семьях цветной японский телевизор — это единственная отрада.

Гостиничное дело во Вьетнаме весьма прибыльно. В большинство ханойских отелей лучше не соваться: цены там, правда, ниже, чем в российских (для интуристов), но сравнимы с американскими. Об этом можно судить и по названиям гостиниц: «Лас-Вегас», «Али-Баба», «Дракон». Чтобы заплатить там за один день проживания, бедный вьетнамец должен работать два месяца.

На поиск недорогой гостиницы отправляемся вместе с группой туристов-студентов из Южной Кореи. В Ханое таковая одна — отель «Чангтьен», расположенный близ озера Возвращенного Меча. Идем мимо здания, где находится представительство «Аэрофлота», внимание моих попутчиков на его вывеске лучше не заострять: вдруг вспомнят о южнокорейском «боинге», который в сентябре 1983 года был сбит нашим доблестным перехватчиком?

Добравшись до отеля, обнаруживаем, что не только мы одни такие умные: западные туристы пользуются теми же справочниками по Вьетнаму, что и южнокорейцы. Поэтому в «Чангтьене» свободных мест нет, но менеджер обнадеживает: кто-то из туристов утром, быть может, уедет. Записываемся в «лист ожидания» и дремлем в вестибюле, как когда-то у нас — командированные, не имевшие брони. Лишь к одиннадцати утра удастся поселиться в гостинице; в душе беспокойство: неужели то же и в других городах? Нет, слава Богу, там

все проще. Ибо Ханой — это не свободная экономическая, а несвободная идеологическая зона, с ее запретами и ограничениями, с нежеланием «поступить по принципам».

...Высокогорный Далат — южный город-курорт — пользуется у вьетнамцев особой популярностью. Они ездят сюда «отдохнуть от режима», а туристы с Запада — просто полюбоваться окрестными пейзажами. В Далате бросается в глаза обилие отелей — от «Гранд-Паласа» до «Мини-отеля». Такое впечатление, что Далат — это большой заезжий двор. Наш отель — «Хоабинь» («Мир») — из средних. Спрашиваю у менеджера: сколько гостиниц в Далате? Тот со знанием дела называет цифры, для верности демонстрируя их на электронном калькуляторе. Оказывается, в четырехсоттысячном Далате 800 (!) частных и 80 государственных гостиниц. После того как «сняли заслонку», частные отели начали расти как грибы; владелец платит десятипроцентный налог, и этим его отношения с государством ограничиваются.

Далат живописно раскинулся на холмах вокруг озера Хуанхьонг, на лужайке около прибрежного ресторанчика пасутся низкорослые лошадки. Желаящий может сфотографироваться верхом на лошади, дав ее хозяину «на сено». Владельцы лошадей расположились в тени баньяна; они одеты как техасские ковбои: на головах — широкополые соломенные шляпы. «Шупальца Запада» дотянулись и сюда, в высокогорный городок: рекламный щит, высвечивающийся у огромного зеленого поля, извещает о первом вьетнамском чемпионате по гольфу. В жилых кварталах, примыкающих к центру города, — «электронные забегаловки». Здесь местные подростки, как и их сверстники на Западе, сидя перед компьютерами, тупо смотрят на экран. Нажимая на кнопки, они играют в «дебилки» — в каждый «ящик» заложена своя программа.

Постояльцев, размещающихся в далатских отелях, перехватывают уже на стадии заполнения гостиничного бланка; «перехватчики» — местные мотоциклисты, предлагающие совершить поездку по окрестностям города, с посещением деревни, где живет племя чингов. Значит, завтра с утра — в поход.

Мои попутчики — молодая чета из Англии и две горластые тетки из Австралии. У входа в гостиницу, громко урча, «роют землю копытом» пять мотоциклов. Мы садимся по седлам, и водители трогаются с места. В поездках по восточным странам «западники», участвующие в подобных этому однодневных турах, как правило, не заводят знакомств. Все мелькает как в калейдоскопе: сегодня одни лица, завтра другие. Вот и наши австралийки ограничиваются краткими сведениями: они из Брисбена, нынче у них отпуск, работают с глухонемыми. (Так вот почему они такие горластые!)

Гораздо словоохотливее наши мотоциклисты. Один из них — Хьен — когда-то давно работал в Ленинграде (был такой город), но русский язык совсем забыл. Помнит только несколько слов: «метро „Обуховская“» (там жил), «завод „Большевик“» (там работал). А еще в памяти почему-то застряло слово «пятилетка». Вернувшись домой, купил на свои кровные мотоцикл и занялся извозом туристов. Бегло говорит по-английски и по-французски — жизнь заставила. В нашей упряжке Хьен «коренник», и остальные экипажи вытягиваются за ним в цепочку.

Мы останавливаемся у развилки, там, где к скальному уступу приткнулась бамбуковая хижина. Внутри — небольшое ткацкое производство; за деревянным станком — юное существо, облаченное в шелковые одежды. Хьен сообщает, что девочка-ткачиха — из племени чингов, что их деревня рядом и мы ее посетим. Нас угощают зеленым чаем, бананами. Австралийки за пару долларов из вежливости покупают изделия мастерицы, для ее семьи это большие деньги.

Хьен ведет нас в деревню чингов. Здесь два десятка хижин; всего обитателей насчитывается около ста человек, но в деревне нынче малоллюдно. Это своего рода базовый лагерь, где постоянно живут лишь «старые и малые» — они занимаются огородами. А взрослые чины кочуют в горах в поисках добычи. Нам на глаза как раз попадаются два «кормильца», отправляющиеся на

охоту. У них довольно необычная экипировка: вместо лука и стрел или, на худой конец, духового ружья или дробовика — за плечами у каждого... по автомату. Заметив наше удивление, Хьен объясняет, что оружие американское, трофейное, досталось чинам во время войны. Только вот плохо с патронами, приходится экономить.

Заходим в одну из хижин. Для западного человека здесь все необычно, а россиянину интерьер жилища напоминает таежное зимовье: деревянные нары, тряпье, на полу черный от копоти чайник. Правда, нет железной печки, да и костер жгут в хижине по-черному, без дымохода. Рядом с хижинкой — бамбуковый загончик, где скучают черные поросята; тут же заплечные бамбуковые корзины для сбора маниоки. Здесь нет рисовых плантаций, и маниока заменяет им рис, помидоры и бананы вносят разнообразие в деревенское меню. Пожилая хранительница очага предлагает гостям отведать блюдо из змей. После того как следует вежливый отказ, Хьен замечает: «А зря, в нем много витаминов!»

Семьи у чинов большие, живут они крайне бедно: провода тянутся лишь к двум хижинам — остальные обитатели не могут позволить себе такую роскошь, как электричество. Обучение детей в школе для них тоже роскошь, хотя учеба и лечение для национальных меньшинств во Вьетнаме бесплатные. Старшие нянчат младших, а затем плавно переходят в категорию «добытчиков».

...Когда-то, выступая на очередном партийном съезде, Хо Ши Мин заявил, что «за истекший период» страна сделала большой шаг вперед: «От нищеты мы перешли к бедности». Чинам еще только предстоит сделать этот шаг.

«САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ИЗ ЛЮДЕЙ»

Быть в Ханое и не посетить мавзолей — это невероятно. Посещение мавзолея Хо Ши Мина для иностранцев предельно упрощено. Утром нужно подъехать к офису, где привратник взимает небольшую плату за стоянку велосипеда. Далее иностранец идет в бюро, где вышколенная сотрудница, говорящая по-английски, выписывает пропуск для входа на площадь. Узнав, откуда гость, искренне удивляется: «А что, снова приезжают туристы из России?»

Где-то за зданием не прекращается гул детских голосов: это местных ребятшек разбивают на пары. Они медленно движутся к мавзолею, и перед входом на площадь дежурный охранник формирует из них группы по пятьдесят человек. Зарубежные гости избавлены от этой сложной процедуры. С квитком в руках они проходят к ограждению, пересекающему площадь. Мои попутчики — пожилые бородатые французы; судя по значкам с портретом Хо Ши Мина на груди — леваки. Они изучают путеводитель — ту главу, где говорится о мавзолее. Выясняется, что мы прибыли в Ханой в удачное время года: по утрам мавзолей открыт для посетителей. А в октябре — начале ноября доступ к телу прекращается, и поскольку о причинах никогда не говорят, то бытует молва, что вождя увозят в Москву «на профилактику». (На самом деле «профилактику» осуществляют на месте несколько российских специалистов, постоянно пребывающих в Ханое.)

Дядя Хо (как называют вьетнамцы Хо Ши Мина) завещал, чтобы его кремировали. Однако преемники решили сохранить тело вождя, и в 1973 — 1975 годах был выстроен мавзолей. В том же справочнике даются полезные советы: в мавзолее нельзя входить с сумками, там нельзя делать резких движений, а также не рекомендуется во избежание неприятностей задавать охранникам вопросы типа: «Вождь живой или вечно живой?»

Приближаемся к мавзолею. Он огромен, не чета московскому; его можно сравнить, пожалуй, с мемориалом Кемала Ататюрка в Анкаре. А почетный караул — копия бывшего кремлевского, и церемониальный шаг тот же. Только лычки да кантики у охраны поярче.

Детский щебет умолкает. Мы у ступенек перед входом. Ответственный за «протокол» останавливает детский поток и пропускает нашу группу. Внутри

мавзолея ощущается прохлада, бесшумно работают кондиционеры. И есть одно любопытное отличие от московского. Обходя тела вождей, в обоих мавзолеях посетители на какое-то мгновение оказываются в ногах усопших. При этом в ленинском возникает оптический эффект: тело почившего вождя отражается в боковых прозрачных стенках саркофага, Ильич «един в трех лицах». Вьетнамские товарищи избежали ненужных аллюзий: боковые стенки саркофага на уровне тела украшены узорами.

При выходе из мавзолея можно посетить бывшую резиденцию Хо Ши Мина. На берегу небольшого искусственного озера, под пальмами, стоит двухэтажный домик; здесь дядя Хо жил и работал с 1958 по 1969 год. Сюда тоже движется организованная процессия, правда, контроль уже не такой строгий. Для своих — вход свободный, иностранцы приобретают билет.

Первый этаж расположен на уровне земли, здесь можно лицезреть прямоугольный стол для заседаний; по бокам десять стульев (для членов Политбюро), с торца — кресло (для «самого»). Рыбки в аквариуме оживляют интерьер. На втором этаже — кабинет с книжными полками, с обложки ближайшей книги на посетителей направлен прищур того, с кого вьетнамский вождь «делал жизнь».

Невидимая черта отделяет «сакральную» территорию от «свободной экономической зоны». Здесь гостей встречает множество сувенирных лавок; на стене висит портрет дяди Хо, а все полки уставлены резными украшениями Будды, безделушками из серебра, янтарными украшениями.

Янтарь явно прибалтийский — видимо, остались запасы от «периода полураспада» Страны Советов. Среди красочных открыток с видами вьетнамских пагод — потертые пачки комплектов с русской надписью: «Птицы Московского зоопарка». Видимо — товарные остатки ликвидированного магазина «Советская книга». И пагоды, и птицы в наборах идут по доллару, но можно платить и донгами.

Наметанным глазом продавщица определяет в моих французах «сочувствующих» — и немедленно пытается всучить им роскошно изданную книгу на французском языке «Под славным знаменем партии». Бородатые леваки в легком шоке: ведь придется таскать тяжесть в рюкзаке по всей стране, да и цена кусается. Сообразили: спрашивают продавщицу, нет ли такой же книги с английским текстом. Услышав, что есть только на вьетнамском, с облегчением вздыхают: «Жаль, мы бы купили...»

Однако, избежав одной ловушки, попадают в другую. В павильончике под бамбуковым навесом звучат вьетнамские народные напевы, небольшой фольклорный оркестрик аккомпанирует певице. Не прерывая пения, она радушно приглашает гостей занять места. Как тут откажешься — тем более, что сразу подносят чашечки с душистым чаем. Улыбки музыкантов все радужнее, и французы начинают нервничать, чувствуют, что их «накололи», но еще не понимают, как именно.

Звучат последние аккорды гамелана, и танцовщица с изящным поклоном вручает каждому слушателю по благоухающей розе, а на голову водружает соломенную шляпу. Не давая простодушным франкам опомниться, певица подходит к ним с подносом и застенчиво просит пожертвовать «на хор» по несколько долларов. Это и есть «момент истины». Схема отработана до мелочей: певицу сменяет оркестрант, который забирает у гостей шляпы и розы.

Околомавзольный бизнес продолжается. Возвращаясь на велосипедную стоянку, туристы проходят мимо прилавков, уставленных гипсовыми бюстами вьетнамского лидера: от небольших — до «клубного» размера, в натуральную величину. В конце пути перед гостями возникает огромный мемориальный комплекс, посвященный жизни и деятельности Хо Ши Мина. Для французов архитектура здания необычна. А для россиян все ясно: это копия небезызвестного мемориала в Симбирске (Ульяновске), исторический островок тоталитарного мира.

ХАЛОНГ: В КРАЮ НЕПУГАННЫХ ОБКОМОВ

В северо-западной части Тонкинского залива лежит архипелаг Байтылонг с его 1600 островками. Особенно живописна бухта Халонг — бухта Затонувшего Дракона; она уникальна, и ее пейзажи ни с чем не сравнимы. Один из островов Халонга хранит в своем названии память о русском крейсере «Забияка», бросившем здесь якорь более ста лет назад.

После прихода во Вьетнаме к власти коммунистов правящая элита объявила бухту Халонг для «рекреации». Акватория площадью 1500 квадратных километров была объявлена заповедником, и простым вьетнамцам дорога сюда была заказана. Для пушей важности на заповедник набросили завесу секретности: на одном из островков устроили «точку» — поселили военных, которым поставили боевую задачу: охранять вождей и их «мирный сон». Выросло не одно поколение ханойцев, которые никогда в жизни не бывали в бухте Халонг, лежащей всего в 180 километрах к востоку от столицы.

Со временем в «зону» зачистили «старшие братья» из соцлагеря. Чтобы сделать гостям приятно, Хо Ши Мин дал одному из безымянных островков имя космонавта Германа Титова. Сюда возили советские делегации и группы по линии так называемого «спецтуризма».

«Край непуганых обкомов» лишился особого статуса постепенно. В 1990 году вьетнамское почтовое ведомство выпустило серию марок с изумительными видами Халонга. Бухта стала пользоваться известностью, и многие иностранные туристы, бывавшие во Вьетнаме, стремились посетить этот уникальный уголок. Однако режим есть режим, и зарубежным «индивидуалам» приходилось обивать множество порогов, собирая бумаги на право доступа в запретный архипелаг. Так было в 1990 — 1992 годах, и за это время вьетнамские власти смогли убедиться в том, что Халонг — это золотая жила, ждущая разработки.

В 1993 году закрытая бухта стала открытой, и на ее берегу было разрешено строительство частных отелей. Они росли как грибы, и в 1994 году поселок Халонг получил статус города — с этого времени местные власти перестали согласовывать каждый свой шаг с «вышесидящими» товарищами из Ханоя. Эту историю поведал нам симпатичный гид по имени Ту, так он просил себя называть. А «мы» — это участники двухдневного тура Ханой — Халонг.

Попасть в такую группу проще простого: в любом большом отеле Ханоя висит объявление об экскурсии. Вы платите вполне доступную сумму — и ваше имя уже в компьютере. Никаких анкет, «допусков», фотографий три на четыре; не надо писать никаких заявлений (чернила обязательно черные!) — доллары все слышат. ДРВ нужна СКВ, и в «валотном коридоре» горит зеленый свет — для *зеленых*.

...В предутренние часы, до рассвета, когда город еще крепко спит, начинается работа «невидимого фронта». Урча моторами, к входным дверям отелей подкатывают спецавтобусы. Резкий стук в дверь, звучит команда на выход, две-три сонные фигуры исчезают в фургоне — и автобус движется дальше, собирая клиентов из разных отелей. Конвейер работает безостановочно: набив салон до предела, фирменные экипажи один за другим следуют в Халонг. Шесть часов пути по ухабистому пыльному тракту, размещение в гостинице, обед, погрузка на теплоход — все это проходит под присмотром симпатичного студента Ту, подрабатывающего в должности гида.

На судне наш «поток» сливается с параллельным — из другого автобуса. Предельная загрузка транспорта, отелей — все это делает экскурсию доступной по цене для западного туриста (но не для вьетнамского: стоимость тура равна его средней месячной зарплате). И все же налицо прогресс: раньше простому вьетнамцу посещать Халонг не позволяли *власти*, а сейчас он *сам* не может себе это позволить...

Наш теплоход бросает якорь в живописной бухточке, окруженной скалами. Ту рассказывает о том, что нам предстоит увидеть. Оказывается, самая большая из скал — это кратер потухшего вулкана и внутри его — озеро. Туда можно добраться только на лодке, через каверну, зияющую в отвесной стене. А вот и лодки — они облепили наш корабль со всех сторон. Торговцы предлагают баночное пиво, жвачку, кораллы. Пересаживаемся в баркас, который доставит нас в таинственный мир. Цена за двадцатиминутное путешествие пустяковая, но нас двадцать человек, и для лодочника это месячное жалованье.

На борту звучат восторженные ахи и охи на английском, французском, немецком и японском языках. В кратере вулкана обозначено и бывшее русское присутствие: очевидно, какой-то моряк с грузового судна четверть века назад забрался на невысказанную высоту и белой краской вывел надпись: «Лесозаводск, 1962 год».

Вернувшись на теплоход, продолжаем осмотр архипелага. Судно медленно подходит к очередной скале, и туристы по трапу спускаются на крошечную отмель. Нам предстоит посетить пещеру, перед входом в которую висят два красных флага с пятиконечными звездами. Привратник, дежурящий у входа, похоже, живет на этом утесе неделями. Сбоку от входа дымится костер, на котором пещерный страж готовит пищу, здесь же и его лежанка с подстилкой из бамбука. Но здешний сервис отнюдь не на пещерном уровне: сторож включает движок — и в глубине пещеры вспыхивают лампочки.

Путешественники, посещавшие подобные пещеры в Лаосе и Таиланде, ожидают увидеть здесь статуи Будды: ведь, по преданию, Будда Гаутама часто медитировал именно в пещере. Но здешние пещеры — «идеологически выдержанные»: сталактиты и сталагмиты составляют основу их экспозиции. Отщелкав десятки метров пленки, туристы гуськом устремляются к дневному свету, после чего «начальник объекта» вырубает движок — до прибытия очередной тургруппы. Дежурят здесь вахтовым методом, еду и бензин для движка доставляют на «точку» с «большой земли».

Халонг — уникальный музей с каменными экспонатами, чей возраст насчитывает сотни миллионов лет.

А в прибрежном ресторанчике на полках бара рядом с заморскими напитками пылится «Советское шампанское» — отсыхающая «рука Москвы».

На следующее утро — «закрепление пройденного материала»: еще одна трехчасовая экскурсия по островам Халонга. Спрашиваю у Ту, встречал ли он когда туристов из России. На его памяти не было, зато появились новые визитеры: как только Вьетнам установил дипломатические отношения с США, в Ханой хлынули туристы из Штатов. А это, как говорят бизнесмены, «пахнет шестью нулями». Политика и экономика, как природа, не любят пустоты. И нельзя упрекать наших вьетнамских друзей в том, что они «сорвались с поводка»: просто «поводок» оказался бесхозным. Японцы, сотворившие послевоенное «экономическое чудо», в таком случае говорят: «Главное — правильно выбрать победителя».

ПО ЧУГУНКЕ В «ПЕПСЮШНИКЕ»

Во многих странах Запада то немногое, что остается в государственной собственности, — это железные дороги. И конечно же во Вьетнаме это один из форпостов социализма, а «социализм — это учет». Для того чтобы попасть на железнодорожный перрон, нужно предъявить контролеру билет именно на тот поезд, который подан для посадки². Не раз билет проверяют и в поезде. А по прибытии в другой город — снова контроль: билет отбирают при выходе из

² На Западе же, как известно, можно ехать на любом поезде данного направления — до пункта, указанного в билете, выходить по дороге, потом подсаживаться в другой. (Примеч. ред.)

вокзала. На перрон не пускают даже провожающих. Однако и сюда, на эту заповедную территорию, протянулись щупальца транснациональных корпораций: некоторые вагоны в железнодорожном составе раскрашены полностью рекламой пепси-колы; мое место в поезде Ханой — Сайгон как раз в таком «пепсюшнике».

Незадолго до отправления чья-то рука вдруг поднимает решетку, открывает окно, и в вагон с запасного пути заглядывает хитрая физиономия. Произведя рекогносцировку (нет ли проводника, охранника?), шустрый торговец просовывает свой лоток с товаром, а затем и сам лезет через окно: то есть проводник — за дверь, торговец — в окно. И вот уже несколько продавцов-частников, работающих «от себя», идут по вагонам, предлагая пассажирам орехи, фрукты, сладости, напитки.

После отправления поезда проводник проверяет билеты и отрывает один купон. Второй купон вырывает шустрый поваренок, отвечающий за питание пассажиров. Ему надо знать, на сколько «ртов» закладывать рацион. Пассажирам на трассе Ханой — Сайгон не нужно думать о хлебе насущном.

Поезд идет мимо рисовых полей, где крестьяне пашут на персональных буйволах. С обочины подростки иногда швыряют в окна комки липкой грязи. Кажется, пассажирам это не в диковинку, и они стараются вовремя отпрянуть от окон. В соседних буддийских странах — Таиланде, Лаосе — такое немыслимо. Видимо, еще сказывается психология послевоенных лет и отсутствие религиозного воспитания с младых ногтей. Это наглядно проявляется и по отношению к животным: в Ханойском зоопарке подросткам ничего не стоит схватить за хвост павлина (а чё он расфуфырился?), бросить горсть пыли в глаза страусу (а чё он выпшгивает?), ткнуть острым концом прута мартышку (а чё она прыгает?).

В поезде Ханой — Сайгон есть спальные вагоны, но пассажиры предпочитают сидячие места — это дешевле. Вагон напоминает поезд «Юность» (Москва — Санкт-Петербург), только сидений втиснуто больше. На потолке — вентиляторы, на окнах — решетки. Дело идет к обеду, и хочется перекусить. И вот наконец приятный сюрприз: по проходу движется тележка с «наборами» и стюард раздает их пассажирам — питание входит в стоимость билета. Стюард раздает обеды, расфасованные в коробки, как в самолете. Но Восток не был бы Востоком без особых «приправ». Вот одна из них. Бывалые пассажиры быстро съедают спаржу, освобождая самую большую выемку в своей коробке. Стюард делает второй рейс: на этот раз у него в руках ведро с зелеными щами. Черпаком он наливает щи в выемку, щедро, не скупясь на добавку. Как и в самолете, пассажиры откидывают столики со спинками впереди стоящего кресла.

Железнодорожная трасса Ханой — Сайгон пересекает всю страну с севера на юг. Параллельно ей тянется автомобильная магистраль. Туристы вправе сесть в автобус — там нет наценок на «иностранный подданство», и это обойдется вдвое дешевле. Но опытные путешественники так делать не станут, поскольку это очень опасно. По узкому, с выбоинами шоссе, соединяющему Ханой с Сайгоном, днем и ночью идет непрерывный поток транспорта. Мало того что встречные потоки не разделены бетонным барьером — грузовики «гуляют» постоянно со своей полосы на встречную: водители стараются избегать колдобин и ухабов. Плюс тучи велосипедистов. Лобовые столкновения, перевернутые трейлеры здесь не редкость, так что передвигаться по «дороге смерти» почти так же опасно, как в свое время — по «тропе Хо Ши Мина».

Рядом со мной — вьетнамец средних лет, родом из Сайгона. Русских он не встречал давно и поэтому словоохотлив — хочет попрактиковаться в языке. Па, так зовут моего собеседника, владеет русским и английским в равной степени. По его словам, с 1975 года в Южном Вьетнаме началась языковая «конверсия». Во время войны многие южновьетнамцы учили английский, чтобы общаться с американскими солдатами. Но после прихода к власти коммунистов знание языка приходилось скрывать. «Носителей английского» ожидали «лагеря переобучения».

В 1981 году в Южный Вьетнам пришла директива из Ханоя о введении в школах обязательного курса русского языка. Па был тогда школьником и помнит, что после этого начались массовые протесты родителей, грозивших забрать детей из школ. Властям пришлось «сбавить обороты», а через несколько лет и в Северном Вьетнаме тихо перешли на «английские рельсы».

Ныне во Вьетнаме сложился такой языковой рейтинг: в порядке убывания — английский, французский, японский, китайский языки. За месяц моего пребывания во Вьетнаме надписи на русском встречались только на ракетах, установленных в музеях военной техники, которые есть почти в каждом крупном городе. Еще одна краткая надпись по-русски сохранилась близ города Хюэ в мавзолее-гробнице вьетнамского императора Кхай Диня (1916 — 1925), и эта надпись поучительна: «Не трогать!»

«ТЫ ПОМНИШЬ, НГУЕН, ПРО «ТРОПУ ХО ШИ МИНА»?»

Когда-то в Хюэ была резиденция вьетнамских императоров. В перечне валютных туров, включающих посещение императорских гробниц, один стоит наособицу и называется «Ди-эм-зи» (DMZ), что означает «Демилитаризованная зона». По-нашенски — это экскурсия «по местам боевой славы». В общем, как говорят в одном южном городе, «надо ехать».

Автобус идет на север по узкому шоссе («дорога смерти»), и через каждые четверть часа мы проезжаем мимо военного кладбища. В центре — обелиск со звездой, а вокруг него — ровными рядами могильные плиты.

Первая остановка — на берегу реки Бенхай. Когда-то здесь проходила граница между двумя системами. Впадающая в Южно-Китайское море река Бенхай делила Вьетнам на две части по семнадцатой параллели. На левом, северном, берегу — потемневший от времени обелиск, на котором с трудом можно разобрать две даты: 20.7.1954 и 30.4.1975. Во Вьетнаме эти даты каждый знает назубок, как у нас 7 ноября и 9 мая. После ряда побед, одержанных над французскими колониальными частями, особенно при Дьенбьенфу, в июле 1954 года был восстановлен мир в Индокитае и французские войска были отведены к югу от семнадцатой параллели; 30 апреля 1975 года северо-вьетнамские войска овладели Сайгоном — была одержана решающая победа в войне с Соединенными Штатами.

Однако ветконговцы форсировали Бенхай гораздо раньше — в 1972 году. Северовьетнамская армия перешла в наступление и продвинулась на тридцать километров в южном направлении. И сразу на освобожденные территории хлынула *братская помощь*. В 1973 году кубинские посланцы возвели мост через Бенхай. Он был построен по удешевленной технологии и, как всегда, ударными темпами. Проржавевший, он с трудом выдерживает теперь поток грузовиков и автобусов, идущих в обоих направлениях по трассе Ханой — Сайгон, признаки каких-либо ремонтных работ отсутствуют. Что будет с трассой после его обвала — можно только гадать.

Перебравшись через Бенхай, сворачиваем на запад и едем на границу с Лаосом — туда, где находилась когда-то американская авиабаза.

Микроавтобус останавливается неподалеку от бывшей взлетной полосы, дальше туристы идут пешком. Навстречу им сломя голову несется стайка подростков с подносами в руках. Это — «черные следопыты», и у них свой бизнес. На подносах разложены патроны, гильзы, часы без циферблата, ржавые зажигалки, зубные щетки в пластмассовых армейских футлярах, очки, армейские знаки отличия — американские и северо-южновьетнамские. Звезды вьетконговские, звезды американские — всё на продажу.

Особенно ценятся личные жетоны «джи-ай»; на каждом выбит порядковый номер, на многих надпись: «Я — католик» (чтобы в случае гибели пехотинца его похоронили по католическому обряду). Один из малоизвестных парадоксов вьетнамской войны в том, что во Вьетнаме католики сражались против католи-

ков. Ведь долгое время в Индокитае подвизались французские миссионеры, и сегодня 20 процентов населения Вьетнама исповедуют католичество (еще 40 процентов — буддисты, остальные 40 — представители других религий и конфессий, а также «вольноопределяющиеся»). Что касается США, то это в целом — протестантская страна; ее отцы основатели были протестантами. Так что быть католиком в США менее почетно, чем протестантом, и единственным американским президентом-католиком был печальной памяти Джон Кеннеди. Не удивительно, что среди американских новобранцев, отправлявшихся во Вьетнам, процент католиков (как и негров) был довольно высоким: им, возможно, трудней найти себя на родине. И очевидно, одна из причин американского военного поражения — осуждение вьетнамской войны папой Павлом VI, это, разумеется, не могло не сказаться на духе американской армии.

Пока туристы топчутся на бывшей взлетной полосе, тишину нарушает рев двигателей. Четыре рокера в шлемах, в черном кожаном «прикиде», оседлав мощные «хонды», подруливают к нашей группе; не выключая моторов, щелкают затворами фотоаппаратов и готовятся продолжить свою безумную гонку. У одного из них что-то заклинило в тормозной системе; пользуясь минутной паузой, спрашиваю у другого: «Откуда и куда?» Оказывается, это туристы из Германии, прилетели на пару недель «проветриться». Взяли в Ханое мотоциклы напрокат и отправились на юг. «Железных коней» сдадут в «стойло» в Сайгоне — и домой, «нах фатерланд»!

Спрашиваю у гида: как пройти «тропой Хо Ши Мина»? Увы, это и сегодня невозможно, ее даже не найти на обычных картах: засекречена. Но в целом известно, что «тропа» соединяет две половины ныне единого Вьетнама, проходя через территории Лаоса и Камбоджи; именно эта дорога — через горы и джунгли — во многом обеспечила поражение США в Индокитае. Близ «тропы» когда-то располагались советские зенитно-ракетные комплексы, подземные городки, ремонтные мастерские, склады, госпитали и целая сеть наблюдательных постов для их охраны. Пятьдесят тысяч вьетнамских строителей, консультируемых советскими специалистами-саперами, добились того, что оружие, снаряжение, медикаменты и подкрепление рекой текли к южновьетнамским коммунистам-повстанцам.

Редким европейцам удается получить сегодня пропуск в район «тропы». Для этого требуется особое покровительство в самом высоком вьетнамском руководстве. Добираются путешественники к «тропе» на слонах — идеальном средстве передвижения в здешних джунглях. Рассказывают, что тут и там на глаза попадаются обломки сбитых американских самолетов и даже неразорвавшиеся бомбы. Их обезвреживанием заниматься никто не собирается; вообще, оставшиеся военные объекты — в полном забросе. Хотя все эти руины вполне могли бы превратиться в уникальный музей-заповедник американо-вьетнамской войны.

Возвращаемся на трассу Ханой — Сайгон. Наш путь лежит в легендарную в свое время деревушку Виньмок. В течение нескольких лет — с 1967 по 1972 год — она подвергалась американской бомбардировке, и, для того чтобы выжить, ее обитатели прорыли пещеры и тоннели-укрытия протяженностью 2800 метров и до 15 метров в глубину.

Местный экскурсовод раздает посетителям фонарики, и мы спускаемся в подземелье. Вход в него искусно скрыт от посторонних глаз; тем более он был незаметен с воздуха. Здесь жители Виньмок прятались днем от воздушных налетов, а к вечеру выходили на поверхность, готовили еду, стирали, запасались водой. А утром, как на работу, — в подземелье. И так — в течение целой пятилетки...

Под землей была телефонная связь, стоял электрогенератор (дар Австралии); в самой большой пещере даже крутили фильмы: был налажен «соцкультбыт». Экскурсия заканчивается; проводник выводит цепочку туристов из-под земли прямо к берегу Тонкинского залива. Выход искусно замаскирован: его скрывают зеленые джунгли — и постороннему ни за что его не найти. Но для местной ребятни это не проблема.

Стая подростков идет в атаку, но в руках у них не лимонки, а банки с прохладительными напитками. Профессионально поставленными голосами они, перекрывая шум прибоя, кричат: «Пепси! Спрайт! Минералвотер!» Это поколение, не помнящее войны. Старшие упорно зарывались в землю — младшие упорно «втюхивают» туристам «колд дринк». Принимают доллары, дойчмарки, донги. А те, что еще в «титечном» возрасте и устный счет им пока не под силу, таращат на туристов узенькие глазки и кричат: «Пен! Пен!» — они собирают с гостей дань в виде шариковых авторучек, а затем, сгрудившись в кучу, рассматривают добычу. Что же, это безопаснее, чем шариковые бомбы.

В Хюэ возвращаемся на закате. Участник тура — француз в широченных штанах, обвешанный оптикой, — просит водителя поставить магнитофонную кассету, если можно — национальные мелодии. Таковых нет, и через динамики в салон японского микроавтобуса льются звуки американских синглов. Нам навстречу то и дело попадаются пассажирские автобусы. На лобовом стекле обозначен конечный пункт: *Сайгон*. Официальное название города Хошимин как-то не приживается...

«МЫТЬЕ САПОГ» В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

Идея «последнего броска на юг» не нова. После воссоединения Северного и Южного Вьетнама перед кремлевскими стратегами открылась захватывающая перспектива. Для «защиты родины на дальних рубежах» они выбрали тихую бухту Камрань, в провинции Кханьхоа. В 1981 году было подписано советско-вьетнамское соглашение о создании здесь пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Тихоокеанского флота СССР. На самом деле это был триумф советской военной доктрины. Скромный «пункт», названный так, чтобы «не дразнить гусей», был не только военно-морской, но и авиационной базой (взлетно-посадочная первоклассная полоса была сооружена американцами в 60-е годы). До конца 80-х там располагалось соединение стратегических бомбардировщиков «Ту-22» и «Ту-160» числом около сорока машин, которые вели круглосуточное дежурство над акваторией Тихого океана, следя за перемещением американских кораблей и подводных лодок. Советские летчики и моряки «мыли сапоги» в Южно-Китайском море на двенадцатой параллели.

Ближайший от Камрани крупный город — Нячанг; он является административным центром области. И быть может, когда-то личный состав ПМТО возили сюда на экскурсии. Много изменилось за это время в Нячанге. Вдоль всего побережья выросло множество отелей, вереницы баров, ресторанов, слышна французская и английская речь. Американцы чувствуют себя здесь как дома, «заклятые друзья» вьетнамцев расслабляются за бамбуковыми ресторанными столиками. Под звуки ламбады, несущейся из динамика, они потягивают пиво марки «Сайгон». Трагические страницы недавней истории для молодых «американов» — позавчерашний день.

Ради интереса спрашиваю у туристской конторы: *нельзя* ли посетить Камрань, не будет ли проблем — ведь там военная база? Ожидаю встречный вопрос типа: а откуда вам это известно? Есть ли у вас документы? (Еще в конце 80-х годов в стране бытовал послевоенный психоз подозрительности и шпиономании. Так, советские моряки, доставлявшие в Хайфон братскую помощь, не могли рыбачить на леску с борта собственного судна, а тех, кто рисковал нарушить запрет, ждали крупные неприятности: а как же, «промер глубин»!) Однако менеджер, утвердительно кивнув, уточняет: что предпочитаете — мотоцикл или автомобиль? А если автомобиль, то с кондиционером или без? Узнав, что гость из России, сообщает, что в Камрани сейчас смотреть не на что: база пребывает в полном упадке; морской авиации там нет, а бухта используется как база для стоянки и ремонта военных российских судов. Когда-

то об «объекте» в Камрани боялись говорить даже шепотом, а сегодня — это секрет полишинеля.

В середине декабря 1995 года при подлете к Камрани разбились три военных самолета «Су-27»: они возвращались в Россию после участия в международном авиасалоне «Лима-95» в Малайзии и в Камрани рассчитывали дозаправиться топливом. Остается загадкой, почему летчики-асы врезались в гору, но одна из причин — отсутствие современного навигационного оборудования и общий развал базы.

Наутро туристический микроавтобус увозит сонных пассажиров из Нячанга в Далат — высокогорный курорт, основанный в эпоху французского колониального правления. Дорога идет на юг, вдоль бухты Камрань. Водитель автобуса, узнав, что рядом сидящий пассажир из России, сообщает, что раньше в городке Камрань было много русских, но теперь их почти не осталось. Впрочем, здесь еще несут службу и отдыхают моряки Тихоокеанского флота. Аренда бухты закончится в 2005 году, и дальнейшую судьбу ПМТО предстоит решить на переговорах, которые эпизодически ведут военные делегации России и Вьетнама.

...В 1992 году Вьетнам сделал первые шаги в направлении АСЕАН (Ассоциация юго-восточных азиатских наций): жизнь заставила считаться с законами геополитики. А летом 1995 года Вьетнам вступил уже в военный блок АСЕАН, став седьмым его членом. Теперь, в случае китайской агрессии (а блок создан именно по этой причине), на помощь Вьетнаму автоматически выступят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины; с Китаем будут отважно биться маленький Бруней и крошечный Сингапур. Так Вьетнам окончательно вышел из бывшего соцлагеря и вступил в «клуб драконов».

«УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ»

Какому вождю поставлен самый большой памятник в Ханое? Правильно, вы угадали — конечно, Ленину. Ильич повернулся спиной к китайскому посольству; на постаменте надпись: «Ле Нин». Для вьетнамцев так понятнее: Ле Зуан, Ле Нин — в общем, наш человек. В руках у Ленина нет томика трудов Хо Ши Мина, взор вождя устремлен на музей боевой славы, расположенный на другой стороне площади. Здесь и «МиГи», и танки, и прочая военная техника. Но вьетнамская армия, выполнившая наказ «учиться побеждать», следует нынче и другому завету Ильича: «учиться торговать». Справа от музея — на армейском здании вывеска: «Военный коммерческий объединенный биржевой банк».

Когда все рушится — последняя надежда на армию, оплот государства. Во Вьетнаме «народ и армия едины»: стройбатовцы мостят дороги и засыпают рытвины; по деревням гордо ходят патрули: на левой руке — красная повязка, в правой — «калашников». Солдаты идут в увольнение пешком, младшие офицеры передвигаются на велосипедах; на мотоциклах и мопедах — не ниже майора.

Нынче все перестраиваются. У ограды российского посольства — щит с фотографиями: вместо прежнего «набора» традиционных домен и тракторов сегодня — купола храмов, кресты, богослужения. Над входом в здание посольства — двуглавый орел, над ним — трехцветный флаг. Над входом в американское посольство — одноглавый орел. Оно открылось летом 1995 года, и перед его сотрудниками стоит задача улучшать отношения со своим бывшим противником. В Ханое — во всемирно известном «Храме литературы» — посетителей встречают ряды больших каменных черепах. На спинах у них покоятся массивные стелы с иероглифами. Чтобы черепахи не мокли под дождем, над ними устроен навес. Надпись сообщает о том, что этот каменный павильон был сооружен в 1994 году вьетнамским Министерством культуры при американской поддержке в рамках проекта «Примирение США и Индокитая».

А что происходит на юге страны, в Сайгоне? Чем ближе к Сайгону, тем жарче. Обгоняем бабульку, крутящую педали велосипеда под палящим солнцем. Но оно ей не страшно: сзади, на багажнике, сидит внучка и держит над бабушкой цветастый зонтик. По обочине идет мальчик; зонтика у него нет, и он укрыл голову большим банановым листом.

Такое впечатление, что Сайгон — открытый город. Здесь спуют продавцы газет; туристам предлагают «Монд», «Геральд трибюн», «Бангкок пост». Если в Ханое только начали строить первый настоящий небоскреб, то в Сайгоне их около десятка. В центре города — скопище экскурсионных автобусов. Из одного выходит группа туристов; у каждого на груди фишка с надписью: «Транзит». Видимо, в сайгонском аэропорту у них пересадка, и время между рейсами они проводят знакомясь с городом. Никаких виз не надо: иностранные туристы — это приток валюты.

Есть в Сайгоне уличные телефоны-автоматы, откуда можно позвонить в любую точку света. Судя по перечню кодов, они появились здесь еще в эпоху СССР, когда у нас таких телефонов «еще не стояло». На одной из центральных улиц Сайгона — здание бывшего американского посольства. Ныне оно законсервировано, но ожидается, что с укреплением вьетнамо-американских отношений в пустующем доме откроется консульство США. Однако с этим связан один деликатный момент. Дело в том, что в пяти кварталах отсюда расположен Музей американских преступлений, как именовался он в течение многих лет. Сегодня он переименован и носит нейтральное название — Военный музей (The War Remnants Museum). Велорикши то и дело подвозят сюда иностранных туристов, среди них много американцев. Заведение приносит хороший доход (несмотря на то что входная плата меньше доллара), всюду процветает сувенирный бизнес. Наряду с обычными безделушками можно приобрести «подлинники» времен войны. Патроны идут по 5 долларов штука, за нож с маркой НАТО, с выбрасывающимся лезвием, просят 15 долларов, ручной компас ценится в 80 «зеленых».

За витринным стеклом можно видеть также двухдолларовые солдатские жетоны с указанием имени, адреса и вероисповедания. На вопрос, не «новоделы» ли это, вьетнамская продавщица с жаром отвечает: «Все настоящее! Из дельты Меконга!» (Можно ли представить себе сувенирную лавку в Освенциме, где торговали бы «подлинниками»?) Модели американских вертолетов, танков, пушек причудливо сочетаются на витрине со значками, на которых изображен дядя Хо. Продавщица, видя заинтересованность посетителя, доверительно говорит: можно устроить двадцатипроцентную скидку.

Во дворе музея — выставка американской военной техники времен войны; здесь же крутятся мальчишки, предлагающие американскую жвачку. О войне они что-то слышали в школе... При осмотре экспозиции у посетителей возникает вопрос: кто виноват? Воспомянутся газетные клише начала 70-х годов типа: «Зверства американской женщины во Вьетнаме». Конечно, с американцев вина не снимается. В этой войне была заинтересована «американская женщина», получившая хороший полигон для испытания новых видов вооружения. Но, с другой стороны, советский ВПК тоже не дремал, играя на амбициях Ханоя; тут коммунистическая идеологическая экспансия намертво срослась с геополитическим интересом. Москва и Пекин из-за кулис дирижировали военной кампанией. Но были и негласные правила игры, и в том же 1975 году, когда американцы довоевывали во Вьетнаме, произошла американо-советская стыковка в космосе. И могло ли в 1975 году кому-либо из тогдашних вождей пригрезиться, что через двадцать лет Вьетнам станет членом АСЕАН?

Военный музей находится «под крышей» вьетнамской армии. Есть у армии еще одно прибыльное дело. Рекламные щиты на шоссе Сайгон — Тэйнинь зазывают: «Добро пожаловать в тоннель Кути!» Комплекс тоннелей Кути находится в 65 километрах к северо-западу от Сайгона, и туда непрерывным потоком движутся автобусы с иностранцами — участниками валютного тура. В годы войны в провинциях Южного Вьетнама была создана целая сеть подзем-

ных тоннелей, которые служили не только для перехода в безопасную зону во время авиационных налетов, но и были приспособлены для жилья в течение длительного времени; некоторые подземные переходы тянулись на несколько десятков километров. Входы и выходы устраивались в глухих джунглях, на речных откосах, в буддийских пагодах.

Один из таких районов находится неподалеку от Сайгона. Его осмотр входит в программу, предлагаемую иностранным туристам, — этот район называется «Железный треугольник». Именно здесь и был создан первый тоннель Вьетминя (сокращенное название единого национального фронта Лиги борьбы за независимость Вьетнама, основанного в 1941 году). К тому времени, когда французы покинули Вьетнам, протяженность тоннелей в этом районе составляла 20 километров. А к весне 1975 года сеть подземных сооружений протянулась уже примерно на 200 километров. Шесть из семнадцати деревень этого района были связаны тоннелями.

Туристический автобус останавливается у небольшого одноэтажного здания. Отсюда начинается экскурсия по тоннелям. За стойкой восседает детина в армейской форме и принимает плату за вход, с профессиональным навыком шелестит пачкой зеленых банкнот, подсчитывая выручку. У француза из нашего тура нет долларов, и он просит принять у него вьетнамские донги. Военный с презрением смотрит на незадачливого иностранца и приказывает ему отойти в сторону: ведь туристы идут один за другим, нельзя терять драгоценное время.

Группу «обилеченных» туристов приглашают в «агитпункт», где в течение десяти минут они смотрят видеоролик об «американских зверствах». Комментарии диктора — на английском; в смежном «агитпункте» — на французском. Затем клиентов ведут в джунгли, на тропу, где устроен аттракцион: туристы при ходьбе задевают за нити и где-то рядом взрываются петарды. Так должны были чувствовать себя «джи-ай», перед тем как попасть в ловушку, замаскированную дерном и травой. Провалившись в яму, они падали на железные колья с острями, смазанными ядом.

Следующий номер программы — «прокачивание» туристов через тоннели. Согнувшись в три погибели, клиенты пробираются по тоннелю длиной около 60 метров. На этом участке есть «контрольные выходы»: если кому-то станет плохо от жары и духоты — бедолагу извлекут через такую дыру. Но большинство мужественно преодолевают весь путь, а на выходе страждущих и жаждущих поджидают продавцы пепси-колы, естественно по двойной цене.

Особый интерес у туристов вызывает посещение «землянки комиссара». Когда-то это был сверхсекретный объект; о нем не знали даже ближайшие соратники партийного лидера. Особо доверенные лица доставляли сюда непосвященных с завязанными глазами: вдруг попадут в плен и не выдержат допроса? А сегодня американские туристы фотографируют друг друга, сидя на комиссарской табуретке, под портретом Хо Ши Мина. Здесь же можно отведать маниоку — в годы войны она заменяла партизанам картофель.

Конвейер отработан до мелочей: перед посадкой в автобус — посещение ларька с распродажей армейского обмундирования. Спрашиваю у гида, сколько человек здесь бывает за день. «От одной до двух тысяч», — слышу в ответ.

На обратном пути он разоткровенничался. Известно, что в годы войны в Южном Вьетнаме гибли не только вьетнамцы, но и американские солдаты, пытавшиеся выкурить вьетконговцев из джунглей, многие из них полегли в тех же местах, где находили свою смерть повстанцы. Гид рассказывает, что после войны американские представители приезжали во Вьетнам с печальной миссией: они занимались поиском останков пропавших без вести. В послевоенные годы Американский национальный военный медицинский институт провел идентификацию останков более 30 тысяч американских солдат, погибших во Вьетнаме. Располагая данными «генетического банка», можно было определить личность погибшего по сохранившимся костям. Спрос рождает предложение, и вот вьетнамцы, страдавшие от нищеты и безработицы, начали

поиск «товара» — копали ночью, тайно, и находки, проходя через цепь посредников, попадали к американцам. Те хорошо платили за находки, и «могильные тати», войдя во вкус, начали подсовывать покупателям кости вьетнамцев. Однако обман быстро был раскрыт: кости вьетнамцев короче американских.

...К вечеру возвращаемся в Сайгон. При въезде на улице Конгхоа — вереницы китайских лавок, они буквально забиты резными деревянными изделиями — от мелких безделушек до огромных храмовых статуй Будды. Во Вьетнаме насчитывается около двух процентов китайцев (хоа), а в Сайгоне есть китайский квартал — Чолон, здесь проживает около 500 тысяч китайцев. Это, по существу, отдельный город, со своими традициями и укладом жизни. Однако если на Западе в таких городах, как Сан-Франциско, Мельбурн, Бостон, чайнатаун — это экзотика, то в Сайгоне трудно понять, где кончается вьетнамская часть города и начинается китайская, разве что на вывесках латинские буквы дублируются китайскими иероглифами.

Именно из-за сайгонских китайцев в свое время чуть было не началась «первая социалистическая». Нам, читавшим советские газеты в 1979 году, было непонятно, почему огромный Китай вдруг напал на маленький Вьетнам, в чем причина китайской агрессии.

Вопрос решался по-разному на севере и на юге Вьетнама. В 50-х годах Нго Динь Дьем для особого успеха пытался ассимилировать китайцев на юге страны. На севере их более активно подвергали «вьетнамизации». До 1975 года китайцы контролировали около половины южновьетнамского капитала. После воссоединения Вьетнама активность китайцев стала вызывать неприязнь у северовьетнамского руководства. В марте 1978 года местные коммунисты развернули кампанию против «буржуазных элементов», которая на практике обернулась этническими преследованиями лиц китайской национальности. Именно эта кампания и спровоцировала решение Китая атаковать северные границы Вьетнама в 1979 году.

Преследование китайцев во Вьетнаме привело к тому, что примерно одна треть «хуацяо» бежала из страны либо в Китай, либо на Запад. В настоящее время официальные вьетнамские круги признают, что антикитайская кампания была трагической ошибкой, которая ввергла страну в тяжелые испытания.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СИ-СИ-СИ-ПИ

Путешествие по Вьетнаму подходит к концу. Путь из Сайгона до Пномпеня на автобусе занимает один день. Теперь остается сесть на поезд в камбоджийской столице, пересечь границу с Таиландом и рейсом «Аэрофлота» из Бангкока вылететь в Москву. Утром беру в гостинице велосипед напрокат и кручу педали в сторону железнодорожного вокзала.

Но что это? Вокруг пномпеньского вокзала — непривычная тишина, ворота закрыты; в тени под навесом дремлют нищие. Сквозь решетку видны платформы, но пассажирских поездов нет — в тупиках грузовые вагоны и цистерны. Между платформами пасутся свиньи. Вдалеке, у депо, покореженные остовы вагонов. Такое впечатление, что вокзал только что покинули полпотовцы. Сонный привратник нехотя открывает дверь, ведущую в зал ожидания. Спрашиваю у вокзального стража: где расписание поездов на Бангкок? Когда откроют кассу? Он смотрит на меня с недоумением. Какие поезда? Они не ходят уже почти год! Причина? Красные кхмеры!

Из дальнейшего разговора выясняется, что Баттамбанг — город, лежащий к северо-западу от Пномпеня, — контролируют королевские войска, но «строители светлого будущего» взорвали мосты в его окрестностях. В 50 километрах от города то и дело идут бои с красными повстанцами, так что камбоджийско-тайландская граница закрыта.

Снова сажусь на велосипед и еду по Пномпеню. Близ пересечения бульвара Российской конфедерации и проспекта Мао Цзедунa высится пагода буддийского монастыря. У ворот — молодые монахи в желтых одеяниях. Пожилых насельников не видно: при красных головорезах «буддийский вопрос» был решен окончательно. Впрочем, термин «головорезы» неточен: коммунары убивали монахов ударами мотыги по затылку, экономя силы и патроны. Ничего нового они не изобрели, а просто буквально воплощали в жизнь «заветы Ильича». Вот ленинские слова, приведенные Горьким: «Сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно».

Еду в местную контору «Аэрофлота». Молодой камбоджиец, работник «Аэрофлота», сообщает, что рейсы Пномпень — Москва выполняются всего два раза в месяц и до ближайшего — больше недели. Значит, придется ехать автобусом до единственного в Камбодже портового города, а там видно будет.

Автобус на Сиануквиль отходит от центрального базара, где, несмотря на все усилия «полпотовских наркомов», ежеминутно рождаются капиталистические отношения. Красные кхмеры дали городу имя Кампонгсаом (по названию залива), а после реставрации монархии он снова стал называться в честь короля Нородома Сианука. В Камбодже никто этому не удивляется — это Азия! Ведь у нас в Средней Азии было то же самое: Душанбе был Сталинабадом, а один из близлежащих городов именовался Кагановичебадом — в честь «верного Лазаря» (на пленуме 1957 года была осуждена «антипартийная группировка», и вскоре оба названия исчезли с карты).

Порт Сиануквиль — единственный в стране, и весь грузопоток идет через него. Потолкавшись среди портового люда, узнаю, что из близлежащего рыбацкого поселка ежедневно ходит «хайдроfoil» (водолазное судно) до Коконга — острова, близ которого проходит камбоджийско-таиландская граница.

На следующее утро «хайдроfoil» отчаливает от пристани. Через два часа пути вдоль берега — досмотр и проверка документов. Молодой камбоджийский пограничник вертит мой паспорт с надписью «СССР» и спрашивает: «Где такая страна — Си-Си-Си-Пи?» Отвечаю: «Нет такой страны». Его палец упирается в графу «место выдачи паспорта», и он читает: «Ле-нин-град». «Нет такого города», — говорю я снова. Стражник с изумлением смотрит на меня, не зная, как быть. Чтобы «дожать» его окончательно, назидательно произношу: «Надо лучше учить географию». Махнув рукой, он идет дальше вдоль рядов с озадаченным видом. Что докладывать начальству? Наконец выход найден. Пограничник снова подходит ко мне, протягивает ладонь и просит написать на ней название страны. Это можно. Заполняя «мозолистую анкету», вывожу по-английски: «Из России — с любовью».



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

МИХАИЛ МАТВЕЕВ



ДРАМА ВОЛЖСКОГО ЗЕМСТВА

Земство — емкое русское слово, обязанное своим происхождением земле. Так в старину называли территорию со всем, что на ней есть, и со всеми, кто живет на ней.

...С земством связана история первых государственных представительных органов в России. В 1549 году девятнадцатилетний Иван IV созвал первый Земский собор — совещательный орган, в котором были представлены различные сословия: аристократия, служилые люди, столичное купечество, духовенство. С него началось десятилетие реформ, в ходе которых был принят новый общерусский «Судебник», создано постоянное стрелецкое войско, возникли исполнительные органы власти — приказы, было ограничено местничество, отменена система «кормлений». Ярче всего роль земства проявилась в Смутное время, когда восставший «мир» начал выбирать из своей среды представителей «из дворян, из атаманов, из казаков и из всяких людей». Выборные люди пробирались в Москву, чтобы ознакомиться с общим положением дел в государстве. Земское патриотическое движение, опиравшееся на Калугу, Рязань, Муром, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, набирало силу. Города один за другим присоединялись к освободительному движению. Кульминацией этого движения стали события, связанные с именем земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

В ноябре 1612 года Трубецкой, Пожарский и Минин разослали по городам грамоты о созыве в Москве Земского собора, призванного избрать монарха. Там было положено начало последней царской династии в России — Дому Романовых. Период, последовавший за Смутным временем, подтвердил статус земских соборов как воплощения воли «земли», пусть в урезанном виде. Однако во многом из-за крепостничества, обезличивавшего население, власть земских соборов быстро сошла на нет. После этого на два века страна погрузилась в правовое средневековье, когда от земства осталось лишь патриархальное самоуправление крестьянских общин, где ни о каком участии в жизни государства говорить не приходилось.

...После 19 февраля 1861 года все коренным образом изменилось. Почти 23 миллиона помещичьих крестьян вышли на волю, их жизнь надо было устраивать заново. Система налогообложения, когда петербургские чиновники рассчитывали подати, совершенно противоречила местным нуждам. При этом основную часть так называемых «земских повинностей» несли крепостные крестьяне. С 1814 по 1860 год эти сборы увеличились в шесть раз.

Большую часть этих денег составляло обеспечение почтовых станций, земской полиции и тюрем. Оставшиеся деньги съедали арестантские роты, содержание и ремонт дорог, квартирующие и проходящие войска. Крестьяне не участвовали ни в составлении смет, ни в контроле за расходами.

Матвеев Михаил Николаевич родился в 1968 году. Живет в Самаре. Кандидат исторических наук, заместитель главного редактора еженедельника «Самарское обозрение».

1 января 1864 года «Положение о губернских и уездных Земских Учреждениях» было высочайше утверждено. Самое первое земское собрание в России открылось в Самаре. За ним последовало образование Костромского, Пензенского, Новгородского, Херсонского земств, и к 1875 году самоуправление распространилось на тридцать четыре губернии Европейской России. В конце 1880-х годов, не без медвежьей услуги народолюбцев, правительство, испугавшись народной самостоятельности, значительно ограничило пределы земских прав. И все же земства постепенно укреплялись, появилась искра народного доверия.

В основе земств лежала *выборность*: волостное собрание определяло волостную управу во главе с председателем, уездное собрание — уездную, губернское — губернскую. Таким образом, население само выбирало для себя власть из числа своих же представителей (гласных) с самого нижнего звена (волости, объединявшей несколько деревень) до губернии.

Особо следует заметить, что народные избранники не получали денег. Расходы шли лишь на содержание постоянно действующей Управы, состоящей из председателя и нескольких членов, должности которых были выборными. Назначались по конкурсу лишь земские служащие. Расходы на содержание аппарата никогда не занимали первой строчки в статье земских расходов: основные траты шли на народное образование и здравоохранение, — то есть полная противоположность нынешним «демократическим институтам». Благодаря земству медицинская помощь населению к концу XIX века стала регулярной. Открывались новые больницы, фельдшерские и акушерские школы, аптеки. Резко сократилась смертность населения. За пятьдесят земских лет Россия прошла путь от почти полного отсутствия школ — к идее всеобщего начального обучения, основанного на единой программе. К 1915 году около 85 процентов школ России стали земскими.

Конечно, не стоит преувеличивать: так, в 1905 году в России на одного земского учителя и врача приходилось в среднем 30 тысяч жителей. Однако пропасть между этими цифрами и тем, что было до того, — огромна. Местное самоуправление, построенное на инициативе населения — без привлечения средств со стороны, — шаг за шагом обеспечивая потребности людей, свидетельствовало об устойчивости страны и определенном благополучии. Земская статистика, к примеру, до сих пор остается непревзойденным источником информации о пореформенной России. Земство включало в государственную жизнь тысячи людей. На земской службе к 1914 году состояло 75 тысяч человек. Это было не архаичное бюрократическое здание, а гибкая самоуправляющаяся структура, обновлявшаяся — через избрание — каждые три года. Очередные собрания проходили ежегодно для утверждения бюджетов земств и решения накопившихся вопросов. Бюджет земств создавался за счет обложения земли, недвижимости и торгово-промышленных заведений; кроме того, земства имели свои предприятия и сельскохозяйственные станции. Были также частные пожертвования граждан, носящие, как правило, целевой характер: на строительство школ и больниц, устройство приютов, выплату именных стипендий.

Одним из классических русских земств было *самарское*, оно имело самую продолжительную историю. Самарскому земству принадлежал приоритет как первому органу самоуправления в России: оно образовано в феврале 1865 года. Но одновременно Самара стала и последней столицей земской России, продержавшись под ударами большевиков до октября 1918 года, то есть создав поразительный прецедент возрождения земства уже после падения Учредительного собрания и прихода к власти Совдепов.

Естественно, большевиков, с их претензиями на тоталитарную власть и идеологию, подлинное народное самоуправление никак не устраивало. Потому к 1919 году земства были повсеместно заменены Советами, полностью подконтрольными большевистской власти и не способными ни на какую социальную самодеятельность.

Уникальный опыт русской демократии был вычеркнут из жизни страны и предан забвению.

Между тем сегодня — после краха государственной коммунистической идеологии и особенно после роспуска Советов — вопросы государственного строительства на основе местного самоуправления приобретают актуальность; Д. С. Лихачев, А. И. Солженицын, многие наши политические и духовные лидеры пытаются обратить внимание общества на земский опыт. Ведь отсутствие в современной системе власти местных представительных органов есть вопиющий вакуум, который необходимо заполнить, если мы и впрямь желаем нашему обществу социального и политического здоровья и стабильности.

...Ныне на общественных началах уже сформировались Российское земское движение, Ассоциация земских союзов России, начали действовать региональные земские движения. К идее и способам возрождения земства обратились участники Всероссийского совещания о местном самоуправлении, состоявшегося в Кремле в 1995 году.

Одним словом, все больше людей стало понимать, что у отечественной демократии есть свои корни, свои традиции, которым и надо следовать. Начинается, пусть пока робкое, возрождение того, что большевизм пытался выкорчевать бесследно.

...К февралю 1917 года земства, по существу, были проверенным практикой надежным аппаратом управления. Земцы, в той или иной степени носители, как правило, освободительной идеологии, приняли Февральскую революцию как хоть и неожиданную, но чаемую и свою; недаром именно с земством связывал Ленин «необыкновенную легкость» одержанной Февралем победы¹.

Еще бы: земские учреждения существовали в сорока трех губерниях Европейской России, их компетенция распространялась на 110 миллионов жителей². Не будет преувеличением сказать, что к 1917 году Россия была, по существу, земской страной, земство играло едва ли не большую роль, чем бюрократия.

Хотя при этом накануне Февраля земство переживало изрядный кризис, связанный с условиями военного времени и стремлением власти сохранить в земствах господствующее влияние цензовых элементов.

Отчасти справедливо, а отчасти по нетерпению многие земства воспринимали государственное вмешательство как досадную опеку. А потому, когда 5 марта 1917 года глава Временного правительства князь Львов санкционировал переход власти на местах в руки председателей земских управ, это было воспринято не только с удовлетворением, но даже с энтузиазмом. Ведь провинция сначала и помыслить не могла, что Временное правительство — буффория, а реальные хозяева Петрограда — социалисты, опирающиеся на бунтующую солдатскую и рабочую «вольницу».

Реорганизация власти на местах предполагала не только передачу ее в руки председателей земских управ, но и подготовку населения к выборам в органы местного самоуправления. Ставка была на лица, хорошо известные и пользующиеся уважением, зарекомендовавшие себя добросовестными работниками. Однако логика революции сдвигала общество влево, на поверхность выходили люди, умевшие блеснуть левой фразой, безответственные демагоги и трепачи.

К середине апреля 1917 года из восьми уездов Симбирской губернии лишь в двух (Сызранском и Сенгилеевском) остались бывшие председатели уездных земских управ.

¹ Ленин В. И. Письма из далека. Полн. собр. соч. Т. 31, стр. 36.

² Веселовский Б. Б. Земство и земская реформа. Пг. 1918, стр. 16.

А уже к маю 1917 года из 55 председателей губернских земских управ, ставших комиссарами Временного правительства, эту должность сохранили лишь 23 человека, а из 439 уездных — 177³.

Вообще же миф о «великой и бескровной» Февральской революции не выдерживает — при элементарно добросовестном рассмотрении — никакой критики. Самосуд, убийства старорежимных чиновников, разгромы винных складов, террор толпы, уж не говоря о терроре общественного мнения и левой прессы, были повсеместны⁴. Социум разлагался, смывая жалкие эволюционные «плотинки» Временного правительства. Так, МВД порой отказывало земским самоуправлениям в несанкционированных переменах в составе управ, призывая «воздержаться от выборов впредь до опубликования Положения о выборах в земские учреждения», что вызывало негодование провинциальных радикалов, подозревавших тут контрреволюцию, реакцию и консервативное сдерживание народной инициативы. Одним словом, в земстве, как и повсеместно, возобладали силы, работавшие на разрыв, а не на объединение общества.

Кроме того, вновь организующиеся *Советы*, куда входили наиболее радикальные элементы, радикализировали и земства, словно боящиеся отстать в собственной революционности, — общество становилось все одержимее. Впрочем, поначалу между земствами и Советами существенных расхождений не было: и те и другие уповали на Учредительное собрание и важнейшим делом считали тщательную его подготовку.

Судьба земств, как и России в целом, напрямую зависела от того, по какому пути пойдет общество: по пути ли постепенного, но неуклонного конституирования декларируемых демократических завоеваний или по пути партийной конфронтации, власти классовых органов и связанного с ними насилия.

...Особое совещание, целью которого была коренная реформа земского самоуправления, начало свою работу 25 марта 1917 года под председательством С. М. Леонтьева. В его работе приняли участие многие крупные правоведы, ученые, земцы: Б. Б. Веселовский, Д. Д. Протопопов, В. Н. Шретер, А. А. Станкевич и другие. В течение семи месяцев ими были выработаны и утверждены Временным правительством следующие проекты: 1) волостного земства, волостных финансов, наказы по выборам в волостное земство в сорока трех земских губерниях; 2) реформы земского избирательного права, наказ по земским выборам, изменения земского положения, улучшение земских финансов, учреждений банка, городского и земского кредита; 3) введение земства в Сибири и в Архангельской губернии, в Степном крае, Туркестане и других губерниях и краях; 4) реформы городского избирательного права; 5) поселкового управления и наказа по выборам поселковых гласных; 6) положение о милиции, административных судах и комиссариатах; 7) разработка введения земства в казачьих областях и на Кавказе⁵.

По отзывам современников и оценкам историков⁶, введение волостного земства было важнейшей из земских реформ 1917 года. Это обуславливалось рядом факторов. Во-первых, введение волостного земского самоуправления было наиболее подготовленной и долгожданной реформой, за которую земство боролось с 90-х годов XIX века. Во-вторых, реформа включала в систему местной власти многомиллионную крестьянскую Россию — через волостные собрания и управы. В-третьих, с введением низового звена земской структуры создавалась законченная и стройная система самоуправления, пронизывающая государственную жизнь от волости до Всероссийского земского союза. В-чет-

³ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 1788, оп. 1, д. 131, л. 2.

⁴ Государственный архив Ульяновской области (ГАУО), ф. 677, оп. 2, д. 27, л. 3.

⁵ ГАРФ, ф. 1788, оп. 6, д. 15, лл. 1 — 2.

⁶ Веселовский Б. Б. История земства за 40 лет. В 4-х томах, т. 2. СПб. 1909, стр. 163; Омельченко А. П. Волостное земство — основа свободной России. Пг. 1917, стр. 1 — 7.

вертых, от выборов в волостные земства зависели выборы в Учредительное собрание⁷, так как они являлись «генеральной репетицией» и были первым в истории России опытом всеобщих выборов. В конечном счете создание волостного земства было основой всех прочих земских реформ Временного правительства, от успешного проведения которых во многом зависела судьба демократических органов в стране.

21 мая 1917 года Временное правительство издало закон о волостном земском управлении, положивший начало созданию волостных земств в России. Две основные насущные потребности проявились в этом вопросе: с одной стороны, вся неудовлетворенность существующей сословной властью и настоятельная необходимость заменить ее другим, более совершенным в правовом смысле и отвечающим задачам времени учреждением; с другой — по мере развития земского дела обнаруживалась насущная потребность для уездных земств опираться на более мелкие территориальные самоуправляющиеся ячейки⁸. Таким образом, Февральская революция попыталась — через местное самоуправление — утвердить в стране принцип народоправства.

Учреждения, созданные на волостном уровне, отражали сложившуюся земскую структуру, характерную для земств уезда, города и губернии. Распорядительным органом стало волостное собрание, образующееся, согласно закону от 21 мая 1917 года, из волостных гласных; должность гласных исполнялась безвозмездно. Волостному земскому собранию предоставлялось право производства выборов в должности и определения их содержания, размеры волостных земских сборов, приобретение и отчуждение недвижимых имуществ, заключение займов, проверка действий и отчетов волостных земских управ, рассмотрение жалоб на их действия. Дела в собрании, по закону, решались простым большинством (в отдельных случаях — двумя третями), а собрание считалось состоявшимся в случае присутствия председателя и не менее одной трети гласных. (Мы приводим все эти подробности потому, что земский послефевральский опыт может пригодиться сегодня — при становлении народного самоуправления.)

Избирателями могли быть все мужчины и женщины с двадцатилетнего возраста (кроме сумасшедших, глухонемых и опороченных по суду), проживающие в пределах волости. Кроме того, не имели права на выборы иностранные подданные, земские начальники и чины общей полиции — в пределах территории службы; а также лица, состоящие под гласным надзором полиции.

Волостная земская управа могла создать волостное земское собрание, обеспечить подготовку необходимых сведений, реализацию его постановлений, составление проектов раскладок волостных земских смет, контроль за поступлением волостных доходов и расходов, определить (с разрешения собрания) правила и сроки отчетности подчиненных земству лиц, учреждений, а также ревизию этой отчетности. Постановления *волостного* земского собрания должны были утверждаться *уездным* — в случае, если дело касалось финансов. Главный принцип, положенный в основу регулирования деятельности волостных земств, заключался в передаче в их компетенцию как можно больших функций, самообеспечивающих работу волости как хозяйственно-административной единицы.

«Заведование волостными земскими повинностями, денежными и натуральными, капиталами, имуществом волостного земства, попечение об устранении недостатков продовольственных средств и оказание пособий нуждающемуся населению, содержание в исправности дорог... пристаней, путей сообщения, заведование волостными земскими лечебными и благотворительными заведениями; попечительство о призрении бедных, неизлечимых больных и умалишенных, а также сирых и увечных, мероприятия по охранению народного здоровья, по развитию средств врачебной помощи населению и по обеспече-

⁷ Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 1291, оп. 51, д. 68, л. 15.

⁸ Государственный архив Самарской области (ГАСО), ф. 5, оп. 9, д. 1129, л. 231.

нию местности в санитарном отношении; заботы по предупреждению и тушению пожаров и попечение о лучшем устройении селений; попечение о развитии народного образования и участие в заведовании на счет волостного земства школами и другими учебными заведениями, мероприятия к поднятию экономического благосостояния населения, оспособление зависящими от волостного земства способами местного сельского хозяйства, торговли и промышленности, заботы об истреблении вредных в сельском хозяйстве животных, насекомых, о борьбе с сорною растительностью, об облесении сыпучих песков, укреплении оврагов и т. п., мероприятия зоотехнические, ветеринарные, ветеринарно-полицейские, оказание юридической помощи населению, удовлетворение потребностей воинского и гражданского управлений, охрана общественного порядка и безопасности лиц и имуществ, надлежащее исполнение государственных и земских повинностей... приобретение и отчуждение имущества, заключение договоров, вступление в обязательства, а также право учинять гражданские иски, для потребностей... облагать денежными сборами находящиеся в пределах волости недвижимые имущества»⁹.

Закон о волостном земстве осознавался современниками как «великая реформа 1917 года, как устой свободной страны, первый камень строящейся новой России, какой положила революция»¹⁰. «Сравним тот порядок, — писалось в одной из популярных брошюр того времени, — который был при царском самодержавии, с тем новым, что будет после введения в жизнь волостного земства... Дорогу прокладывали не туда, куда этого хотело местное население, а туда, куда хотели ее вести влиятельные земские гласные, помещики и чиновники. В уездном и губернском земстве большинство голосов принадлежало помещикам и заводчикам, вообще землевладельцам, а не земледельцам. Правда, в старом земстве были и представители крестьян, но их было немного. И были они почти что назначены земским начальником. Голос их был не слышен. ...Уездные или губернские земства по новому закону тоже будут построены на основании всеобщего избирательного права. Следовательно, не будет засилья помещиков и заводчиков...»¹¹

Революционная реальность жестоко расправилась, однако, с этими, как на поверку оказалось, маниловскими утопическими прожектами; России не суждена была отстройка на народно-либеральных началах, бес большевизма повсеместно вел уже свою разрушительную работу, парализуя ее лучшие общественные силы.

«Неожиданно, на первый взгляд, вспыхнуло большевистское восстание, — писало «Земское дело» в октябре — ноябре 1917 года. — Временное правительство отстранено, стране нанесен тяжелый, непоправимый удар. Но если ближе вдуматься в происходящее... то ничего неожиданного не окажется. Старый режим, не поддерживаемый никем, рухнул под бременем осложнившихся задач. Война затянулась, хозяйственная разруха растет с каждым днем»¹². Сообщения о заговоре большевиков задолго до 25 октября 1917 года стали газетным штампом даже в провинциальной прессе¹³.

«Наверху идет борьба за власть, за утверждение власти, — говорил один из делегатов совещания председателей волостных управ Самарского земства вскоре после октябрьских событий, — до организации твердой власти половина из нас вымрет с голоду. Революция с ее углублением и расширением погубила все, что мы завоевали в мартовские дни, от всех свобод остались одни грязные тряпки»¹⁴.

⁹ ГАСО, ф. 5, оп. 9, д. 1129, л. 16.

¹⁰ Там же, д. 1100, лл. 63 — 64.

¹¹ Омельченко А. П. Волостное земство — основа свободной России, стр. 5.

¹² «Земское дело», 1917, № 19-20, стр. 427.

¹³ «Волжский день», 1917, 31 августа, 10 октября, 13 октября, 18 октября и др.

¹⁴ ГАСО, ф. 372, оп. 1, д. 476-а, л. 25.

Не секрет, что многие, слишком многие, устав от день ото дня нарастающей анархии и импотенции Временного правительства, бессильного поддерживать социальную дисциплину, даже злорадствовали, когда ленинцы это правительство разогнали: большинству и в голову не приходило, что большевизм всерьез и надолго. На одном из совещаний Временного правительства, прошедшем за четырнадцать дней до Октябрьского переворота, было даже высказано предположение, что «выступление большевиков, ожидаемое по одним сведениям — 26, по другим — 15 октября, может быть полезным, ибо после его успеха большевизм пойдет на убыль»¹⁵.

Бездеятельность правительства была особенно очевидна на фоне того, что крушение монархии выявило отсутствие прочной основы для российского парламентаризма. В стране еще не сформировались устойчивые средние слои населения, а военные бедствия и разруха способствовали дальнейшей поляризации интересов, стимулируя резкое увеличение массы «маргиналов», люмпенизированных слоев. Именно они стали определять общественно-политическую ситуацию в столице в 1917 году. Цементировать эту неустойчивую ситуацию, в сущности, было нечем.

Камнем преткновения, использованным большевиками при захвате власти, стала для Временного правительства формула «непредрешения», повязавшая его с Учредительным собранием. Большевики пришли к власти именно под лозунгом ускорения его проведения, тут был козырь их политической демагогии.

...В Самаре большевики сумели распропагандировать горожан: на выборах в городскую Думу в 1917 году они получили 34 места из 68 и составили самую крупную думскую фракцию, а их лидер В. В. Куйбышев (именем которого потом, под коммунистами, и стала, кстати сказать, называться Самара) рвался на пост городского головы.

К чести самарского земства следует, однако, сказать, что оно на большевистский соблазн ответило категорическим *нет*. «Власти безответственной группы не признавать и решительно бороться с действиями их, ведущими к анархии и гибели Родины»¹⁶. Главный комитет Земского союза потребовал «обеспечить неприкосновенность Учредительного собрания. В случае посягательств на права Учредительного собрания необходим съезд самоуправлений». «Царство Божие силою нудится, и нуждницы восхищают его, — говорили делегаты совещания председателей волостных управ, прошедшего в Самаре в декабре 1917 года, — и если не оказать Учредительному Собранию всемерной поддержки, то не видать ни земли, ни воли и не достойны иметь их»¹⁷.

Через четыре дня после ленинского переворота самарское «Волжское слово» проинтервьюировало местных земских деятелей «по поводу мятежа большевиков в Петербурге». По мнению Самарской земской управы, при любых переменах власти земство должно было оставаться автономным. «Бросать страну в состояние разрухи накануне созыва Учредительного собрания крайне опасно и может сослужить хорошую службу контрреволюции», — считала управа. Земские деятели подчеркивали, что «земство несет ответственность только перед земскими собраниями и не позволит никому нарушать прерогативы свободного демократического самоуправляющегося органа»¹⁸. Аналогичная реакция на события Октября 1917 года была и в других земствах Поволжья, хотя того, что Россия оказалась в руках заидеологизированных уголовников и предателей, готовых на все, чтобы удержаться у власти, почти никто не осознавал.

В Пензенской губернии сразу, как только губернская земская управа получила приказ Керенского не подчиняться большевикам, во всех уездах были

¹⁵ «Волжский день», 1917, 13 октября.

¹⁶ ГАСО, ф. 372, оп. 1, д. 467-а, л. 34.

¹⁷ Там же, л. 40.

¹⁸ «Волжское слово», 1917, 29 октября.

созданы «Советы спасения революции». «Носителем власти на местах могут быть лишь думы и земства, ибо они выбраны свободным всенародным голосованием»¹⁹ — таков лейтмотив большинства земских заявлений по поводу событий в Петрограде.

Четвертый общегубернский Самарский съезд 5 — 10 декабря 1917 года попытался «сконструировать губернскую власть из представителей Советов, самоуправлений, профсоюзов, социалистических партий и организаций»²⁰. Подобная попытка была предпринята и в Симбирске, где 11 ноября 1917 года в результате совещания представителей местного самоуправления, Советов, партий, организаций был учрежден «Комитет народной власти» во главе с председателем губернской земской управы В. Н. Касандровым. Наиболее активно повело себя саратовское земство, где «Комитет спасения революции» уступил власть Советам лишь в результате уличных боев, закончившихся артиллерийским обстрелом здания управы²¹. В результате в большинстве средневолжских губерний власть к большевикам окончательно перешла только в конце декабря 1917 года. Чрезвычайное симбирское губернское земское собрание, прошедшее 15 декабря, решительно протестовало против захвата власти большевиками накануне выборов в Учредительное собрание²².

Начавшейся анархии, лишавшей страну чувства самосохранения, земства пытались противопоставить авторитетную для населения власть — без различия партий и классов; они особо подчеркивали внепартийный характер своей работы (однако, увы, на деле оказались во власти сведения именно партийных счетов — в основном между большевиками и эсерами).

...Определенные надежды связывали россияне не только с Учредительным собранием, но и с Земским собором, идея которого возникла летом 1917 года. Однако он был отложен до окончания реформы земства, потом — из-за восстания большевиков — на 12 января 1918 года, а после разгона Учредительного собрания — вообще на неопределенное время. Новое, демократическое, земство России так никогда и не продемонстрировало своего единства и не выработало общей программы.

Большевизм, прежде чем надеть на страну намордник диктатуры, своей стравливающей различные слои населения идеологией развязал волну грабежей, поджогов, убийств. То, что в 1905 — 1906 годах сотрясало Россию, пока не было властно обуздано политической волей Столыпина, разыгрывалось теперь в несравненно больших масштабах. Стремления «мужичков с топориками» и дезертиров, прихвативших с фронта казенную винтовку, успеть к разделу имуществ и земли соединились с ненавистью к богатым и пошедшим против «опчества» хуторянам. Ни Советы крестьянских депутатов, ни волостные земства, как правило, не успевали принять меры до стихийного крестьянского раздела. И не было твердой власти, дабы обуздать произвол.

В Буинском уезде Симбирской губернии грабежи хуторов достигли масштабов повального многодневного разгрома, в котором участвовали целые деревни²³. И хотя в ряде уездов в помощь милиции создавались вооруженные отряды для борьбы с беспорядками и грабежами, малочисленность и слабость оснастки этих отрядов делали их бессильными перед погромной стихией, охватившей всю северную часть Пензенской, часть уездов Самарской и почти всю Симбирскую губернию.

Крестьяне грабили не только имения и хутора, но и земские опытные станции, сельскохозяйственные питомники, племенные конезаводы; бесценных племенных лошадей продавали по пять — десять рублей за голову. Так, в

¹⁹ «Чернозем», Пенза, 1917, 15 ноября.

²⁰ ГАСО, ф. 5, оп. 9, д. 1136, л. 313.

²¹ Государственный архив Пензенской области (ГАПО), ф. 480, оп. 1, д. 2, л. 33.

²² ГАУО, ф. 46, оп. 2, д. 900, лл. 32, 50.

²³ Там же, ф. 677, оп. 1, д. 11, лл. 173 — 175.

Петровском уезде Саратовской губернии чистокровного жеребца Мафусаила, стоящего несколько тысяч, продали за пятьдесят рублей и использовали на пашне²⁴. В селе Демино Пензенской губернии крестьяне спустили в имении местного помещика огромный старинный пруд, полный рыбы (для чего специально уничтожили плотину). За декабрь 1917 года только в трех уездах Пензенской губернии было разграблено и сожжено более ста имений; машины и сельскохозяйственные агрегаты не брали, а ломали.

Глевший в послефевралистскую пору конфликт между земствами и Советами ярко вспыхнул в результате большевистской политики, откровенно опиравшейся на Советы как органы своей диктатуры, где заправляли распропагандированные ими фанатики или откровенные авантюристы и люмпены; после того, как из Советов были вытеснены меньшевики и эсеры, Советы потеряли даже иллюзию самостоятельности. При этом они претендовали не только на политическое, но и на хозяйственное главенство. Неокрепшие волостные земства особенно страдали от господства Совдепов: Советы — партийные, большевистские — проводили линию на укрепление ленинской власти, обильно используя идеологический жаргон; земства, исходившие из конкретных народных нужд (в волостных земствах абсолютно преобладали крестьяне), не могли не вступить в решительную конфронтацию с большевизмом, на языке которого это называлось контрреволюцией. Несмотря на первоначальные заверения большевиков в поддержке органов самоуправления, земства теперь были обречены. Надо ли говорить, что истощенные, затерроризированные земства, с 1917 года жившие только надеждой на скорейший созыв Учредительного собрания, и до, и тем более после его разгона становились легкой добычей ленинцев.

«Было бы вопиющим противоречием и непоследовательностью, — говорилось еще на III Всероссийском съезде Советов в январе 1918 года, — если бы пролетариат, стремясь к своему господству, остановился бы в смущении перед существующими органами местного самоуправления, и поэтому „при существовании Советов земским и городским самоуправлениям не должно быть места“»²⁵.

К концу февраля 1918 года из девятнадцати волостей Симбирского уезда только шесть сохранили земства²⁶, в начале марта была ликвидирована Сенгилеевская уездная управа, к середине апреля 1918 года упразднили все земские управы Саранского уезда, их заменили Советами. Такая ситуация оказалась типичной для большинства губерний Европейской России²⁷.

...Превратившись из разрушителей старого порядка в созидателей нового, Совдепы, обрастающие многочисленной советской бюрократией, замороженные демагогической звонкостью революционных фраз, не дающих эффекта в будничной хозяйственной работе с уставшим населением, все чаще вынуждены были насильничать. По сведениям, поступившим в феврале — марте 1918 года в Пензенский губернский Совет из волостей, «волостные Советы без оружия не имели никакой силы», а свое существование вели в основном за счет контрибуций и обложения «местных капиталистов»²⁸.

В марте 1918 года произошло восстание рабочих фабрики Камендровского в Нижнем Ломове Пензенской губернии: недовольные обложением фабрики со стороны местного Совета и арестом директора, рабочие разгромили Совет, а его членов избили и посадили в тюрьму²⁹.

Анкета, проведенная губернским Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов среди граждан Пензенской губернии, выявила их недоверие к

²⁴ ГАПО, ф. 455, оп. 1, д. 1, л. 284.

²⁵ «Вестник НКВД», М., 1918, 24 января, стр. 4.

²⁶ «Симбирское слово», 1918, 21 февраля.

²⁷ «Земское дело», 1918, № 3, стр. 88.

²⁸ ГАПО, ф. Р-2, оп. 1, д. 80, лл. 43, 80.

²⁹ Там же, д. 4, лл. 6 — 7.

советской власти и враждебное отношение к злоупотреблению властью «отдельными членами Советов».

Деморализованное население не желало уже никаких властей, отказывалось платить налоги и подчинялось только силе. Летом 1918 года ряд волостей губерний был объявлен на осадном положении вследствие крестьянских восстаний против комбедов и проведения хлебной монополии³⁰.

Большевики, дав своим организациям право производить реквизиции, конфискации, обыски и аресты, широко этим пользовались. Согласно «Инструкции Совета десяти» Пензенского губернского Совета от 28 января 1918 года, у частных лиц и торговцев реквизировалось все мясо свыше десяти фунтов, яйца (свыше двадцати штук), картофель (свыше двадцати фунтов), обувь (свыше двух пар), бензин, а кроме того — еще полтора десятка товаров и продуктов (с ограничениями), в том числе чай, изюм, варенье и конфеты. При обыске в квартире «спекулянта» отбирались все деньги, золото, серебро и т. п.³¹.

Вынужденные в условиях хозяйственной разрухи и голода применять силовые методы извлечения «излишков» у населения, Советы скоро столкнулись с необходимостью как-то упорядочить процесс реквизиций, вырвавшийся из-под контроля. К маю 1918 года обложение имущих классов «достигло стихийных размеров и проходило хаотическим порядком». Некоторые местные Совдепы реквизировали даже почтовые посылки. В итоге отдел местного хозяйства Совнаркома в своей телеграмме потребовал от местных Советов использовать для обложения сметы земств. В «экстренных» случаях обложение могло быть и увеличено³².

Но как это на первый взгляд ни парадоксально, самые молодые и, казалось бы, самые уязвимые волостные земства оказались на деле самыми живучими, прочными (большевики объясняли это крестьянской отсталостью). Земская структура — с ее выборностью, соборностью, самоуправляемостью, самообложением — крестьянской общине была ближе по духу, чем вооруженные против населения самоназначившиеся большевистские Советы, в которых управляли «городские», либо устанавливающие в деревнях свою власть «распропагандированные» солдаты-дезертиры. Там, где население не было вовлечено в социальную войну, а работа революционных организаций не велась активно, расшатывая устои крестьянского «мира» и возбуждая мужиков на митинги и погромы, волости сами организовывали себя — по привычной общине системе сельских сходов, которые — в зависимости от власти — назывались либо земскими собраниями, либо заседаниями Совета.

Большинство народа, для которого весной 1918 года наступили тяжелые времена смуты и многовластия, выжидало, «чья возьмет», и действовало движимое не столько политическими симпатиями, сколько чувством самосохранения; огромные потери, понесенные в Первой мировой войне, подорвали его здоровье. Лишь там, где притеснения властей, убийства и грабежи противостоящих сторон выводили крестьянина из терпения, он начинал втягиваться в гражданскую войну, зловещий огонек которой разгорался уже с первых месяцев 1918 года.

...Но, разумеется, случаи восстановления волостных земств не восполняли всю разрушенную большевиками инфраструктуру земского самоуправления. К лету 1918 года, частично уничтоженные, частично захваченные Советами, земства практически перестали существовать, хотя некоторые земские служащие еще работали.

История Самарского восстания 8 июня 1918 года, в результате которого большевики были низложены, а власть перешла в руки Самарского комитета

³⁰ ГАПО, ф. Р-2, оп. 4, д. 28, л. 3.

³¹ Там же, д. 11, лл. 21 — 23.

³² Там же, д. 7, лл. 100 — 101, 284.

членов Учредительного собрания (так называемого КОМУЧа), известна меньше трагедий Ярославского, например, или Тамбовского восстаний, так что на ней следует остановиться подробнее. Тем более, что этот пятимесячный период показал дееспособность земств и возможность их возрождения.

К июню 1918 года в Самаре образовалось деятельное правозащитное подполье, составившееся из бывших депутатов Учредительного собрания Б. К. Фортунатова, П. Д. Климушкина, И. П. Нестерова и других, боевая дружина насчитывала свыше шестисот человек. Еще в подполье — за трое суток до восстания — были сформированы органы власти, административные и военные. Наступление чехословаков, оттянувших большевистские силы, обусловило победу восстания.

Примечательно, что Приказ № 1 победивших эсеров объявлял о восстании «во всей полноте своих прав» органов местного самоуправления. Советы объявлялись распущенными до новых выборов, городской Думе и местным управам предлагалось немедленно приступить к работе. Приказом № 34 от 19 июня восстанавливались волостные земства. Эти и другие приказы (о «преследовании погромщиков», о «прекращении расстрелов» и т. д.) автоматически распространялись на все освобожденные от большевиков территории. 22 июля был взят Симбирск, вскоре — Хвалынский, Вольский, Казань; в течение лета полностью очищены земли к востоку от Самары, взяты Уфа, Екатеринбург, Челябинск. Самарское восстание стало сигналом к наступлению антибольшевистских сил, в одночасье превратившее для Ленина и Троцкого половину России в Восточный фронт.

КОМУЧ сразу же заявил, что «национальное возрождение и спасение Родины не может быть... по силам одной партии или классу. Это есть дело всех групп и партий»³³. Комитет восстанавливал свободу слова, печати, собраний, запрещал административные вмешательства в дела Церкви, возвращал ей все захваченное и еще не растащенное большевиками имущество. Это был обратный скачок из «царства небытия» в забытое уже «царство свободы» — при всех издержках, связанных с положением дел на фронте.

Однако возрождение земств происходило тяжело, часто население опасалось мести большевиков. Террор, развязанный большевиками в Пензе и Сердобске в отместку за восстания и сдачу чехам летом 1918 года, парализовал страхом жителей приграничных районов. Большевики лгали, что земство отбирает у крестьян землю. Восставшим в специальном воззвании пришлось подтвердить неотменяемость земельного передела. О том же, чьи интересы защищало земство, говорит факт, что из семидесяти двух гласных Симбирского губернского земства, вновь открытого 22 июля 1918 года, шестьдесят были крестьяне³⁴.

Сохранившиеся стенограммы земских собраний сберегли до нас сильный антибольшевистский накал: «...вместо немедленного мира с Германией большевики залили кровью всю Россию. Пользуясь приемом царского режима, они бросили одну часть крестьянства на другую. Там — отрубщики и общественники, здесь — бедняки и зажиточные. И на этой грызне братьев, опираясь на штыки, большевики строили свою власть. Мир с немцами такой, что Россия отдана в вечную кабалу Германии и совершенно теряет значение самостоятельного государства, будучи расчленена на множество отдельных государств, не имеющих никакого политического значения. Вместо хлеба — повсеместный голод, вместо земли — декрет»³⁵.

КОМУЧ сосредоточивал всю полноту административной власти в губернии в руках губернского земства, потребовав от своих уполномоченных в процессе восстановления органов местного самоуправления передавать им основные управленческие функции в губерниях и уездах. Для восстановления низо-

³³ «Волжский день», 1918, 16(3) июня.

³⁴ ГАУО, ф. 167, оп. 2, д. 75, л. 65.

³⁵ Там же.

вых структур КОМУЧ призывал своих уполномоченных не останавливаться даже перед «удалением из деревень лиц, деятельность которых явно враждебна новому порядку и вносит расстройство в деятельность волостного земства»³⁶. Для обеспечения информационного обмена фактически заново создавалась земская почта.

По мере восстановления органов местного самоуправления и включения их в структуру власти роль уполномоченных КОМУЧа должна была свестись к надзору за законностью их деятельности и невмешательству в земскую компетенцию. Период восстановления земств можно считать законченным к августу 1918 года. К этому времени земства были восстановлены на большей части Среднего Поволжья и приступили к работе. В отведавших уже большевистского режима губерниях это выглядело как чудо.

...Выступивший 14 августа 1918 года на земском съезде председатель президиума КОМУЧа В. К. Вольский так определил земские и общегосударственные цели: «1) освобождение территории от большевистской власти и воссоединение России, считая Учредительное собрание (без большевиков и левых эсеров) единственным правовым органом по воссозданию власти в России; 2) подготовка и созыв Учредительного собрания на демократических началах; 3) в земельном вопросе — отмена частной собственности на землю; порядок землепользования — в руках самоуправлений; 4) в рабочей политике — отвержение всякой реставрации большевизма, охрана интересов труда от эксплуатации, отказ от социалистических экспериментов; необходимость капиталистического хозяйства «в данное время» при сохранении установившихся регламентаций в рабочем вопросе; 5) воссоздание деятельности самоуправлений»³⁷.

Для себя же первоочередными Самарское земство посчитало следующие задачи:

«1) работа по восстановлению аппарата губернского и уездных земств, установление связи между ними;

2) восстановление и создание волостных земств на освобожденной от Советской власти территории, включение их в общую земскую структуру;

3) ведение продовольственного дела в губернии;

4) открытие Самарского университета;

5) объединение всех земств освобожденной России и работа по координации земской деятельности между губерниями Поволжья, Урала и Сибири, проведение съездов и совещаний всероссийского характера;

6) участие в организации единой всероссийской власти»³⁸.

Финансовое положение земских самоуправлений было повсеместно тяжелым. Большевики, отступая, увезли из Самары свыше 100 миллионов рублей, оставив город без средств. Самарская буржуазия, правда, без особого энтузиазма, но все же оказала поддержку КОМУЧу, собрав по подписке около 30 миллионов рублей³⁹.

Ситуация изменилась к концу лета 1918 года: после взятия Казани белыми весь золотой запас России был переведен в Самару (23 августа 1918 года в Самару было отправлено свыше 650 миллионов рублей золотом) — в распоряжение КОМУЧа, саккумулировавшего в этот момент все региональное антикоммунистическое сопротивление. Это, конечно, стабилизировало финансовое положение, но не решало всех проблем.

КОМУЧ отменил национализацию банков, объявив о неприкосновенности всех вкладов и возвращении ценностей и имущества их владельцам. Однако ни земля, ни предприятия не возвращались автоматически, без решения комиссии по денационализации, хотя это и вызывало ропот крупных собственников, так и не осознавших необратимость произошедшей исторической

³⁶ ГАУО, ф. 678, оп. 1, д. 2, лл. 6 — 7.

³⁷ «Волжский день», 1918, 22 августа.

³⁸ ГАСО, ф. 5, оп. 9, д. 1145, л. 2.

³⁹ «Волжский день», 1918, 16 — 23 июня.

катастрофы — после которой Россия стала уже иной — и для которых самарское социалистическое правительство было чужим.

Вместе с тем освобожденные от большевиков области стали постепенно «оттаивать».

«В магазинах товары были, продажа съестными продуктами шла везде. На базаре, на площади, в лавках по городу можно было видеть и белый хлеб, и сливочное масло, и притом по весьма недорогим ценам. Урожай 1918 года был очень хороший, и потому недостатка продуктов при свободной торговле не было.

Ощущение возможности ходить, свободно ходить по городу, быть равноправным с другими гражданами, после порядков Совдепии, было исключительно приятное, и кто не пережил этого контраста между моральной подавленностью и внешней хотя бы свободой... вероятно, не поймет переживаемого мной в тот момент», — писал о Сызрани того времени современник⁴⁰.

...После отмены 27 июня 1918 года твердых цен на хлеб отток хлеба за пределы территории КОМУЧа сократился и хлеб даже подешевел, что позволило в августе отменить в Симбирске трехрублевую суточную прибавку на дороговизну, введенную еще при советской власти. Признав желательным товарообмен с большевистской Россией, КОМУЧ сделал границы достаточно «прозрачными», и вплоть до сентября пропуск товаров через фронт был практически свободен. Все это приводило к тому, что в снабжении населения участвовали целые обозы по обе линии фронта и недостатка в товарах долгое время не было⁴¹.

Но только-только земства стали оправляться от большевизма, как красные перешли в наступление. «Спасение не только русской революции, но и международной, на чехословацком фронте», — заявил Ленин 23 августа⁴². Большевики начали насильственную мобилизацию, ввели расстрелы и предание военнополовому суду за неявку. Террор усилился после ранения Ленина. В Пензенском уезде большевики обязались «повесить сто буржуа»⁴³.

Принудительные меры мобилизации пришлось применять и КОМУЧу, армия которого первоначально опиралась на добровольцев. Измученное население выждало. «Целые волости объявляли себя нейтральными, оказывая одинаково пассивную помощь как отрядам Народной армии (так КОМУЧ называл свою. — М. М.), так и красногвардейцам»⁴⁴.

Потому работа волостных земств, находящихся в гуще событий, кровно связанных с крестьянской средой, была очень затруднена. Да и сама социалистическая идеология КОМУЧа многих отпугивала, у социализма «с человеческим лицом» в России не было социальной базы.

...Настоящим торжеством земской деятельности стало открытие в августе 1918 года Самарского университета. Надо представлять себе это страшное, драматичное время, когда казалось, сама Россия балансирует между жизнью и смертью, чтобы почувствовать, *чем* было это событие для самарцев. Газетная хроника свидетельствует, что актовый зал не мог вместить всех желающих, люди стояли в проходах и коридорах. Долголетняя мечта Самарского земства осуществилась!⁴⁵

Основа жизнеспособности земств — в их самоуправляемости, всесловности и самофинансировании. Революция нанесла жестокий урон всем этим трем принципам земской жизни: диктатура раздавила самоуправляемость, борьба классов разрушила всесловность, самофинансирование было подо-

⁴⁰ «Записки белогвардейца. Архив русской революции». Т. 9-10. М. «Тerra». 1991, т. 10, стр. 80.

⁴¹ ГАРФ, ф. 670, оп. 2, д. 3, л. 2.

⁴² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37, стр. 70

⁴³ ГАПО, ф. Р-2, оп. 4, д. 28, л. 9.

⁴⁴ ГАУО, ф. 678, оп. 1, д. 2, л. 5.

⁴⁵ ГАРФ, ф. 5824, оп. 1, д. 575, л. 1.

рвано налоговым нигилизмом и нищетой населения. *Период КОМУЧа интересен тем, что моделирует развитие земств в условиях отсутствия власти большевиков.* Готовые поступиться в обстановке кровавой гражданской распри частью традиционной самостоятельности, земства надеялись на объединение демократических сил России. И, несмотря на весь утопизм идеи, роль земств как объединяющего фактора возрастала, выходя за рамки местных «польз и нужд» и распространяясь на пользы и нужды общегосударственные.

...В середине августа 1918 года в Самаре прошел Чрезвычайный съезд земств и городов освобожденной России: представители Уфимского, Самарского, Оренбургского, Уральского, Симбирского, Сибирского и других земств приняли в нем участие. Событие для земства важнейшее, но малоизвестное ныне. По сути дела, речь шла о создании общероссийского земского движения, как в Смутное время, когда земская Русь спасла государство от гибели. Но на этот раз враг был сильнее и идеология его губительнее опереточной мифологии Лжедмитриев.

Земства становились едва ли не единственным звеном, связующим центробежные — политические, социальные, национальные, административные — силы антибольшевистской России.

«Странно говорить о единой России, — писал в сентябре 1918 года самарский «Волжский день», — и видеть области, сносящиеся между собой, как суверенные державы, имеющие каждая свое министерство иностранных дел, своих послов, таможенные границы и прочие атрибуты. Странно говорить о единой России и управляться обособленными друг от друга правительствами, становящимися сплошь и рядом в довольно острые, почти враждебные отношения.

Такое положение тяжело отражается на всех сторонах жизни, на всем деле возрождения великой России. Есть сейчас так называемая «территория Учредительного собрания», то есть Поволжье, есть области казачьих войск, есть горный Урал, Сибирь, Башкурдистан, Алаш-Орда и еще какие-то страннные и неожиданные, мифические или фиктивные области на ролях то ли автономий, то ли суверенных единиц. Стремление к самоопределению этих групп слишком хорошо известно, чтобы можно было надеяться на их благотворящую роль в создании национальной русской сильной власти. Нет России, нет русского государства и нет российской нации... Нужно отрешиться от Алаш-Орды, от Башкурдистана, от эсеровщины и вспомнить, что впереди еще и Москва и Киев, Севастополь и Петроград, одним словом, вспомнить о той великой России, которая была, которую революция убила и которая во что бы то ни стало должна быть создана вновь».

«Значение обоих государственных переворотов, — отмечалось на съезде, — в феврале 1917 года и в июне текущего года как реакции против самодержавия заключалось в торжестве идеи народовластия. Диктатура класса, групп и отдельных лиц противопоставлена самодержавию нации и в этом отношении, с падением комиссародержавия, не выдвинуто новых лозунгов: перед нами остаются во всем величии задачи созидания правового демократического государства». Сложность задачи состояла в том, что соединение идеи «свободного союза самоуправляющихся общин, объединенных палатой народных представителей», с необходимостью «единой крепкой власти, которая обладала бы способностью подчинить все местные интересы и влияния общей государственной задаче»⁴⁶ в условиях войны и развала хозяйства, диктовало необходимость централизации и ограничения прав местных самоуправлений.

Знаменательное признание: съезд декларировал свою преемственность с Февралем; Февральскую революцию против самодержавия сравнивал с антибольшевистским переворотом КОМУЧа, большевизм числа, стало быть, по ведомству самодержавия!

⁴⁶ ГАСО, ф. 5, оп. 9, д. 1198, л. 74.

Между тем время народовластия так и не наступило, а свобода и демократия вновь оказались слабы, слишком слабы...

Красные захватили Самару 7 октября. Образовавшаяся вне большевистских территорий Уфимская директория — после КОМУЧа — уже следующая страница истории сопротивления большевизму, столь же противоречивая, как все, рожденное Гражданской войной...

Земские ростки были вновь затоптаны.

«На ликвидацию земских управ, снова расцветших в период чехословаков, пришлось потратить много сил и энергии»⁴⁷, — жаловались красные.

Беда недолгого земского возрождения при КОМУЧе в том, что земства, будучи учреждениями сугубо мирными, вынуждены были действовать на вулкане гражданской распри. К этому они не были подготовлены ни идеологически, ни социально, ни организационно. И тем не менее им удалось сделать больше, чем другим структурам КОМУЧа. Целью земства была не власть любой ценой, не мировая революция, а мирная жизнь страны в стабильных условиях.

...На то и дается история, чтобы извлекать из нее уроки. Практика земства ныне не может, разумеется, подражательно копироваться, но, чтобы двигаться вперед, надо хорошо изучить прежние заблуждения и успехи. Должно быть преодолено отчуждение между земской и государственной жизнью; новое земство видится более почвенным, чем прежнее, «февралистское», более защищенным и сильным.

Бескорыстное служение народу, отечеству — вот стержень земской деятельности, ее суть, столь понятная историкам и легко утрачиваемая политиками, руки которых редко касаются пожелтевших страниц архивных документов.

Возрожденная Россия должна стать главной целью созидательных усилий российского земства.

Самара.

⁴⁷ ГАРФ, ф. 393, оп. 11, д. 47, л. 309.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

С. ЛАРИН

*

СЕКРЕТ «КУЛЬТУРЫ»

Почти не замеченный нашей прессой прошел пятидесятилетний юбилей толстого польского литературного и политического журнала «Культура», который выпускает в Париже «Институт литерацкий», то есть «Литературное издательство».

Собственно говоря, если быть точным, то «Культура» стала выходить с июня 1947-го, но «круглую», полувековую, дату отметили все же в минувшем 1996 году, так как отсчет, видимо, велся со дня возникновения самого издательства, основанного годом раньше.

Но сейчас, как мне представляется, появился новый, серьезный повод вернуться к разговору о журнале. Дело в том, что польское издательство «Чителник» (Варшава) приступило к выпуску специальной серии «Архив „Культуры“» и первые тома ее уже вышли в свет. Это переписка редактора журнала Ежи Гедройца с Витольдом Гомбровичем за 1950 — 1969 годы¹, «Автобиография в четыре руки» самого Гедройца², а также другие книги. Эти фундаментальные, добротнo прокомментированные издания позволяют говорить о журнале, основываясь на документальных источниках, которые впервые вводятся в научный оборот и представлены варшавскому издательству самой «Культурой».

У читателя появляется возможность как бы заглянуть на редакционную кухню, лучше понять, как возникали и реализовывались на практике многие идеи и замыслы одного из лучших культурных журналов второй половины XX века, как складывались отношения Гедройца с авторами и т. д.

Само долголетие «Культуры» — большая редкость: ведь в наши дни даже известные издания с многолетним стажем перестают выходить из-за потери подписчиков. Кроме того, все минувшие десятилетия «Культурой» бесценно руководит один человек — журналист, литератор, политик Ежи Гедройц. И, наконец, юбилей «Института литерацкого», а также и «Культуры» совпал с девяностолетием ее главного редактора.

Досадно, конечно, что все эти важные литературные даты не получили у нас в печати никакого отзвука. Досадно уже потому хотя бы, что «Культура» немало сделала для популяризации современной русской литературы за рубежом. К примеру, журнал первым опубликовал на Западе произведения А. Терца (А. Синявского), Н. Аржака (Ю. Даниэля), а в «Библиотеке „Культуры“» отдельными изданиями вышли в свет «Доктор Живаго» Б. Пастернака, трехтомный «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына и ряд книг других авторов, в ту пору гонимых у себя на родине. Кроме того, «Культура» выпустила в 1961 — 1981 годах три спецномера на русском языке, опубликовав в них тех польских

¹ «J. Giedroyc — W. Gombrowicz. Listy 1950 — 1969». Warszawa. «Czytelnik». 1993. 509 s.

² Giedroyc J. Autobiografia na cztery ręce. Warszawa. «Czytelnik». 1994. 326 s. Первоначально текст воспоминаний был надиктован журналисту К. Помяню Гедройцем, который затем существенно переработал рукопись, после чего Помян подготовил ее к печати. Отсюда, видимо, и родилось такое название книги.

литераторов, чьи вещи никогда не смогли бы появиться в СССР по цензурным причинам.

Впрочем, в досадном невнимании российской печати к парижскому журналу-юбилею сказалось и то обстоятельство, что долгие десятилетия «Культура» у нас находилась под строгим запретом. Даже в крупнейших библиотеках страны трудно было получить справку, поступает ли к ним в спецхран подобный журнал³. В результате даже переводчики-полонисты чаще всего никогда не держали «Культуру» в руках, зная о ее существовании лишь понаслышке.

И все-таки одна юбилейная русскоязычная статья, посвященная девяностолетию Е. Гедройца, а значит, и созданному им журналу, мне запомнилась. Правда, опубликована она не в России, а в Париже: я имею в виду небольшой по объему, но живой, эмоциональный отклик Натальи Горбаневской в «Русской мысли» (1996, № 4136, 25 — 31 июля). Конечно, сама эта дата невольно настраивает каждого из пишущих о таком литературном событии на патетику. Но, как предостерегает в своих заметках Н. Горбаневская, «пан Ежи» не любит юбилейных речей. Примечательно, что на страницах самого журнала редакция как бы проигнорировала торжественную дату. Только в одной из последующих книжек (1996, № 9) в рубрике «Заметки редактора» Гедройц, поблагодарив всех приславших поздравления журналу, подчеркнул: «Эта спонтанная реакция людей — свидетельство дружбы и солидарности ближайших сотрудников и авторов, десятки и десятки писем читателей, едва вступающих в жизнь, отклики наших соседей как с Востока (в том числе из России), так и из Германии. Все это придает мне уверенность в том, что труд, которому я посвятил всю жизнь, будет продолжен. Впервые я смотрю в будущее с определенной надеждой».

Для Ежи Гедройца слова, что «Культура» — труд его жизни, — не преувеличение: девяностолетний главредатор действительно отдал журналу все свои силы и талант. Полвека назад в хаосе и неразберихе первых послевоенных лет «Культура» возникла словно бы внезапно, вдруг, что называется, на пустом месте — и все это благодаря усилиям, энергии одного человека и двум-трем его ближайшим сподвижникам.

Первоначальное место рождения журнала — Рим (Италия), год рождения, как уже говорилось, — 1947-й.

Почему именно Италия? На итальянской земле к исходу войны дислоцировался II Польский корпус, участвовавший вместе с войсками союзников в сражениях с нацистами, в частности в знаменитой битве под Монте-Кассино (в России этот корпус больше известен как Армия Андерса). Армия эта была создана в СССР в период войны из числа поляков, оказавшихся в советских концлагерях после нашего «освободительного» похода в Западную Украину и Западную Белоруссию осенью 1939 года. Позднее Армия Андерса перебазировалась на Ближний Восток, в Северную Африку, а затем в Италию...

По представлению капитана Гедройца из армейского отдела пропаганды приказом самого Андерса и были созданы «Институт литерацкий» и редакция журнала «Культура»⁴.

³ Кстати, в мемуарах Гедройца, упомянутых выше, приводится одна деталь, заставляющая думать, что определенные инстанции у нас проявляли к «Культуре» повышенный интерес. Автор воспоминаний пишет: «Контакт с Советским Союзом мы наладили давно через секретаря редакции „Нового мира“ Баранова, который приезжал в Краков и там „отоваривался“; в редакции „Нового мира“, по его словам, на книжной полке стояли, задернутые занавеской, годовые комплекты „Культуры“» (Giedroyc J. Autobiografia na cztery ręce, s. 181 — 182).

Следует только уточнить, что человек с подобной фамилией никогда в редакции не работал, не существовало там и заветной полки с годовыми комплектами «Культуры».

⁴ Вскоре издательство и редакция журнала перебрались в пригород Парижа — Мезон-Лафит, где Гедройцу удалось приобрести в кредит небольшой дом, в нем редакция размещается и поныне.

Казалось бы, странно, что литературный по преимуществу журнал, далекий от интересов армейской среды, возник в ее недрах. Этому, однако, способствовали некоторые обстоятельства тогдашнего момента. Армия располагала соответствующей технической, материальной базой, в создавшихся условиях новому журналу здесь легче было стартовать. Поначалу мыслилось, что «Институт литацакий» сосредоточится на выпуске библиотечки для польских солдат, оказавшихся вдали от родины. Издательскую деятельность решили начать с отечественной классики. Вышли в свет «Книги польского народа и польского пилигримства» А. Мицкевича, «Легионы» Г. Сенкевича.

Что касается «Культуры», то она, по мысли ее организаторов, призвана была помочь осевшим в странах Западной Европы польским воинам обрести свое место под солнцем. Большинство солдат II корпуса не собирались возвращаться в Народную Польшу, как официально стали именовать страну коммунисты, утвердившиеся при советской поддержке на берегах Вислы.

Польские военнослужащие прошли в России через тяжелейшие испытания, включая Катынь и ГУЛАГ, где многие из них сложили головы, потеряли родных, друзей. Те из них, кто уцелел, не питали иллюзий относительно новых порядков в Польше. Каждый понимал: по возвращении домой спокойно жить не будет — придется жить в постоянном страхе за свою судьбу и судьбы близких.

В атмосфере общей растерянности, подавленности, воцарившейся во II корпусе в канун демобилизации, Гедройц рассчитывал, что журнал послужит неким моральным и культурным ориентиром. Жизнь при этом внесла определенные коррективы в работу «Института литацакого». Оказалось, что переиздание польской классики для вчерашних военных, переходящих на положение гражданских лиц, да еще в чужой стране, — не самый насущный вопрос. Журнал же, смело откликающийся на актуальные проблемы дня, значительно важнее.

Приступая в условиях эмиграции к выпуску «Культуры», Гедройц понимал всю сложность стоящей перед ним задачи. Требовалось, например, найти источник финансирования, то есть решить проблему спонсора, с которой наши отечественные печатные издания вплотную столкнулись только совсем недавно.

Не менее сложно (а в условиях эмиграции особенно) было создать свой авторский актив. Гедройц с самого начала сделал ставку на профессионалов высокого класса, на яркие творческие индивидуальности — будь то поэзия, проза, публицистика, эссеистика, литературная критика. В «Культуре» постоянно выступал Витольд Гомбрович, публикуя свой «Дневник». Не менее регулярно печатался в журнале и другой польский писатель-эмигрант, Густав Герлинг-Грудзинский, создатель повести «Иной мир», одной из самых страшных и пронзительных книг о советском ГУЛАГе, узником которого он успел побыть, угодив туда осенью 1939-го. Чеслав Милош, будущий нобелевский лауреат, после своего громкого разрыва с польскими властями, сделавшись невозвращенцем, печатался почти исключительно в парижском журнале, а свои новые книги публиковал в «Библиотеке „Культуры“».

Был у журнала и свой блистательный публицист — политолог Юлиуш Мерошевский (1906 — 1976), регулярно выступавший в «Культуре» по сложнейшим проблемам текущей международной жизни. Его живо волновал немецкий вопрос. Он писал, как именно следует налаживать контакты с ГДР и ФРГ, когда Польша станет свободной, окончательно избавившись от советского диктата. Мерошевский при этом понимал, что его прогнозы о будущем раскладе сил на Европейском континенте — это, как сам он заявил в статье «Может случиться и так...» (1970), «плод абстрактных размышлений», тем не менее, по его словам, «вариант, представленный здесь, более чем вероятен» (и многое из его прогнозов действительно сбылось!).

Мерошевского крайне волновала также и другая проблема: Польша — Россия. Он считал, что будущей Польше необходимо строить свои отношения с Россией на правах партнерства. Но для реализации этого, по мнению публициста

та, потребуется предварительно установить добрососедские контакты с независимыми Украиной и Белоруссией, странами Балтии, что позволит Польше упрочить свои позиции в Европе, а значит, и русских сделает более сговорчивыми...

Примечательно в этой связи, что «Культура» активно, вопреки остальной эмигрантской польской печати, поддержала Владислава Гомулку, когда тот на волне большого общественного подъема в стране пришел к власти и какое-то время пытался проводить независимую внешнюю политику...

Ценным приобретением «Культуры» явилась еще одна «находка» Гедройца: ему удалось привлечь к сотрудничеству молодого литературного критика, публициста и переводчика Константы Еленьского (1922 — 1987), который после гитлеровского вторжения в Польшу жил в Италии. Свободно владеющий несколькими европейскими языками, Еленьский откликался на множество литературных новинок, появившихся в странах Запада. Он одинаково мастерски писал короткие рецензии, обширные обзоры и лапидарные язвительные реплики.

Как Гедройц в едва начинающем литераторе угадал заложенные в том потенциальные возможности — одна из загадок редактора «Культуры», наделенного редкостным даром выискивать и объединять вокруг своего детища разнообразные творческие таланты. Кстати, многолетняя переписка Гедройца с Еленьским, также опубликованная в «Архиве „Культуры“»⁵, открывает нам еще одну грань в характере главного редактора — его настойчивость в достижении поставленной цели, в данном случае — в «вербовке» нужных ему людей. «Охота» Гедройца на Еленьского продолжалась несколько лет. И Гедройц все-таки добился своего: Еленьский переехал из Италии в Париж, дабы быть ближе к редакции, сделавшись одним из самых активных авторов «Культуры».

Естественно, что все эти усилия Гедройца не ускользнули от внимания недругов, к числу которых прежде всего следует отнести представителей официальной польской прессы. Они пристально следили за каждым шагом Гедройца. Но вся критика варшавских зоилов чаще всего сводилась к бездоказательным наскокам, наветам на редактора парижского журнала: его пытались дискредитировать, выставляя то американским шпионом и агентом ЦРУ, то «денежным мешком», черпающим средства для «Культуры» из самых сомнительных источников.

На самом же деле никаких сказочных богатств у журнала не было. Достаточно ознакомиться с уже упоминавшейся выше перепиской Гедройца с Гомбровичем, чтобы удостовериться, сколь острым всегда оставался для «Культуры» финансовый вопрос, актуальный и поныне. Главный редактор постоянно сетует на то, что касса журнала пуста, что гонорары автору «Дневника» невозможно повысить. Словом, в ходе их взаимной переписки вырисовываются трудные будни эмигрантского издания, крайне ограниченного в средствах, возможностях, вынужденного держать на голодном пайке как авторов, так и редакционный аппарат⁶.

В этой же переписке финансовые трудности, переживаемые журналом, приобретают подчас и некоторую трагикомическую окраску. Гомбрович, как человек малопрактичный, но увлекающийся и вовсе не искушенный в денежных делах, пытается заинтересовать Гедройца то одним, то другим фантастическим проектом, дабы привлечь к журналу очередного богатого спонсора из Аргентины (где жил в то время писатель, перебивавшийся на жалкую зарплату мелкого банковского служащего).

Гомбрович уверен, что реализация его очередного проекта разом решит все материальные трудности журнала. Его планы рушатся один за другим, но Гомбрович не унывает, продолжая развивать в своих письмах новые идеи. При этом он даже обижается, что его адресат все больше охладевает к подобным

⁵ Jerzy Giedroyc — Konstanty A. Jeleński. Listy 1950 — 1987». Warszawa. «Czytelnik». 1995. 517 s.

⁶ В одном из писем своему другу, публицисту Ю. Мерошевскому, живущему в Лондоне, Гедройц констатирует: «Все сотрудники «Культуры», включая меня, получают 650 франков в месяц и отдают работе сто процентов своего времени, практически вовсе отказавшись от личной жизни» («„Kultura“ i jej krąg. 1946 — 1986. Katalog wystawy». Paris. 1988, s. 8).

прожектам, будучи человеком более практичным и искушенным в такого рода делах, ясно понимающим психологию толстосумов...

Данная переписка помогает глубже осмыслить и сам «Дневник» Гомбровича, недавно опубликованный фрагментами в «Новом мире» (1996, № 11). Из писем выявляются и обстоятельства появления «Дневника» в «Культуре»: оказывается, саму идею такого непринужденного, свободного разговора Гомбровича с читателем горячо поддержал и конкретизировал Гедройц. И, собственно, как раз «Дневник», печатавшийся сперва в журнале, а затем вышедший в «Библиотеке „Культуры“», сделал Гомбровича знаменитым.

Наконец, в письмах к Гомбровичу в полной мере раскрывается эпистолярный талант Гедройца. Он безусловный мастер этого жанра. И хотя все его эпистолы, в том числе и адресованные Гомбровичу, носят обычно деловой характер, это, по сути, живой, непринужденный разговор с адресатом: точные характеристики лиц, упоминаемых автором, литературная информация, перечень книжных новинок, их лапидарные, емкие оценки и т. п. Прошли десятилетия, а от переписки трудно оторваться, как от увлекательного эпистолярного романа. А ведь вызвана она, повторяю, необходимостью: это единственный способ контакта редактора с автором, ибо последний крайне стеснен в средствах и не может прилететь из далекой Аргентины в Париж на два-три дня, чтобы вычитать верстку своего «Дневника». Вся связь реализуется по почте, зато как она полнокровна, насыщена реалиями жизни!

Гедройц предстает в этой переписке чрезвычайно тактичным собеседником: это мудрый редактор, всядчески обхаживающий импульсивного, подчас просто капризного автора, сотрудничеством с которым он вместе с тем крайне дорожит. Но при этом имеет характер сказать решительное «нет», если очередная «порция» дневниковых записей его почему-либо не устраивает. И как ни удивительно, Гомбрович, при всей своей избалованности, капризности, обычно соглашается с Гедройцем, хотя их переписка все время находится как бы под током.

...Чем основательнее знакомишься с проблематикой «Культуры», погружаясь в очередные тома ее «Архива», тем чаще возникают невольные ассоциации с другим известным эмигрантским периодическим изданием: я имею в виду русский журнал «Современные записки», кстати также выходивший в Париже в 20 — 40-х годах.

С целым рядом проблем, которые приходилось решать издателям и редакторам «Современных записок», неизбежно столкнулась и «Культура». Впрочем, дело не только в финансах или постоянной борьбе за сохранение контингента подписчиков, дело в самой специфике эмигрантского издания. Часто возникает масса таких сложностей, о которых журналы, выходящие на родине, и понятия не имеют. Сама распыленность по миру читательской аудитории эмигрантского журнала — уже специфическая проблема.

Те же «Современные записки», которые в своей издательской деятельности ориентировались в основном на крупные центры русской эмиграции — Париж, Берлин, Прагу, — с некоторым удивлением узнали из читательского письма, что журнал мало освещает жизнь дальневосточных окраин, а также тамошних эмигрантских очагов культуры — Харбина и Шанхая. В результате, учитывая чаяния «периферийных» читателей, редакция даже стала выпускать специальное «дочернее» издание — журнал «Русские записки», с акцентом на азиатскую проблематику и с указанием на его титуле: Париж — Шанхай. Правда, существование нового ежемесячника оказалось непродолжительным: издание прекратилось с началом Второй мировой войны, как, впрочем, и выход самих «Современных записок». «Культура» — в свою очередь — трудным эмигрантским опытом впоследствии поделилась со вновь основанным русским журналом «Континент». Когда выехавший из Советского Союза прозаик Владимир Максимов получил за рубежом в 1974 году реальную возможность выпускать толстый литературно-публицистический журнал, призванный объединить силы новой эмиграции и тех, кому на родине брежневско-андроповская цензура перекрыла кислород, не кто иной, как А. Солженицын, посоветовал

новому редактору: «Я думаю, вам обязательно надо связаться с поляками из „Культуры”»⁷.

...Ассоциации с «Современными записками» в разговоре о «Культуре» возникли не случайно. Оба журнала прежде всего объединяет их открытое неприятие коммунистической, большевистской идеологии, тут их позиции почти во всем совпадают. Есть, впрочем, некоторые различия. Многие русские эмигранты полагали, что советская власть недолговечна и определенная реставрация неминуема. Потому и многие зарубежные литературные журналы жили одним днем. Как отмечал известный литературный критик русского зарубежья Г. Адамович, «казалось, Бунин или Шмелев пишут сейчас в комнате парижского отельчика, но дайте время — следующие их книги выйдут в Москве!»⁸

Различия между «Современными записками» и «Культурой» во многом, пожалуй, объясняются тем, что журнал Ежи Гедройца создавался в иную историческую эпоху; у Гедройца и его коллег уже не возникало прекраснотных мечтаний о скором крахе коммунизма. Обитатели Мезон-Лаффита понимали: коммунистический режим в той же Польше воцарился всерьез и надолго и в своей журналистской практике следует исходить из этих жестких, но очевидных реалий. В «Автобиографии в четыре руки» Гедройц прямо говорит об этом: «От политических и военных деятелей я отличался тем, что полагал: мы обречены на долгое изгнание, они же делали ставку на очередную войну либо на возвращение на родину, да вдобавок к этому отличались удивительным легкомыслием»⁹.

Руководствуясь подобными соображениями, редакция в первом номере журнала апеллировала к читателям, которые, выбрав политическую эмиграцию, оказались за пределами отечества. Она напоминала им, что «культурное пространство, в котором они обитают, — вовсе не мертвая зона». Вместе с тем «Культура» подчеркивала свое стремление обрести читателей и на родине, чтобы укрепить в их сердцах уверенность в том, «что дорогие им нравственные идеалы вовсе не перестали существовать под натиском откровенного насилия».

Таким образом, свой журнал издатели рассматривали не как эмигрантский печатный орган, но как вольную трибуну всех поляков, отстаивающих демократические свободы. С самого начала «Культура» замышлялась как общепольский неподцензурный журнал, который лишь в силу сложившихся обстоятельств выходит не в Варшаве, а в Париже. Поэтому «Институт литерацкий» и «Культура», по словам Помяна, — это не только издательство, но «интеллектуальный центр, где размышляют о судьбах Польши, центр, который стремится оказывать и действительно оказывает воздействие равно как на общественное мнение в самой стране, так и на эмигрантскую среду и на западное общество»¹⁰.

А упоминавшийся уже публицист Ю. Мерошевский подчеркивал: «Ни эволюция, ни революция не входят в программу «Культуры». Наша программа — это преобразование в Советском Союзе и восстановление демократии в странах Восточной Европы»¹¹.

Эти слова и заявления для «Культуры» не остались пустыми декларациями: в данном направлении она всегда и работала. Именно поэтому кардинальные изменения, происшедшие в последнее десятилетие в странах Восточной Европы, в том числе в Польше и Советском Союзе, на руинах которого формируется посткоммунистическая Россия, — все это не застало парижский журнал врасплох, подобно некоторым иным эмигрантским изданиям, не способным оправиться от неожиданных для них социально-политических потрясений, чтобы выработать для себя новую программу действий в современных условиях. Вероятно, отчасти поэтому утратили свой былой авторитет такие

⁷ «Континент», 1995, № 84, стр. 13.

⁸ Адамович Г. Одиночество и свобода. М. «Республика». 1996, стр. 23.

⁹ Giedroyc J. Autobiografia na cztery ręce, s. 121.

¹⁰ «„Kultura” i jej krąg. 1946 — 1986. Katalog wystawy», s. 7.

¹¹ Ibid., s. 18.

журналы, как «Грани» или «Посев»: их прежний культурно-политический пафос потускнел, а новый так и не выработался...

Способность смотреть вперед, предугадывая процессы, назревающие в обществе, в стране, в мире, всегда была присуща «Культуре», чем и объяснялась «непредсказуемость» многих ее поступков и действий на фоне прочих традиционно консервативных эмигрантских газет и журналов, таких, как лондонские польские издания «Ожел бялый» («Белый орел») и особенно двухнедельные «Вядомости» («Известия»), с догматической позицией которых орган Гедройца нередко вел острую полемику.

Выше уже говорилось, что в 50-е годы, когда в ПНР на волне общественного подъема Гомулка пришел к власти, «Культура» поначалу активно поддержала провозглашенный им курс реформ. И хотя сам Первый секретарь ЦК ПОРП вскоре был вынужден отказаться от своих демократических начинаний, тем не менее редакция «Культуры» не сожалела о своем поступке, справедливо полагая, что лучше делать дело и ошибаться, нежели ошибаться, не предпринимая никаких шагов. Впрочем, впоследствии парижский журнал предпочитал воздерживаться от подобных эмоциональных порывов и не выступал в поддержку руководящих варшавских политиков. Даже в отношении ставшего президентом Леха Валенсы «Культура» нередко высказывалась критически, особенно резко осуждая его восточную политику, вернее, отсутствие четкой конструктивной политики в отношениях с посткоммунистической Россией.

...Завершая вышесказанное, хочу подчеркнуть, что настоящие заметки вызваны не только стремлением приурочить их к полувековой торжественной дате. «Культура» не нуждается в патетических словесах, ибо, как подчеркнул когда-то Андре Мальро (в письме, адресованном редакции), «гарантией существования «Культуры» служит каждый очередной ее номер»¹².

«Культура» вот уже полвека остается журналом живым и современным. И это — главное. Конечно, времена меняются и «Культура» меняется вместе с ними. Меняется, сохраняя свою творческую индивидуальность, свой «имидж». Это и помогает журналу оставаться нужным читателям как в самой Польше, так и за ее пределами.

«Культуру» читают люди разных возрастов, вплоть до самых юных. Да и в редакции, в ее авторском активе сменилось уже не одно поколение. Но «Культура» при этом по-прежнему существует — «и ни в зуб ногой», как говаривал Маяковский. Как ей удастся это делать полстолетия, сохраняя молодость, — секрет редакции. Пусть же этот секрет сохраняется и впредь, чтобы читатели, как и ранее, с нетерпением ждали каждый новый номер журнала.

P. S. Уже после сдачи этого материала в набор из Парижа пришла печальная весть: скончался Михаил Геллер (1922 — 1997), известный русский историк и публицист, специалист по новейшей истории России. Последние десятилетия М. Геллер жил в Париже, был профессором Сорбонны.

В «Культуре» М. Геллер под псевдонимом Адам Кручек вел постоянную рубрику «Русские заметки» — своего рода политический дневник, фиксирующий события, происходящие в России. Эти краткие, но емкие, яркие записки и суждения историка (автора многих солидных трудов, ныне издающихся и на его бывшей родине) всегда удачно дополняли очередной номер, придавая ему большую актуальность.

Жаль, что эта рубрика в журнале останется теперь незаполненной. Читателям «Культуры» ее будет очень не хватать.

С. Л.

¹² Giedroyc J. Autobiografia na cztery ręce, s. 273.

О П Ы Т Ы

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО

*

«ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ» КАК КУЛЬТУРНЫЙ ПРИНЦИП

Максима одного из американских отцов основателей уже давно звучит не столько заповедью против безделья, сколько призывом к экономии времени. Идеалы быстрогодействующего процессора и лаконичного дайджеста распространились на самые разные области культурной продукции. Не случайно именно теперь появилась гипотеза, укладывающая события мировой истории в цепь, сокращенную на десять веков.

Впрочем, независимо от ее доказательности и влиятельности сужение хронологического горизонта в общественном сознании происходит, поскольку как раз на «аббревиатуризации» веков и даже тысячелетий базируется образность сегодняшней массовой артпродукции. Достаточно вспомнить рекламные слоганы типа «Великий Инка. Всемирная история. Банк „Империал“». Громадное историческое время сплющено в пятнадцатисекундный видеосюжет и отпечатано, как упаковочное клеймо на пачке современных банкнот. История усыхает — капитал цветет. По мере того как столетия сжимаются в секунды, тысячи разрастаются в миллионы.

Моделью этих превращений служит, в частности, телевидение.

Тенденцией телевещания становится ужимание хронометража при постоянном удорожании эфирного времени. Передачи делаются все короче, отдельные тематические видеосюжеты, например в новостных программах, — все лаконичней (идеал: три плана по картинке, две реплики по звуку), монтаж — все более дробным (в видеоклипе смена планов желательна каждую секунду, а то и через 12 кадров). Стоимость же производства и проката телеминуты неуклонно растет. Емкий пример — повторяемая дважды каждый будний день на ОРТ игра «Угадай мелодию». При том, что каждая передача презентует некую антологию отечественной песни, ни одна песня в ней не звучит больше чем половиной куплета. Время песен сокращено до трех-семи нот (то есть в среднем четыре с половиной минуты сведены к пяти-семи секундам). Таким образом, целый двухчасовой концерт успеваает состояться за один раунд игры — десять минут. (На то, что имеется в виду именно полноценный концерт, указывает наличие в студии эстрадно-симфонического оркестра, который, по слухам, только изображает исполнение, двигаясь под фонограмму тех самых пяти-семи нот. Впрочем, играет «живьем» оркестр или не играет, не важно; важно, что своим присутствием он задает стандарт «большого» концертного времени, тем самым подчеркивая его «экономленность» в передаче.) И стоимость этих минут весьма высока, по крайней мере для рекламодателей.

Из сжимаемого времени выжимаются деньги.

ПРИЛАВОК И АРХЕТИП

Экономия исторического времени может доходить до непосредственного «наклеивания» на современность этикетки начала Новой эры. Так происходит

в рекламе жвачки с «пророческим» слоганом «Наступает день, когда меняется все вокруг». Телекартинка летящих по небу надувных упаковок «Ригли сперминт», «Даблминт» и «Джуси фрукт без сахара», на которые замороженно заритесь и за которыми сомнамбулически тянется пляжная толпа, с принципиальной беззастенчивостью травестирует образ Вифлеемской звезды, за которой пошло христианское человечество, или/и (по принципу «шампунь и кондиционер в одном флаконе») окормления небесным хлебом алчущих насыщения истиной — истиной, которая утвердилась на последующие два тысячелетия. Распологавшиеся в истоках эры от Р. Х. откровение, причащение и спасение, подобно фирменному лейблу, нашиваются на сегодняшние покупки, использование и выбрасывание.

К тому же («почувствуйте разницу!») поданы эти маркировки в экстремально ничтожном виде, чтобы резче «отбить» конец эры от ее начала, а тем самым заострить трюк их формально-сюжетного отождествления. Ведь покупается не дом, не косметический даже набор, а заведомая мелочь, эфемернее которой, кажется, уже ничего нет. Используется не в специфических параметрах человеческой деятельности (той, которая «с головой» и к которой «руки приложить»), но в параметрах жизнедеятельности, скажем, коровы. А выбрасывается и вовсе — плевком.

Плевка, впрочем, рекламмейкеры не показывают, хотя процессу жевания придают такую героически-бесконечную аутоэротичность, как если бы Сизиф работал Нарциссом. Непоказ житейски подразумеваемой точки процесса — не только оттого, что нарциссизированному Сизифу нельзя прекратить свое подвижническое томление, а еще и оттого, что рекламно-жвачная вифлеемщина/тайновечерщина — всего лишь условная игра, которую реалистические жесты могут испортить. Эта реклама — новейший миракль: прагматичные миссионеры разыгрывают рождественскую сказку для дикарей покупателей на понятном им языке. Или — игра культуры (которая нынче центрирована ценностью денег) с самой собою — то ли в прятки, то ли в бисер, то ли в поддавки.

Ведь тут вот какое многократное оборачивание: второй миф — миф о причащении через Покупку к Социуму-Рынку (спасителю здоровья зубов и свежести дыхания) — использует значения первого в качестве своих означающих; первый же миф задним числом «использует» значения второго в качестве означающих своей актуальности. Как если бы, задавая ход рекламе жвачки, евангельский сюжет утверждал, что его традиция в рыночном контексте даже еще живее, чем прежде (здоровей и энергичней, во всяком случае). И это уже третий миф, который делает значения первого и второго в равной мере своими означающими и потому становится осью их взаимооборачивания.

А раскручивается в итоге успех — успех рекламируемого продукта и соответственно успех самого рекламного ролика, который за счет многократного проката успевает так засесть в памяти зрителей, что становится неотъемлемым реквизитом повседневности.

Популярная артпродукция всегда стремилась к успеху. Но, во-первых, успех понимали по-разному, а во-вторых, его не выпячивали в качестве цели. Успех, например, готического романа понимался не только в позднейшем смысле бестселлера (то есть определялся не одним лишь раскупленным тиражом), но и в более «возвышенном» ключе. Восторженные читательницы были обязательным добавочным гонораром автору. То же самое — с «вечнозелеными» шлягерами: конечно, количество проданных пластинок — это главный критерий, но как об основном поводе для гордости о нем в первой половине XX века предпочитали не говорить публично. Больше говорилось о том, как «песня остается с человеком» и как она «строить и жить помогает». Было понятно, что раз пластинки имеют хороший сбыт, значит, песни нравятся. И все же авторы, исполнители и журналисты вслух настаивали лишь на втором, «бескорыстном», моменте. С конца 50-х на Западе его, напротив, уже стали опускать как самоочевидную и не слишком важную добавку к ошеломляющим

цифрам числа продаж и гонорарных сумм. «Первое место по количеству проданных на неделе записей» или «Самая дорогая группа» — так теперь выглядят формулировки успеха (а тем самым как бы и художественной ценности). Вслед за уходящими словесными формулами на периферию реальности отодвигается их смысл. Конечно, нынешний шлягер сочиняется с надеждой понравиться определенной группе публики, как можно более широкой, но перебивает ее другая надежда — на коммерческую отдачу, для которой, как показывает практика телеискусства, особенно рекламного, не обязательно нравиться. Рекламные ролики мыла или гигиенических прокладок не ждут, чтобы их любили; пусть над ними иронизируют, пусть их считают дурацкими и плюются при их очередном появлении на экране. Им достаточно за счет частой повторяемости (о которой публика вовсе не просит, но которая нужна исключительно стратегам и тактикам маркетинга) обрести статус обязательного присутствия, навязнуть в глаза и мозгах, как малосимпатичный политический деятель, у которого без конца берут интервью. Зато, если повезет, они войдут в качестве актуальной реалии в анекдотически-фольклорный репертуар (и благодаря этому задним числом обретут «квазилюбовь» публики)¹.

До эпохи расцвета телерекламы как искусства (или как бы искусства) казалось, что успеха у публики не добиться без привлечения тем, сюжетных ходов, настроений, отработанных в «бескорыстной» романистике, драматургии и лирике (без борьбы чувств и долга, любовных треугольников, романтической нежности и т. п.). То есть невозможен успех стремления к успеху, не драпированного в ризы дидактики или в рюши занимательности.

И теперь еще крупные формы — телесериалы, например, где надо же чем-то заполнять время, — эксплуатируют все перечисленное и неперечисленное, что выросло в профессиональном искусстве из мифологического субстрата, продифференцировав его в топику всевозможных историй. (Впрочем, речь идет именно что о драпировке, которая становится к тому же все прозрачнее и фиктивнее, почти как платье голого короля. Ведь в сериалах дление экранного времени — самоцель. Поэтому традиционные сюжетные ходы и диспозиции характеров теряют самостоятельный интерес и автономный смысл. Они есть чистые единицы в аддитивном ряду. Недаром сценаристам, например, «Санта-Барбары» ничего не стоит заставить одну героиню несколько раз впасть в неизлечимый паралич и чудом вылечиться, разных героев терять память, выстраивать необозримое число любовных треугольников из конечного числа персонажей, к каждой десятой серии приписать пожар с гибелью одних персонажей, а к каждой седьмой серии — наводнение с чудесным спасением других, а ко всему к этому еще и пластично менять — по текущей сюжетослагательной необходимости — моральную окраску одного и того же героя: с нестерпимо хорошего на такого злодея, что и клейма негде ставить. Все эти повторы и внезапные перемены указывают на то, что традиционные сюжетные ходы пережили в телесериалах математическое абстрагирование: не Иден опять утратила способность ходить, а «189 — 190»; не Круз внезапно полюбил ребенка, о существовании которого не подозревал, а «очередная локальная завязка, для развязки которой потребуется еще серий эдак 15 — 20».)

В малых же формах, чей объем близок масштабам видеоклипа, на историоподобное сюжетосложение времени нет. Драпировать главную цель некогда, ее надо как можно быстрее достичь, напрямую обратившись от современного прилавка к мифологическому архетипу.

Кратчайшая прямая между тем и другим — счет. Счет любят денежки; беспрестанно подсчитывают бытие (в таких единицах, как дни творения, перво-

¹ Вот уже и небесные жвачки вызвали соответствующую реакцию, правда не народно-органическую, а «синтетическую» — развлекательного телебизнеса: в «десятке анекдотов» из «Джентльмен-шоу» была рассказана контаминация из трех богатейшей на распутье и ожидания, когда «„Ригли сперминт“ по небу полетит».

элементы, поколения предков и т. д.) тео-, онто- и антропогонические мифы². В нынешних поп-продуктах новую — взрослую и прагматичную — жизнь обрела детская модель считалки.

БУХГАЛТЕРИЯ И НУМЕРОЛОГИЯ

Вот выдержки из текста одной из самых популярных (и притом самых как бы «важных», поскольку речь идет о фигурах — А. Б. Пугачевой и ее супруге, почитаемых и почти что официозно, и сколь угодно неформально — слева направо и сверху донизу) песенок последних двух лет:

«Зайка моя, я твой зайчик. / Ручка моя, я твой пальчик. / Рыбка моя, я твой глазик. / Банька моя, я твой тазик. / Солнце мое, я твой лучик. / Дверка моя, я твой ключик... / Ты — бережок, а я — речка. / Ты — фитилек, а я — свечка. / Ты — генерал; я — погоны. / Ты — паровоз; я — вагоны. / Крестик ты мой, я — твой нолик. / Ты — мой удав, я твой — кролик»...

Понятно, что автобиографическая пряность, наследница романтической исповедальности, — приправа не для всех продуктов поп-сцены. Тут надо стать мифологическим героем, как А. Б. Пугачева, которую застойный анекдот противопоставил Брежневу в качестве имени для эпохи: «В энциклопедиях третьего тысячелетия будет написано: „Брежнев — мелкий тиран эпохи Аллы Пугачевой”».

К слову, сменив в мифопаре Брежнева на Киркорова, Пугачева сама заняла позицию своего бывшего антагониста, поскольку у того были лета, официальное признание и награды, каковые теперь есть у нее. (Соответственно Киркоров стал «Пугачевой» — и частично действительно стал, ведь его нынешний имидж неотрывает от общественно-культурной роли супруга Аллы Борисовны.)³

Итак, надо закрепить в сознании публики в качестве постоянного персонажа «многосерийных» домыслов, чтобы эстрадное обыгрывание реальной свадьбы обрело значение двери, которую открыли с ироничным видеорадушием, избавив наконец любопытствующих от утомительного подглядывания в замочную скважину. На фоне популярного телесериального зрелища семейно-корпоративных перипетий, а также новостных программ, комментаторы которых гадают о запутанно-тесных отношениях между властными персонажами, жест весьма актуален.

Но песенка точно выстрелила и в другую цель, даже цели.

Определяясь в качестве принципиального пустяка (лирический повод, на поп-сцене заведомо несерьезный, еще и вышучен) и подчеркивая пустячность детскими рифмами типа «сплю — люблю», она тем не менее заряжена опреде-

² О значимости нумерологических кодов в древних культурах см.: Топоров В. Н. О числовых моделях в архаичных текстах. — В сб.: «Структура текста». М. 1980.

На полпути между подсчетом стоимостей и мифологической нумерологией находилась советская мания самоцельного количества: чугуна на душу населения, пропагандистских мероприятий к юбилейной дате, личного состава в армии. При этом армейские колонны стали зримым воплощением всех других квантитативных флюсов. Марширующие парадным строем наращивают абстрактное количество: «ать-два + ать-два» — во времени, километры — в пространстве.

³ Леви-Строс описывал историческую жизнь мифа словно метя в наших советско-постсоветских героев: «...в непрекращающемся реконструировании с помощью тех же самых материалов... прежние цели играют роль средств: означаемое превращается в означающее и наоборот. ...Ритуалы и мифы... разрушают и вновь составляют целостные совокупности событий... и пользуются этим, как и неразрушаемыми частями, для структуральных размещений, попеременно выступающих то целью, то средством» (Леви-Строс К. Первобытное мышление. М. 1994, стр. 130, 140). В застойном анекдоте «Пугачева» была означаемым (средством) для «Брежнева» — его склеротически-мнимой значимости; в послеперестроечном жизненно-эстрадном сюжете она стала означаемым (целью), а означаемым ее неуважительно-победительного темперамента является отрицание отрицания «Брежнева» — «Киркоров». Но только нынешний «Брежнев», то есть Пугачева, не вызывает насмешек, а нынешняя «Пугачева», то есть Киркоров, — горячей всенародной солидарности.

ленным пафосом, который состоит в упоении беспифосностью. В пафосе беспифосности, затрагивающем даже и самое поэтику (рифма «сплю — люблю» дважды повторяется в припеве, который, в свою очередь, повторяется четырежды, — то есть «сплю — люблю» во всей своей незамутненной примитивности выведено на самый первый план композиции), постсоветская эстрада подчеркивает новообретенную коммерческую самооткровенность, ранее искажавшуюся государственно-идеологическими обязательствами. Впрочем, не бывает модной песенки (даже абсолютно «деидеологизированной», даже сделанной как частное семейное предприятие на тему частного семейного предприятия) без актуального социального шифра. И в «Зайке» есть не только эстрадная своевременность.

Композиционная «фишка» послесвадебного хита состоит в сочетании жесткого распорядка формы и принципиально рыхлой внутренней структуры. В принципиальности того и другого, в эстетизированной беззастенчивости их сочетания есть даже своеобразная элегантность и артистичный шик (как если бы наивные знаки развлекательного блеска — страусовые перья и прочая мишурная роскошь опереточного гениза — поумнели, концептуализировались, вобрали авангардистский аскетически-интеллектуальный импульс, но остались знаками развлекательного блеска). Текст построен на монотонных парных параллелизмах: ты — то, я — это; ты — первое, я — второе. Та же лапидарность в музыке. Куплет состоит из четырех почти одинаковых фраз; припев — из трех других. Куплет — сплошное «то», припев — сплошное «это». Тональная же ткань сводится к пресловутым трем аккордам. И хотя мелодико-гармоническое блюдо, засохшее еще до изготовления, обильно сдобрено анкл-бенсом аранжировки, ухо поглощает его с той инерционной икотой, которая predeterminedена схематической нарезкой музыкального времени.

Казарменно скудная регулярность стихо- и музыкостроения служит, однако, алиби для логики типа «в огороде бузина». В повторяемых параллелизмах возникают две колонки квазисинонимов «Пугачева» и «Киркорову» (называемым в последнем куплете). «Пугачева» — это «зайка», который «крестик», который «паровоз», который «ручка» и т. д., «Киркоров» — «зайчик», который «нолик», который «вагоны», которые «пальчик» и т. д. Вопиюще мозаичное заполнение функционально однородных мест смыкается с просвечивающими друг сквозь друга на лице общественной жизни строгостью номенклатурного фундаментализма и новейшей скандальной суетой — напоминая о Лебеде, который Рыбкин, который Березовский, который ОРТ, которое СБ, который Чечня, которая оружие, которое ВПК, который многомесячные задержки зарплаты, которые коммунисты, которые выборы губернаторов, которые крепкие хозяйственники, которые Лужков.

Разумеется, не одна лишь «Зайка» вписывается — на правах произвольного, но тем более показательного кода — в общественно-политический контекст. Постсоветская генерация шлягера отрабатывает простейшие рефлекс словесно-мелодической организации через логику буриме. «А мне говорят: ты сошла с ума. / А я говорю: разберусь сама»; «Ты морячка, я моряк; / Ты рыбачка, я рыбак»; «Улочки московские, / Спасские, Кремлевские, / Я люблю вас, улочки, / Улочки-шкатулочки»; «Эти глазки, эти голубые глазки, / Эти сказки, эти золотые сказки»; «Ах ты, бедная овечка, / Что же бьется так сердечко?»; «Говорил мне хан: / Не ходи на бархан», — или уж совсем просто: «Пири-пири-па, подсолнух, пири-пири-па». Все эти тексты, формально ясные как «ать-два» (или «деньги — товар»), уровнем содержательной связности близки к сонному бормотанию. И музыкально озвучиваются они тоже как бы в полудреме интонационного инстинкта: монотонным повтором пары кратких, шарманочно-лапидарных, мелодических фраз⁴.

⁴ В современных шлягерах возобладала древнейшая форма, которую в музыковедении именуют «пара периодичностей»: $a+a' - a+a' - b+b' - b+b'...$ (так — в «Зайке»: $a = \text{«Зайка моя...»}$, $a' = \text{«...я твой зайчик...»}$; $b = \text{«...я ногами плохо сплю...»}$; $b' = \text{«...потому что я тебя люблю...»}$); причем различие между a и b минимально, его задает смена аккорда, а не

Но ведь модель эта близка не только торговому киоску или армейской шапке. Следует вспомнить про бинарную оппозицию, без которой исследователи мифа шагу ступить не могут. В связи с «Зайкой» такое воспоминание тем более уместно, что ее структура — вряд ли вполне сознательно, но вполне последовательно — воспроизводит (как рекламное чудо с небесными жвачками — явление Вифлеемской звезды/хлеба с небес) свойственный мифологическим текстам нумерологический код полноты бытия.

Исчерпывающее подсчитывание и систематическое именование в архаичных текстах и ритуалах организовалось исходной бинарной оппозицией (например, «влажное/сухое» как «жизнь/смерть») и имело космоизирующий смысл⁵. В «Зайке» оно симулируется эффектом изобилия парных уподоблений для «я» и «ты» (эффект создается тем, что, кроме этих парных уподоблений, в тексте куплетов практически ничего нет).

При этом, как уже упоминалось, нанизываемые в тексте двоичности выхвачены из несопоставимых сфер. Тут можно было бы усмотреть аналогию травестирующему приему, который отработан в балагурных сказках (например, в русском сказочном репертуаре состязание лгунов выигрывает лгущий фундаментально: не о капусте величиной с дом, но о мировой оси, которая — в виде колоса, выросшего из мякны меж рогов пасущегося быка, — стала тленной, ломкой, не закрепленной в пространстве, то есть утратила все свои сакральные характеристики). Однако то, что кажется аналогией фольклорной игре с сакральными символами, есть на самом деле принципиальное «как попало»: по течению речевого автоматизма сплавляется бытовой мусор сознания, так что к берегу сравнений и метафор прибывает то паровоз, то тазик, то ручку, то крестик. А все вместе эти денотаты — только «нолики», то есть пустые артикуляции акцентов структуры. Автоматизм мышления и стиль считалки тесно связаны и в другом хите нашего времени — вышеупомянутой телеигре «Угадай мелодию». Дело в том, что «угадыванием мелодии» считается припоминание ударных слов текста (это может быть первая строка куплета или рефрен) — не нужно помнить ни имен композитора и автора текста, ни названия песни. Тексты же тех (советских) песен, которые у людей старше тридцати благодаря телевидению и радио 70-х прочно засели в бессознательной памяти, приходят на язык автоматически, рефлекторно при первых звуках мелодии⁶.

В сочетании со «считалочной» природой композиции речевой автоматизм дает образ кассового аппарата. Именно на машинку для подсчета банкнот и наклеены в «Зайке» мифологические константы. И в этом смысле «Зайка моя» — некоторым образом «наше все». Поскольку действительное «наше

развитие мелодии). Пара периодичностей ведет свое происхождение от антифонной ритуальной песнепляски; например, в русском фольклоре: «А мы просо сеяли, сеяли» (поют девушки), «...А мы просо вытопчем, вытопчем» (поют юноши). В качестве смысловой структуры пара периодичностей хранит следы фундаментальных оппозиций мифомышления: «женское/мужское», «сев/жатва» и т. п. В то же время формы типа «a+a : b+b...» простейшим образом артикулируют четность пластического движения (левое-правое, ноги-руки, шаг-прыжок и т. п.). Рутинная танцевальность в этих формах, таким образом, нагружена некой остаточной, но «глубинной» осмысленностью, как рекламируемые жвачки — евангельской символикой.

⁵ См., например: Леви-Строс К. Первобытное мышление, стр. 150 и след.

⁶ Зависимость памяти на слово от «взвешейся» в подкорку мелодической формулы знали и использовали композиторы еще в XVII — XVIII веках. Авторы духовных кантат, в частности И. С. Бах, нередко цитировали мелодии протестантских хоралов не целиком, но тремя-пятью звуками начальной фразы. И не для того, чтобы напомнить мелодию, но исключительно с целью вызвать в памяти слушателей текст известного хорала, который, таким образом, мог выполнять роль проповеднического комментария к представляемой речитативом или арией евангельской сюжетной ситуации.

Впрочем, не обязательно ходить так далеко, да еще в историю музыки. На самом деле мелодии, которые предлагается угадывать в популярной телеигре, сродни тому развлекательному репертуару, о котором повествует анекдот о стародавних приятелях, наизусть друг другу известных: вместо того чтобы рассказывать анекдоты, они просто объявляют их номера и дружно хохочут.

все» — телевидение — обнаруживает те же принципы структурирования времени, на которых базируется успех «Зайки».

ТЕМПОРАЛЬНАЯ РЕНТА, ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Программирование телевремени держится (как песенка — на квазисинонимах «зайки» и «зайчика») на двух «целых числах» (остальное — «дробь»). Эти «числа» — новости и игры. Другие тележанры — промежуточные (как передачи о поп-тусовке, например «Постмузыкальные новости» на ТВ-6, Москва) образования по отношению к этим двум. Новости и игры — «единицы» антитетичные и вместе единые, как антитетичны и едины «Пугачева» (в качестве «женского-зрелого») и «Киркоров» (в качестве «мужского-юного»). Добавочный антитетический момент — «серьезное/увеселительное» (новости неизбежно серьезны; игры увеселительны).

Аналогичного же единства (покуда не сочетались браком ведущие «Итогов» и «Угадай мелодию») вроде бы не просматривается. Однако между новостями и играми все-таки не меньше общности, чем между зрелой «Зайкой» и якобы инфантильным «Зайчиком». Ведь подтекст (а иногда и текст) новостных программ составляют некие вполне азартные закулисные политические и финансовые игры. Подтекстом же телеигр является серьезный денежный интерес — не столько даже участников, сколько продюсеров.

Важнее, однако, что для новостей и игр (а также всего, что между ними, — от ток-шоу «Карьера» до клуба рассказчиков анекдотов) существует единое имиджевое поле. Структурировано это пространство рядом ведущих рейтинговых передач (ими — от Е. Киселева и В. Познера до бесфамильного Гоши из дискотеки «Партийная зона» — маркированы деления на шкале «информация — развлечение»; переключателем же от одного полюса к другому можно считать ведущего игры с апробированно-«дурацким» названием «Поле чудес», идущей на первом канале, который с недавних пор по совместительству ведет на том же канале игру с принципиально «умным» названием «Колесо истории»). А заполнено оно (если не считать анонимной массы игроков и болельщиков «из народа», которые символизируют телезрителей, попавших в студию, и воссоздают ситуацию телесмотра как телезрелища) обозримым количеством VIP, «очень важных персон», — примелькавшихся на телеэкране лиц из мира политики и финансов, с одной стороны, и из сферы арт- и шоу-бизнеса — с другой. То есть ряд постоянных телелиц простирается, условно говоря, от очередного секретаря Совета Безопасности до каких-нибудь активно раскручиваемых на эстраде «Иванушек Интернешнл». В этом ряду переключателем от «серьезного» к «развлекательному» можно считать К. Борового, который выступает в новостных программах или ток-шоу в качестве претендента на власть и политологически-экономического аналитика, но в то же время зарекомендовал себя в роли автора юмористических частушек. Персонажей вроде Брынцалова, крупного бизнесмена с претензиями на верховный политический статус и вместе с тем ярко выраженного скомороха, или Жириновского, который уже давно и более тонко отыграл комплекс Брынцалова (так что последнего можно считать лубочной карикатурой на первого), следует поместить ближе к шоу.

Тех, кто по одну, и тех, кто по другую сторону от К. Борового, объединяет частота и как бы обязательность появления в разных телепрограммах на разных телеканалах. Они — как «лица прокладок» или «лица антипростудных средств» из одних и тех же рекламных роликов, размещаемых на всех каналах во всех передачах, — характеризуются наличием на телеэкране как бы независимо от жанра и темы.

Однако в отличие от рекламных имиджей сложившийся контингент наших VIP находится друг с другом в отношениях приятельства или знакомства, ко-

торые и демонстрируются. Речь на самом деле идет о презентации некоего «света» с его интригующей «светской жизнью», некой кастово замкнутой, живущей по стандарту, недоступному членам «простого» телесмотрящего сословия (и потому интересной, как отвлекающее от повседневности чтиво или как скандальная хроника отношений внутри королевской семьи), «знати». «Знати» в буквальном смысле: этих людей (от участников телеклуба «Знатоков» до постоянно приглашаемых в «Итоги» политологов-комментаторов, от А. Макаревича и его гостей в передаче «Смак» до Н. Фоменко и его гостей в телеигре «Проще простого») знают, поскольку они неизменно предъявляемы телесмотрящему населению в качестве действующих лиц некой не то отражаемой, не то создаваемой, не то симулируемой телевидением действительности.

Тут возможна еще одна аналогия — с телесериалами. Как еженедельно непременны Си-Си Кэпвелл и Джина из «Санта-Барбары», так регулярно обязательны И. Хакамада и Ф. Киркоров. При этом у каждого из членов круга телезнати есть своя история, переплетающаяся с историями других участников тусовки: в то время как Джина и Си-Си Кэпвелл очередной раз сходятся, Н. Травкина и Л. Лещенко сводят в ток-шоу «Карьера»; в телепередаче под названием «VIP» (таковая должна была появиться: контекст порождает текст) А. Свиридова интервьюировала Б. Немцова, тот на следующий день — Ладу Дэнс, та — Б. Федорова, тот — В. Леонтьева, тот — кого-то из Думы, тот — кого-то из «Дюны» и т. д. (перечень участников дан по памяти и вообще отчасти придуман, но он полностью соответствует идее телепроекта). И — реальным фоном, выплескиваемым на экран и в играх, и в новостях, и во всех промежуточных видах заполнения телевремени: Ф. Киркоров женится на А. Пугачевой, Л. Федосеева-Шукшина выходит замуж за Б. Алибасова, а ее дочь вместе с «детьми»-«нанайцами» проводит рекламную телекампанию дубленых курток (что можно считать производственным династическим браком).

В некотором отношении все входящие в круг телезнати персонажи являются такими же квазианалогами друг друга, как паровоз, крестик, ручка, тазик из песенки про «зайку». То есть они выступают как случайные образовавшиеся именно такой на сегодня ряд артикуляции счетных долей телевремени. То, что в ток-шоу «Карьера» в таком-то выпуске встретились именно Н. Травкин с Л. Лещенко, кто-то еще из политического «света» с кем-то еще из «света» артистического, содержательно никак не мотивировано. То, что эстрадную семью Пресняковых — Пугачевых сегодня в «Шоу-досье» представляет Л. Измайлов, а завтра о ней рассказывают в «Постмузыкальных новостях», не образует никакого связного временного сюжета. Скорее речь идет об абстрактном делении и длении эфирного времени, о телевремени как «считалке» — формально правильной и содержательно индифферентной структуре. И чем она более свободна от внутренней смысловой обязательности, тем более она отсвечивает шиком самосанкционирования, когда «что хотят, то и делают» из морального осуждения превращается в уважительную констатацию способностей к успеху.

Для зрителей эта структура — нечто вроде календарного регулирования жизни, придающей повседневности необходимый минимум ритуализованного (то есть культурно санкционированного) порядка. Для теледеятелей же эта структура — генератор и счетчик успеха (который, повторим, нынче, в эпоху телерекламы, измеряется частотностью появления в горизонте публичности) и денег (которые разными путями приносит регулярное публичное фигурирование).

И дело даже не в том, что действует формула «деньги — телевремя — деньги», то есть что значительная часть персональных телепоявлений проплачивается⁷ и что телепоявления коммерчески выгодны. Важнее закрепившаяся

⁷ Проплачивается если даже не самими «знатными» (хотя многим из них поддержка статуса телезнати необходима для политического и/или экономического продвижения), то спонсорами программ, размещающими в них свою рекламу (следовательно, обретающими рыночно необходимый статус «знатных» в соседстве с «культурно-знатными»).

в общественном сознании (и в реальной практике) связь между никем не узаконенным правом формально структурировать-заполнять общественное время (= быть аналогом часового механизма, считающего всеобщие секунды) и личным успехом-доходом носителей этого права.

Речь идет о совершенно новой интерпретации американского афоризма, поворачивающей отмеченную им эпоху Нового времени вспять — к средневековым рентам и ленам. Только в роли натурального источника богатства и престижа выступают не наследуемые земельные владения, а опосредованные электронными коммуникациями и/или художественно оформленные для них пустые часы и минуты. Чистое время, то, что всегда было собственностью Бога, непосредственным образом (независимо от содержания, каким оно заполнено, от количества и качества измеряемой им работы, лишь бы оно было как-то оформлено и в этом виде публично предъявлено) стало источником дохода. А поскольку важна прежде всего абстрактная членораздельность, то минута не менее коммерчески эффективна, чем час; отсюда — мелкая делимость доходного времени и в целом — сжимание темпоральных горизонтов вплоть до описанного «тождества» мифологической архаики и товарной современности.

Старый прогноз насчет Нового Средневековья в сегодняшней культуре сбывается и тем самым конкретизируется. Новое Средневековье — это новейшее время денег, время «экономики времени».



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

«ПЕТЕРБУРГ» АНДРЕЯ БЕЛОГО

Из «Литературной коллекции»

О САМОМ АНДРЕЕ БЕЛОМ. Он слишком взбрычив и неуравновешен, чтобы написать уравновешенное произведение. В самих его безудержных фантазиях — нездоровость, умственный сдвиг. А точнее: мирочувствие его — «Больны почти все». И все его действующие лица настолько исковерканы, будто он и вообразить не может ничего здорового. Его собственная, даже декадентски культивированная, болезненность многократно сказывается в романе. И причудливо до анекдотичности высказывает себя в Николае Аполлоновиче: то — неделю сидел дома в чёрной маскарадной маске (в реальности — размолвка с Л. Д. Блок) и «хотелось предстать в домино цвета пламени, в маске, с кинжалом в руке». То, у Дудкина: «Ни в кого из женщин не был влюблён: был влюблён в отдельные части женского тела, в туалетные принадлежности, в чулки». Да сам Белый пишет: «Я прошёл сквозь болезнь, где упали в безумие Фридрих Ницше, великолепный Шуман и Гёльдерлин».

Предчувствует (написано перед революцией) катастрофу: «Прыжок над историей будет; великое будет волнение; рассечётся земля». Но часто взбрызгивает в текст теософские мысли и бредни, множество медиумических намёков (которые вовсе нельзя понять без примечаний). Намёки, намёки беспорядочно запутывают читателя: то «зоны гностиков», то нудная мистика, философическое истолкование бредов. Свои оккультные переживания навязывает персонажам. Теософический бред — как сон Николая Аполлоновича над бомбой, подготавливаемой ко взрыву. Усиленно наталкивает в книгу свою эрудицию, что читал в увлечении. (Он под сильным влиянием Ницше и других философов.)

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ РОМАНА. (Задуман лишь как 2-я часть трилогии, после «Серебряного голубя» и перед чем-то ещё, ненаписанным. Здесь сужу как об отдельной книге.)

Надо признать: нечто — до того совсем не виданное в русской прозе, полностью рвёт с обстоятельным, спокойным рассказом со стороны в духе XIX века. Нельзя отказать, что литературно — это очень интересно. Раздвигает представления о возможностях прозы. Очень новаторски, из этого вышло многое в литературе 20-х годов (хотя истинного толку не вышло, может быть от советской идеологической утюжки).

Вместе с тем, однако, Белый впитывает, заимствует мотивы и приёмы из литературы XIX века. (И все они толкуются в академических примечаниях, а то ведь не всегда и поймут.) Сам Белый признавал, что часто применяет гоголевский приём тройного повтора (и другие гоголевские приёмы и восприятия). В Аблеухове-старшем повторяет и описание толстовского Каренина. В описании террориста Дудкина — изошрённый Достоевский. Его Морковин вдруг — неза-

конный брат Николая Аполлоновича — опять наплыв из Достоевского. Пушкинские эпиграфы и цитаты приводятся мало того, что неаккуратно (или «исправленно»), но и неуместно, и навязчиво часто. Вообще: обильные — и без яркой цели — реминисценции из русской литературы (и не только), слишком много их. Не брезгует и сомнительным пародированием Библии, Апокалипсиса.

Особо стоит — неоднократно заимствование из «Медного всадника», — и местами сколь чрезмерное («с хохотом побежал» от Всадника). Но настойчиво обуздав этот образ — даёт уже и собственную яркую, почти замечательную картину, как Всадник по лестнице поднимается в комнату Дудкина.

Напряжён, выразительно передаёт процессы мысли.

Но всё вместе создаёт впечатление большой неровности повествования: чередование удач, нелепостей, вздора, сумасшествия, безумия. Впечатление, всё же, патологии.

Несмотря на растянутость (особенно в 1-й половине) — во 2-й половине сгущение событий возрастает: больше половины романа вмещается меньше чем в сутки, и сюжет выказывается вполне упругим и продуманным. (Сюжет ещё и напряжён крутящимися часами бомбы.)

Большой замах — вобрать в один роман и Победоносцева, и Азефа, да ещё втиснуть в роковые октябрьские дни 1905 г. (Но ненормально, что террористы совсем не затронуты уличными событиями, всеобщей забастовкой, никак не соотносятся с ними, будто это разные времена.)

Однако и это всё содержание укладывалось бы в меньший объём, особенно за счёт первой половины. Написано очень неэкономно (сознательно неэкономно, в этом художественный замысел) — но идёт ли это в ХХ век? Вот — покопировали эту манеру в 20-е годы — да уже полвека как и забыли. Сегодня эта книга — экспонат литературного прошлого, для знатоков и гурманов.

Чтение её — утомляет, большая и не везде приятная работа. Эмиль Фаге как-то сказал о романах Жорж Занд, что их читают «со странной смесью скуки, досады и восхищения». Кажется несовместимо? Но именно это я испытал при чтении «Петербурга». Удовольствие от чтения — редкими местами, а то усталость, отталкивание.

СТИЛЬ. Откуда же возникло такое новаторство? От представления (ложного), что обычными фразами уже ничего не выразить? Белый писал Б. В. Томашевскому в 1933: «Я давно осознал тему свою: эта тема — косноязычие, постоянно преодолеваемое искусственно себе сфабрикованным языком».

Буйный и нервный словесный поток. Многословие и повторность — избыточные. Белый считает это художественным приёмом? — мне кажется: это не по веку. Циклические повторы включены в само построение вещи. И изнурительные повторы целыми абзацами полубессмысленных наборов слов. Словесная и образная избыточность — вот уж не упрекнёшь в лаконичности.

Непонятен замысел в произвольном, и не всегда удачном выдёргивании фразы, полужаза, синтагмы — в заголовок подглавки. Тут нет художественной системы, нет линии воздействия. «Жители островов поражают вас...» (в начале тема островов назойливо разрабатывается, потом вовсе покинута); «И, увидев, расширились, засветились, блеснули...» — к чему так?

Утомляет повторное использование всё тех же приёмов — иногда поблизости, иногда много спустя. Даже вполне буквальное повторение фраз, без какого-либо развёртывания их. («И откуда испуганно поглядел Васильевский остров».) Повторами (иногда с малыми поворотами) — как бы искусственное выдувание значительности. Разобрать — так многие пейзажные абзацы состоят из одних повторов. Иногда от неумеренных повторов («он заведовал где-то там провиантом» десятков раз) ослабляется неплохая бы острота. То избыточная светливая пояснительность. Иногда несколько подряд абзацев декламации (от Медного всадника — к будущему нашествию жёлтых, до надрыва). То риторические вопросы от автора.

И вместе с тем (лишь отчасти!) в использовании этих повторов есть своё очарование. Многократный возврат к одним и тем же деталям пейзажа, пого-

ды, зданий — создаёт и крупный ритм. Стократным повторением, часто дословным, автор просто внедряет сырость, жёлто-зелёные туманы, гниль, полутьму, фрески Петербурга — и тот верен получается! Вот эта постоянная неясность очертаний замечательна. Так Белому удаётся — проза *приблизительного* рисунка, импрессионизм. Топография Петербурга не соблюдается, не соразмеряется, и мы с этим смиряемся вскоре. Стены Петропавловской крепости — у него белые. И погода шалит: одно и то же утро — и тускло-пасмурное, и залиvisto-солнечное. Очерк Петербурга складывается из расплывчатых, прерывистых, но и почти кружевных линий: Петербург получается миражно-лёгок. (Летучий Голландец, основывая Петербург: «Назвать островами волну набегающих облаков».) В нерезких контурах даётся и слежка охранников за террористом и черты движения 1905 года.

Сперва раздражают, а потом привыкаешь к этим бесчисленным вставленным «там, там... где-то там, где-то там, вон с того, вон с этого, вон те», «неясно так выдавалось», — и хотя чаще эти вставки можно без ущерба для смысла и опустить, но надо признать: они частенько создают некую пространственность и зрительность.

Конечно, сила изобразительности у него большая — хотя однообразная и часто перехлёстывает в чрезмерность, без соображения о соразмерности частей. Местами достигает возвышенно-поэтического и одновременно иронического тона (переезд Аплеухова в карете в Учреждение) — но такого напряжения ни перо, ни читатель не могут выдержать на большом пространстве.

Хорошо и многократно обыграна кариатида. Смотрит — и глазами самой кариатиды: ах, если б она могла распрямиться и крикнуть! «Распрямились бы мускулистые руки на взлетевших над каменной головою локтях...» и ярко до конца абзаца. То — сидит ворона на ней. Или: «Из тумана в пятно [света] сверху мертвенно пала кариатида подъезда над остриём фонаря».

Очень зримо даны: бал — в соединении, в цельном впечатлении кружащей толпы. — Вид парадов на Марсовом поле. — Вид приёмной Николая Аполлоновича. — Небо перед восходом солнца («Бирюзовый прорыв нёсся по небу; а навстречу ему полетело сквозь тучи пятно горящего фосфора, неожиданно превратившись там в сплошной яркоблистающий месяц; на мгновенье всё вспыхнуло...» и т. д.). — Вид на Неву из окна Николая Аполлоновича («Какое-то фосфорическое пятно и туманно и бешено пронеслось по небу...» и до конца большого абзаца). — И ещё один вид на Неву из окна («...над невиской волной понеслись розоватые облачка; клочковатые облачка вырывались из труб убегающих...»). — Ночная Нева в огнях. — Пролёт придворной кареты («...то придворная чёрная карета пронесла ярко-красные фонари, будто кровью налитые взоры...»). — Утро над Мойкой («Розоватое клочковатое облачко протянулось по Мойке: это было облачко от трубы пробежавшего пароходика...» и т. д.) — замечаем почти дословный повтор. — Огонь в камине («Во все стороны поразвились красные, кипящие светочи — бьющиеся огни...» и до конца абзаца); «мечевидные светочи солнца».

Ещё что замечательно: оттеночно, разнообразно чувствует краски, часто применяет это качество, заливая красками роман.

Бледно-палевая печаль месяца.

Отдельные фразы:

Каменность взора, струящая одни только мозговые вихри.

Береговые фонари уронили огневые слёзы в Неву.

Отлично.

Обильно ввёл в диалоги — обрывчатые звукоподражания речи. Но уже — и переборы невразумительностей.

В репликах он и не соблюдает чередования собеседников: даже три отдельных подряд реплики (и безо всяких ремарок) могут принадлежать одному и тому же лицу. Чаще — в этом нет и никакого резону, только путает читателя, не определишь, кто говорит. Или даёт вместо реплик — одни вопросительные, восклицательные знаки, в комбинациях.

Вдохновенно передаёт он петербургский пейзаж, а прохожих на улице — всегда сниженно: «гуща члеников»; «многоножка на Невском»; «бороды, усы, подбородки»; «носы протекали во множестве: орлиные, утиные, петушинные, зеленеватые, белые... Здесь текли... котелки, перья, фуражки, фуражки...» и долго ещё. Толпы он сторонится, даже боится.

РИТМИКА? Общая характеристика прозы этого романа как *ритмической* — по моему неверна, хотя ритмика и устроена вдоль всего романа (и во многих фразах — искусственно). Я скорей бы назвал эту прозу *орнаментальной*, и даже безудержно. Если ритм есть, то не собственно «ритмическая проза», нет: ритм не столько внутри фраз, сколько в повторе целых групп фраз и абзацев, и даже по несколько абзацев. Когда автор начинает захлёбываться этими крупными ритмами, кусками декламации, — то нередко и смысл ускользает от него. И нет никакой закономерности в прихотливом случайном появлении малых ритмов, автор так же легко покидает их, как внезапно к ним возвращается.

Ритмика же отдельных фраз производит искусственное впечатление. (И не понять: какой цели она служит там или здесь?) Чаще даже это — искусственная инверсия — фразы, полуфразы или даже только синтагмы:

Чтобы вперёд пролетела карета.

В инверсию входят и избыточные повторения личных местоимений («он»). Бывают — инверсии, затемняющие смысл:

Ножка её из-под столика Аблеухова касалась не раз;

Превращают в тени прохожих;

В копоть бросивших уши рвущие звуки;

Инверсия часто вносит возвышенность:

В белое оно войдёт к морю прилегшее облако,
иногда и совсем неубедительно:

Сибирь дерзнул перерезать в экспрессе он;

Тотчас же перевёл глаза на рояль он;

И с китайского он подносика;

В бирюзовый врезалась воздух ладонь;

частенько — фонетическую неуклюжесть:

с вверх поставленным пальцем

к тут на стенке повешенной

к всё ещё большему.

Ритмизованные вставки иногда — как шёлковые заплаты, от них скорей — дёрганье.

Но всё же показал Белый расширение возможностей интонации.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ. Все наружности, кроме молодёжи на балу, показаны как отвратительные, ни одной человеческой, все деформированы. (Иногда присмигает Николая Аполлоновича — ведь в нём много от автора.) Часто прямые и резкие карикатуры.

Вдруг прямым объяснением: «Что-то такое неладное завелось у них в душах, тут — ни полиция, ни — произвол, ни — опасность, а какая-то душевная гнилость».

Аблеухова-старшего автор старательно выписывает под Победоносцева. (А тогда к чему присочинено «киргиз-кайсацкое происхождение»? В 1922 Белый объяснял: Аблеуховы — монгольского рода, потому что они носители «тёмной азиатчины»; «Руководящая нота татарства, монгольства в моём Петербурге — подмена духовной и творческой революции» (к которой, видимо, Белый и стремился) «тёмной реакцией». Неглубокая же историософия.) Сначала даёт его со всей отвратительностью и всем политическим отталкиванием, присваивает ему и дурашливый, унылый юмор, — а вопреки ли его замыслу Аполлон Аполлонович (и к чему это шутовское сочетание?) в конце концов оказывается самым человеческим из всех действующих фигур. Он постепенно отходит от

плаката: то сочувствие к обижаемой на улице девушке и покровительство ей; то — девичья стыдливость в нём; то — размягчённая встреча с террористом Дудкиным у себя в доме (пожалуй — лучшая сцена в романе: террорист и сенатор каждый видится другому жалким и достойным сочувствия); затем — трогательное семейное потепление, перед самым взрывом бомбы — к концу невозможно не сострадать Аполлону Аполлоновичу.

Кажутся верными омертвлённые отношения отца с сыном. И даже прямо выразил, не удержался: «Являли собой подобие двух друг к другу повёрнутых мрачных отдушин в совершенную бездну». Хорошо развито, как настойчиво овладевает сыном террористическая мысль. Но переживания его над бомбой — судорожно усложнены и многократно дифференцированы, извивчивая полуфантастическая психологичность, как это было в моде в те годы. (Затем мистика авторского замысла диктует отцу и сыну примирение.)

Элементы безумия тем охотнее развиты на Дудкине, длинно размазано его сумасшествие. (Этими галлюцинациями Белый уводит нас от исторической конкретности террора в России — как будто террор происходит только из личного безумия!) Сами галлюцинации — переданы талантливо, и в них чувствуется болезненность самого автора, это — своё. Да Белый и в Дудкине, как и в Николае Аполлоновиче, описывает во многом себя: и страсть его к нескончаемым разговорам; и причудливое соединение социализма и религии (у Белого в 1907 была статья «Социал-демократия и религия»); и «общая жажда смерти» как высшее веянье. Читает Отцов Церкви... Прилепленный штрих, что террорист боится мыши (но может быть — и сам Белый?).

Липпанченко на даче развёртывается ярко и с психологической безупречностью, пожалуй: Азеф — получился?

А Софья Лихутина (Л. Д. Блок) от желания ли отомстить ей пером — ну совершенный провал. Трудоемко и с несдерживаемой злобой описанный портрет — и нет портрета. («Кусала платочек» — слишком часто.)

В Лихутине только то и удалось, что — «кипарисовый» (несколько раз). А в сценах — нелеп.

Несколько раз у разных персонажей на все лады описывается «безмерное расширение тем» — ну, нельзя же так повторяться.

Немало сочинённых сцен — уж за чертой всякого правдоподобия (например как Лихутин ведёт Николая Аполлоновича к себе на объяснение, и то ли бьёт его, то ли добра ему желает).

Игривая задумка сделать красное домино на некоторое время сюжетным стержнем — никак не вровень с Девятьсот Пятым годом, с революцией (а просто опять: своё личное — и хотелось описать). Выламывания с ним, нелепые сцены. Но ещё более неуклюжее и неуместное введение «белого домино» (сиречь Христа!) в разезд бала.

А вот — очень смелый, но и удавшийся приём: двоение персонажа. В одни и те же ночные часы после бала один и тот же «господинчик» Морковин из Охранки провожает по улицам и Аблеухова-отца, и сына. (А сам Морковин даётся откровенно приёмами Достоевского, копированными.)

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ. Психопатологической трактовкой Белый свёл терроризм от рокового общественного явления к личной извращённости террористов (слишком лёгкое решение вопроса). А к государственному строю России последовательно ненавистен: шутовской Пролог (недоброжелательная пародия на царские манифесты и имперские претензии); и Победоносцев — до карикатурной крайности — «Увеличенные до громадности уши на кровавом фоне России», и трус, и ничтожество. (И притом: Аблеухов восседает в пышности власти, а ведь Победоносцев жил крайне скромно.) Глумится не раз над памятью Плеве. С напряжённо-ироническим пафосом описывает собрание государственных старцев или грандиозно-механическую работу государственного аппарата. (Нам, познавшим большевизм, это призрачно-фантазмагорическое изображение царизма кажется картонными декорациями.) Впрочем, бегло описывает и левый митинг — сатирически.

Глава 2, о революционной сфере, маниакально сводится к народным сектам и неграмотным прорицателям.

ЯЗЫК. Злоупотребление превосходной степенью: не напишет «высокий», а всегда «высочайший» (даже — цилиндр на голове).

И, наоборот, назойливо-частое, совсем не уместное уменьшение слов суффиксами: кабинетик, халатик, фигурочки, справочки, парходик, пылиночки, почечки, паркетки (клёпки), дракончики, оттеночек, трактирчик, росточек, покупочки, секундочки, струечка, — и всё это несчётно раз.

Есть фразы с таким синтаксисом, как будто из них вырос Платонов:

Рассеянность развернулась в убегающий мысленный ход.

Чтобы Земля в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом.

Вытащил свою мысль из бегущего изобилия.

Встречаются неплохо найденные слова (я взял бы некоторые из них в словарь языкового расширения, да уже поздно): беспцелебный, смежнобегущий, многоогневой, выструивать, вечеровое, ливенная полоса, громопенный, притуманиться, потусветный, протемниться, бредный, интеллигентский, дымновеющий, вычерняться, лазурный пролёт (на небе, среди туч); вызревал огонёк (о приближении издали).

Краски: закровавился, зарубинился, златопламенный; рубинился блеск; лазурновеющие дымы; зарёли кружева; рыжеющая мгла. Впрочем фонари (да и свечи) у него почти всегда «рыжие».

Зато уж эти «пламена... шелесты... трепеты... блески... безмерности...» — несчётно раз. Очень часто: «сроенный». Струи — всегда «шелестят».

Ни за чем выдумано: сентябрёвские, октябрёвские.

«Вылизывались знамёна, будто текучие языки и текучие светлости».

«И в туманы бросали янтарные очи». (Увы — не раз. «Громада домов бросала грустно янтарные очи в туман».)

В культивировании повторов позволяет себе: «старинная старина», «видимый вид», «переживания эти переживал» — и т. п.

«Обои» — у него женского рода, поэтому родительный падеж множественного числа — «обой» (десятки раз).

ЧАСТНОСТИ. «Пирамида есть бред геометрии». (Пирамиды, конусы, параллелепипеды он относит... к планиметрии.) «Человек, как известно, есть слякоть, зашитая в кожу». Тут — мысль. А это что? — «Всякий европейский проспект есть не просто проспект, а проспект европейский»; «Он обладал носом, ртом, волосами, ушами». В чём тут находка? что остроумного?

«Увидел шелестящий...»? (Или: во тьме в спину видно, что прохожий — чернобровый.)

В предисловии 1928 г. к изданию, сокращённому на треть, читаем: «Спешность срочной работы не позволила доработать до чистовика... черновик... туманная витиеватость». А это — оправдание подстроганности под нетерпящую советскую цензуру.

В 1921 («Из дневника писателя») Белый объяснял: «„Петербург“ есть набросок». «Будь у меня время, деньги, бумага, чернила, перо — я бы создал творение редкое в истории литературы... Я — мастер огромных полотен, огромные плоскости нужны для кисти моей; многоэтажные стены дворцов мне могли бы отдать для моих титанических сюжетов. Не „Петербург“ иль „Москва“ — не „Россия“ — а мир передо мною стоит... Как „Микель Анджель“ я стою, говоря вам, читатели: Верьте, огромности тем, над которыми свесился я, превышают все смелости ваших фантазий о них. Дайте мне 5 — 6 лет только — вы будете мне благодарны впоследствии...»

Талант необузданный, болезненно неуравновешенный. И над «Петербургом» он работал, по-моему, лихорадочно, волнуясь и крайне спеша увлечь читателя в невиданные формы.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

О СПОСОБАХ ВНИКАНИЯ В КЛАССИКУ

Книга молодой исследовательницы Татьяны Касаткиной «Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций» (М. «Наследие». 1996. 335 стр.) представляет собой новаторскую, даже «авантюрную» инициативу, по своим целям и методологии явно выходящую за пределы не только литературоведения, но и академического философствования. Автор, исходя из своего взгляда на мир, пересматривает устоявшееся содержание таких известных отнюдь не одним лишь специалистам понятий, как «эпика», «трагизм», «героика», «ирония», «романтика», «цинизм», а к Достоевскому подходит, в сущности, резко «антибахтински» — как к создателю жесткой нравственной характерологии (вооружившись при этом эпитафией из записных книжек писателя «В Все дело в характерах»). Остродискуссионная книга вызвала полемические отклики, затрагивающие коренные вопросы бытия и этики. Думаем, они будут интересны всем, кто задумывается над путями культуры и творимых ею ценностей.

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ



ОТ ИМЕНИ ДОСТОЕВСКОГО

Русское размышление о Достоевском проходит свой цикл. В начале века царила философско-религиозная критика, ее сменило «научное изучение» (чередовавшееся, а то и как-то уживавшееся с официальным гонением на Достоевского), потом пришла «поэтика»; достоевскознанию наших дней в поэтике тесно. Насколько тесно — об этом ярко свидетельствует новая книга. Она открывается декларацией: это «на самом деле книга не только о Достоевском, но и о каждом из нас». Это смелое заявление, не совсем обычное в литературоведческом труде. Собственно, всякое чуткое литературоведение своими средствами (сквозь исследуемую литературу, сживаясь с ней) говорит «о каждом из нас»; но, как правило, не объявляет об этом: литературоведческая речь — это косвенная речь (и, может быть, в этом не только ее специфические возможности, но и ее особая этика). Бурно происходящая в наши дни рефлексия над Достоевским тяготеет перерастать в прямую речь и говорить «не только о Достоевском», но и от имени Достоевского. В связи с историческими результатами века и на нашем нынешнем повороте тенденция очень понятная, и обсуждаемая книга являет, кажется, максимум этой тенденции. В ней говорится «о каждом из нас» от имени Достоевского. Тон вступительной фразы немалым образом делает музыку книги. Автор словно курсирует между профессиональным кабинетом, в котором делает свои цепкие наблюдения, каких в книге множество, и прямо кафедрой проповедника. В самом деле: в тексте активно слышны не только публицистические тона (и как им не быть, когда Достоевский так нас «достал» на исходе XX века — не побоимся жуткого нынешнего словечка), но и нескрытые притязания на решение самых серьезных вопросов. Скажем, такого вопроса, как *грех*: «необходимо договориться о том, что такое грех». Можно, значит, «договориться» об этом. «Договаривается» же автор с нами бестрепетным разъяснением, «почему самоубийство го-

раздо более страшный грех, чем убийство», верно, по-видимому, замечая при этом, что Кириллов посягает на большее, чем Раскольников. Замечание, над которым задумаешься, но от общего словно логически связанного с ним тезиса станет не по себе. От решительности, с которой судится о *таких* вещах. Здесь, по-видимому, то самое несовпадение «диалектики» с «жизнью», о каком говорил Достоевский. Диалектика рассуждения на этих страницах книги, скажем по Достоевскому, выточена как бритва, особенно в окончательном заключении, что поминать такого грешника значило бы нарушать *его* волю и «только окончательным забвением, уничтожением „пустого места”» следует как бы эту волю признать. Сверхсуровая неуклонность хода мысли, возможно, ортодоксальна и, конечно, опирается на цитируемую к месту «Справочную книгу для православного духовенства». Только вот — если от «диалектики» к «жизни», и даже помимо всякого Достоевского, — разве в собственном опыте «каждого из нас» не имеем мы горестные примеры, оставляющие в нашей памяти не «пустое место»? Только вот и сам Достоевский не сопротивлялся ли такой диалектике и не дал на нее ответа не слишком ортодоксальной мыслью старца Зосимы? «Грех, рекут нам, о сих Бога молить, и церковь наружно их как бы и отвергает, но мыслю в тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос. О таковых я внутренно во всю жизнь молился...» «Грех, рекут нам...» — где рекут? — в обсуждаемой книге.

Наконец, здесь и впрямь произносятся проповеди *ex cathedra*, оформленные по правилам этого жанра, — «О личности и самости», «О правоте». Так называются очерки в книге, и как бывают проповеди на евангельские темы, это проповеди на темы из Достоевского. Мысли проводятся поучительные, но читателю — впрочем, возможно, не всякому — отчего-то неловко. Автор очень настаивает, что признать за собой вину хорошо, а чувствовать себя правым плохо, и как не согласиться с этим, особенно по части вины, — но опять-таки тезис проводится столь неуклонно, что спрашивается — а что же, возможна истинная и даже высокая правота? Как быть с поэтами, заносчиво провозглашавшими, например: «Ведь поэзия есть сознание своей правоты. Горе тому, кто утратил это сознание» (Мандельштам)? А Пушкин как разговаривал с чернью! Но и автор высказывается о правоте с категорическим сознанием собственной правоты и разговаривает с иными читателями Достоевского, типичный образ которых создан в книге, отчасти как Пушкин с чернью. Чувствуется — не хотим сказать пьедестал, но именно кафедра.

Эта книга — очень современное явление. В ней объявлено возобновление традиции философской критики и строятся для понимания Достоевского вертикальные ориентиры. Есть одно замечание в книге, простое и точное: читателей этого писателя, как никакого другого, разделяет психологическое размежевание по прямому действию на них его творчества: одних он угнетает и подавляет, другим помогает и картину мира им просветляет. Факт известный, и, видимо, верно автор связывает его с характером, качеством, силой или же слабостью, или совсем отсутствием вертикальной настроенности в читателе. Соответствующая настроенность в книге весьма высока; но здесь приходится нам сказать о себе как тоже читателе Достоевского: в отношении к отмеченному основному размежеванию мы надеемся, что находим себя на той же читательской стороне, вместе с автором книги, — тем не менее полемические реакции при чтении книги вызываются именно вертикальными интерпретациями, составляющими главный ее характер.

Вертикальное измерение здесь решительно преобладает над историческим. Автор двояко определяет свои основания — как философские и культурологические. «Характерология Достоевского» — широкое построение, в котором герои пяти романов подведены под довольно жесткую типологию. Ее мы позволим себе не рассматривать по существу, заметим только, что представленные типы мироотношения — героика, романтика, эпика, ирония, цинизм и др., — под которые подпадают герои, описываются не просто как человеческие пози-

ции, но и как типы культуры. Но культура — это история, а она в предпринятом построении не очень нужна и даже мешает — что откровенно высказано замечанием о Версилове, в котором слишком яркие черты «исторического» романтика затрудняют выявление типологических черт. Как будто можно их отвлечь от «исторического» состава этой личности; и кто такой романтик типологический? Может быть, это Шатов в сцене родов — «романтик, не совершающий реального, самостоятельного действия, не могущий воплотить идею», поскольку не он отец ребенка, а Ставрогин? В таком типологическом проявлении, в самом деле, нет ничего особенно исторического. Заметим, кстати, что и Иван Карамазов достаточно ярок как романтик «исторический». Черт ядовито в нем отметил «эту романтическую струйку, столь осмеянную еще Белинским». Ориентир, не правда ли, исторический — и тайно работающий на эстетическую дискредитацию восторженной речи Ивана про «кубок» (такая уже изношенная поэтика!). Но романтическое в Иване еще сложнее: оно отдает и старым, обветшалым романтизмом, и пророчит духовные явления скорого будущего. Вот Блок в «Возмездии» отчеканит формулу декадентского комплекса уже начала нового века: «И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь...» Разве это не в точности иванокарамазовский эмоциональный сплав: сочетание отвращения от жизни с (непрерывно) *безумной* к ней любовью? «О, я хочу безумно жить...» (ср. неромантическое простое пушкинское: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»). Пушкинское классическое и блоковское неоромантическое — а между ними Иван Карамазов; отличие столько же историческое, сколько типологическое). Блок в поэме набрасывает историческую картину — и это картина эпохи создания «Карамазовых» (и рождения поэта); и Иван Карамазов в ней присутствует в виде героя поэмы (отца поэта) — «демона» и «молодого ученого», которого «заметил Достоевский». Иван — предтеча выраженного в «Возмездии» исторического настроения; его романтическое уже в немалой мере романтически-декадентское. Зарождение на иной лад декадентского комплекса уже в чертах Ставрогина разглядел еще А. Л. Вольнский. Жаль, что фундаментальная типология Т. А. Касаткиной мало интересуется этими историческими аспектами, — могла бы быть и более гибкой, и более точной. Но качеством гибкости автор сознательно, видимо, жертвует ради идейной ясности. Этой ясностью отличается важное в идеологии книги рассуждение об иконе и западноевропейской картине. Об исторических причинах замещения иконы картиной в самом деле было бы автору говорить «невозможно и неуместно»; достаточно объявить, что это было «радикальным потрясением для культуры», и вынести духовный приговор всей живописи как человекобожескому явлению, целью которого было «отрицать божественность Христа». Этот огромный взгляд изложен на полустраничке, но это один из опорных тезисов книги, руководящий анализом «Идиота» и, надо сказать, позволяющий интересно заметить, как много в этом романе живописи, картин, объявленных и необъявленных. Таков характер книги: наблюдения, часто новые и почти неизменно острые, нанизанные на каркас из авторитарных тезисов, среди которых и это культуроборческое (в культурологическом сочинении) обличение европейской картины как таковой, что, наверное, надо понять как последний вывод из известной теории обратной перспективы, но если так, то вывод круче самой теории.

Рассуждение об иконе и картине — редкий в книге квазиисторический мотив, на самом же деле — идеологический тезис. История не нужна в этой книге; но вся она в целом резко окрашена исторически. Оттого и столь современное это явление. Например, здесь трактуется и разоблачается с особым пафосом категория героического. Но ведет свое происхождение она, оказываясь, с одиннадцатого тезиса Маркса о Фейербахе (не объяснять, а изменять мир), а «первое научное исследование героической мироориентации» дали «Вехи» (статья С. Н. Булгакова «Героизм и подвижничество»). Гегель и прочие теоретики героического не в счет, и это в системе мысли книги логично: речь идет не о понятии классической эстетики, а о той его актуальной интерпрета-

ции в контексте политической истории XIX — XX веков, о которой и говорили «Вехи», — о героизме как психологии радикальной атеистической интеллигенции, психологии русской революции, героизме с противоположным знаком. В связи с итогами века понятно, что можно сегодня об этом сказать, и Раскольников с «Бесами» постоянно в этой связи сегодня упоминаются (упоминались уже и в «Вехах»). Недавно была предложена злободневная формула — «Достоевский и канун XXI века»; программа нашей книги в основном в нее уместается.

Так что с классической эстетикой актуальная транскрипция классического термина имеет мало связи. В классической эстетике возможен был и царил веками в литературе «героический эпос» — в системе книги сочетание немислимое. Но не по Гегелю учили диалектику в этой книге. В почти злободневном теоретическом контексте книги имя Павлика Морозова как «пионера-героя» неудивительно, но вдруг возникающий также Геракл из исконной героики выглядит странно. На него тоже пала тень кануна XXI века, и ему выражается неодобрение за то, что он мир исправлял, очищая землю от чудовищ, и тем проложил дорогу Раскольникову. Другое дело Георгий Победоносец, также сразивший чудовище и тем исправивший мир, — он проложил дорогу Степану Трофимовичу на его последнем святом пути, на большой дороге с зонтиком в правой руке, в котором интерпретатор видит аналог копья, поражающего в символическом плане романа «премудрого змия» Ставрогина. Все же по части как такового действия героического есть известное сходство в подвигах двух героев, и если их оценки столь различны, то, видимо, по причине того, что один герой языческий, другой христианский — и это тоже интерпретация актуальная.

Итак, интерпретация — не ключевых понятий только, но самого Достоевского. Откроем книгу и прочитаем этюд «Хорошее отношение к лошадям». Это по поводу всем памятного сна Раскольникова про замученную лошадь. Истолкование, представляющееся красноречивым особенно. Истолкование состоит в перетолковании этой притчи исследователем вопреки герою и вместе с ним вопреки традиционным читателям («читателям героической ориентации», традиционно настроенным на одну волну с героем Раскольниковым), переживающим эти страницы как откровение о боли мира. Перетолкование заключается в здравом объяснении, что это *только сон*, что боль и страдание как состояние мира лишь приснились болезненному герою, «лишь представление Раскольникова о состоянии мира». Нет никакой такой несчастной савраски в мире и этой страшной несоразмерности непосильного груза, нет самого вопроса, доведшего героя по причине неадекватного восприятия до его безумного акта. Так и сказано: героика в виде идеи Раскольникова «создает вопросы и проблемы там, где на самом деле нет ни вопросов, ни проблем». Нет «на самом деле» ни вопросов, ни проблем в «Преступлении и наказании», а если есть, то ложные, и в разоблачении их состоит проблема романа. *На самом деле* (еще раз сказано) в действительности романа мимо героя провозят пьяного «в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадию». Эта телега, как замечательно подмечено исследователем вслед за В. Викторовичем, словно выехала из сна Раскольникова, словно и вправду в опровержение сна. Потому что там огромная телега сопрягается с тощей клячонкой, в чем и кроется притча с ее откровением. Так что же *на самом деле* — грубое, но здоровое внешнее впечатление или внутреннее, но болезненное и даже «безобразное» откровение? Очевидно, здоровому чувству реальности у исследователя импонирует этот вид ломовых лошадей (да и мальчик во сне любитесь ими) и та картина грубой соразмерности, какую они являют, — ведь она отвечает главной внушаемой тут философской и поучительной истине, что «всем дается ноша по силам и никому не дается больше, чем он может снести». Конечно, это истинно *в последнем счете*, когда бы только не резонерское звучание в данном конкретном случае этой истины, вызывающее на память друзей Иова, говоривших *в общем* правильные вещи, но которым будет свыше отвечено, что

они «не говорили обо Мне так верно, как раб Мой Иов», — хотя он возроптал и взыскивал справедливости и отказывался на основании своего несчастья признать за собой неведомую ему вину, тогда как они богобоязненно порицали его за ропот. Попутно выносятся суд Некрасову, открывшему тему забитой лошади, как цинику не только в жизни, но и в поэзии (очевидно, слово о нем Достоевского как о «раненом сердце» слишком созвучно раскольниковскому сну). И главное за всем этим — «несуществующие несправедливости» (выделено автором книги), на основании которых поднимаются богоборческий бунт и политическая революция. Наша революция случилась по причине того, что некоторым «благородным молодым сердцам» «приснились» «несуществующие несправедливости», и это было предсказано сном Раскольникова. Повторим: это можно понять в канун XXI века, однако такой художественный и исторический анализ не столько же ли основателен, как заключение обо всей западноевропейской картине?

Иннокентий Анненский писал в начале века о «художественной идеологии» «Преступления и наказания» как о «еще не закрепощенной»: «Меня еще не учат». Доступен ли нам сегодня тот свободный и *поэтический* взгляд на этот роман, какой у Анненского выразился в видении его коллизии как напряжения между «требуемым счастьем» и «приемлемым страданием», без однозначного между ними решения? В канун XXI века Ю. Ф. Карякин потребовал решения однозначного и решил отбросить путаницу раскольниковских мотивировок, в которых путаются и исследователи, и свести их к требуемой — не счастью, а власти, отведя гуманные мотивы как ложное прикрытие, автолицемерный «самообман Раскольникова».

Таким толкованием обозначилась тенденция усеченного понимания Достоевского в актуальной для нас транскрипции, будто от Раскольникова к кануну XXI века прямой логический (и политический) путь. Однако если и путь, то не столь прямой. Известно, что у героя была теория, которая всему виной; главное для него не личность, а теория, говорит и Т. А. Касаткина (хотя все же она сложнее видит проблемную связь романа). Но вот мы слышим героя: «Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами кроткими... Милые!.. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут?.. Они все отдают... глядят кротко и тихо...» Что здесь — личность или теория? а ведь в этом насквозь лирическом и личном сидит и его теория. Вот вопросы о «приемлемом страдании» и «требуемом счастье», завязанные живым узлом. Автор романа не стоит к своему герою в отстраненной критической позиции — как, будто бы вместе с автором, стоит исследователь в обсуждаемой книге. Автор *понимает* героя, но не согласен с ним. Достоевский любит Раскольникова (но не любит Ивана Карамазова), и мы его любим — оттого нам этот роман так горяч; и без этой живой и простой предпосылки мы теряем контакт с романом. Действительно, надо переживать этот текст, как сказано в нем самом, «минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой», и мы увидим — при глухом одиночестве сколько горячей связи с людьми *в источнике* головной теории. «Почти все время, как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слез; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам». Нельзя оторвать эту злую улыбку от этих слез, они — в истоке кривящей судороги, и тайну этого перерождения чувств исследовал Достоевский в своем герое (и гораздо раньше еще — на последней странице «Слабого сердца»: см. замечательную статью А. Л. Бема «Чужая беда в творчестве Достоевского», 1941); не рассечь их аналитическим скальпелем, а только — аналитически воспринять как живое сплетение. «О, если б я был один и никто не любил меня и сам бы я никого никогда не любил! *Не было бы всего этого!*» (курсив Достоевского). Вот когда, при каких условиях бы не было этого! Но современное достоевковедение не слышит. В усеченных интерпретациях наших дней наблюдается нечто вроде идеологической редукции — будь то политизированное чтение (Ю. Ф. Карякин) или же столь, скажем так, духовное (тоже, впрочем, с политическими обертонами), как в обсуждаемой книге.

Надо еще вернуться ко сну Раскольников. Перетолкование его в смысле иллюзорности явленной здесь картины мирового страдания («н е с у щ е с т в у ю щ и е несправедливости») — лишь половина перетолкования. Другая его половина в том, что сон прообразует злую теорию необходимости самостоятельного действия: целуя мертвую окровавленную голову лошаденки и бросая с кулачонками на ее мучителя, мальчик, оказывается, уже отделяет себя от людей (как отрежет себя от них после преступления) и от их греха, от «объединяющей роли греха», и тем самым лишается и сознания собственного греха (как похоже опять на аргументы друзей Иова). Главная же фигура во сне — отец: «— Пьяные, шалят, не наше дело, пойдем! — говорит отец». Мальчик познает бессилие отца, но отец — это сам Бог Отец, и «это момент, в который он теряет Бога» и должен принять решение на себя. Бог умер в сердце его, и надо действовать самому, а это уже героический путь (в том смысле, какой условлен в исследовании): вот и теория.

Признаемся: мы не знаем, что сказать по поводу этого превращения отца Раскольника в Бога Отца (оно развивается по ходу интерпретации: помощь мармеладовскому семейству деньгами от заклада отцовских часов — это помощь Божиими средствами). Скажем лишь, что, узнав об этом из книги Т. А. Касаткиной, это трудно уже забыть; такая резкая внушаемость свойственна вообще фантастическим толкованиям в этой книге. В нашем случае толкование высвечивает отца Раскольника, и это стоит благодарности, потому что он не пользуется при чтении нашим вниманием, а между тем скупые упоминания о покойном отце в романе исполнены значения. Но какого значения? Отождествление с Богом Отцом в данном случае служит целям интерпретации — перетолкованию эпизода «наоборот» привычному восприятию. Но такое тотальное перетолкование только и возможно при условии отождествления отца героя с Богом Отцом. Отождествление, таким образом, *принадлежит интерпретации* — и вряд ли принадлежит непосредственно тексту этого эпизода. Дочитаем его до конца: что вынес герой из этого сна? В интерпретации значение сна понимается как «отрицательное», в сюжете, мы помним, его прямое следствие иное — освобождение (пусть ненадолго) от наваждения, облегчение и — молитва (едва ли не единственная его молитва в романе): «Господи! — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!»

Еще — сухарь и пиво: стакан пива и кусок сухаря, от которых у измученного человека «крепнет ум, яснее мысль, твердеют намерения». Сухарь и пиво, замечено в книге вслед за Л. В. Левшун, «напоминают о причастии». Что же, может быть, и напоминают. И если кому-то напоминают и мы об этом услышим, то невольно будем как-то иначе смотреть на эти сухарь и пиво (со смутным чувством, что «в этом что-то есть»). Но можем вспомнить при этом другие сухарь и пиво — плюшкинские. «Сухарь из кулича» и «славный ликерчик», которыми Плюшкин как раз в такой комбинации пытается угостить Чичикова, — не напоминают о причастии? Почему бы и нет (особенно если вспомнить, какие именно с Плюшкиным связывал Гоголь планы преобразования мертвых душ, по Дантовой модели, в третьем томе поэмы)?

В постмодернистской современности вопрос о «границах интерпретации», как назвал свою книгу (1990) Умберто Эко, имеет первостепенную актуальность. Эко описывает тенденцию, определяемую как патологический синдром «одержимости скрытым смыслом». Ныне этот синдром — эпидемическое явление. Так что и в этом отношении обсуждаемая книга — факт современный, может быть, даже со знаком «ультра». Здесь в ходу такие термины, как «подтекст» и чтение «на метафизическом уровне». Подтекст — *под* текстом и, значит, не дан непосредственно; чтобы его добыть, «раскопать» — как в показательном нашем примере, — нужна теоретическая или идеологическая презумпция, определенным образом направленная. Правда, автор допускает — и это, конечно, верно, — что простому читателю достаточно текста, чтобы «почувствовать» подтекст. Значит, тексту принадлежит контрольная функция по

отношению к интерпретации — принимает он ее или отторгает (как с нашей, читательской, точки зрения текст «Преступления и наказания» отторгает изложенную интерпретацию). Текст кажется беззащитным перед нашими интерпретациями с их смелостью, но он же и неприступен. Не так давно Л. И. Сараскина путем ряда сдвигов и переноса акцентов доказала, что вопреки всем писавшим о «Бесах» Хромоножка — не святая (пусть и очень своеобразная), но ведьма (см. в ее книге «„Бесы“: роман-предупреждение», М., 1990). То же чтение подтекста и то же интерпретация смелая, но текст ее отвергает.

Мы сказали выше, что в книге Т. А. Касаткиной много остроцепких наблюдений. Любой заинтересованный читатель сам убедится в этом; но надо упомянуть хотя бы некоторые: впервые, кажется, в литературе о Достоевском столь внимательная оценка роли Лизы Хохлаковой в последнем романе; любопытное сближение Настасьи Филипповны с былинной Настасьей-богатыркой; сцена встречи соперниц в том же романе; тема девственности всех главных героев — там же (включая Настасью Филипповну); чистоплотность Смердякова в связи с его фамилией и темой тлетворного духа; симпатичное воспоминание автора, что в первый раз она читала «Бесов» как роман о Степане Трофимовиче. Но наблюдения в книге жестко организованы. Организованы центральным тезисом, что Достоевский — «истинно христианский писатель». Что и говорить об ответственности тезиса, за который столь многое в Достоевском-писателе. Но тезис этот *проблемен* и заслуживает сложного рассмотрения. Такого проблемного рассмотрения в книге мы не находим, а находим систему непрерывного подтверждения тезиса на материале пяти романов. Способ подтверждения — сплошная христианская семантизация текстов Достоевского на всех уровнях, примеры ее мы могли наблюдать. Как незримое завершение всех романов (уже за текстом) исследователю видится «изображение Христа-Пантократора» и высказывается предположение, что, может быть, это следовало бы воспроизводить полиграфически. Бывают смелые текстологически-полиграфические идеи (и, например, предложение А. Е. Тархова печатать для полноценного восприятия текста «Евгения Онегина» не только каждую строфу на отдельной странице, но и пропущенные строфы так же, передавая их графически как смысловые паузы полноценными четырнадцатью рядами точек, наверное, заслуживает хотя бы экспериментального книжного осуществления: см. его комментарий в издании пушкинского романа в худлитовской «Школьной библиотеке», М., 1978, стр. 215) — но относительно этой позволим себе со своей стороны предположить, что воплощать ее полиграфически не следует. Большой этюд об эпилогах пяти романов — наверное, самая яркая в книге часть. Методом рассматривания загадочных картинок во всех эпилогах усматриваются такие комбинации фигур, какие складываются в глазах рассматривателя в «словесные иконы», до малых деталей, в точности соответствующие определенным иконописным типам и прямо конкретным иконам. Одержимость скрытыми смыслами достигает здесь пика, как и излюбленный автором метод активного, чтобы не сказать агрессивного, давления на текст для выдавливания необходимого смысла. Это дает результат, поскольку, как на загадочной картинке, мы начинаем видеть спрятанные фигуры и уже не можем не видеть их — пока не очнемся, когда нам предложат увидеть в записывающем свой рассказ Подростке иконописного юношу Прохора, записывающего Апокалипсис под диктовку евангелиста, которым оказывается автор письма, заключающего роман, Николай Семенович, «муж Марьи Ивановны», то есть «муж, превознесенный Божией благодатью» (тотальные христианские этимологические расшифровки имен героев в работе — предмет особого разговора; пусть о них судит читатель). Но загадочные картинки («словесные иконы») в финалах «Бесов» и «Идиота» запинаются.

Русское размышление о Достоевском проходит свой цикл. Книга «Характерология Достоевского» — выразительное событие нынешнего этапа. В книге со вкусом цитируется выразительное также высказывание и то же из нынешне-

го этапа: «Замечательно, все-таки, сказал Дмитрий Урнов на обсуждении книги Ю. Ф. Карякина „Достоевский и канун XXI века“: „Мы рассуждаем так, словно Достоевский, что называется, с нами. А он вовсе не с нами, он против нас!“»

Разумеется, это со вкусом цитируется полемически по другому адресу — по адресу других писавших и пишущих о Достоевском. Очевидно, что возможности переадресации замечательного высказывания в собственный адрес это задорное цитирование никак не предполагает. А между тем «Достоевский с нами» — это тот пафос, в который можно впасть, когда начнешь говорить «не только о Достоевском», но и от имени Достоевского. Такая сегодня тенденция, и можно ли спорить с этим? Но судить о ее достижениях можно.

МАРИНА НОВИКОВА

*

НЕ ТОЛЬКО О ДОСТОЕВСКОМ

Сразу же предупрежу: я не специалист по Достоевскому. И не политик, который специалист по всем проблемам. И не гуру, который специалист по всем ценностям. О книге Т. А. Касаткиной «со стороны Достоевского» скажет мой коллега по диалогу, С. Бочаров. Я попытаюсь взглянуть на нее с другой стороны.

Есть книги, обреченные на успех. Эта книга обречена на дискуссии. Когда литератор «отражает» жизнь, а критик «отражает» литературу, все спокойно. Когда литература или критика откровенно, завзято эссеистичны и импрессионистичны, особых волнений также не возникает: что с необязательного импрессиониста возьмешь? (Сегодня, кажется, никто, кроме пламенеющего А. Архангельского, не работает с Л. Аннинским: зачем?)

Книга, о которой идет речь, задевает, ибо, во-первых, не «отражает», во-вторых, обязывает. Соглашаться, не соглашаться, спорить, но не понарошку. А не «отражает» потому, что она, как и сказано автором, «на самом деле не только о Достоевском, но и о каждом из нас». Причем о «каждом» не в быту, а в бытии; не в беге, а «в Боге».

Профессионал-филолог по такому предисловию мгновенно опознает: перед ним работа, где контекст неизмеримо превышает исследуемый текст, хоть бы и бессмертного классика. Подобные работы встречаются бурно и прощаются редко. Я-то склонна пойти в своих предположениях еще дальше. По мне, так настоящее заглавие книги — ее подзаголовок. «Типология эмоционально-ценностных ориентаций» — вот чем автор горел и кипел. А Достоевский (при всем том и несмотря на) — все-таки подзаголовок. Как суконно-прямодушно изъясняются диссертанты: тема такая-то, на материале произведений такого-то.

Профессиональные претензии к работам такого толка спрогнозировать тоже несложно. Для профессионалов-богословов не априорны будут в роли авторитетов ни Н. Бердяев, ни о. Павел Флоренский. Для профессионалов-философов желательно освежить чем-нибудь поновой пантеон из С. Кьеркегора, О. Шпенглера, Л. Шестова, А. Ф. Лосева. Социологи (ценности ведь обыкновенно проходят по ведомству социологии) потребуют как минимум трудов школы Э. Дюркгейма или Ф. Боаса. Фольклористы, натолкнувшись на «свои» термины: эпика, героика, — о них и споткнутся. Автор напророчил свою

участь с первых строк, предупреждая: «...психологически очень трудно себе представить, чтобы человек, говорящий... совершенно понятные для тебя вещи, вкладывал в них совсем другой смысл».

Смысл — полбеда. Но тон. Но учительный пафос. Но универсалистский размах (при всяческих смиренных оговорках о допустимости иных подходов к предмету исследования). Можно ли себе такое позволять? Можно. И даже нужно. При одном условии, без которого и замах, и методология книги превращаются именно в то, чем автора попрекнут обычные, «нормальные», филологи, литературоведы, достоеведы, — в субъективизм и подмену жанра. Это единственное, зато нерушимое условие: если книга проходит по рубрике духовной, а не «мирской» литературы. Сами же романы Достоевского (коль скоро комментатор согласен взять на себя функцию и жанр духовного поучения) выступают тогда в роли своеобразного эквивалента Священного Писания, подлежащего специфическому же и толкованию.

Возможно, автора подобное допущение не отпугнет. Косвенное тому свидетельство — пропорция прямых цитат или ссылок на Достоевского (много), на Библию и творения отцов Церкви (немного) и, по контрасту, общий «гомилетически-житийный» принцип повествования (тогда вторых предполагалось бы куда больше).

Достоевский для автора, само собой, не Господь Бог, — не будем приписывать верующей исследовательнице тезиса, который я единожды своими ушами слышала из уст маститого пушкиноведа, надломленного «постперестроечным» свистоплясом и жаждущего чего-то вечного, безусловного: «Да, Пушкин — Бог, наш Бог!» Достоевский, повторю, в книге не Бог. Но где-то поблизости. И автор — не апостол. Но тоже не слишком подалеку. И жанр книги — не проповеди Иоанна Златоуста и не письма Василия Великого. Но вспоминаешь об этом не без спохватки.

Да хоть бы и «классическая» учительная литература получилась в итоге — что в том худого? — спросит, пожалуй, охрабrevший по части «духовности» нынешний читатель; худого ничего — напротив. Но не получилась. И не могла получиться.

Духовная литература (тем паче — высочайшая, та, что объемлет «каждого из нас», — приведу еще раз формулу предисловия) рождается не из концепций. Хотя чего-чего, а интеллектуального сверкания, «диалектики души» у византийских богословов, учившихся диалектике уж точно не по Гегелю, а в лучших риторских школах многоязычного, многокультурного Средиземноморья, хватало сверх головы. Эта некогда общечитаемая литература не тянет для нас на «массовость» донныне: не по зубам что нововедам, что агностикам. Однако, думаю, «не по зубам» в особенности не из-за интеллекта, а из-за огромного не только не пережитого нами лично, но и не вполне уже внятного для нас духовного опыта. Такое нельзя «сочинить», нельзя даже «пережить» (в том чувствительно-«лирическом» смысле, какой мы нынче вкладываем в «переживания»). Такому можно только «внять», открыться духом, к его высотам взойти или в его глубины погрузиться.

Все названные глаголы для «искусства» непривычны, они принадлежат иной сфере — «умного делания». Но и феномен автора из приведенных определений исчез — тоже даром. Духовная литература (как и вся духовная традиция Библии и святоотеческих творений) не «сочиняется» людьми: они ощущают себя лишь уловителями и передатчиками надчеловеческой «вести». Так что «авторов» (в нашем словоупотреблении) у нее нет, как нет и «индивидуальностей»: ни авторской, ни персонажных («характеров»). Метко выразился когда-то С. Аверинцев по поводу библейских «персонажей»: в Библии мы найдем сколько угодно личностей, но ни единой «индивидуальности». Ибо личность включена в сакральную, символическую, теургическую соборность (термин поздний — опыт древний); она — голос из священного хора. Индивидуальность же встроена в социум, в «общество», и с разной степенью успеха подчиняется ему или сопротивляется.

Легко увидеть, что Достоевский в такую, вполне определенную и далеко не всеядную, литературу не вписывается, «отцом пустынноиком» он отнюдь не был: биография — штука объективная. Оптина пустынь не зря (тогда, при умудренных старцах, а не теперь, в цветах запоздалых околбогословской и околочристианской публицистики) весьма настороженно отреагировала на Алешу Карамазова и старца Зосиму. Тут не ретроградство — тут говорила глубина и непомутненность иного опыта. А ведь Алеша и Зосима — образы, наиболее приближенные к гармонии: отправной пункт паломничества Т. А. Касаткиной «по Достоевскому». (О «Сне смешного человека» скажу особо.) Что же и толковать о других «характерах»?

Но если Достоевский не «наш Бог» и даже не «наш святой Достоевский», тогда он неизбежно «литератор». Великий, однако «мирской» литератор, пускай достигший великих же прозрений. (С моей, неспециальной, колокольни — прозрений больше «порознь» ума и «порознь» души, чем он и отличается от «простодушно-целостного» Пушкина.) Но тогда на соответственном языке он и сказал про «каждого из нас». И не он один. Шекспир и Сервантес тоже не паноптикум и не музей восковых фигур создали — не надо мессианических жестов. Их персонажи, а главное, ценностные их ориентации также небезразличны «каждому из нас». Таково родовое, а не видовое свойство всякой «литературы гениев» и даже «литературы талантов» (все прочее, переиначивая Верлена, — не литература).

А типология? — напомнит читатель. Типология «характеров» Достоевского у самой Т. А. Касаткиной, рассчитанная «в науку всем народам и векам» (по слову украинского поэта)? Она-то впрямь и универсальна, и оригинальна? С типологией ситуация знаменательная.

На мой взгляд, лишь оттого, что книгу писал русист и литературовед (а стало быть, и будут читать с прицелом на русистику и литературоведение), от читающих, даже профессионалов, скорее всего ускользнет вещь очевидная — но очевидная для культурологов, этнографов, социологов. Типы ценностных ориентаций, предложенные в книге, суть не что иное, как «краткий курс» истории европейской культуры.

Начинается она, как и положено, с мифов о рае, о «до-времени» абсолютной гармонии Божественного, Космического и человеческого. (В книге — «нулевой» уровень, точка отсчета всех уровней последующих.) Продолжается она через отделение Божественного от Космического; тогда и появляется «миф» как нечто автономное или полуавтономное от Божественного «иномирия». В книге это уровень «позитивной» эпики и «негативного» драматизма: первая сливает человека с «миром», второй их противоположает, но «мир» еще приемлется как данность в обоих вариантах. Далее третиная рассекает уже и земной, дольний мир: человек приемлет уже не «весь свет», а только какую-то его часть (в книге — уровень «позитивного» юмора и «негативной» трагики). Впрочем, и этот уровень — лишь переход к беспримесно «социальным» ценностям (уровню «позитивной» героики и «негативной» инвективы). Героика и инвектива обе равно противостоят «всему миру», миру как универсуму, но и в социуме приемлют уже только «свою» правду. Дальше ценностная ориентация сворачивает на индивидуальность или — позволю себе каламбур — сворачивается в индивидуальность. Переходный уровень здесь — романтика («позитивная») и сатира («негативная»). И романтик и сатирик уже не верят в благие возможности «реального» мира. (Напомню: «реален» теперь только социум — не Космос и тем более не Бог.) Оба борются с «миром», но борются сугубо символически: побеждая его субъективно и побеждаясь им объективно. Однако и этот бой бабочек — лишь переход к уровню, категорически, стопроцентно ориентированному на ценность и правоту одного только «я»: к «позитивной» сентиментальности и «негативному» цинизму.

Исследовательница предусмотрительна: отсекая предвидимые негодующие возгласы («а Руссо? а Карамзин?»), в «я» она впускает и все «мое» эгоцентри-

ка: его близких, друзей и т. п., — если... если они полезны или приятны «мне» — единственному по-настоящему любимому. Исследовательница наблюдательна: она остро и беспощадно фиксирует эгоистическую подоплеку сентиментального — такого «красивого» сочувствия (не «как ему плохо», а «как мне плохо, потому что ему плохо, как я из-за этого страдаю»). Ну и завершает этот марш вверх по лестнице, ведущей вниз, ирония. В отличие от цинизма, ирония отрицает даже ценность «я» — все ценности, саму реальность какой угодно ценности вообще.

Предлагаю читателю мысленный эксперимент. Поставьте эту синхронную («вечную») типологию вертикально — по исторической, диахронной оси (во «времени»). Узнаете? Родовая языческая этика — этика военно-дружинная — этика поздней архаики, кризиса корпоративности и выделения личности — этика раннебуржуазного индивидуализма, Ренессанса, — сентиментализма — романтизма (тут эпохи идут немножко не в такт с Т. А. Касаткиной) — в конце концов, критического реализма и, как венец деградации, модернизма, постмодернизма, дегуманизации, отчуждения.

Что означает подобное совпадение типологии и истории? Что автор попал в яблочко? Что типология — при видимой самобытности — по сути, тривиальна? Ни то, ни другое — скорее третье.

Типология не тривиальна — она традиционна. Эпатаж книги — оптический обман. Традиционализм — конструктивный принцип.

Между тем праздновать типологическую победу все-таки рано. «Краткий курс», кой я изложила выше, складывался на солидной основе: фактографической, этнографической, социологической. Но — основе материалистической, не метафизической. Автор же взыскует именно метафизики. Метаистории. Вместе с их метаязыком.

Расположив историю как типологию, эпизоды из жизни персонажей как серию клейм, автор попытался сделать то же, что делал иконописец. Время окольцевать вечностью. «Характеры» обратить в «образы» (не «образы» искусства). Оно и хорошо, конечно, кабы не сопротивлялся Достоевский. Прямо от «нуля», от гармонии — от «Сна смешного человека».

Если «краткий курс» европейской культуры воспринимать исторически и материалистически, со «Сном...» все в порядке. Под «вторичный миф» о рае он подпадает. (Только очень уж головной, вегетарианский, непластичный; мифы старинные, первичные исключали психологизм и рассуждения. Зато «иномирные» бывае видели и оттого пластично показывали.) Но если «Сон...» не большая литературная метафора, а метафизический опыт, «репортаж» о рае, — увольте. Какой метафизике достоевский «рай» хоть отчасти отвечает? Не языческой. Не ветхозаветной. Не христианской. Никакой. Некий новосконструированный Телем, разве что с христианским, не языческим флером.

Рай, где рождаются, рожают и умирают (то есть царит не вечность, а время, притом время «после грехопадения», поскольку до нет ни смерти, ни «чревной» эротики)? Надо было быть духовным и социокультурным маргиналом, чтобы такой рай вообразить. Надо маргиналом вторично быть, чтобы в него поверить и от него отсрять «священную» (ценностную) метаисторию человечества. Говоря так, никого не задираю — я только констатирую. Или, в терминах книги, — типологизирую.

С христианским обоснованием всех последующих уровней и характеров проблема, смотря в корень, та же. Если это история — нельзя считать их «вечными». Если это метаистория — придется решать: как же увязана она с эмпирической историей? Один пример. Когда от имени культуры автор благодарит даже всеразрушающую иронию за то, что иной раз она помогала разрушить саму себя и тем самым обернуть культуру вспять, к идеалу мировой гармонии, — хочется задать сразу несколько вопросов.

Какая забота метафизике насчет социокультурного процесса?

Какое земное возвращение к гармонии осуществимо для падшего человека и человечества — в эсхатологической христианской перспективе? Разве конец света ею уже отменен?

Куда в касаткинскую «характерологию Достоевского» вставить милость и благодать? Не как внешние понятия, а как эпизодические сюжетные «вспышки» в перипетиях романов, а как постоянно действующую силу мироздания? Что перед ней циники, ироники, трагики — кто из людей прочно удержан в своем «типе», если предвечная Любовь, по Данте, «движет солнце и светила»? Циников-то в эпике тоже, наверно, способна двинуть? А если так — жестко расклассифицированные «характеры» исчезают. Остаются духовные векторы, «души порывы», прекрасные или безобразные.

Кажется мне, что эта-то динамика, это пересечение порывов человеческой души и духа со встречными движениями милости и благодати и образуют «клубящуюся вселенную» Достоевского.

Кончу тем, с чего начала. Книга Т. А. Касаткиной обречена на дискуссии. Причин тому несколько. Книга незаурядна — это раз. Книга принадлежит к числу тех (думаю, в скором будущем все более частых) работ о литературе, где литератора не есть альфа и омега; где литератор (даже гений) и его герои предстают как поле нелитературных — хотя не в нелитературных — духовных искусств, борений и уроков из них. К этому специалистам привыкать будет нелегко; Новое и Новейшее время всех нас крепко выучило установке на «отдельную» литературу и «специальную» науку. Ничего, кое-чему не вред и разучиться. Столетиями и тысячелетиями «отдельной» литературы не было, а великая литература была. Но...

Это «но» — причина третья для дискуссий. И обращено оно уже к автору книги, не к его критикам. Метафизику, духовный опыт черпают отовсюду; могут черпать из литературы, вплоть до самой мирской и современной. Однако черпают по-разному. Священное Писание взывает к одной «методологии» общения с ним, дает «модели» одного масштаба, духовная литература — другой и другого, «мирская» — вовсе иного.

Приходится выбирать. И выбор этот нелицеприятно свидетельствует, насколько писатель, критик, человек готов «работать» с вечным. Относиться к вечному не только как к доктрине, но и не только как к метафоре, а как к повседневному мерилу творений и деяний действительно каждого из нас.

Симферополь.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

ЧЕЛОВЕК — ЭТО МЫ

Александр Марьянин. Судьбе вдовонку. М. «Практика». 1996. 695 стр.

Александр Марьянин — псевдоним. Необходимость в нем была, вероятно, чисто психологическая: помочь оттолкнуться от той жизни, в которой Александр Михайлович Фихман (1930 — 1991) уже кем-то стал и чего-то достиг. Оттолкнуться ради главного — чтобы стать самим собой. Без писателя Марьянина — по имени жены — у «технаря» Фихмана это, вероятно, не получилось бы.

В посмертный том прозы вошло все самое значительное из написанного за двадцать лет. Но — без редакционных купюр и цензурных сокращений. Роман, повести, рассказы, путевой дневник, письма, предисловие критика, воспоминание друга, фотографии, доносящие облик красивого и обаятельного человека. С такой полнотой и основательностью А. Марьянин представлен впервые. Даже регулярно печатающийся и находящийся в «читающем поле» автор, не имея возможности явиться в концентрированном, сфокусированном виде, редко достигает того уровня внимания, которого, возможно, заслуживает. Правда, случается и наоборот: толстый том только подчеркивает несостоятельность того, что казалось злободневным и вполне удобочитаемым. Не многие в наше время выдержали бы испытание избранным.

...70-е годы были, пожалуй, пиком интереса к литературе. Читали все: классику, периодику, самиздат. Это не был бум выборочного, политизированного чтения конца 80-х, но именно культурная работа, к которой и сводится «прогрессивная роль реакционных эпох». Наличие такой работы делает затруднительным употребление этих легких слов — «реакция» и «прогресс». Понятий, которым нет точного соответствия в реальности. Любая эпоха в чем-то реакционна, а в чем-то и прогрессивна. Государство, принимающее слова всерьез и наказывающее за неудобные, придавало слову очень высокий статус. Сегодня налицо другая, но не менее пагубная крайность. Вероятно, это следствие энергии молодого народа, несущегося как мощный поток и ударяющего — сокрушительно — то в один берег, то в другой. «И что есть деспот — только лишь плотина...»

Марьянин уверенно дебютировал в начале 70-х. Периода затяжного ученичества у него не было. К этому времени он уже сложился как личность, многое пережил и передумал. Хотя время для литературных дебютов было не лучшее. Ветры, наполнявшие еще лет десять назад паруса начинающих, стихли. Штиль можно было преодолеть только с помощью собственного «двигателя». Ю. Казаков, например, так и не сумел ни приспособиться к новым временам, ни противопоставить себя им. Хотя, разумеется, лирический писатель — будь то прозаик или поэт — намного уязвимее прочих собратьев по литературному цеху.

Может быть, и поэтому жанр аналитической повести, вроде бы бесстрастно, с подчеркнутой объективностью исследующий реальность, стал основным в литературе 70-х.

Проблемная, аналитическая проза, безусловно, достигает новой глубины, но — за счет сужения горизонтов исследования. Власть и писатели заключили негласный договор: без обобщений. Кто не придерживается правил игры, должен выйти из нее — «за бугор!». Но при всех тематических различиях общим было «более глубокое проникновение в реальную сложность нравственных противоречий действительности». Тут уж Феликс Кузнецов безусловно прав. Заповедник нравственности отдан был в 70-е годы в беспрошльное пользование советским писателем.

Затяжные разговоры о нравственности (а 70-е годы побили все рекорды по количеству этих разговоров) — первый признак неблагополучия. Какие нравы — такие времена, во что бы последние ни рядились.

Солженицын и Трифонов — два имени, которыми прочно помечена предперестроечная литература. Именно в сочетании этих имен возникает определенная полнота, характеризующая отношения литературы с реальностью. Их можно сравнить с людьми, рывшими тоннель навстречу друг другу. Но вот они упираются в скалу. Первый пробует взорвать ее, продолжить во что бы то ни стало — но безуспешно. «Скала» еще в полной целостности и отбрасывает его за океан. Но за океаном вскоре обнаруживается: «Обе системы поражены пороком, и даже общим». Не потому ли, что «простые, обыкновенные люди» (Ю. Трифонов) — они всюду. «Как их можно назвать всех вместе?.. Раньше было такое спокойное слово: мещане... жители города». И естественно, что их личные, «плотские» и житейские интересы заботят их больше, чем всякие умственные и общечеловеческие проблемы. Особенно в наши дни.

Трифонов постоянно — «меня интересуют характеры» — подчеркивает свою деидеологизированную установку на исследование жизни, с максимально возможной объективностью. И — без глобальных выводов. Но в сумме частных исследований советского горожанина, точнее, московского, самого «горожанистого», бегущего впереди страны всей полуинтеллигента — ну куда уж тут деться, да, «образованщина», вечерне-заочное, троечное, скорей бы к диплому, к непьющей работенке, к телевизору да к газеткам, — рождается достаточно точная, исчерпывающе информативная картина современного общества.

Когда Ю. Андропов в свое время замечал, что «мы не знаем общества, в котором живем», он выдавал тем самым свое недостаточное знакомство с современной литературой. Солженицына, как и всех, кого положено по службе, он, конечно, читал, но вот до Трифонова руки, пожалуй, не доходили — ну не диссидент же. Для любого человека, а тем более претендующего на роль политического лидера, не знать, где он живет, — настоящая катастрофа. Читая Трифонова, шеф чекистов и генсек убедился бы, что поколение «психологических коммунистов», к которому, возможно, принадлежал и сам и которое «исповедовало систему ценностей идеального человека», полностью переварено обыкновенными людьми.

...Марьянин напечатал свою первую повесть в том же журнале, где печатались и Солженицын, и Трифонов. Тем самым он занял некоторую позицию, принял определенные условия игры и, разумеется, что важнее, команду играющих. Так как государство в России всегда больше чем государство — главный субъект истории, — то и писатель в России больше чем писатель — последнее прибежище человека. Марьянин сознавал, что «быть хорошим писателем в наше время (и, наверное, не только в наше) и особенно в России (это мы теперь знаем) очень важно». Соотнося свое творчество с этим понятием — «хороший писатель», Марьянин переживал, что не успевает им стать. Он относился к себе с максимализмом подлинно творческого человека. Почему-то ему казалось, что роман, который он «должен был написать 15 лет назад» и так мучительно писал на пороге 80-х, сразу решит все проблемы. Как будто мало и плохих писателей, которые пекут роман за романом.

В конце концов роман был все-таки написан: «Третье поколение» — он открывает книгу. Писатель прослеживает на примере одной семьи разрывающее действие времени: между поколениями — зияющие провалы. Родительское наследство, то, что не портится и не обесценивается, — достоинство и честь — оказывается невосстребованным. Гаврила Андреевич Бадер, уважаемый врач, погибает в гетто. У него не хватило совести (то есть ее-то как раз хватило) сказать «я не еврей». Его сын, талантливый музыкант, не отказался играть немцам. Этот концерт в городе, где им гордились, оказался его бесчестьем. Но после освобождения, не воспользовавшись бронью, которая была положена ему как «второму Гилельсу», сделал все зависящее, чтобы его немедленно отправили на фронт. Зато Артем, его внук, по характеристике матери — никакой. «Он может стать всяким. И сделать все, что угодно». Криминальная история, постоянно перебивающая повествование и в которой так много пересекающихся точек с судьбой Артема, могла бы стать и его историей. Как сложится жизнь у него дальше? Автор оставляет вопрос открытым.

Один из возможных вариантов такой судьбы рассматривается в повести «Голыми руками». В стремлении иметь все и сразу герой повести Виталий, влюбленный в квартиру и дачу, в московскую прописку, вынуждает к браку женщину, которая намного старше его и которая в силу своей порядочности, интеллигентности оказывается беспомощной перед обаятельным хищником. В серии отрицательных

персонажей — автор в отличие от не столь прямолинейного Трифонова всегда точно взвешивает своих героев на весах морали — Виталий, безусловно, самый «удачный». Виталием движет энергия социальной униженности, в его лице провинция мстит столице, полубразованность — культуре. Можно даже сказать, что Виталий не лишен совестливости, и тем не менее именно он оказывается причиной смерти пожалевшей его женщины. При определенном сочувствии к герою, за него не стоит беспокоиться: с совестью договорится.

Гибель хорошего человека из-за плохого — устойчивый мотив в прозе Марьянина. Гибнет интеллигент Митя (повесть «Легкие хлеба»), спасающий подожженного свой дом «куркуля». Столичный интеллигент, выпускник мехмата, оставляет престижную работу, семью и переезжает в деревню, где еще сохранился их старый дом. Преподает в школе, продолжает любить жену — на расстоянии, выдерживает напор влюбленной в него подружки детства. И, в общем, счастлив. Повесть, в сущности, — диспут между ним и младшим братом Романом. Логика Романа, энергичного и неутомимого в споре технократа, — в пределах здравого смысла. Позиция у него непоколебимая, это фундамент, на котором покоится жизнь: он готов делать что угодно — ради семьи, ради хлеба насущного. Но есть в этой готовности на все — только ради элементарного выживания — нечто отвращающее его оппонента. Митя мог бы сказать о себе, как один из героев Шукшина: «Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо». И Митя знает, что ему надо. Работа должна быть творческой, кормить не только тело, но и дух. Последним аргументом в пользу Романа — возможно, излишним — становится, однако, гибель Мити.

Думается, повесть «Легкие хлеба» — разумеется, Митины — помогла решить и самому Марьянину непростой для него и его близких вопрос о смене профессии. Роман и Митя озвучили внутренний спор автора. В этом споре не может быть победителей. Каждый выражает свою жизненную позицию.

Советская литература, фиксируя обилие таких, как Митя, героев в 70-е годы, свидетельствовала о возникновении новой и достаточно острой коллизии между романтиками — «чудаками», «интеллигентами», диссидентами — и прагматиками всех уровней — от технократов до партocrats, — цепко держащимися за «реальность».

Если попытаться одним словом определить впечатление от прозы Марьянина, то это слово будет — «уравновешенность». Объективное и субъективное, лирическое и эпическое не уступают друг другу, не побеждают одно другого, но сосуществуют, упрямо держась точной, документально-реалистической основы жизни. Поэтому сдержанность — особая примета его стиля. Он никогда не пережестывает. Мягкие, интеллигентные интонации, осторожные, вроде бы неуверенные, словно постоянно нащупывающие фразы. Он скорее недоговорит, чем скажет лишние, необязательные слова. Скорее притушит чувство и выдержит обвинение в его отсутствии, чем сорвется в сентиментальность. Останется непонятым, но не станет объяснять вещи, которые надо понимать сразу. От этой общей сдержанности, вразумительности его стиля, воспитанной научным мышлением, и очевидная склонность к диалогу: пусть читатель сам прислушивается — в меру отпущенного слуха, — что и как говорят герои.

В его лучшей повести 70-х годов «Сын наш — Венечка» — она одновременно и мастерски «сделанная», и «живая» — фальшь материнских интонаций настораживает сразу. Кстати, повесть перекликается с рассказом Г. Семенова «Звезда английской школы». Но если героиня Семенова при встрече с реальностью ломается под грузом родительских ожиданий, то Венечка выдерживает столкновение с правдой жизни. Мать — «чего только она не творила с ним в детстве! Просто любить Венечку было ей, конечно, мало». (Энтузиазм таких матерей по сравнению с 70-ми резко возрос — в семьях «новых русских». Во что это выльется, мы еще увидим.) Однако сын оказывается способен противостоять давлению материнского стереотипа и оживить близкий ему, как оказалось, отцовский. Хотя отец вроде бы в воспитании сына и не принимал никакого участия. Но главное, что он был — работал, всегда занимался серьезным и любимым делом, которое приносило и благополучие, и уважение окружающих...

Пожалуй, именно на территории повести Марьянин проявляет себя наиболее убедительно. Роман «Третье поколение», в сущности, тоже повесть, но растянутая, потерявшая энергию и динамику развития.

Повесть «Леша Берман — половинка» оказалась последней и, пожалуй, самой важной для Марьянина. Еще в те внешне относительно благополучные годы, хотя уже были Сумгаит и Карабах, бурлящая Прибалтика, писатель ощущал всю остроту и взрывчатость национальных проблем. Герой повести Леша Берман для русских — еврей, для евреев — русский. Даже воры бракуют его: «Чижик не подходит. Еврейчик». Эта не зависящая от него половинчатость — в стране половинчатой идеологии и двойной морали — губительно сказалась и на его жизни: полноты самореализации он так ни в чем и не достиг. Ни в любви, ни в работе. Хотя умел и любил работать, считался талантливым специалистом в своем деле. Но сейчас он — безработный, готовится к выезду в Израиль: момент, когда Леша задумывается, как и почему он оказался лишним в этой жизни, в стране, которую любит, которая навсегда останется его родиной. Леша Берман — человек советский, в идеальном смысле этого слова, интернационалист и, как добавляет его сын, толстовец. Он представитель того слоя научно-технической интеллигенции, благодаря которому была создана огромная военная мощь Советского Союза, достигнуты внушительные успехи в освоении космоса. При всем дискомфорте от «половинчатости», Леша всегда был нужным человеком. Сейчас он растерян: «Я не знаю, что делать. Как жить? Как быть со страной? Не знаю — нужна ли демократия? Рынок? Чувствую, что нужен какой-то подход нравственный. Свой». В XIX веке спасение мира было возложено на красоту, в XX — на нравственность. (Солженицын: «Ни одна из систем... не обещает здорового выхода... должна быть революция нравственная... нравственная перестройка цивилизации».) В формуле одного моего знакомого-джазмена на одну букву меньше, чем у Достоевского: мир пасет красота. Нравственность пасет мир. Но каков бы ни был пастух, стадо может оказаться в пропасти.

Разваливающаяся империя разламывает Лешу уже не на половинки — на мелкие кусочки, из которых он и пытается сложить что-то объясняющую мозаику своей жизни. Имперское «несть ни эллина, ни иудея» рушится вместе с Римом. В тонущей лодке люди забывают, что все они — люди прежде всего, каждый помнит одно: человек — это я, единственный.

Марьянин убежден: у человечества остается надежда выжить только при сохранении уважения к самому явлению «человек». Кто-то должен бросаться в огонь, чтобы спасти другого, кто-то должен повторять, как Леша: человек — это мы.

Марьянин не стал определяющей или достаточно заметной фигурой литературного процесса. И дело не в позднем вхождении в литературу. Дело, мне кажется, в общей направленности творчества — примиряющего крайности, гармонизирующего мир. А задача эта, как известно, самая неблагоприятная. Тем более в эпохи, когда «энтропия» возрастает, когда разрушающие тенденции идут трещинами по всему фасаду здания, в котором ты родился и прожил жизнь. Кто-то уже начинает ломать здание, обреченное на снос, а кто-то до последнего пытается зацементировать трещины. Марьянин, конечно, из таких.

При всем том, что писатель сформировался в духовном поле Солженицына — Трифонова, все же пойти с ними до конца он не мог — ни в политической бескомпромиссности первого, ни в беспощадном анализе второго. Он не хотел разрушать тот мир, в котором он вырос и стал самим собой. Как всякий уважающий себя «технар», он полагал, что любую машину можно починить или хотя бы попробовать это сделать. Поэтому идея перестройки — «частичной починки» (К. Поппер) — была так активно поддержана именно научно-технической интеллигенцией. Именно она в подавляющей массе чувствует себя сегодня обманутой и выброшенной из жизни. Сегодняшняя реальность превышает возможности гармонизирующей личности. Поэтому такие люди покидают мир. Почти одновременно ушли Александр Марьянин и Георгий Семенов. Совсем недавно — Владимир Соколов.

Не было в жизни писателя Александра Марьянина ни попутного ветра, ни резонанса с очевидными тенденциями эпохи. Но было и осталось в нем главное — подлинность пережитого и передуманного, понимание того, что человек живет — должен жить — не одним днем. Неподлинное обесценивается, истлевает, подлинное — живое — растет и дает плоды.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.



ОНИ ЕГО ЗА МУКИ ПОЛЮБИЛИ

Борис Поплавский. Неизданное. Дневники, статьи, стихи, письма. Составление и комментарий А. Богословского и Е. Менегальдо. М. «Христианское издательство». 1996. 512 стр.;

Борис Поплавский. Покушение с негодными средствами. Неизвестные стихотворения.

Письма к И. М. Зданевичу. Составление и предисловие Режиса Гейро. М. «Гилея»; Дюссельдорф. «Голубой всадник». 1997. 158 стр.

Приветствуя в 1980 году в статье «Возрождение Бориса Поплавского» («Русская мысль», 28 августа) трехтомное переиздание его стихов (Беркли, Калифорния), поэт и критик Ю. Иваск радостно сообщал: «Поплавский ожил!.. Есть к нему интерес и в России!» Внимание к этому поэту в эмигрантском мире, и в Европе и в США, заметно, хотя и волнами, дает себя знать начиная с 50-х годов, в России же, по понятным причинам, датируется, действительно, с конца 80-х. Зато на данный момент сочинениями Поплавского и откликами на них могут похвалиться многие, очень многие органы центральной российской прессы («Юность», «Октябрь», «Новый мир», «Звезда», «Россия», «Литературная Россия», петербургский «Новый журнал», «Человек», «Московский комсомолец»).

Вообще литературная судьба Поплавского сложилась счастливо: необширный корпус написанного им для печати (и кое-что сверх того) был опубликован в Париже в конце 20-х и в 30-е годы, то есть при жизни и сразу после смерти поэта; а всего за пять последних прижизненных лет, кроме стихов и глав из романа, вышло тридцать статей, рецензий и заметок. В 1939 году в связи с публикацией второго стихотворного сборника Поплавского «В венке из воска» Н. Бердяев не без знания дела писал: «Это то, что осталось неизданного после сборников, подготовленных к печати самим поэтом и его друзьями».

Теперь перед нами еще два Поплавских — «Неизданный» и «Неизвестный». Первый — это обширный (полтыщи страниц мелкого шрифта) фолиант, содержащий, кажется, все жанры. Среди творений самого автора: страницы из дневников, стихи и проза, переписка, философско-религиозные медитации, статьи о живописи, спортивные эссе, рецензии, эпистолярный автопортрет, завещание. Автор окружен — тоже разнообразными — текстами: подборкой вводных статей составителей, знатоков российского литературного зарубежья А. Н. Богословского и французской славистки Елены Менегальдо, обширным приложением, куда входят материалы из тогдашней литературной жизни, отклики на смерть поэта, специальная рубрика о его литературном наследии, огромный справочно-библиографический аппарат. Все вместе представляет собой подробный путеводитель по «жизни и творчеству» Поплавского, что не только реализует пожелание Ю. Иваска, высказанное в упомянутой статье, о «необходимости библиографии» Поплавского («с критическим пересказом отзывов о нем», но и далеко выходит за рамки этих задач, по сути составляя пышный «венок поэту».

Однако простое знакомство со справочным аппаратом, свидетельствующим, что лишь одна пятая помещенных здесь текстов автора никогда не публиковалась, убеждает, что перед нами не столько «неизданное» (Бердяев оказался-таки прав), сколько «несобранное». Но в таком случае организаторы этого сборника выступают мало того что скрупулезными издателями, но и прямыми энтузиастами в деле популяризации наследия Поплавского.

Другое издание, составленное французским славистом Режисом Гейро при участии С. Кудрявцева и предназначенное для интимного, камерного круга любителей, тоже названо несколько загадочно: из «неизвестного» половина известна. В комментариях сообщается, что в сборнике помещены «стихи, письма и записки, обнаруженные в архиве» Ильи Зданевича, близкого Поплавскому авангардного литератора и художника. Отсюда, как надо понимать, — и графическая заумь эзотерической книжки, отменившая вездесущие правила орфографии и пунктуации. Но обложка, обложка! Тиснение золотом при портативном формате — чтобы и в дороге не различаться с любимым поэтом, получая к тому же удовольствие от подарочности издания.

Таким образом, если иметь в виду вышедшие книги — «коня и трепетную лань», то в их лице перед нами соревнование двух архивов, двух источников и двух составных частей сохранившегося наследия Поплавского.

Второе издание ставит читателя перед дилеммой, что вообще следует считать «неизвестным», а что «известным», ибо ссылка на принадлежность к архиву ничего об этом не говорит. Ведь оригинал любой давно опубликованной страницы может по-прежнему храниться в темных архивных недрах. По мере знакомства с изящной книжечкой выясняется, что «неизвестное» здесь двух родов: непубликованные опусы поэта (часть из них официально именуется «заумью»), восемь писем его к другу Зданевичу, а также рисунки голов и торсов а là Пушкин, в том числе что-то вроде двух симметричных в разворот книжки клякс с авторской припиской «прапущенно»; и материалы второго рода — незначительные вариации опубликованных стихов, представляющие читателю скорее пометки, чем поправки, потому что издатели сами не уверены, на каких из вариантов остановился их автор. Возникает вопрос, не является ли издание этого «неизвестного» знакомством с отвергнутыми черновиками (что вероятнее всего) — то есть изданием «необязательного». В свете сказанного приобретает смысл и сам загадочный заголовок томика: «Покушение с негодными средствами». Но «необязательным» это выглядит, разумеется, только вчуже, в глазах не посвященных в «легенду Поплавского».

Из всего вместе ясно, что и мы в России переживаем ренессанс Поплавского, что подтверждается и проведенным среди писателей опросом о самых привлекательных книгах за месяц, где «Неизвестное» попало в десятку — рейтинговую («Литературная газета», 1997, 5 марта).

Но à propos отметим любопытный момент: при всем мелькании за последнее десятилетие на страницах наших изданий имени Поплавского и печатании его сочинений он, в отличие от воскрешенных за это же время эмигрантских поэтов и писателей (я уж не говорю о философах) — в отличие от того же В. Набокова, с которым поклонники Поплавского ставят его в параллель, — никакого отражения в литературном процессе или вообще в интеллектуальном обиходе не получил. Другое дело его сестра Наталия Поплавская, которая ни в какие текущие словари, равно как и другие издания, не попадала и которая как раз и возбудила в нашем герое ревнивую страсть к стихотворству, — однако начиная с 20-х годов не сходит с языка. Слова популярного городского романса «Ты едешь пьяная и очень бледная / По темным улицам совсем одна...», ставшего уже фольклором, написаны молодой девицей Поплавской, которая сразу же ярко запечатлелась в сознании М. Цветаевой. Но вы слышали, чтобы где-нибудь цитировали в живой речи ее брата, ссылались на него, спорили с ним, в конце концов? Вот и кажется, что моден он каким-то специфическим, хотя и нередким уже сегодня, образом — среди издателей и, шире, среди узкого круга литераторов.

Составители вышедших сборников как раз и принадлежат к той самой «группе страстных поклонников», которую заметил в России тот же Ю. Иваск, и прилагают все силы, чтобы убедить нас в исключительной одаренности и значительности поэта. И у них есть мощная поддержка — его репутация, сложившаяся во времена эмигрантского Монпарнаса, где Поплавский «гремел» в 20 — 30-е годы. Загляните в сборник «Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников» (СПб. — Дюссельдорф, 1993), часть которых воспроизводится в «Неизданном». Речь идет не о впечатлениях богемной среды, но о мнениях основательных литераторов русского зарубежья, где большинством голосов было решено признать Поплавского лучшим, талантливейшим поэтом эмигрантской эпохи (второго поколения первой волны), «первым поэтом среди молодых» (по свидетельству автора воспоминаний «Поля Елисейские» В. Яновского), «одним из самых талантливых в эмиграции поэтов» в новом поколении (В. Ходасевич), творцом того, что «больше талантливости» (М. Слоним), и т. д.; наконец, Д. Мережковский заявил, что существованием Поплавского оправдывается вся литературная эмиграция. Да и Н. Бердяев с В. Вейдле нашли слова похвалы поэту. И прозвучало только три диссонансирующих голоса в этом хоре: В. Набоков-Сирин, разнесший сборник Поплавского «Флаги» и сделавший исключение лишь для одного стихотворения «Морелла»; М. Цветаева, которая на вопрос о Поплавском отрезала: «поэтом не считаю»,

и Г. Струве, в 1931 году отнесший его «к области патологии литературы», а позже, в 1956-м, развернувший это замечание в убийственный отзыв.

Создатели «Неизданного», разумеется, целиком поддерживают и развивают дальше мажорную тональность в отношении к Поплавскому, в связи с апологией которого упоминается даже Гомера «Одиссея». Нам после всего этого тоже естественно поверить в незаурядность русско-парижского поэта и ждать от изданного «неизданного» радостной встречи с ним.

Но вот тут-то, при этой встрече, и образовался поразительный раскол между ожиданиями и наличностью. Я пережила буквально сшибку нервных процессов, как подопытная собака Павлова. Восклицают: «халва! халва!», а мне кисло и горько.

Но судите сами. Вот наугад из «Неизданного»:

Мы будем швыряться веками картонными!
Мы Бога отыщем в рефлектор идей.

На десяток стихов попалась, кажется, одна ясная фраза: «Мы ходили с тобой кокаиниться в церкви».

Из «Неизвестного» (облегченного, как вы помните, по части пунктуации) можно узнать, что:

Игру мы затеваем напеваем
Напаиваем хорошо паять
Кто не больны Тебя обуревают
Рвут разрывают наверху на ять

Здесь же специально уточняется, что: «...опаснейший сон / Удивлен и бесшумен и сладостен он», а не «восхищен фиолетов» и тоже «сладостен», как мы могли думать раньше, читая предыдущее, неуточненное, издание.

А вот — «поэзия неведомых слов», попросту заумь: «Панопликас усонатэо земба / Трибулациона томио шарак» и так дальше, но заумь, лишенная даже того смысла, которого добивались наши кубофутуристы. В их безумии все же была «своя система»: построить абстрагированный от значений реальной лексики язык звукосочетаний, которые должны были навевать определенные настроения. У Поплавского «поэзия неведомых слов» и абсолютно безыдейна, и именно что лишена поэзии, ибо экзотические сочетания перемешаны со стилистически чуждыми элементами латыни. Поэтому предпринятые в книге уточнения различий такого рода зауми выглядят двойным абсурдом. Однако комментаторы считают по-другому. Признавая, что «какой-либо доступный для понимания смысл здесь отсутствует», они предоставляют нам возможность всю наслаждаться «ощущением ясности» (только не ясно, чего).

Но обратимся же к прославленным «Флагам», чтобы составлять представление о поэте по самым основным его вещам.

Обнаженная дева приходит и тонет,
Невозможное древо вздыхает в хитоне, —

раскрывается сборник на этом месте. Что это, неужели «Подражание Жуковскому», как, судя по названию, считает сам поэт?! Но терпение, читаем дальше: «День ветренный посредственно высок»; «Синий мир водяной неопасно ползет, / Тихий вол ледяной удила не грызет». Или: «И возили на возках скелеты / Оранжеды и оранжереи». Вроде бы не заумь, а чем не она? Оказывается, поэт был озабочен, «не слишком ли понятно» у него выходят стихи, и делал все, чтобы этого не было. И так оттачивал их в намеченном направлении, что забывал не только о смысле, но и ритме. «Лишь мы оба, что знаки регистра, / Бдим случайности во вне одни» (если, конечно, не следует читать: «вó вне»).

А гордые каламбуры (системы «капустник»)? «Мы молока не знаем, молокане», «Мыс доброй надежды! Мы с доброй надеждой...» — чем упивались наши компатриоты на «Монпарно». Мы тоже так можем: «„Трибуна люду“ — трибуну люду!», «Тираны в Тирану вернулись так рано». Не буду задерживаться на несусветной безвкусице типа: «И как светлую прекрасную розу, / Мы закуриваем папиросу», «Или вешают звезды на елку души».

Много было отгадчиков, откуда есть пошла поэтическая гениальность Поплавского, и решили (если сложить все мнения), что среди вдохновителей ее — Рембо, Аполлинер, Пастернак, Блок, Гумилев, Клюев, Чурилин, Хлебников, ранний Заболоцкий, Лермонтов, Бодлер, Бунин, Кокто, Фофанов, Э. По, А. Белый и, конечно, Северянин с Вертинским. Что касается двух последних, то не берусь доказывать их преимущественное воздействие на музу Поплавского, а сошлюсь на В. Набокова, произведшего инвентаризацию «всей приторной дребедени» салонно-ресторанной лирики в стихах Поплавского, где полно дирижаблей, «Титаников», сусальных ангелочков, зайчиков, карликов, пароходиков, голубых мальчиков, розовых девочек и т. п. Среди истоков нашего поэта упоминались и творения художников-сюрреалистов.

Все это так. Чего только нет у него — «то флейта слышится, то будто фортепьяно». Однако мне кажется, что во главе шеренги невольных прародителей Поплавского могут быть поставлены общеизвестные пародийные образы стихотворцев: тот же капитан Лебядкин или поэт из рассказа К. Чапека, автор пресловутого «О шея лебеда, о грудь, о барабан» (только без того реального содержания, благодаря которому стихи чапековского героя оказались зашифрованным свидетельством о дорожном происшествии).

В самом деле, чем Поплавский хуже чапековского поэта: «...И статуи играют на рояле, / Века из бани выйти не желают, / Рука луны блестит на одеяле»? Расшифровать каждый читатель может по своему усмотрению.

От поэзии Поплавского у Набокова возникло впечатление, что «четверо не очень образованных людей сыграли в буриме». У меня совершенно самостоятельно возникло такое же чувство — что поэт работал в основном по следующей схеме: ему приходила в голову какая-нибудь строчка, и он как Бог на душу положит низывал другие, или, вероятнее, его поражала рифмуемость каких-нибудь двух слов, и затем он заполнял пространство между ними в меру ритмизированной лексикой, где одни из элементов могут быть заменены другими без ущерба для целого. Смысл собранного таким образом произведения должен обречь задним числом, а читателю предстоит даже не столько угадывать его, сколько подбирать по своему вкусу. Хотя задача эта не из легких, так как у Поплавского связь между строчками и даже между словами обычно отсутствует.

Частые ссылки поклонников Поплавского на ключевую роль «потока сознания», якобы текущего в мире его поэзии, неубедительны, потому что потока-то здесь и нет, а есть калейдоскоп разрозненных вокабул.

К Поплавскому нельзя отнести ни одно из возможных соображений о словесном творчестве: ни он не владел языком, ни язык им. Естественно, что старших современников нашего поэта втайне грызла гиена подозренья насчет состоятельности его поэзии. Вождь «парижской школы» Г. Адамович спасал положение, объявляя, что Поплавского стесняет сам механизм рифмованной и размеренной речи, и предвещал грядущее освобождение служителей муз от стесняющих пут.

Понятно, что когда основания под стихотворством шатаются по всем направлениям, остается уповать на всепоглощающую его музыкальность. Лире Поплавского приписывали «одурманивающую музыкальность» (А. Бахрах), «волну музыки» (Г. Газданов), «музыкальное очарование» (А. Ладинский), «волшебную музыку» (Ю. Иваск). Этот взгляд, как и другие лестные интерпретации поэта, поддерживается и сегодняшними издателями-исследователями. Однако мы не найдем (не нашли уже!) в стихах Поплавского хотя бы манерной звучности, которая слышится в брюсовских строках «Фиолетовые руки / На эмалеовой стене / Полусонно чертят звуки / В звонкозвучной тишине». Не найдем потому, что в них отсутствует даже та убогая логика образа, которая худо-бедно все же связывает звучание воедино, и образ не рассыпается, как у Поплавского, когда он, не успев возникнуть, уже вытеснен другим. Если говорить о подлинной музыкальности, то искать ее надо в подлинной поэзии, где торжествует равновесие между смыслом, жизнью образа и фоникой (мелодией). У нашего же, парижского, поэта этот баланс, мягко сказать, нарушен.

Поплавского сравнивают с Э. По, но какую-то общность между ними можно искать в мрачной невероятности сюжетов прозы По, а никак не в изощренной эстетической звукописи его поэзии. Лексика Эдгара По «выровнена... чтобы служить

простым фоном для демонстрации звуковых достижений»¹, у Поплавского, наоборот, лексика кричащая, упор делается на экстравагантные возможности тропа. Интересно, что те же, кто превозносит музыку его стиха, без запинки переходят к восхищению его «одержимостью образами» (Н. Татищев, например). Или: «он идет... от образа к образу» (В. Ходасевич). Но особый упор на музыкальность и особый упор на образность — это погоня за двумя разными зайцами.

На самом деле установка Поплавского на взрывчатую экспрессию слова и образа (в идеале реализованную М. Цветаевой, в экстремистском варианте — В. Хлебниковым) — это ампула имажинизма и даже футуризма, совершенно чуждых культуре сладкогласия.

Находят, что Поплавский «живописен», даже «более живописен, чем музыкален» («Неизданное», стр. 23). Но изобразительное искусство — опять-таки чужое ведомство, чтобы поэзия могла легко с ним сливаться. Лермонтов, например, был очень живописен, но его «По синим волнам океана, / Лишь звезды блеснут в небесах...» кроме ярких красок содержит полагающуюся стихосложению словесно-поэтическую материю, а не одно только назойливое название цвета, чем живописность не создашь. «Синие души вращаются в снах голубых, / Розовый мост проплывает над морем лиловым», «Синий ангел влюбился в весну, / Черный свет отойди ко сну». Никакой картинности тут не возникает, она и не может возникнуть в антиландшафте, складывающемся в стихах Поплавского из разрозненных, чаще несовместимых для естественного воображения, но броских деталей. Напоминает такая картина вселенной Эмпедокла на начальной стадии бессвязной множественности: руки, ноги, глаза, отдельные материальные части, которые пока ни в какую композицию не соединяются.

Концепция живописной картинности стихов Поплавского поддерживается лестными для поэта предположениями его подлинного «визионерства»: будто поэзия его — плод непосредственного контакта с некими кладовыми подсознательно-открываемыми, в частности, и в «психоделическом» опыте, то есть под наркотическими «парами» (к чему поэт пристрастился с отроческих лет, еще в своем отечестве). Но не говоря о том, что ни «психоделика» не гарантирует подлинных связей с подсознанием, ни само подсознание не имеет мандата на искомую сверхреальность (почему именно в «под» должно содержаться «сверх?»), никому не известно, что на самом деле «виделось» поэту в «голубых снах», как «курильщику опиума» или как битлам с их «желтой субмариной», а что им присочинялось. Как бы ни трактовать истоки визуальности в поэзии Поплавского, главное, что в ней нет как нет живописной красоты.

Да и поэзия ли это? — можем мы напоследок воскликнуть вместе с Г. Федотовым.

Однако «Неизданное» напоминает нам, что поэт был еще и автором исповедальной прозы, а также, по сегодняшнему свидетельству, мыслителем, «призванным... к религиозной философии». Но в этом последнем отсеке самовыражения Поплавского происходило все то же, что и в стихосложении: те же эклектичность и наскок в усвоении «истоков». Бёме, Зигварт, Ницше, Гераклит, Гартман (по-видимому, Э.), Шеллинг, Гегель, Конт, Спенсер, Гуссерль, Лейбниц, Фалес, Энгельс, солипсист Беркли, — коловращение этих имен — результат Sturm und Drang'a парижских библиотек, где Поплавский мог просиживать дни напролет. С такой же неистовостью он накидывался на «метафизику», с какой иногда вдруг начинал «боксовать» (он специально занимался боксом), то есть набрасывался с кулаками на ничего не подозревавшего соседа (или соседку!) где-нибудь в кафе за столиком. Но, Боже, то, что говорится у нашего героя по поводу того или другого добропорядочного ученого немца, уму непостижимо! Попавшие в горизонт сознания отрывки их мыслей сразу включались в сменяющие друг друга (как и в стихах) сюрреалистические конфигурации. К примеру, рассуждения Поплавского о «логике» Гуссерля или «целокупном понятии Бога» у Зигварта сливаются с панегириком «грязным рукам и нечесаным головам». Да какое там! Попадаются и не такие выражения философского амикошонства в его писаниях, следующих лозунгу «цинично и с непорочностью». Среди болезненных или намеренных (а вероятнее, тех и

¹ Аверинцев С. С. Поэты. М. 1996, стр. 300.

других сразу) вывертов встречаются трагические банальности, как, например, раздумья о «времени и смерти», которые почему-то не сумели воплотиться в стихах. В общем, все это «турысы на колесах», как мимоходом обозначил умствование Поплавского снисходительный к его стихотворству А. Бахрах. Все потому поднят вопрос, как это делается в «Неизданном», о какой-либо, а тем более о «неразрывной» связи Поплавского с ключевыми проблемами русской философии, как бы мы их ни толковали.

С богословской топикой дело обстоит точно так же — и потому еще печальней.

Поплавского нам представляют «богоискателем, взыскующим смысла жизни». Не хотелось бы следовать за извивами его исканий, скорее схожих с любопытством гурмана к неизвестным блюдам. И дело не в том, что пришлось бы побывать на черной мессе, за спиритическим столом, в масонском собрании, ну и в буддийской пагоде и на православной службе, а в том, что, следуя за поэтом в его духовных странствиях, мы столкнулись бы с вещами, которые заставили бы испытать чувство безразличия и гадливости. А в конце концов — и убедиться, что странствующий дервиш не собирался ничего находить. Соревнуясь с проклятыми поэтами, с Бодлером, чьи «Цветы зла» глубоко запали в его сердце, Поплавский возвещает о «красоте зла» и без конца упражняет свой «доморощенный демонизм» в циклах inferнальных стихов и в исповедальной прозе (к сожалению, не прибавивших миру ни красоты, ни цветов). Но самое печальное, что затеянный им «роман с Богом» (как он назвал свое «богоискательство»), по словам его друга, «трагически вылился в ничто»; Поплавский и сам жаловался, что с Богом у него «ничего не получилось», встречи не произошло...

Однако вовсе не неудача в капризной затее должна пугать здесь. Главное, «роман» пишется его автором в тонах одичало-невротического сумбура (с восклицаниями типа: «как стыдна святость!»), кощунственного запанибратства и святотатственной непристойности (речь заводится, простите, о «половых отношениях с Богом»).

Совершенно непонятно, почему «Христианское издательство» посчитало этого героя своим и ассоциировало его с «Ангелом-путешественником» Гюстава Моро, украсившим оборот обложки. Может быть, потому, что оно заранее решило: русское зарубежье по определению христианское? (Но мы имеем дело в данном случае не с отцами, а с детьми!) Тем более непонятно, зачем этому издательству надо было включать, да еще жирным шрифтом выделять то, что было исключено и зачеркнуто самим автором («Варианты, отброшенные Поплавским», отрывки из «Вариантов и разночтений»). Чтобы утвердить за автором репутацию раннего предшественника нашего нынешнего Бреннера? Ах да! Чтобы помочь «читателю проникнуть в глубинный метафизический пласт повествования» («Неизданное», стр. 470). Пропусти они, как это сделали в петербургском издании 1993 года, описания «фактов сексуального и скатологического (непристойного) характера» (вот где находится «глубинный метафизический пласт!»), «русский читатель» так и не приучился бы к свободе (Е. Менегальдо подчеркивает важность именно «такой свободы»).

Первая вылазка «такой свободы» — свободы от нравов, — предпринятая в 1953 году Ю. Иваском, который опубликовал в русскоязычном нью-йоркском журнале «Опыты» ряд неизвестных глав из «Аполлона Безобразова», окончилась, как известно, скандалом: отказались от сотрудничества архиепископ Иоанн Шаховской и М. Вишняк; угроза посадить публикатора в тюрьму за порнографию последовала от вдовы Г. Федотова. Либералы отступили «до лучших времен», «которые, — по справедливой констатации нынешних популяризаторов Поплавского, — несомненно сегодня уже наступили». (Но вот беда: на этом всеразрешающем пути нас ждет, как писал по близкому поводу С. Аверинцев, «самая страшная расплата... даже не безумие, а скука вседозволенности, когда уже ничего не испугаешься и ничему не удивишься, когда все можно и как раз поэтому ничего не нужно»².)

Во времена «отцов», в 20 — 30-е годы, когда либерализм еще не делал таких гигантских завоеваний, образ нашего поэта был иным и не носил обценного налета. И все равно остается великая загадка, как могла такая фигура снискать у своих современников успех.

² Аверинцев С. С. Поэты, стр. 306.

Понятен энтузиазм в отношении его в артистической богемной среде однолесток, поэтов из одной и той же парижской «школы изгнанников и странников» (Г. Федотов), лишенных не только почвы, но и воспоминаний и, конечно же, школы. Главным выразителем умонстроения «незамеченного», но жаждущего быть замеченным поколения Поплавский стал, будучи самым дерзким из своей среды («от собственной дерзости и погиб», согласно пронизательному диагнозу того же Г. Федотова). Все безвкусные надрывы, дикие демарши и постоянные «истерии», как творческие, так и житейские, находили естественный резонанс у молодых апатридов, дышавших общим «воздухом распада и катастрофы», как определил монпарнасскую атмосферу один из их опекунов, В. Ходасевич.

Но чем же мог покори́ть поэт старшее поколение эмигрантской, что называется, творческой интеллигенции, с вывезенными из России критериями словесности, — тонких критиков и крупных поэтов, да и молодых, но уже успевших нажать на родине кой-какой творческий багаж, по крайней мере получивших, по выражению эмигрантского историка и романиста Н. Ульянова, «литературную зарядку в старой писательской среде Петербурга и Москвы»? Объяснение тут может быть только одно: резонанс литературной эмиграции на Поплавского в глубине своей был отзывчивостью на мучительность его музыки, реакцией сострадания к судьбе этого изнервленного творца, «поэта-паяца». «Жалостливое сочувствие», которое питал В. Ходасевич к автору «Аполлона Безобразова» и «Дневников», в той или иной степени было присуще эмигрантским мэтрам, и чувство это усиливалось комплексом вины вместе с благородным переживанием ответственности старших перед поколением сыновей, попавших «в эмиграцию недоучившимися подростками» (В. Варшавский). «Настоящий страдалец», — выразился о Поплавском Н. Бердяев, и это восприятие мучительного удела поэта всегда присутствовало в отзывах о нем, располагая к особой к нему чуткости. Даже бесприютных сверстников, как Г. Газданов, прорывала «пронзительная жалость» к поэту-страстотерпцу; „мы все чувствуем присутствие... существа одинокого и несчастного» (В. Варшавский).

Произошла aberrация. Полубоили за муки, приняли их за поэзию.

Да и постоянно акцентированная «музыкальность» разве не была превращенной формой жалобной, вагонно-просительной интонации его стихов, «мучительных и унылых» (по впечатлению Н. Бердяева), где, добавим, непрерывно «стонут», «разрывают одежды», идут ко дну. В дневниковой прозе Поплавского слышится то же душераздирающее отчаяние, с подытоживающим резюме: «сама жизнь есть мука». Кто же, однако, этого не знал? «Печальностью», размышлял по этому поводу мужественный романтик Г. Газданов, никого не удивишь, но «такой ее степени и такого ее характера мы еще не знали». Один Поплавский сумел поставить вопрос так, что самым несчастным посчитали его.

В отклике Н. Бердяева «По поводу „Дневников Бориса Поплавского“» мыслитель находит в них «лживую искренность», желание «поразить», «ложное возвеличение своей униженности» и к тому же отсутствие «ядра личности». Эти черты, а вместе и вся «бесконечная противоречивость личности» Поплавского, охваченной, по мнению Е. Менегальдо, высокими исканиями, уложатся в цельную картину, если разглядеть в его лице новый культурный феномен и симптом. Помните памфлет П. В. Палиевского «К понятию гения»: появляется некий неизвестный гражданин и заявляет: «Я — гений», а вы потом, если не согласны, опровергайте (чем мы и занимаемся). «Духовно я, — сообщает Поплавский, — умный, самый блестящий и самый прозорливый обитатель Земли. Религиозные, т. е. метафизические, способности мои — гениальны, к поэзии я способен на уровне великих поэтов, к живописи — несомненно. Кроме того, необычайно музыкален. ...Я являюсь человеком наиболее близким к гениальности из кого бы то ни было из моих современников...»

Что такое гений нового типа? Это нео-неоромантик, сочетающий требования сочувствия к страдательной униженности своего положения (мол, «подайте милостыню ей!») с притязаниями на исключительность своей личности и ее творческие потенции («недоступный, гордый, чистый, злой», по Блоку). Вот и расшифровка «сентиментальной демонологии» Поплавского. Специфика такого гения в том, что он чувствует в себе избыток не столько собственно творческих сил, сколько неуемных притязаний, неутолимую жажду самоутверждения, склонную выражать себя в актах отрицания. Честолюбие как человеческая страсть существовало всегда,

проявляясь и в графомании, и в комплексе Герострата, но только в XX веке оно легитимизировалось в культуре, переселившись из ее прихожей в жилые комнаты; только в эпоху утраченных основ и смыслов «дерзание и отвага», публичный над-рив и самореклама стали субститутами таланта и даже гения.

Поэты любят славу, как женщины бриллианты (кому же не хочется блеснуть?!). Однако наш герой в своем неустанном беге за славой, в своем нетерпеливом желании стать «общепризнанной знаменитостью», о чем он мечтал вслух, никаких преград не знал и нажимал на все регистры сразу (часто напоминая ребенка, который, чтобы привлечь внимание взрослых, начинает истошно кричать и бросаться игрушками).

Эта энергия самолюбия, играющего на страдании — и действительно испытывающего его, — принималась за энергию таланта.

Если главная задача — выделиться, значит, выделиться надо во всем. Не важно, что Поплавский был более благополучен, живя в семье с родителями, чем его одинокие сотоварищи Г. Газданов и А. Ладинский, служившие в шоферах и разносчиках. Важно, что он радикализовал свои жизненные обстоятельства (не без помощи «зелья»), равно как и внешность: бедность он превратил в нищету, непривлекательность в экстравагантность — он принял облик странника-слепца-спортсмена, где черные очки, не снимаемые ни днем, ни ночью (носимые «зря», по выражению И. Одоевцевой), и полосатая тельняшка исполняли роль «желтой кофты».

Как пишут сегодня, Поплавский, с его мятущейся душой, взыскующей смысла жизни, словно «вынырнул» из романов Достоевского. По-моему, это очень верно.

У писателя есть персонажи с большим самолюбием, один из которых вдобавок болен телесно, персонажи, истерически будирующие свое окружение: это «подпольный человек» и Ипполит Терентьев. Их может напоминать Поплавский, но только без их интеллектуального блеска, философской диалектики и подлинно богоискательских вопрошаний, которыми их снабдил Достоевский. Хотя некоторые строчки «Аполлона Безобразова» будто выписаны из исповеди Ипполита, умирающего от чахотки: «прекрасный, озаренный вечерним солнцем, прощающийся со мной мир», или — из разговора с Ипполитом князя Мышкина: «Вы можете ли вынести зрелище чужого счастья?» Роднит этих подпольных литературных героев с еще более подпольным нашим также подлинность страдания, а оно, при всем их неблагообразии, было таковым, подлинным; Поплавский тоже платил по счетам: мытарствовал, наркоманил и в конце концов погиб. (Нынешние культурные «возмутители» и девианты ведут не в пример ему комфортный образ жизни, разезжая в лимузинах, красуясь на тусовках.)

В статье «О парижской поэзии» (1942) Г. Федотов, озабоченно размышляя о нигилистическом опыте Поплавского, выбравшего путь «абсолютной свободы», высказал ободряющую гипотезу, что «в разложении... есть своя негативная мистика, которая в любой момент может обернуться позитивной... до этой огненной точки почти никто из парижан не дошел. Может быть, Поплавский был всех ближе к ней». Выходит, эксперимент слишком рано оборвался. Тут приходит на ум известный анекдот о лошади цыгана, которая совсем было уже приучилась не есть, да померла. В темных лабиринтах, где вдруг должен вспыхнуть свет, больше тупиков, чем выходов, а есть и пропасти. Нехарактерный для Г. Федотова утопический мистицизм, рисующий умозрительные перспективы спасения заблудшего поэта, тоже ведь был формой сострадания ему...

Если первая волна эмиграции полюбила Поплавского за страдания, то третья волна популяризации — за успехи в деле «духовного освобождения» (Е. Менегальдо). И работа популяризаторов дает плоды: «легенда Поплавского» растет и крепнет, уже раздаются голоса о «бессмертии». Неотступность, как известно, камень точит, даже такой камень, как Цветаева. Недавно от С. Липкина мы узнали, что тот, кого она раньше, в своей парижской жизни, вообще «поэтом не считала» (письмо Ю. Иваску от 11 октября 1935 года), на дистанции, в 1940 году, в Москве превратился в ее сознании в «самого зрелого поэта из молодой эмиграции»³. Как же, человек погиб при невыясненных обстоятельствах, о нем столько наговорено...

³ Липкин С. Квадрига. М. «Книжный сад». 1997, стр. 409.

Русский народ, как известно, любил несчастного преступника, русский интеллигент любит несчастный талант — и это великодушно! — хотя грань между тем и другим в нашем веке стремительно стирается, поскольку за талант принимается способность «преступить черту».

Рената ГАЛЬЦЕВА.



РУССКИЙ АГРИППА

Теодор Агриппа д'Обинье. Трагические поэмы. Вступительная статья, стихотворное вступление, перевод и комментарии А. М. Ревича. М. «Присцельс». 1996. 530 стр.

Почему история так часто не успевает быть справедливой к тем, кто еще не стал ею, и что такое вообще историческая справедливость?

Отчего следующие поколения не учатся на уроках прошлого, а каждый раз падают в старые ловушки?

Как гонимые пророки свободы, одержав победу, становятся деспотами, возбуждая новую волну тираноборчества?

Есть ли выход из противоречия между свободой воли и предопределенностью судьбы человека, нации, мира?

Эти вопросы — такие насущные для России XX столетия — в полной мере стояли перед Францией XVI века, захлестнутой насилием гражданских войн, получивших название религиозных, или гугенотских.

Папский Рим стремился расширить свое влияние на европейские монархии, соединить в себе власть небесную и земную. Транснациональные притязания Ватикана встретили ощутимый отпор. Богословским нервом сопротивления стало смещение акцента с внешней пышности церковных обрядов на внутреннее благочестие, прямое общение верующего с Богом. А патриотический пафос вылился в стремление обрести независимость от власти Рима.

Реформация, начатая Лютером в 1517 году, победив в Швейцарии и Англии, достигает юга Франции, вербуя своих сторонников во всех слоях общества — от крестьянина до короля французской Наварры.

С 1562 года страна расколота на два лагеря: католический и протестантский. Противостояние достигает такого накала, который на семьдесят лет превращает цветущий край в братоубийственный содом. Каждая из сторон — католики и протестанты-гугеноты — считает себя единственной носительницей Христовой правды, а своих оппонентов причисляет к антихристовой рати. Взаимная ненависть подогревается пророчествами о скором конце света, когда каждому воздастся по заслугам. Но конец света все откладывается и откладывается, а побоище все длится и длится.

Франции предстоит пройти через восемь гражданских войн, убийства двух королев, страсти Варфоломеевской ночи, полное разорение народа прежде, чем в 1628 году падет крепость Ля-Рошель — последняя опора гугенотов.

Именно на эту эпоху и приходится жизнь гугенота Теодора Агриппы д'Обинье — поэта и ратоборца.

Он родился 8 февраля 1552 года в поместье Сен-Мори близ Понса, а умер в эмиграции в Женеве через год после падения Ля-Рошели.

Его судьба настолько переполнена внешними событиями, что кажется удивительным, откуда находил он время для стихов — для того, чтобы, как говорили римляне, ревностно предаваться искусству среди пожарищ. И не бранные подвиги, не дипломатические миссии, не бесконечные дуэли горячего гасконца — земляка д'Артаньяна, а именно семь поэм, объединенных эпитетом «трагические», внесли имя д'Обинье в анналы истории и культуры.

Трагические поэмы...

Человек, всю жизнь проживший в самоистреблявшейся стране, других поэм написать не мог.

Да, в мушкетерской эпопее Дюма разгоравшийся костер той поры постреливает озорными искорками юмора, тогда как у Агриппы пышет страшное, всепожирающее пламя, оставляя после себя лишь померкшие уголья скорби. Но ведь для Дюма гугенотские войны были далеким прошлым, не более чем аранжировкой его сюжетных авантюр, а д'Обинье — современник, участник событий. То, что потомки смогут использовать в качестве литературного фона, для него являлось смыслом жизни. Кроме того, Дюма позволял себе шутить, поскольку мысленно стоял на стороне победителей. Агриппа же бился за дело побеждаемых — изгоняемых, теряющих власть. Его голос — это голос тех, кто лишился всего: дома, близких, Родины, жизни. Смириться с поражением Агриппа не мог. Слишком многое было пережито за эти годы, начиная с первых шагов, с самого детства.

Какой-то мистический отсвет лежит уже на его имени: *agre partus* — рожденный в страданиях.

К десяти годам маленький Агриппа — сын протестанта — изучает латынь, греческий, древнееврейский (язык первоисточника веры).

В одиннадцать лет он, как гугенот, приговоренный к сожжению, бежит из-под стражи ночью накануне казни.

Тринадцатилетнего — пьяные солдаты-протестанты (борцы за чистоту веры) сворачивают его в притонах осажденной Гиени.

Вырвавшись оттуда, устремляется он в Женеву — центр гугенотов. Короткая передышка посвящается бурному сочинению латинских стихов, изучению философии и математики.

1567 год. Шестнадцатилетний Агриппа тайком от семьи, в одной ночной рубашке спускается из окна на связанных простынях, чтобы присоединиться к отряду гугенотов. Командир вручает ему аркебузу — тяжелую пищаль, стреляющую каменными пулями. Показывает, как их засыпать в ствол, как поджечь пороховой заряд. А навстречу скачут вооруженные католики. Одеваться некогда, да и не во что. В развевающейся, как белое знамя, ночной рубашке Агриппа врзается на коне во вражеские ряды. После боя он дает расписку: «Обязуюсь не упрекать войну за то, что она меня разорила, потому что не могу выйти из нее снаряженным хуже, чем в тот день, когда в нее вступил». Так начинается судьба воина, который скажет о себе: «Неукротимый человек будет укрощен страданиями».

1577 год. Тяжело раненный в сражении сержант д'Обинье, лежа перед бессильными полковыми лекарями, полагает только на Божью милость и силу духа, диктует первые строки «Трагических поэм». Так определяется судьба поэта.

С портрета глядит на нас волевое, несколько асимметричное лицо, обрамленное короткой бородой, покоящейся на жесткой гармошке жабо. Небольшие усталые глаза. Чуть клоунские «разноэтажные» брови. Петля правого уха с оттянутой длинной мочкой. Высокий ясный лоб. Холеная правая рука, слишком изнеженная для того, чтобы сжимать перо, тем более — шпагу. Тем более — первую шпагу Франции. Губы стиснуты, прямой сжатый рот. Этот человек сказал все, что хотел. И сказал открытым — прямым — протестующим — пламенным словом. Без обиняков и аллюзий. Если Данте переносит ад «этого» света на «тот», насыщая мифологию и метафизику преисподней лицами и фактами своего времени, то у Агриппы ад на «этом свете», здесь. Он верит в возмездие на Небесах, однако кажется, что действительность, питавшая воображение Данте, дорога Агриппе как таковая. Поэтому обращения к мифологии и Священному Писанию, первостепенные для флорентийца, все-таки отходят на второй план у гасконца, опирающегося прежде всего на реальность живой борьбы. Все чувства выражены. Все определения даны. Все имена названы. Все оплакано внутренним рыданием поэта. Отныне и навек Франция обречена нести на себе печать его ненавидящей любви, его воспевающего проклятья, его собственных «семи слов», произнесенных им между жизнью и смертью.

Слово первое — «Беды».

Французская земля, ты кровь, ты пеплом стала,
О мать, коль матерью тебя назвать пристало,
Ты собственных детей не сберегла от зла,
У лона своего убийцам предала!

Тобой рожденные, утратив разум здравый,
Из-за твоих сосцов вступают в спор кровавый,
Два кровных отпрыска твоих между собой
За млеко белое ведут смертельный бой.

А пока народ страдает, нищенствует, гибнет, не ведают границ злодеяния те, к кому обращает Агриппа свое второе слово, — «Властители».

Вы, для кого порок — закон превыше всех,
Не короли — рабы, галерники утех
И пагубных страстей, неистовство какое
Блазнит вас, подлые, натешиться в разбое
И ваши скипетры поглубже в кровь макнуть...
.....
Кровосмесительный или содомский блуд
Для нашего двора пустячные пороки.
Печалься, я прерву трагические строки,
И пусть на пастбище останутся стада
Постыдных истин сих, гурты сего стыда.

О прелестях королевского «кривосудия» сказано слово третье — «Золотая палата», где восседают судьи в обличье человеческих пороков.

Вот Зависть за столом сидит, кромсает змей,
И желчью жаб уста измазаны у сей
Советницы суда...
Сжимает Ярость нож, на коем не сотрешь
Запекшуюся кровь...
Тут каракатица уселась с дряблым телом,
С глазами гнойными...
Ей имя Ханжество...
Все ясно Темноте, и также все едино...
В другом ряду сидит погибельной напастью
Увесистая тварь с ощеренною пастью...
Вот лик Жестокости меж прочих властных лиц...

И нет конца этой фантазмагории душевных изъянов, одетых в маски плотской порчи.

И коль Агриппа молвит четвертое слово — «Огни», то можно не сомневаться, что сейчас запылают костры инквизиции, вызывая сострадание к мученикам веры. А как только поэт произнесет слово пятое — «Мечи», то знайте: глазами очевидца будут описаны события Варфоломеевской ночи, когда

Накрап огня горит на крыльях Сатаны... —

когда

Нам видится река, забитая телами
Сраженных христиан...

Париж:

Где можно без труда рубить в неравной сече
Тела и головы, и голени, и плечи...

Провинция:

Шестнадцать тысяч душ убито в Орлеане...
Лион...
Запятнан тысячью непогребенных тел...

А дальше — Труа и Руан; Анже, Пуатье, Бордо, Дакс...

По рекам Франции кровь жертв стекает в океан, и только он — великий, необъятный — способен принять и растворить в себе эти потоки человеческой крови; только он, погребавший смерть и рождающий жизнь океан, в котором

Кораллы светятся, жемчужниц ясны знаки,
И амбра серая мерцает в полумраке.

Зефиры легкие ласкают старика,
И стелет влажная бессонная рука
Матрац из трав морских и пеной кроет ложе...

Океан есть сток смерти; океан есть исток жизни.

Слова шестое и седьмое — «Возмездие» и «Суд». Нет злодеяний, которые не были бы наказаны. И если людской суд — сборище химер, то близок суд Божий.

Небесный слышен гром, разверзла буря ад,
Благие ждут добра, злочинные дрожат.

А теперь напомним, что Агриппа создал свои поэмы по-французски, тогда как приведенные здесь русские стихи — дело совсем другого воина и поэта.

Спустя четыреста лет, подобно Агриппе д'Обинье, Александр Ревич вволю хлебнул военного лиха: бои — плен — побег — приговор к смертной казни за плен — штрафбат как форма расстрела руками врага — ранение, спасшее жизнь...

А после войны — труд поэта и переводчика.

Ныне Ревич — ветеран русской школы художественного перевода, может быть, лучшей переводческой школы в мире, а пересоздание «Трагических поэм» — пик его литературного восхождения.

Желание воплотить по-русски поэмы, так пронзительно откликающиеся темам нашей истории, пришло в 60-е годы. К работе поэт приступил в 1969 году. Главная трудность состояла, очевидно, в стилистике перевода. Архаизировать его русским языком допетровской поры было невозможно: кто бы понял? Осовременивать нынешней лексикой — значит лишать колорита той стародавней эпохи: что тогда осталось бы от Агриппы? И поэт выбрал вариант своеобразной «временной медианы». Если охватить углом зрения отрезок времени от начала создания оригинала (1577 год) до начала работы над переводом (1969 год) и мысленно поделить этот отрезок пополам «медианой», пушенной из «угла зрения», то результат такого «историко-геометрического» преобразования даст год 1773-й. А что это за время для нашей литературы? Восемь лет назад умер Ломоносов. Русская поэзия еще дышит торжественной монументальностью его героических од. Но уже грядет тридцатилетний Державин, добавивший к сей торжественности зоркую детализировку, углубленную философичность. Плотный державинский стих и станет прототипом той стилистики, в которой Ревич передаст своего Агриппу. Утверждаю, что в рамках этого выбора перевод удался абсолютно. Он проникнут одическим пафосом; в лучшем смысле слова риторичен; страстен; жизнен; в нем соблюден строжайший баланс архаики и современности, когда в каждой точке поэтического пространства происходит наложение трех времен: времени подлинника (Франция XVI века), переданного речью, ориентированной на державинскую (Россия XVIII века) и скорректированную языковым чутьем, историческим опытом и мышлением переводчика Александра Ревича (Россия, конец XX столетия).

В десяти тысячах без малого строках русского Агриппы не найти ни одной неловкости, ни одного лексического сбоя, ни единой ритмической помарки или приблизительно откликнувшейся рифмы. Все рифмы — точные. Мелодия стиха чиста и мастерски оркестрована. Словарь исключительно богат. Безупречное владение словом порой достигает вершин виртуозности, соразмерных высоте душевного движения переводчика.

Там, где пророк узрел пылание куста,
Я взгляд, как тетиву, напряг, но даль пуста,
И я бегу в рассвет, в его простор белесый,
Ногами мокрыми разбрызгиваю росы,
Не оставляя тем, кто вслед пройдет, дорог,
Лишь смятые цветы моих никчемных строк,
Цветы, которые в полях полягут где-то
От ветра Божьих уст, от солнечного света.

Поэмы снабжены вступительной статьей и подробным комментарием переводчика. Такой комментарий требует энциклопедического знания эпохи. И действительно, погружение оказалось столь глубоким, что в качестве оригинального поэта Ревич предположил переводу свой собственный венок сонетов, навеянный темами «Трагических поэм».

Отрадно, что этот подвижнический труд во благо французской и отечественной культур, подлинный литературный памятник, нашел достойное воплощение в книге. Опубликованный издательством «Присцельс», мощный том русского Агриппы, в красном с золотом переплете, на белоснежной бумаге, украшенный гравюрами Дюрера и осмысленной игрой шрифтов, сам по себе есть произведение полиграфического искусства, свидетельство художественного вкуса издателей.

Трижды через переплет и форзацы проходит рисованная заглавная дюреровская буква «А», словно связующая собой художников трех эпох: средневековой Германии, реформатской Франции и новой России. Остается выстроить их имена: Альбрехт — Агриппа — Александр.

Алексей СМИРНОВ.



О СТАРОМ АКАДЕМИЗМЕ И НОВОЙ РУССКОЙ ПУШКИНИСТИКЕ

А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17-ти томах. Т. 18 (дополнительный). Рисунки.
М. «Воскресенье». 1996. 640 стр.

Если бы эта книга не назвала себя дополнительным томом Большого академического собрания сочинений Пушкина, о ней бы был совсем другой разговор.

Напомним: Большое академическое собрание в 17-ти томах было выпущено в 1937 — 1959 годах, его подготовкой занимались Д. Д. Благой, С. М. Бонди, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Т. Г. Зенгер (Цявловская), Н. В. Измайлов, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, Б. М. Эйхенбаум, Д. П. Якубович — имена говорят за себя. Известно, что собрание задумано было не таким, каким вышло, и что виною тому не прославленные ученые, а диктатор, повелевший облегчить его от ненужных народу комментариев. Тем не менее оно остается непревзойденным образцом академизма и вряд ли будет в обозримое время заменено новым, более совершенным. Это поняли издатели из газетно-журнального объединения «Воскресенье» — в 1994 году они предприняли факсимильную перепечатку Большого академического, чем вызвали неудовольствие Академии наук, справедливо заявившей о своих правах на интеллектуальную собственность. И вот конфликт завершается полюбовно: в том же «Воскресенье», но уже под эгидой Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук выходит новый, ранее не печатавшийся том «Рисунки», который претендует стать событием большого культурного масштаба. О степени его «представительности» говорит список участников: напутственное слово Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина; с благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II; под редакцией ученого секретаря Пушкинской комиссии Академии наук, доктора филологических наук, профессора С. А. Фомичева, он же — автор предисловия; составители: кандидат филологических наук С. В. Денисенко, он же — автор комментария, А. В. Дубровский, кандидат филологических наук Т. И. Краснобородько (хранитель фонда пушкинских рукописей в Пушкинском доме); под наблюдением директора Института русской литературы, доктора филологических наук, профессора Н. Н. Скотова... Такое впечатление, что страна собрала все свои силы, чтобы осуществить на должном уровне долгожданное академическое издание рисунков Пушкина. Что же из этого вышло?

Том рисунков, входивший в планы старого собрания, был в основном подготовлен к началу 40-х годов блестящим знатоком пушкинской графики М. Д. Беляевым и Т. Г. Зенгер (впоследствии Цявловской). Он должен был содержать все известные рисунки поэта в определенном порядке (автопортреты, портреты, автоиллюстрации, остальное — по хронологии) и их полное научное описание, включающее данные о первых публикациях, атрибуции и другие необходимые сведения, — то есть этот том по замыслу должен был соответствовать основным принципам академического издания, каковыми являются: полнота материала, систематическая строгость в его подаче и наличие научного комментария, основанного на новых разысканиях и опыте предшественников. Издание рисунков Пушкина,

выполненное таким образом, могло бы стать достойной частью его собрания сочинений, но по ряду причин, которые не место здесь излагать, оно не состоялось.

Материалы Беляева и Цявловской, хранящиеся в Пушкинском доме, были в распоряжении составителей нынешнего «дополнительного» тома, однако они «пошли другим путем». Отобрав около 400 листов графики, они оставили читателя в неведении относительно того, сколько у Пушкина всего рисунков и какая их часть представлена в издании. Сообщается лишь, что «настоящее издание рисунков является первым, охватывающим такое значительное... количество графических изображений, находящихся в рукописях поэта», и что «в нем представлено все многообразие графического наследия Пушкина» (стр. 425). Что касается многообразия, то это не критерий для полного собрания сочинений, и к тому же не меньшее многообразие можно найти в классических книгах А. М. Эфроса («Рисунки поэта», 1930, 1933) и Т. Г. Цявловской («Рисунки Пушкина», 1970, 1980, 1983). А если уж говорить о количестве, то замечательный каталог Р. Г. Жуйковой («Портретные рисунки Пушкина», 1996) содержит только портретных изображений около 800. Но дело, конечно, не в цифровых рекордах, а в принципах издания. Если рисунки сочтены неотъемлемой частью полного собрания сочинений поэта, то они должны быть представлены все, без отбора, как представлены стихотворные и прозаические тексты. Предвижу возражения редакторов тома, что вместить в одну и даже две книги все рисунки Пушкина было бы очень трудно. Трудно, но возможно — при других установках и других составительских принципах.

Нам кажется неверной главная составительская идея — дать пушкинские рисунки «в контексте рукописного листа» (стр. 425). Да, рукописи Пушкина красивы, что и говорить, но их цельное воспроизведение это задача другого издания — факсимильного издания рукописей. Здесь же такая установка помешала представить во всей полноте пушкинскую графику и дать систематическое ее описание. Ради «контекста рукописного листа» пришлось пойти на сильное уменьшение масштаба рисунков и на очень неэкономное использование полиграфического пространства. А главное, такое воспроизведение предопределило большие и — увы! — непреодоленные трудности комментирования и каталогизации. Понятно, что на одном листе Пушкин мог нарисовать и автопортрет, и портрет, а также пейзаж, лошадь, пистолет и что-нибудь еще. Но описывается лист лишь по одному из этих рисунков. Вот и получается, что, например, знаменитый, растиражированный автопортрет 1823 года (в рукописи «Евгения Онегина») воспроизведен с многократным уменьшением (стр. 82) и вообще никак не отражен в каталоге, а отыскать его можно только под именем Калипсо Полихрони, которая якобы изображена внизу того же листа (хотя А. Эфрос и М. Беляев считали, что это Амалия Ризнич). К слову сказать, на том же листе нарисован, может быть, лучший из пушкинских портретов М. Н. Волконской — но и он не попал в каталог. Примеры такого рода можно умножить... Особенно не повезло автопортретам. Выразительный автопортрет с усиками и бородкой можно найти в разделе «Портреты знакомых и исторических лиц» (стр. 102), куда он попал благодаря изображенному рядом Вольтеру — и поэтому не учтен в каталоге. Прямолинейный автопортрет среди декабристов в каталоге также не значится, так как помещен в раздел «исторических лиц» под названием «Портреты декабристов (?)» (стр. 104, почему-то с вопросительным знаком, хотя это не вызывает сомнений). Другой автопортрет — в папаче — фигурирует в том же разделе под названием «Наполеон» (стр. 138, почему-то опять с вопросительным знаком, хотя Наполеона на соседнем рисунке узнает каждый школьник). Два редких у Пушкина правосторонних автопортрета (впрочем, не бесспорных) в каталоге скрыты за поэтическим названием «Кусты, ветки, орнамент» (стр. 450) и помещены в разделе «Рисунки с изображением растений, растительные росчерки». Но серьезнее другое: лист, на котором они набросаны (действительно рядом с кустиками и с женской фигуркой), определен как «Лист со списком предметов, которые нужно купить» и датирован августом 1836 года, с неизменным вопросом (стр. 400). Однако на этом листе из «арзрумской» тетради отчетливо прочитывается вариант первой фразы «Барышни-крестьянки», и датируется он началом марта 1830 года¹. (Во вступительной статье этот же лист отнесен к началу 1829 года —

¹ См. об этом: Левкович Я. Л. Из наблюдений над «арзрумской» тетрадью Пушкина. — «Временник Пушкинской комиссии». 1981. Л. 1985, стр. 29 — 30.

см. стр. 17.) Дату «август 1836» можно было бы счесть досадной опечаткой, если бы именно этот рисунок под названием «Кусты, ветки, орнамент» не замыкал собою так называемый «Хронологический указатель рисунков Пушкина», приложенный к каталогу (стр. 540). Неискушенный читатель и впрямь может подумать, что в августе 1836 года Пушкин в перерывах между трагическими стихами каменноостровского цикла рисовал романтические женские фигурки в орнаментах... Еще одна ошибочная датировка тоже повторена в этом издании трижды: книга открывается автопортретом «в карантине Гумранском», с датой «28 июня 1829 года» (стр. 5), та же дата указана на стр. 43 в разделе «Автопортреты» и на стр. 427 в каталоге. Но 28 июня 1829 года Пушкин не был в Гумрах, а стоял с войском Паскевича в лагере под Арзрумом, взятым накануне. А в гумранском карантине он застрял на обратном пути, в конце июля, о чем можно прочитать в пятой главе «Путешествия в Арзрум». Так что составители просто не разобрали пушкинскую подпись под автопортретом. В целом из 96 автопортретов (включая спорные) в соответствующий раздел и в каталог издания попало всего 34 — остальные либо растворились в других разделах и не описаны, либо вовсе остались за рамками книги. Но зато к числу автопортретов составители прибавили турка с саблей в автографе стихотворения «Стамбул гяуры нынче славят...» (стр. 51, см. также стр. 545), хотя резонов в пользу этого открытия они не привели...

Вообще о правильности атрибуций в этом издании говорить не приходится. Автор комментария и послесловия С. Денисенко прямо высказал свое пренебрежение к «атрибуционным спорам», которые мешают наслаждаться «графическим совершенством многих рисунков Пушкина» (стр. 548, см. также стр. 587 — 588). «Атрибуционные споры» — это многолетние разыскания нескольких десятков исследователей, которые пытались понять рисунки Пушкина, проследить за ходом его мысли, выразившейся в графике. Вся эта кропотливая работа отнесена в «область догадок и предположений» (стр. 547). Такая позиция дала комментатору и составителям возможность не учитывать труды предшественников, не ссылаться на их мнения по поводу того или иного изображения. Источники и варианты атрибуций не указаны, выбор их нигде не обоснован. В результате просто невозможно перечислить все случаи неверных или некорректных определений на страницах этого тома. Приведем один из них: на стр. 86 представлен женский погрудный портрет, определенный как портрет Е. К. Воронцовой (с вопросом). Между тем любой мало-мальский знакомый с предметом человек видит вочуюю, что этот портрет не имеет ни одной общей черты с многочисленными пушкинскими зарисовками Е. К. Воронцовой. Вероятнее всего, здесь изображена Екатерина Орлова (хотя есть и другие мнения), Воронцова же нарисована (что, впрочем, тоже не бесспорно) в верхней части этого листа, целиком воспроизведенного на предыдущей странице, — и в подписи под ним тоже все перепутано: вместо «О. С. Павлицева (?), Е. С. Семенова (?), Е. К. Воронцова (?)» должно было быть «Е. К. Воронцова (?), Е. С. Семенова, Е. Н. Орлова (?)».

Странно смотрится также портрет поэта В. И. Туманского, помещенный в разделе «Рисунки-фантазии» (стр. 182) и в каталоге (стр. 436) с подписью «Ленский (?)» (такое предположение высказывалось при первом его воспроизведении в венгерском издании, но безо всяких оснований). Среди «фантазий» обнаруживается и портрет Екатерины Ушаковой из «ушаковского» альбома (стр. 192), с уклончивой подписью «Женский портрет». (Подобным образом подписан и портрет А. А. Олениной в разделе «знакомых и исторических лиц»: «Женский портрет № 2» — стр. 130.) «Фантазиями» названы портреты А. П. Ермолова и ряда конкретных кишиневских знакомых Пушкина (стр. 183, 176), М. С. Воронцова и Е. К. Воронцовой (стр. 181, 184, 185), Я. Ф. Долгорукова (стр. 194), автопортреты (стр. 176, 185) — словом, все те «неопознанные объекты», атрибуции которых неинтересны (или неизвестны) комментатору и составителям. «Для нас важнее показать в этих работах графическое мастерство Пушкина», — пишет С. Денисенко (стр. 548), как будто узнаваемость портретов противоречит «графическому мастерству». Но если все изображения известных реальных лиц вывести из раздела «фантазий», в нем останутся одни только многочисленные «ножки женские» и многочисленные «ноги мужские».

В целом классификация рисунков Пушкина, на которой построена книга, кажется нам сомнительной. Почему, скажем, «жанровые сцены» или рисунки отдельно взятых ножек входят в раздел «Портреты»? Почему записи еврейского и арабского алфавитов (стр. 271 — 273) входят в раздел «Перерисовки с картин и гравюр»? Отметим попутно, что «арабским» алфавитом составители ошибочно называют все тот же еврейский (стр. 273). Почему два изображения Татьяны в черновиках «Евгения Онегина» определены как «перерисовки» (стр. 258 — 259)? Только потому, что Татьяна подпирает голову рукой, как женщина на литографии в книге Мицкевича «Конрад Валленрод», изданной в 1828 году (стр. 562)? Но, во-первых, рисунки Татьяны относятся к 1824 году, а во-вторых, такая поза настолько типична, что нет смысла искать ее источник. И можно ли говорить о перерисовках, если не известен образец? — см. стр. 250, 251, 255, 257, 261, 262, 264, 269, 274 — 276. Впрочем, комментатору этого тома образец неизвестен даже в тех случаях, когда он общеизвестен, — см. «Воспроизведение портрета А. Ф. Закревской (с картины неизвестного художника)» на стр. 260. «Неизвестный художник» — это знаменитый портретист Джордж Доу, которого Пушкин назвал «гением» в обращенных к нему стихах. Ну да Бог с ним, с Доу, нам бы с Пушкиным разобраться. Итак — классификация. Непонятно, чем отличаются «Пейзажи, передающие состояние природы» от пейзажей, помещенных в другие подразделы. Или почему два шуточных портрета Елизаветы Ушаковой с кошками попали в раздел «животных». Все-таки логичнее было бы ее вместе с кошками отправить в «Портреты» и не называть рисунок «Шесть котов», если он самим Пушкиным подписан: «Елизавета Миколавна в день Ангела Д. Жуана» (стр. 377). Тут уместно сказать пару слов о комментарии, точнее — о его фактическом отсутствии. Неужели не стоило сообщить читателю об обстоятельствах появления серии рисунков Пушкина в «ушаковском» альбоме и о том, что, изображая Ел. Ушакову в окружении кисок, Пушкин обыгрывает фамилию ее жениха С. Д. Киселева? Неужели для восприятия рисунков это было бы менее важно, чем глубокомысленные рассуждения комментатора о том, что кот «появляется с текстами (так! — *И. С.*), затрагивающими тему чрезмерного проявления женского начала» (стр. 579). Кстате, коты у Пушкина, как правило, маловыразительны и одинаковы, как пиктограммы. Не очень выразительны и лодки, собранные в особый раздел. Такое впечатление, что составители оказались в плену у классификации и что именно она определила отбор рисунков, а не наоборот. Если уж отбирать, то не лучше ли было бы вместо одной из лодок или одного из котов дать пушкинский портрет Гоголя, или Чаадаева, или восхитительный рисунок ангела с пламенным мечом в автографе стихотворения «На Испанию родную...»? Впрочем, повторим: отбор вообще был бы не нужен, если бы составители иначе распорядились полиграфическим пространством.

Треть книги занимает «научный аппарат» — это нормальная пропорция для академического издания. Но посмотрим, что это за «аппарат». Сто страниц большого формата отведено под так называемый «Каталог рисунков Пушкина», напечатанный по-русски и в переводе на три языка. На самом деле это, конечно же, не каталог (то есть полный систематический перечень рисунков Пушкина), а список, дублирующий содержание тома, и рисунки в нем фигурируют под названиями, во множестве случаев не отражающими их содержание. А значит, по этому «каталогу» нельзя составить себе представление ни о полном корпусе рисунков Пушкина, ни даже о составе книги. Приведем пример каталогизации. Один и тот же рисунок, воспроизведенный почему-то дважды (на стр. 188 и на стр. 363), описан в разных разделах каталога — сравним эти описания: «Женская ножка, часть лошадиного крупа, мужская голова; чернила, карандаш; «Евгений Онегин» (VI, 390 — 391); 1826» (стр. 437) — и второе описание того же рисунка: «Силуэты всадников; карандаш, перо; «Евгений Онегин» (VI, 390 — 391); январь 1826» (стр. 448). Согласитесь, совпадений не много.

Следующий за каталогом «Хронологический указатель рисунков Пушкина» — тоже имитация научности, так как в нем представлены только рисунки, отобранные для этого тома, многие — с некорректными или просто неверными названиями, некоторые — с неточными датами. Ни по каталогу, ни по хронологическому указателю не отыщешь нужного рисунка, так как трудно предугадать, в каком разделе и под каким названием он может быть представлен. Именного указателя в

книге нет. Что касается комментария С. Денисенко, то трудно назвать этот текст комментарием в точном смысле слова, так как он представляет собой суждения неуловимого жанра, изложенные невозможным языком (примеры опускаем). Собственно комментарии к каждому рисунку не даются — видимо, автор полагает, что их заменяет каталог, в котором имеются неполные данные о технике, о месте того или иного графического изображения в рукописях и датировке его (дублирующие подписи под рисунками), но не имеется данных о размерах, первых публикациях, атрибуциях, исследованиях и, наконец, — о содержании рисунка. Указывая адрес рисунка в рукописях, комментатор путает архивную и жандармскую пагинации и во множестве случаев ошибочно называет «отдельным листом» лист альбома или тетради, не занятый текстом. Скупые отсылки к исследованиям в ряде случаев неточны — страницы не совпадают или относятся не к той, скажем, книге А. Эфроса, которая указана в преамбуле к каталогу. Заключает том вряд ли уместная в академическом собрании сочинений перепечатка известной статьи Т. Г. Цявловской «„Влюбленный бес“». (Неосуществленный замысел Пушкина)», впервые опубликованной в 1960 году. Боюсь, что будь жива Татьяна Григорьевна, она бы воспротестовала против такого составительского решения. Так или иначе, ее давняя работа и ее авторитет не спасают издания. Если бы хоть рисунки в нем были воспроизведены хорошо — это отчасти искупило бы его недостатки. Но увы! многие передержаны по яркости, другие даны в очень сильном уменьшении, зато третьи увеличены так, что изображение уродливо расплывается. При этом изменение масштаба нигде не оговорено, а главное — не мотивировано. Почему, например, увеличены во всю страницу какой-то невнятный рак (стр. 361), или голова беса (стр. 409), или предполагаемый Тодор Балш (стр. 77), а Грибоедов (стр. 117) дан таким малюсеньким, что плакать хочется?

Как видно, «дополнительный» том Большого академического собрания сочинений поэта готовился как многие коммерческие издания — в спешке, по случаю, в расчете на зарубежного покупателя (отсюда и перевод каталога на три языка, хотя для «научности» и одного хватило бы). Так что академическое издание рисунков Пушкина остается делом будущего.

Ирина СУРАТ.

*

ЗАГАДКИ ЗНАМЕНИТОГО ПРОЦЕССА

Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. Составитель А. В. Кургатников. СПб. «Алетейя». 1997. 263 стр.

В летописи знаменитых судебных процессов этот — из самых древних: через несколько лет ему исполнится двадцать четыре столетия. Он состоялся в первый год 95-й олимпиады, в восьмой месяц по афинскому календарю, когда в самом разгаре был праздник цветов и опробования вина предыдущего урожая. В доносе, начертанном на восковой дощечке, поэт Мелет, ритор Ликон, политик и промышленник (кожевенные мастерские) Анит обвиняли философа Сократа в том, что он «не признает богов, признаваемых государством, а вводит другие, новые божества», а также своими беседами «развращает молодежь». Афинский суд в составе 501 присяжного (нечетное число во избежание «патовой» ситуации) сначала с незначительным перевесом — 281 голос против 220 — признал Сократа виновным, а затем более решительно — 360 против 141 — приговорил его к смерти. Отвергнув почти легальную возможность побега, философ исполнил приговор суда — выпил кубок цикуты, быстродействующего яда.

В «деле Сократа» много до сих пор не разгаданных загадок: каковы реальные, явные или скрытые, мотивы обвинения? чем вызвано разительное несоответствие двух вышеупомянутых стадий судебного процесса? действительно ли, как утверждалось в некоторых источниках, афиняне раскаялись вскоре после смерти мыслителя, прославленного его учениками, прежде всего великим Платоном?..

По традиции сколько-нибудь выдающиеся судебные процессы принято запечатлеть в изданиях, сохраняющих по возможности все документальные подробности. Таковы, скажем, французский «Процесс Э. Золя», отечественный трехтомник «Дело Бейлиса» и даже пресловутые советские сборники, протоколирующие политические процессы 1936 — 1938 годов. Но возможно ли реконструировать по сохранившимся литературным источникам процесс более чем двухтысячелетней давности? Рецензируемая книга показывает, что дело это по меньшей мере не безнадежное. Под одной обложкой собраны все или почти все исторические свидетельства, связанные с судом, — написанные, так сказать, по горячим следам «Апологии» (защитительные речи) учеников Сократа — Платона и Ксенофонта, воспоминания и размышления того же Ксенофонта, Диогена Лаэртца, Плутарха. Говорю «почти все», потому что к ним, вероятно, можно было добавить выдержки из двух диалогов Платона («Критон», «Федон»), проливающих свет на обстоятельства смерти и предсмертные мысли Сократа. Зато бесспорной заслугой составителя нужно признать впервые опубликованную на русском языке «Апологию» ратора эпохи позднего эллинизма Либания. Она была написана спустя много веков после смерти Сократа и представляет собой нечто вроде учебного упражнения на заданную тему. Казалось бы, вследствие этого она не может обладать достаточно большой доказательственной силой. Дело в том, однако, что Либаний был дружен с императором Юлианом Отступником и, по всей вероятности, располагал многими документами судебного дела, впоследствии бесследно утраченными. Может быть, именно поэтому в его «Апологии», выполненной на высочайшем профессиональном уровне, обстоятельно проанализированы те детали обвинения, которые отсутствуют или поверхностно затрагиваются в других документах.

Главная тайна суда над Сократом заключена в самом его факте: в какой степени был обоснованным центральный пункт собранного обвинителями «досье»? Утвердилось мнение, что обвинение Сократа в безбожии есть не более чем клевета, вызванная, с одной стороны, завистью доносчиков, с другой — независимым, подчас вызывающим поведением философа. Если говорить о явно неадекватной жестокости приговора, то она и в самом деле вряд ли объяснима чем-либо иным, кроме как независимой сверх всякой меры, временами почти издевательской позицией Сократа на суде. Что же касается «досудебного» его отношения к богу и богам, то, быть может, оно было не столь простым, как это представлено в литературных источниках.

Я не случайно сопоставил существительное «бог» в единственном и множественном числе. Как известно, платоновская «Апология» написана в форме защитительной речи, якобы произнесенной самим Сократом на суде, и в ней-то наряду с традиционными языческими «богами» содержится еще и загадочный «бог». По традиции, идущей от Плутарха, этот «бог», он же «демон», он же иногда «гений», толкуется как личное предвидение, предчувствие, как внутренний голос Сократа, подсказывающий ему развитие тех или иных событий. Событий подчас весьма незначительных — вроде того, например, по какой из афинских улиц пойти, чтобы не испачкаться грязью. Между тем в разных контекстах той же «Апологии» речь явно идет о некоем сверхличном начале. Особенно характерна и значительна в этом плане заключительная фраза. Обращаясь к судьям (уже после вынесения смертного приговора), Сократ говорит: «Но вот уже время идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога». Бог был последним словом сократовско-платоновской «Апологии», и это позволяет предположить, что здесь перед нами нечто очень важное. Самая интересная гипотеза состоит в том, что это — наметившийся переход от языческого антропоморфного политеизма к монотеистической идее, к идее единобожия — предвестнице новых монотеистических религий, прежде всего христианства. Всего несколько веков оставалось до рождения Сына, и не случайно же впоследствии автор «Апологии» — и тем самым косвенно его учителя — называли христианином до Христа.

Возможность такой трактовки обвинения Сократа в безбожии наметил А. Ф. Лосев, писавший: «Наряду с обычными богами употребляется малопонятное в устах Сократа и молодого Платона слово «бог» в единственном числе... историк

философии здесь несомненно увидит какое-то отдаленное и туманное, пока еще очен абстрактное предчувствие позднейшего монотеизма».

Ясно, почему этот мотив, рожденный соответствующими историко-культурными реминисценциями, полностью отсутствует в документальных источниках, в частности в «Апологиях» Платона и Ксенофонта. (Любопытно, однако же, следующая деталь: живший в IV веке н. э. Либаний, убежденный приверженец язычества, в то же время был вполне толерантен к христианству — и не потому ли его «Апология» почти не затрагивает обвинения Сократа в безбожии?) К сожалению, А. В. Кургатников, автор очень интересных и содержательных вступительной («Суд современников») и заключительной («Суд потомков») статей, не придал значения упомянутой гипотезе Лосева. А между тем она позволяет по-иному подойти и к ходу суда над Сократом, и к трагическому финалу. Да, вероятно, подлость и зависть были главными пружинами обвинения. Да, в столкновении Анита и Сократа допустимо усматривать противостояние двух идеологий — этатизма и свободы личности. Все это так, но, быть может, в то же время обвинители были не столь далеки от истины, усматривая в мыслях и речах Сократа зачатки и н а к о б о ж и я, видя в нем религиозного диссидента.

Сегодня суд над Сократом интересен и тем, что провоцирует своего рода проекцию афинской демократии на современность, побуждает лишний раз задуматься над потенциями демократии как таковой, демократии вообще. Аналогии между античностью и современностью усматриваются легко: чего стоит хотя бы обвинение Сократа в недостаточном почтении к официально признанным поэтам — Гомеру, Гесиоду, Пиндару. Обращаясь к главному обвинителю и апеллируя к его здравому смыслу, Либаний писал: «Неужели не свободны мы в пристрастиях личных, Анит? Над тобою и мной, над афинянами и чужестранцами, стариками и юношами, словом, над всеми, кто поэзию наслаждается, не законы властны, а настроение мгновенное волю диктует. Тот похвалит, другой промолчит... Не смешно ль за помощью идти к правосудию, если собеседник в оценке предмета искусства с тобою расхочется?» Либаний, конечно, прав, но вот как быть, например, с «одной антипатриотической группой критиков»? Прав Либаний еще и в том, что все обвинение пустословно, состоит из общих мест, как сейчас мы сказали бы, неконкретно. Так-то оно так, однако спустя много-много лет по делу одного солдата сочтено было, что он «сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое же задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание».

Э, скажут, куда тебя кинуло, корректно ли это — сравнивать афинскую хоть и древнюю, хоть и рабовладельческую, но все же демократию со сталинским безвременьем? Не сравнивал бы, если бы Сократа самым что ни на есть демократическим способом (напомню: тайным голосованием при 501 участвующем) не приговорили к смерти. Демократия — что афинская, что хоть бы и нынешняя родимая — всего лишь оболочка. Наполненная реальным, а не идеализированным демосом, она, увы, бывает беззащитна перед политической демагогией. Так же, как диалектика обречена идти рука об руку с софистикой, из которой она при изрядном участии самого Сократа, кстаи сказать, и выросла.

Так что же, спросит в сердцах иной современник, зачем же тогда мы убивали государя императора и прогоняли господина Рябушинского? А несколько позднее развенчали культ личности и отменили исторические съезды, пленумы и пятилетки. И уж совсем недавно наставили нос Михаилу Горбачеву. Зачем все это?

На подобные вопросы есть лишь один ответ: каков демос — такова и демократия, опять же хоть древнегреческая, хоть российская. И не ты ли, вопрошатель, не твой ли сосед вчера стоял на митинге с невинным таким плакатиком: «Банде Икса (Игрека, Зета) — смерть!»? Не ты ли, не твой ли приятель выбрал в Думу (чуть было не написал: в Агору) косноязычного охранника или строителя хитроумных пирамидальных конструкций?

И вот я представляю, что ты — один из гелиастов (присяжных) афинского суда, решающего судьбу Сократа. Я не уверен, какую именно керамическую пластинку, с отверстием или без, ты кинешь в роковую урну.

Виталий СВИНЦОВ.



ОБЕЗЬЯНЫ ДЕТИ, ВСЕОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ СОБАКИ И СКУКА ВЕЧНОСТИ

Юрий Мефодьевич Бородай. Эротика — смерть — табу: трагедия человеческого сознания.
М. «Русское феноменологическое общество», «Гнозис». 1996. 413 стр.

Бородая волнуют загадки антропогенеза («ад антропогенеза») и зарождение сознания: обезьяны, предгоминиды, первобытные люди, фатальная сила телесного низа. Эротика плюс смерть, или эротика равна смерти. Спасительное табу ставит преграду основному инстинкту — губительной эротике.

В описаниях рефлекторных процессов мелькнет бедная собака Павлова, мелькнет — и исчезнет. Через сотню-другую страниц, в кантовских штудиях, появится другая собака: не русская Жучка, не немецкая овчарка — собака как таковая. Немало, однако, бумаги понадобилось для того, чтобы, преодолев рефлекторную динамику, возвыситься до гештальт-представлений, до всеобщего понятия собаки.

Что говорить — основоположники и предтечи тщательно учтены. И. Павлов, С. Рубинштейн, Л. Выготский, К. Лоренц, Ж. Пиаже, Е. Блейер, А. Ухтомский, Э. Кречмер, Я. Дембовский, Л. Леви-Брюль, Ю. Семенов, другие исследователи рефлексов, ранних форм сознания, авторитетных процессов, шизофрении, обезьян и первобытных сообществ. Я не говорю уже о К. Марксе, Ф. Энгельсе и З. Фрейде. Последнего Бородай многожды тщится опровергнуть, но все тот же упор на телесный низ смешивает карты.

У Фрейда обезьяны дети объединились и съели отца. После чего стали в чем-то похожи на людей. Бородай уточняет:

«Нет, дело вовсе не в том, что молодые самцы наконец рискнули на бунт против «отца», вовсе не в том, что убили и съели его (или, что чаще случалось, сам он пожрал агрессора-бунтовщика), — все это делалось слишком часто.

Весь вопрос, очевидно, в другом: как все-таки самцам удалось наконец прекратить эту самоубийственную практику — подавить в себе стремление к бунту, к соперничеству, т. е. отказаться от непосредственных проявлений полового инстинкта внутри своей группы? Для этого требовался отказ и от прямой сексуальной символики в языке, *тщательное сокрытие всего, что связано с половой сферой*. Начинаются люди с того, что надевают повязку на бедра» (здесь и далее курсив автора).

Хотя Бородай настаивает на самоограничении («самоограничение или смерть!»), активно оперирует понятием «аскеза», его пассажи, как ни странно, напоминают дополнения к «учительным» текстам основателя психоанализа. У Бородая высокие движения души, как-то: совесть, способность к самоограничению, самопожертвованию, бескорыстному страданию — тоже объяснимы «естественным» образом. Но доказательно ли объяснение человека как нравственного существа, наделенного совестью, биологической эволюцией? На мой взгляд, загадок только прибавилось и авторский вопрос: «Что заставляет звучать непрерывно симфонию жизни?» — повис в воздухе.

Но вот человек, так сказать, возник, то есть надел набедренную повязку. Что он дальше делает? Занимается богостроительством? Во всяком случае, нечто такое создает в качестве *«символа бунта против себя самого, против природно-биологической детерминации своего „Эго“*. Иначе ведь — смерть в эротических баталиях. «Лишь рискнув пойти на великий антропогенетический бунт против природно-естественной обусловленности своей деятельности — сумев прервать бессознательно-рефлекторный детерминизм, *противопоставив* всей «Богом данной» реальности *свое должное* с осознанием механизма его *произвольного* созидания, прачеловек становится Человеком — *субъектом* любого сознательного строительства — и идеального, и реального».

Понятно теперь, откуда идеальное взялось? Не с неба, чай, свалилось. И вычки вокруг «Богом данной» реальности вполне ясны. Вот один из «ученых образцов» торжества материализма — вполне в духе каких-нибудь Бюхнера и Молешотта: «Пускаясь в «поиски» идеального, мы... будем исходить из рефлекторной

динамики, рассматривая ее как биологически данный «сырой материал» для производства принципиально новой системы».

Долог, извилист, запутан у Бородая сюжет с Кантом. Взаимодействует он с великим кёнигсбергским мыслителем не только по поводу «всеобщего понятия собаки», но также по вопросу о времени, «категорическом императиве», «продуктивной способности воображения», эстетике, «вещи в себе», трансцендентности и т. д. Кант остро переживал «звездное небо над головой» и трансцендентность. Его волнение не улеглось, не исчезло в томительной дали веков. Бородаю, видите ли, мало, что Кант лишь констатирует наличие трансцендентности, но ничего о ней не рассказывает. А сам он как нам вечность представляет? Как скуку. «Скука вечности — главная из проблем всех известных религиозно-культурных построений. Она выгонит из нирваны будду, а безгрешную душу — из рая».

Зато наличная действительность и история у Бородая — вполне «веселые» вещи, препарированные по-современному. Тут тебе и этносы с нациями, и «эротическая аскеза как культурно-исторический идеал», и протестантский капитализм, и «открытое общество», и третий путь, и тоталитаризм, и геополитика.

Прежде, во времена господства исторического материализма и единственно верного учения, желающие могли ознакомиться с сочинениями Ю. Бородая по сборникам вроде «Наследие К. Маркса и проблемы теории общественно-экономической формации» (М. Политиздат, 1974). В какой-то момент исследователя больше, нежели формации, стали интересовать этносы в «пассионарной» трактовке Л. Гумилева — Ю. Бородай не раз выступал в печати ходатаем по запутанным евразийским делам. Когда и общественно-экономические формации, и этносы пришли в содрогание, самое время было взяться за теологию. И вот № 10 «Нашего современника» за 1990 год, помнится, открывался установочной статьей Ю. Бородая «Почему православным не годится протестантский капитализм» (мысли по этому поводу вошли и в «эротическую» книгу).

Бородай заинтересовался тогда соотношением Ветхого и Нового Заветов и заявил об их несовместимости. Пожурил Блаженного Августина за увлечение «ветхозаветной догматикой» в отвергнутом католической церковью учении «об избранности и предопределении, которое он пылко и талантливо пропагандировал среди христиан». Католики вовремя разобрались в уклонениях учителя церкви, но к этим заблуждениям вновь вернулись кальвинисты. «Фундаментом кальвинистской религиозной доктрины стало полное отождествление племенного иудейского бога-отца с первым лицом христианской троицы, хотя такое отождествление совершенно несовместимо с евангельскими текстами». Защитник экономических предпочтений православных христиан проходит мимо того неоспоримого факта, что в православной традиции отнюдь не менее, чем в кальвинизме, почитается Ветхий Завет. Православные проповедники воспламеняются им, полагая, что Аврааму, Исааку, Иакову, библейским пророкам открывался истинный Творец мира, а не племенное божество, которое Бородай пишет со строчной буквы. Но тут надо сказать, что критик идей избранности и предопределения не затрудняет себя сокрытием своих менее теологических, но более предметных задач, связанных с разоблачением «племенного иудейского бога».

Вернемся к книге про эотику.

О связи эротической аскезы с непорочным зачатием изложено жутковато. Но ведь и по существу неверно! И в Ветхом Завете эротическая аскеза есть, и у магометан, и у буддийских монахов нечто такое присутствует. До Христа и до Божией Матери люди ведь не только предавались сексуальным буйствам и поклонялись фаллосу — они любили, о чем, слава Богу, остались свидетельства греческих, римских и иных авторов.

«У женщины нет души. Это «восточное» представление в той или иной степени характерно для всех дохристианских культур. Отсюда и совершенно иной идеал женственности, он полностью исчерпывался красотой внешних телесных форм». Категорически не согласен — «не все и язычники тьма», не говоря уже о высоких образах библейских жен.

Современность с ее низкопробными массовыми зрелищами и прочими перелестями, дух времени пытаются деформировать образ человека, снять нравственные ограничения. То, что человек не исказился окончательно, свидетельствует, что

память о первородном грехе носит у него исторически более глубокий, нежели сказать онтологический, характер. Современная сексуальная революция пытается стащить с человека набедренную повязку, вывести половой акт из сферы потаенного в область этически нейтрального и эстетически привлекательного. Но перед нами не только примеры малодушной капитуляции, но и неслабеющего сопротивления, причем — достаточно массового. Не говорит ли это о чем-то более существенном, нежели трансформированные первобытные запреты, тотемы и табу?

Бородай в отдельно взятого человека не верит. Да и как поверить в такое самопроизвольное существо? Демократия, которую человек пробует создать, оборачивается сутяжничеством, формалистикой, процедурой, убивающей остатки совести. Вот ежели взять человека в рамках общности, коллектива, соборности, — это дает некий шанс. Автор пишет, что «в реальной истории все конфликтующие христианские национальные церкви давали всегда однозначный ответ — инквизиторский. И не по злому умыслу. Этот «земной» церковный ответ глубоко обоснован исходной природой соборно-нравственного человеческого сознания, в значительной мере *принудительного по своей сути*». «Принцип свободы совести», если он устанавливается в качестве общеобязательной юридической нормы, ведет «к постепенной утрате людьми всякой совести вообще, к замене ее правовым, полицейско-судебным сознанием». Хочешь не хочешь, а держись инквизиции: ведь ежели пойдем по пути гражданского общества, «полицейско-судебного сознания» не минуем. Ты победил, великий инквизитор?

Мне одно не ясно. Положим, сомневается автор в таких историях, как рай, божественное происхождение человека, первородный грех или непорочное зачатие, — его дело. Но зачем же всерьез с кальвинистами и пуританами препираться именно по части теологии? Они-то во все это верили! Им-то рай скучным не казался! Какие бы там они ни были скупердяи, монстры накопители — действовали они в религиозном поле, капитализм свой протестантский строили исходя из реальных религиозных переживаний. Потому, наверное, и оказался он жизнеспособным и кое на что годным, хоть и «неподходящим» для православных (глава «Почему православным не годится протестантско-капиталистическая аскеза»).

В конце концов, демократию избирают не потому, что она безукоризненно хороша сама по себе (я не идентифицирую демократию с якобы обязательной горькой пилюлей тотального рынка, макроэкономики, вообще экономизма «чикагского» типа), а чтобы избежать тирании. Ее бездушная процедурность оказывается уместной там, где массовая утрата религиозных ценностей уже, должно быть, необратима на исторических путях. Так называемое традиционалистское общество (к которому, кажется, Бородай больше расположен), если оно объединено не действительными религиозными ценностями, а чем-то иным, принимающим оболочку мифа, может выдать штучки похлеще, чем самая бездушная и самая вороватая демократия, чем тривиальное «открытое общество».

«Либо соборность, либо принудительная «инженерная» социальность», — я и согласился бы с этой жесткой дилеммой, если бы и сама соборность у Бородая не была принудительной. Откуда эта всеобщая принудительность? Истоки ее в том самом биологизме, тотальном биологизме, который заложен в «естественнонаучной» части объемистой книги. Соборность иная возможна в иной, не в натуралистической, системе координат.

В заключение хочу сделать одно замечание фактического характера. Издатели уведомляют, что для оформления книги и переплета использованы петроглифы Лунных гор — рисунки кочевников-скотоводов Внутренней Монголии: «На скале, возвышающейся возле реки Усытайгоу, изображена сцена группового танца. В центре рисунка — три танцора широко раздвинули ноги и раскинули руки. Между ног у них четко обозначены хвосты». Так вот, утверждаю, что между ног у танцующих скотоводов четко обозначились не хвосты, а... — да, да, то самое, чем оперируют при реализации основного инстинкта. Вглядиись внимательно, читатель: никакие это не хвосты!

О чем книга Бородая? Вроде бы о преодолении биологической детерминации, животного начала на путях эволюции. Да полно! Человек — не развившееся животное. Из биологии он не эволюционирует, а скатывается туда, деградирует в ту сторону, если, грубо говоря, оскотинивается. Можно его в ту сторону исподволь

или более откровенно подталкивать, а можно поддерживать, ободрять, идеализировать. Да, идеализировать! Однако этим теперь редко кто занимается.

Остается лишь напомнить о том, что было пройдено, достигнуто, а теперь забыто, напомнить, что «основные чувства стыда, жалости и благоговения исчерпывают область возможных нравственных отношений человека к тому, что ниже его, что равно ему и что выше его... Все прочие явления нравственной жизни, все так называемые добродетели могут быть показаны как видоизменения этих трех основ» (Владимир Соловьев, «Оправдание добра»). Напомню также, что эти «основные чувства» являются безусловными, изначально свойственными человеку нравственными началами.

Олег МРАМОРНОВ.

И. НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ. Не спи на закате. Избранная лирика. М. «Лики России». 1996. 303 стр.

Баснословные времена — шестидесятые годы! То, что теперь — в спокойном обороте культуры, в крепких обложках, откомментированное — на книжных полках, тогда ходило по рукам в виде листочков с бледной машинописью. Придешь к себе на истфак на лекцию — и передают по рядам, а ты впервые читаешь то «Перед зеркалом» Ходасевича, то «Решку» Ахматовой. Из поэтов же современных чаще других циркулировали тексты Бродского и Горбаневской. «Послушай, Барток, что ты сочинил?» — кто не твердил тогда про себя этих строк; а чуть позже звезда Горбаневской взошла и на другом небосклоне: диссидентская активистка, она с грудным ребенком в коляске вышла на площадь, протестуя против оккупации Чехословакии; начался ее крестный путь по дурдомам, дело кончилось эмиграцией.

На Западе — и в США, и в Париже — у поэта вышло несколько книг, но в посттоталитарной России ее поэзию знают куда мало; изданное наконец объемное и избранное отчасти и восполнит эту поэтическую лагуну.

Поэзии Горбаневской пришлось решать задачу очень непростую: с одной стороны, верная заветам отечественной поэзии и своему общественному темпераменту, она не стремилась лишать свою лирику публицистического пафоса, с другой — уже не могла решиться писать «попросту», «напрямую», как это делали некоторые ее старшие сверстники. В ее лирике есть приемы новейшей поэзии, чуждой повествовательного

благонамеренного резонерства. ...В ту пору — знамение времени — светом в окошке представлялась Польша, самая свободная из стран социалистического концлагеря; Горбаневская, как и Бродский, учит польский язык, становится горячей «полонофилкой», сделав для польского освободительного движения не меньше, чем для российского. А в ответ благодарная поэтика польской лирики XX века помогла нашей неофициальной поэзии — и поэзии Горбаневской в частности — определиться на новых путях развития.

Такое обширное «избранное» — несмотря на небольшие объемы отдельных стихотворений, выглядящих порою просто как вываченные из временного потока зарисовки душевной реальности, — всегда эпично и по-своему эпихально; это — как срез старого дерева со множеством годовых колец, по которым реконструируешь былую конкретику, куда вмурована и частица твоей жизни тоже. Замечательны самоотдача, бескорыстие лирики Горбаневской, чисто лишенной адаптационно-конъюнктурной жилки. Ее голос — при всем пафосе — был изначально рассчитан не на Лужники, даже не на страницу советского журнала, но на круг культурных и идейных единомышленников, составлявших, в общем-то, соль нашего тогдашнего общества. Вообще самиздатские тексты настолько, казалось, срослись со своим «исполнением» — машинописью, что типографская печать стала потом для них сущим испытанием. А уж тем более — время.

Но и четверть века спустя читаешь с тем же щемящим чувством: «Раскатаны полосы черного льда на промокнувших аллеях / алеют полоски зари в бахроме

абажура... / И к этим до дна промороженным и до горячки простывшим / впотьмах распростертым убогим моим Патриаршим / прильну и приникну примерзну притихну поймешь ли простишь ли / сбегая ко мне по торжественным лестничным маршам».

...Своеобычность поэзии Горбаневской — и с годами, в эмиграции, это качество усиливается — в том, что большинство ее стихотворений лишены линейного развития: зачин — развитие — разрешение; лапидарные необъемные тексты сразу вводят в суть дела, они и есть — кульминация. Стихи Горбаневской словно без несущих конструкций, образно говоря, это не «дома», а «гнезда». Есть в ее лирической героине и впрямь нечто от птицы-труженицы, неустанно эти гнезда лепящей: всегда деловита, всегда в клюве новая и нужная веточка, всегда при деле. И читатель вдруг чувствует, что для него есть быть современником этой неутомимой бесстрашной работницы, волевой, а порой и жесткой. И некоторая фонетическая, ритмическая и образная неразбериха — тут скорее органическая черта стиля, а не изъян.

«Удлились, дыхание, — говорю. / Улыбнись, мой дальний друг, на заре. / Погляди, каким огнем я горю / в этом подмороженном феврале».

Какой поразительный феномен: из месяца в месяц, из года в год, из десятилетия в десятилетие — бытие в лирическом слове, в постоянной соподчиненности жизненного и творческого дыханий, когда сочинительство отнюдь не профессия, но самое существование вне каких-либо меркантильных ставок.

Правда, тут есть другая опасность: опреснить событие стихосложения — будничностью. Ведь многие как достигли какой-то средней планки и пишут как заведенные, выше ее уже не поднимая, ничего по сути к прежним текстам не добавляя, забывая, что стихотворение — откровение.

Но, так сказать, сам драматизм природы лирической героини Натальи Горбаневской не позволяет ей заклиншироваться; ее поэтике — надоест или примелькаться.

«...и те же славянские плачи / мы правнукам завещаем, / путь покаянья, как путь греха, / нескончаем».

II. СВЕТЛАНА КЕКОВА. Песочные часы. М. — СПб. Издательство «Аthenейт». «Феникс». 1995. 95 стр.

СВЕТЛАНА КЕКОВА. Стихи о пространстве и времени. СПб. Издательство «Новый город». 1995. 112 стр.

СВЕТЛАНА КЕКОВА. По обе стороны имени. М. Издательство «Арго-риск». 1996. 32 стр.

Кто-то сказал фразу столь афористичную, что в авторстве она уже не нуждается, словно существовала всегда: «Поэзия должна сопротивляться разуму почти успешно». Тут все дело в этом почти: понимание и ускользание от понимания совместно дают особый эффект, заставляющий сладко сжиматься сердце...

Существует поэзия лобового удара, прямо бьющая в цель лирическим признанием или гражданским пафосом. И — поэзия, искусно сотканная из фантазий, ассоциативных связей, поэзия нетривиального образа мыслей, точнее, видения.

Мы привыкли считать, что вторая — как правило, более утонченная и не общедоступная — обитает в столицах, а первая — «простодушная» — обычно в провинции. Поэзия саратовки Светланы Кековой убедительно опровергает такой расклад. Латинист-филолог, человек с обостренным мистическим чувством (а ведь специфика времени берет свое: сейчас большинство добротных стихотворных миров начисто лишено метафизики), Кекова поэтически воплощает размытость и проницаемость границ реального с ирреальным. У Кековой космическое и жуткое интимно оповседняется, повседневное становится жутким. Она из той же «плеяды», что москвичка Ольга Седакова, петербуржанка Елена Шварц... Непринужденная игра воображения, рождающая причудливые и одновременно простодушные образы, ненатужный сюрреализм свидетельствуют о визуальном влиянии Босха, Брейгеля, о близости к школе обэриутов. Эпохи, страны, реалии небесные и земные находятся у Кековой в прямом и органичном единстве. Но если у Шварц это подкреплено постоянными сбивами и перепадами размера, а ее своенравная героиня, с толикой инфантильности, в какой бы ипостаси ни выступала — монашенки ли, блудницы (прямо как в докладе Жданова об

Ахматовой), имеет явные склонности к оккультизму, то героиня Светланы Кековой конфессионально и морально определеннее, хотя и не без слабости к астрологии; стихи ее гармоничны, рифмы точны порой до заглаженности. От Седаковой же ее отличает чистосердечный лиризм, а сближает с ней некоторая манерность стиля.

Беда современной поэзии — вещизм, перегруженность описанием вещей и окрестностей в даже нарочито занудливой интонации. Теперь тем более есть что описывать, так как невыездные прежде стихотворцы много ездят — только успевай ритмизировать впечатления, добавляя толику чувства или же его имитируя.

Кекова удачно избегает «гиперреализма» — в поэзии, клановой тусовки — в жизни. В этом плане существование на отшибе — на пользу: отсюда вольная незаангажированность творческого мира поэта — его, как мертвую бабочку, не насадить на булавку. Нет в этой поэзии и повествовательной обязательности ради развития сюжета, каждая строка — пусть и с переменным успехом — достаточно неожиданна.

Ведь слова в стихе могут скрепляться вовсе не развитием темы, а на совершенно иных принципах: фонетических и даже — по близости расположения букв в алфавите. Внутренняя логика безусловно необходима, только не надо в поэзии искать примитивных причинно-следственных связей. Но и при отсутствии реализма поэзия Светланы Кековой, повторяю, вовсе не холодна, ибо лишена дежурной снобистской позы, отделяющей поэта от мира. Например, предельная, казалось бы, откровенность Иосифа Бродского достаточно напускная; невозможно представить, скажем, его лирического героя ведущим дневник: не та степень доверительности по отношению к миру, даже если эти записи обнародуются много десятилетий спустя. Зато героиня Кековой — при всей причудливости представлений — доверчивая, она «приручает» даже и Бродского: «...взять льняное полотенце, вызвать солнце из-за туч, / в зыбку спящего младенца положить железный ключ / и, порыв смиряя плотский, одолеть тоску и страх — / ведь живет Иосиф Бродский в одиночестве в горах, / собирает иммортели, и одежду перед сном / он кладет на край постели в синем су-

мраке лесном» — эдакий гамсуновский Пан, укорененный в природном миропорядке.

...Есть стихи продиктованные, стихи-откровения, есть, повторяем, высосанные из пальца, вытянутые из небытия щипцами. У Кековой — явная ненасильственность стихового потока, но тут ждут и свои опасности: поток этот все же нуждается в работе преодоления, это дает стихам качество основательности, весомости; иногда, когда он летит, кажется, уж совсем беспрепятственно, появляется излишняя облегченность — так выпелось, и все тут. Исподволь стиховая речь должна сопротивляться «почти успешно» не только разуму, но и собственному напугу. И все-таки за текстом Светланы Кековой чаще всего чувствуются большие возможности, и ныне изданное рождает славное ощущение неисчерпанности, перспективы.

Три сборника за два года (но все они — первые, до того не было ни одной книги) — общий тираж... 2560 экземпляров. («По обе стороны имени» — 100 экземпляров, «в открытую продажу поступают 15».) И отнюдь не потому, что поэзия Кековой маргинальна, а время такое и такая книготорговля: поэтический сборник предлагается, как правило, в том городе, где издан, не поступающая в другие...

«Ручьи пересохшие немые. Пустыней бредет караван, / волхвов в декабре к Вифлеему оптический гонит обман, / а с крыш городских на просторе под шум зацветающих лип / виднеется Мертвое море с прозрачными спинами рыб».

В Мертвом море, как известно, не водятся ни моллюски, ни рыбы, но из Саратова оно видится обитаемым. И это правильно.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

Л. В. КАРАСЕВ. *Философия смеха*. М. Российский государственный гуманитарный университет. 1996. 222 стр.

Предупрежу сразу: свидетельство мое о книге Леонида Карасева — не столько от «ученого», сколько от «читателя». Кроме того, я ждала этой книги с тех пор, как прочитала ее отдельные главы,

печатавшиеся в журналах, и потому не могу отнести к ней совсем непредвзято. Правда, эти же самые причины чем-то и полезны — мне было легко оказаться внутри текста и заинтересованно шнырять в нем.

Насколько я понимаю, книге этой многие будут рады. О чем бы мы ни говорили со студентами (а я говорю с ними об английских писателях, пытавшихся проповедовать христианство), рано или поздно речь заходит о «тайне смеха». Ударяемся мы об нее — и практически примерно половина, если не больше, совершенно не может принять той «несерьезности», благодаря которой Честертон, Макдональд или Льюис скорее приятны, чем противны. Вот еще одно явление, заслуживающее отдельной главы: невосприимчивость, а то и вражда к той особой легкости, которая связывает смех со смирением. Очень может быть, что это в нас воспитывали; может быть, это связано с особым складом или просто с болезнью души.

Я ничуть не «советую» автору прибавить такую главу; многим читателям покажется, что в «Философии смеха» чего-то не хватает, и они будут не правы. Книга на редкость обстоятельна, написано в ней буквально обо всем — о плаче и стыде, об архетипах и мифах, о Шопенгауэре и Платонове, но это — не сборник окончательных ответов. Автор уверен в своих решениях, насколько можно быть уверенным, не впадая в дурной догматизм (предположим, что есть и хороший), но по какой-то причине получается, что это — не книга решений, а книга указателей. Читаешь — и думаешь дальше, отталкиваясь почти от каждой точки. Вот, например, «смех и христианство». Сказано — все, но ведь и все осталось вне сказанного. Точнее, так: все четко очерчено, а внутри — то, о чем писать почти неприлично, например — «смех и умиление» или «ужас глумливости». Зато думать об этом после книги несравненно легче.

Можно думать и о том, действительно ли во сне нет ни стыда, ни смеха. Теперь я, как писал Честертон, «научно смотрю сна», и мне кажется, что какой-то анализ стыда там есть, но мой опыт — нечистый, может быть, предвзятый. Что же до самого противопоставления стыда и смеха (центрального в книжке) — оно замечательно. Догадка Л. Карасева убеждает меня даже боль-

ше, чем доказательства. Доказать, в конце концов, можно почти все, а паразительность нового взгляда сама по себе склоняет верить исследователю. Если же кого-то не склонит, тут ничего не поделаешь; это неустранимое «несчастье» всех гуманитарных наук.

Вероятно, книга окажется в пределах аристотелевой меры, и, как всегда в таких случаях, ее осудят с двух сторон. Кому-то недостанет в ней честности и четкости, которые так хороши в науке; кому-то — вызова и игры ради игры. И те и другие, по-моему, ошибутся: честность в ней есть, и скрупулезная; и четкость — в том виде, какой допускает подробно и честно оговоренный жанр. Что до вызова, есть и он; но сейчас он вообще направлен у всех в пустоту или, если хотите, ударяется в вату. На уровне приличных книг уже нет той уверенной, тяжелой серьезности, которую он, предположим, сокрушал. А игра — если она здесь и есть, то не ради игры.

Гораздо важнее, что нет безразличия к добру и злу, и уж тем более — цинизма; совсем нет. Особенно это ясно из глав о смехе и зле, о смехе и стыде или в главе о Заратустре. Наверное, читателю захочется узнать, при чем тут Заратустра; я попыталась было об этом рассказать, но ничего не вышло — книга так едина, что пришлось бы делать расклейку. Лучше просто прочитать. Кстати, глава о Заратустре мне нравится меньше других, но не в том дело.

Если и дальше говорить о том, что понравилось меньше, то назову еще главу о мифологии, но причина во мне самой: очень уж я далеко отошла от науки. Между тем глава на удивление «информативная», прямо-таки набита сведениями, а по духу (не по концепциям) чем-то напоминает семинар Ольги Михайловны Фрейденберг ровно пятьдесят лет тому назад...

Наталья ТРАУБЕРГ.

*

I. ВИТАЛИЙ ДИКСОН. «Когда-нибудь монах...». Роман-газета. Иркутск. 1996. 314 стр.

II. АНАТОЛИЙ КУДРЯВИЦКИЙ. Стихи между строк. Париж — Москва — Нью-Йорк. «Третья волна». 1997. 40 стр. (Библиотечка поэзии «Стрельца»).

III. М. ЖВАНЕЦКИЙ. Простые вещи. — «Известия», июль 1996 — 1997.

Куда писателю бедному податься? В газету, вестимо. Писатель и газета (в газете, о газете...) — тема актуальная, да и материал сам идет в руки (то есть буквально — обе вышепоименованные книги были присланы в редакцию), ну а Жванецкий всегда с нами.

I. Первой книгой иркутянина Виталия Диксона был, как указано в предисловии, «фарс-роман» под названием «Пятый туз», выпущенный Восточно-Сибирским книжным издательством. Эта — вторая. Во второй книге никакого «романа-...» нет. Есть «...-газета». Книгу образовали газетные тексты В. Диксона — статьи, реплики, эссе... Все тексты датированы (с января 1985 по март 1995 года), но, к сожалению, не указаны печатные органы, их в свое время публиковавшие.

О чем речь? Да обо всем. Перестройка. Гимн академику Сахарову. Насмешки над Егором Кузьмичом (Лигачевым, кто помнит). Предисловие к эссе Георгия Федотова («...имя автора почти неизвестно...»). Издевательские комментарии к запискам депутата-литератора Валерия Хайрюзова. Литературный критик Михаил Лобанов сравнивается с литератором прошлого века Михаилом Лобановым. Александр Невзоров — с главным героем романа А. Н. Толстого «Похождения Невзорова». Прохановская газета «День» (тогда еще «День») — с одноименной газетой Ивана Аксакова. Далее — ГКЧП, возвращение Солженицына. Почти хроника. Но октябрьские события опущены, с апреля девяносто третьего по июль девяносто четвертого пробел... Уважительные ссылки на Бердяева и Гефтера. В неуважительном контексте мелькают Светлана Горячева, Михаил Лещинский, Сергей Ломакин, Анатолий Лукьянов, «душка Хасбулатыч», Эдичка Лимонов... О некоторых персонажах Диксон не может говорить спокойно, это его «идефикс». Наблюдая в телевизоре Вадима Кожинова, автор обнаруживает в нем «знакомые черты многих людей: вкрадчивость Куняева, ортодоксальность Полозкова, воинственность Макашова, невежественный дилетантизм Сухова, харьковского таксиста с депутатским значком... кое-что от двух бывших членов бывшего Президентского совета —

ярого гегемона Ярина и застенчивого монархиста Распутина, распятых одинаково на кресте партийно-государственной службы... Непрост Кожинов. Тем и опасен». Да-а... Бьет наповал. Не говоря уж о чувстве юмора. Иногда Диксон вспоминает, что он не газетчик, а писатель, и начинает такое стилистическое камлание, что невольно теряешься. Между тем газета стерпит любую глупость, только не невнятицу.

Жанр книги, как вы поняли, — *вечерняя газета*. Тексты, выдернутые из контекста. Аляповатые, шершавые. Стыдный перестроечный жар. И общий угар. То, что хотелось бы забыть, автор сам собрал под одной обложкой. «Диксон дарит своим персонажам ж и з н ь в е ч н у ю, с и р е ч ь д и а л о г и ч е с к у ю...» — уверяют нас в предисловии. Тоже смело сказано.

Никаких других (художественных) произведений Виталия Диксона я не читал. Может быть, это и к лучшему.

II. «Не то чтобы всякое чтение было чтением между строк, но некий сокровенный текст, который получается при этом, редко осмысливается (не говоря уже о записи его и о возможности знакомства с ним окружающих)», — пишет в предисловии к своей книге поэт и переводчик Анатолий Кудрявицкий.

Перед нами — попытка «озвучить мыслительный процесс, происходящий... у столь нелюбимых Цветаевой «читателей газет», коими все мы, увы, являемся». Вот инструкция к употреблению: «На развороте... слева помещены газетные заметки, которые побудили автора написать стихи, лежащие точно между строк этих заметок. Сами же стихи напечатаны справа. Читателю представляется возможность помещать текст с правой страницы между строк текста на левой странице и таким образом превращать невизуальные коллажи в визуальные». Далее следуют восемнадцать вырезок из газет 1996 года («Известия», «Вечерняя Москва», «Труд», «Неделя», «Книжное обозрение» и др.) и восемнадцать стихотворных комментариев.

Что ж, проведем эксперимент. Возьмем со страницы 14 заметку из «Литературной газеты» от 17 июля 1996 года, а с соседней страницы 15 — соответствующее заметке стихотворение. Для экономии места приведу сразу совмещенный вариант, газету даю курсивом.

Вот он — «сокровенный текст»:

В масках «под Горбачева» действовали прежде вы, ступники, ограбившие это не Фантомасы, отделение банка а Горбачевы «Скандинавска эншилльда бан-идут в массы, кен» в центре Стокгольма. Покажут улыбающиеся маски, лица считает, что в приемах обещают жизнь хорошую, грабителей прослеживается по-непрошеную... черк так называемой «лиги Масло, масло, Горбачева» — группы преступ-где твой бутерброд?... ников, совершавших ограбле-А кто-то уже утер рот ния шведских банков в начале и переваривает, 90-х годов в таких же масках. мэфистофельскую поет арию...

И что?

Или я не разобрался в прилагаемой инструкции?

Книга отпечатана в количестве 300 экземпляров, подписанных и пронумерованных автором.

III. Неподражаемо грустная улыбка почетного гражданина Одессы. Неужели он не устал? Нескончаемый монолог, разрезанный на кусочки. Резать можно наугад, в любом месте. Заунывный, как бубен шамана, и невоспроизводимый, как бурятское горловое пение. Слушать Жванецкого не надоедает никогда. В любом месте можно забыть-ся. Очнулся — все говорит.

«Ну, действительно, нельзя пить, есть, дышать и купаться, но мы все это делаем. Когда так много нельзя, что нельзя жить, люди как раз и живут, и поэты пишут — «человек крепче стали».

Он не крепче, просто он чаще сменяет друг друга. Он как бы все время есть, но это уже не тот, а другой. Музыка та же, стихи те же, камни те же, а люди уже другие. Так и должно быть, чтобы со стороны казалось, что они всегда есть...

На Крайнем Севере чум дымит, но в нем за 40 лет уже три поколения дымят и два поколения под шпалами лежат, а третья как бы ездит. Не успеваешь объяснить человеку, как он живет, как аудитория меняется и лектор другой»

(«Год Быка» — «Известия», 1997, № 40, 1 марта).

Публицистика ли это? Фельетон? Сатира и юмор? Бросьте. Проза, хорошая проза о простых вещах. *Литература*, как теперь говорят, *существования*. Сильно ритмизованная. Почти верлибр. Узкую газетную колонку хочется сделать еще уже.

Выдох
чище вдоха.
Питьевая вода
из фенолов и нитратов
кипячению не подлежит.

Танка, однако.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

*

К. А. БУРОВИК. Красная книга вещей. М. «Экономика». 1996. 214 стр.

Труднее всего говорить о простых вещах.

Попытайтесь-ка с ходу ответить, что такое стул, одежда, посуда или же головной убор. Толковые словари, к сожалению, дают слишком обезличенные, расплывчатые объяснения. Например, у Ожегова о слове «одежда» сказано: «Совокупность предметов, которыми покрывают, облакают тело»... А что, если бы читателя попросили назвать несколько типов одежды, не ограничиваясь ее национальными и историческими рамками? Уверен, что он перечислил бы не более трех-пяти десятков названий. На самом же деле, если бы существовала своего рода энциклопедия всемирной одежды — «от Ромула до наших дней», — одно это перечисление заняло бы многие сотни страниц убористого набора.

Что такое «альмавива»? Просторный плащ-накидка без рукавов, скроенный из одного куска плотной ткани. Легкомысленный персонаж комедии Бомарше «подарил» свое имя щегольскому наряду, который продержался в России вплоть до середины XIX века. И вообще это дань моде того времени — называть предметы одежды и мебели именами знаменитых людей, популярных литературных героев или откликаться по-

добным образом на какое-либо конкретное политическое событие. В величественную, до земли, альмавиву, подбитую бархатом, любил облачаться Пушкин, отправляясь на прогулку по Невскому. Он носил ее закинув одну полу на плечо, и требовалось определенное умение, чтобы суметь пройтись в таком одеянии, не вызвав удивления у прохожих. Любопытный парадокс: чем проще был покрой одежды, тем сложнее ее было носить.

...Книга К. А. Буровика — своеобразный словарь забытых вещей, историческое товароведение, которое нам знакомо отчасти по художественной литературе и рисункам старых мастеров. Автор собрал, систематизировал и обобщил обширный исторический материал, который несомненно заинтересует многих: учащихся и преподавателей вузов, историков культуры, деятелей театра и кино, художников, коллекционеров, специалистов по антиквариату и просто любознательного читателя. Костюм любого народа, утверждает автор, формируется в результате синтеза национальных черт и неизбежных заимствований. Но заимствования эти трансформируются в национальном духе и зависят от уровня культурных традиций и господствующих вкусов. На многочисленных примерах автор показывает, как «басурманский» костюм приобретает русские особенности, а русский — «обасурманивается». В книге много неожиданных фактов. Например, на мужскую брючную монополию давно и успешно покушались особи противоположного пола. Первой женщиной в Европе, осмелившейся надеть мужские штаны, была легендарная Жанна д'Арк. Отправляя Орлеанскую девственницу на костер, инквизиторы припомнили ей и эту дерзость. А когда в 1911 году парижские дома моделей попробовали предложить женщинам широкие и

длинные юбки-брюки, это едва не привело к общественным беспорядкам. Брючную эмансипацию окончательно утвердила только Марлен Дитрих (хотя еще в 60-х годах студентам Кембриджского университета запрещалось появляться на лекциях в штанах).

С помощью забытых вещей «Красная книга...» восстанавливает связь времен, без которой нет ни цивилизации, ни культуры. «Ненавязчивый разговор о происхождении вещей, — пишет автор, — нужно начинать со школы. Однако сегодняшние учебные программы оставляют эту задачу в стороне, а история предстает исключительно в виде цепи дел правителей, полководцев, вождей, партий и народов».

С этим трудно не согласиться: наши дети опять и опять продолжают читать подслащенные, сентиментальные, пышно разукрашенные исторические эпизоды, наспигованные войнами, походами, именами трехстепенных военачальников, а история материальной культуры затемнена. Все, что происходило в прошлом, историки приписывают действию неких «факторов», «следствий» и «предпосылок», а предметный мир, традиции ремесел и промыслов — поприще мирной культуры — выходят за рамки школьного изучения.

«Общеизвестно: Иваны, не помнящие родства, не способны построить общество благоденствия, — напоминает К. А. Буровик. — Профессиональная и культурная узость стали бедой общества. Последствия очевидны: низкий уровень производства, упадок технологий, резкое снижение качества промышленной продукции». Главная мысль, которая движет автором книги, — «не дать людям забыть об утратах, которые приносят войны, революции, оголтелые реформы, непостоянство моды и банальное равнодушие».

Олег ЛАРИН.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАЗНОКРАДОКРАТИЯ

В последнее время мне все чаще вспоминается известный исторический анекдот. В середине прошлого века Государь Николай Павлович сказал своему сыну и наследнику, будущему Императору Александру II:

— В России только мы с тобой не ворует.

А еще у меня на памяти афоризм А. С. Суворина:

— Взятка есть русская конституция¹.

Как известно, Ахматова в свое время училась на юридических курсах. Когда речь при ней заходила о всеобщем воровстве, нас окружавшем, Анна Андреевна обыкновенно произносила такую фразу:

— На курсах нас учили, что у славян вообще ослабленное чувство собственности.

Как мы дошли до нынешнего, окончательного *ослабления* этого чувства, можно, пожалуй, проследить. Да, в николаевской России воровали и брали взятки — вспомним хотя бы «Ревизора» и «Мертвые души». Но в прошлом веке наша страна все же была христианской, и на значительную часть населения заповедь «не укради» имела решающее влияние. Вслед за Гоголем припомним Лескова, ведь его персонажи отнюдь не плод чистого воображения, а следственно, были тогда на Руси и «инженеры-бессребреники», и «однодумы», и «несмертельные Голованы». Но — увы! — эти и подобные им герои были обречены, они, как тогда выражались, «стояли на пути прогресса»: в таких людях усматривалась та самая *Народность*, что была сродни ненавистным для интеллигенции *Православию* и *Самодержавию*...

Люди здравомыслящие и патриотически настроенные прекрасно понимали, куда ветер дует и чем чревато для отечества распространение столь любезных образованному классу «освободительных идей». Мало того, Господь давал России истинных пророков, и они прямо предсказывали страшную судьбу, которая ждет народ и страну, если не будет всеобщего покаяния и возвращения к спасительной вере предков. Тут достаточно назвать Святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника, Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. В этом списке не последнее место занимает имя Харьковского Архиепископа Амвросия (Ключарева). Он за три с лишним десятилетия предвидел и прямо предсказал национальную катастрофу, которая постигла Россию в страшном 1917-м году: «Если... в древних, христианских обычаях нашего народа были воплощаемы вера, благочестие, духовный подвиг, воздержание, целомудрие, честность, послушание властям, то в обычаях новых, вводимых так называемыми просвещенными людьми, очевидно воплощаются безверие, чувственность, бесстрашие по отношению к закону нравственному и совести и ничем не удержимое своеволие, соединяемое с порицанием и отрицанием властей. Можно не только уследить, но и определить, когда наступит час решительного нравственного разложения, а затем и падения нашего великого народа. Это будет, когда в народе число людей, отвлеченных ложным просвещением от христианских обычаев к новым языческим, перевесит и задавит число добрых христиан, остающихся им верными» («Слово на день восшествия на престол благочестивейшего Государя Императора Александра Александровича», 1885).

Падение Российской империи было существенно ускорено мировой войной, которая за три года унесла многие тысячи человеческих жизней. И можно с уве-

¹ Вспомним и лаконичный ответ Николая Карамзина на вопрос о том, что делается в отечестве: «Воруют». (*Примеч. ред.*)

ренностью утверждать, что подавляющее большинство тех, кто пал тогда на фронтах, были добрыми подданными своего Государя и верными чадами Православной Церкви. В результате баланс, о котором говорил в свое время преосвященный Амвросий, был нарушен, и произошла предсказанная им катастрофа.

Наивные либералы до сей поры выражают удивление по тому поводу, что русский народ не удовлетворился «февралем», а в своей массе последовал за большевиками. Дело тут было вовсе не в беспомощности краснойбоя Керенского и не только в предельном цинизме Ленина. Причина лежит гораздо глубже, она заключена в самой коммунистической идее, имеющей в основании наиболее низменную из человеческих страстей. Я имею в виду зависть, которую извечно испытывает нищий лодырь и пьяница по отношению к своему зажиточному и трезвому трудяге соседу.

«Основоположник единственно верного учения» Карл Маркс в своем «Капитале» упомянул о том, что «экспроприаторы будут экспропрированы». Продолжатель его дела Ленин перевел это научное выражение на язык русского бунта — «бессмысленного и беспощадного», он провозгласил:

— Грабь награбленное!

Тут надобно заметить: о каких бы возвышенных материях ни рассуждали господа марксисты, как бы ни маскировали они людоедскую сущность своей теории, их адепты всегда слышат и воспринимают только призыв к грабежу. Тех же мыслей, что и я, был покойный М. А. Булгаков, его знаменитый Полиграф Полиграфыч Шариков так отзывается о переписке Энгельса с Каутским:

— ...пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...

Итак, за либеральным февралем семнадцатого неизбежно последовал кровавый октябрь, после чего с легкой руки Ленина начался и развернулся повсеместный «грабёж награбленного». Но все же в России еще оставалось значительное число людей, приверженных к Церкви, для которых моральные требования Евангелия не были пустым звуком. Именно они оказали реальное сопротивление безбожным палачам России и их — увы! — бесчисленным приспешникам. Но христиане к этому времени стали окончательным меньшинством, чем и был предопределен конец Гражданской войны. В результате сотни тысяч честных русских людей оказались вытесненными из пределов своего отечества.

В самые первые годы после революции большевики и подстрекаемая ими чернь расхитили все достояние старой России, так что и у самих властителей, и у определенной части населения появилось свое уже и вправду «награбленное». А затем историю нашей несчастной страны можно рассматривать с такой точки зрения: кто, когда, у кого и каким образом «грабил награбленное»?

Возьмем, например, такой решительный момент советской истории, как «раскулачивание деревни» и последующую «коллективизацию сельского хозяйства». Разве не «грабёж награбленное» звучит в призыве, который выдвинули власти, — «ликвидировать кулачество как класс»?.. «Грабить награбленное» государством было по временам занятием весьма рискованным. При Сталине, например, люди шли на долгие годы в тюрьму за несколько колосков, за клоч сена или кружку молока от колхозной коровы. И все равно почти всем приходилось красть — иначе было не выжить: колосок — или смерть.

...Еще в 70-х годах я стал задаваться вопросом: отчего при всенародном тотальном воровстве, которое царит в этой стране десятилетиями, экономика, производство, да и самое советское государство еще как-то существуют? Ведь при таких масштабах воровства все давным-давно должно было бы оскудеть и развалиться. Вот тогда-то я и нашел вполне правдоподобное объяснение, каким образом функционирует то, что громко именовалось «экономикой развитого социализма».

В те годы людей, которые воровали бы ради приобретения дач, автомобилей и предметов роскоши, было сравнительно немного. Подавляющее большинство нашего населения крало ради того, чтобы выпить, и притом — немедленно. Колхозник воровал мешок картошки, маляр — ведро краски, монтер — моток провода для того, чтобы сейчас же это продать, пойти в ближайший магазин и купить бутылку водки. И в тот самый момент, когда он отдавал продавцу или кассиру только что

вырученную от продажи краденого пятерку или десятку, государство с лихвой возмещало нанесенный ему ущерб. А проще говоря, оно в свою очередь обкрадывало воришку, ибо себестоимость поллитровки не превышала одной копейки.

И это взаимное воровство было как-то сбалансировано, тут наличествовало некое не вполне устойчивое, но все же равновесие. Даже так: тут мне видится нечто вроде негласного общественного договора, который существовал между большевистским режимом и народом.

Повторяю, наблюдение мое относится к 70-м годам. Но Бог судил мне дожить до такого времени, когда догадка моя вполне подтвердилась. Это произошло во второй половине 80-х, когда Горбачев «со товарищи» решились на убийственную антиалкогольную кампанию. Вот тогда-то простой советский воришка, «несун» был лишен возможности пойти в ближайший магазин, купить там бутылку водки и тем самым незамедлительно вернуть государству только что у него украденное. В результате баланс нарушился, советская экономика этого не выдержала и развалилась. А вслед за ней рухнула система и вся коммунистическая империя.

В недоброй памяти семнадцатом году большевиков поначалу почти никто всерьез не воспринимал. Но они появились как бы из небытия и в считанные месяцы овладели Россией. В начале 90-х годов коммунисты продемонстрировали еще один трюк в том же роде — исчезли с политической сцены столь же внезапно, как когда-то появились. Но при том они не забыли прихватить с собой значительную часть «награбленного» — ставшие притчей во языцех «деньги партии».

Зато как бы бесхозными остались дома, особняки, дачи, больницы, санатории, охотничьи угодья, да и вся прочая «социалистическая собственность» — заводы, фабрики, земля. И на все это немедленно набросились пришедшие к власти «демократы». (То бишь те же коммунисты второго и третьего разряда, которые вовремя сумели «перестроиться», а вернее — «перекраситься».)

И вот мы стали свидетелями такого «грабежа награбленного», какого не было с семнадцатого года. В силу исторических, психологических и иных причин у коммунистов в этом деле были несколько связаны руки. Они боялись друг друга, побаивались иметь дело с иностранной валютой, они страшились огласки, которая могла лишить теплого места. Пользуясь терминологией Ильфа и Петрова, можно утверждать, что коммунисты в массе своей были «застенчивыми воришками».

Не то — нынешние властители России, эти уже ничего не стесняются и ничего не боятся. Они запросто могут украсть деньги, вырученные от продажи имущества целого военного округа, или миллиарды, выделенные на восстановление Чечни. Могут средь бела дня выносить сотни тысяч долларов из Дома правительства... Что бы там ни писали газеты, что бы ни выкрикивали на митингах обманутые вкладчики, господин Мавроди преспокойно покупает голоса избирателей и проходит в Думу, становясь неуязвимым для карательных органов. Один мой знакомый по этому поводу пошутил:

— «Вор в законе» — это вор, находящийся под защитой закона о депутатской неприкосновенности.

И еще одна его шутка на ту же тему. Он говорит, что наш режим никак невозможно именовать «демократией», поскольку голосами «демоса», то бишь народа, цинично манипулируют прожженные политики, стоящие не столько у кормила, сколько у кормушки. А потому предлагается называть нынешнюю Россию «казнокрадocrатией».

Взяточничеством и воровством заражена несметная армия расплодившихся чиновников, все ветви власти и все ведомства, включая те самые, что предназначены для борьбы с подобными преступлениями. Зато нет недостатка в призывах «покончить с коррупцией». Только кто же их всерьез воспринимает в стране, где в течение десятилетий планомерно уничтожали Церковь, а с нею вместе и мораль, являющуюся неотъемлемой частью религиозной веры?

Если в России и вправду когда-нибудь объявят войну коррупции, то прежде всего следует обратиться к опыту таких государств, где не было ни исторических катастроф, подобных той, что произошла у нас в 1917 году, ни кровавых экспериментов на манер большевистского. В западных странах мораль не многим выше,

чем у нас, но там она исчезала постепенно, по мере того как люди охладели к христианству. И общество последовательно вырабатывало механизмы, дабы защищать себя от многочисленных соблазнов, которые принесла с собою современная безнравственная цивилизация.

Известно, например, что в Англии государство применяет по отношению к чиновникам политику «кнута и пряника». Потенциальный взяточник не столько боится строгого наказания, сколько страшится потерять свое привилегированное положение. В частности, британские судьи получают за свою работу весьма и весьма высокое вознаграждение, и потому их практически невозможно подкупить.

Гипотетическому правителю России, который всерьез решил бы покончить с коррупцией, я дал бы такой совет: прогоните две трети всех чиновников, а оставшимся утройте заработную плату. Убежден, у этой трети появится иное мироощущение, и они в конце концов перестанут коситься на карманы своих посетителей.

Но все это — мечты, розовые мечты. А в нашей серой, мрачноватой реальности господствуют «казнокрадокрааты». Занятые непрерывным «грабежом награбленного», во время последних выборов они чуть не лишились власти. И это несмотря на манипулирование общественным мнением, несмотря на миллиарды, потраченные на избирательную кампанию, несмотря на посулы и весомые подачки населению. А теперь многоумные политологи и социологи пространно рассуждают о причинах, по которым миллионы голосов были отданы оппозиции.

Мне же в этой связи вспоминается еще один исторический анекдот. 17 октября 1888 года царский поезд, следовавший по Курско-Харьковской железной дороге, сошел с рельсов. (При этом погибло 19 человек, а 14 были тяжело ранены.) Милостью Божией Августейшее Семейство не пострадало. Государь Александр III выбрался из развалившегося вагона, а затем убедился, что злого умысла нет — причиной катастрофы была всегдашняя российская нерадивость и склонность к хищениям. И Царь принялся оказывать помощь пострадавшим.

А вокруг слышались возгласы:

— Это — бомбисты!

— Какой ужас!

— Покушение на Царя!

Занятый растаскиванием обломков, Государь обронил:

— Красть надо меньше!

Именно такой совет я бы дал нашим «казнокрадокраатам», ежели они хотят и впредь оставаться «партией власти».

Протоиерей Михаил АРДОВ.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Антология. Современная уральская поэзия. Составитель В. Кальпиди. Челябинск. «Галерея, Автограф». 1996. 358 стр. 1000 экз.

Стихи Дмитрия Бавильского, Николая Болдырева, Виталия Кальпиди, Вадима Мещая, Вячеслава Ракова, Евгения Туренко и других.

Василий Белов. Пропавшие без вести. Рассказы, повесть. Вологда. «Русский Север — Партнер». 1997. 192 стр.

Г. Газданов. Вечер у Клэр. Романы. Рассказы. Составитель Т. Прокопов. М. «Терра». 1997. 732 стр.

Дмитрий Галковский. Бесконечный тупик. М. «Самиздат». 1997. 697 стр. 500 экз.

Впервые в полном объеме одна из самых «громких» книг начала 90-х годов, появлявшаяся тогда в отрывках в более чем двадцати периодических изданиях, в том числе и в «Новом мире». «Моя книга на самом деле называется «Примечания к „Бесконечному тупику“» и состоит из 949 „примечаний“ к небольшому первоначальному тексту. Ввиду того, что „основной текст“ не имеет самостоятельного значения, он вынесен мною за рамки настоящего издания. (Интересующиеся читатели могут его прочесть в 81 номере журнала «Континент» за 1995 г.)». «Новый мир» предполагает откликнуться на это событие.

И. Грекова. Свежо предание. Роман. М. «Текст». 1997. 255 стр. 10 000 экз.

Текст идентичен американскому изданию, рецензировавшемуся в «Новом мире» (1996, № 9), за исключением коротенькой справки, предвещающей текст романа, поставить которую американские издатели постеснялись: «От автора. Все газетные цитаты, приведенные в книге, — подлинные. Автор по национальности — русский».

Николай Гумилев. Конквистадор. Стихотворения. М. «Летопись». 1997. 502 стр. 10 000 экз.

Житие протопопа Аввакума, им самим составленное, и другие его сочинения. Редактура, вступительная статья Н. К. Гудзия. М. ЗАО «Сварог и К». 1997. 494 стр. 5000 экз.

Милош Кундера. Бессмертие. Роман. Перевод с чешского Н. Шульгиной. СПб. «Азбука-Терра». 1996. 366 стр.

Семен Липкин. Квадрига. Повесть. Мемуары. М. «Аграф», «Книжный сад». 1997. 640 стр. 10 000 экз.

Новую книгу Липкина составили: повесть «Записки жильца», публиковавшаяся ранее в «Новом мире» (1992, № 9 — 10), и впервые в книжном издании — мемуарные очерки, среди героев которых Максимилиан Волошин, Эдуард Багрицкий, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Василий Гроссман, Борис Слуцкий.

Инна Лиснянская. Из первых уст. Стихотворения. М. Дом-музей М. Цветаевой. «Изограф». 1996. 352 стр. 2000 экз.

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собрание сочинений. В 3-х томах. М. ИПО «Полигран». 1996. 2500 экз.

Том 1. Приваловские миллионы. Роман. 384 стр.

Том 2. Золото. Дикое счастье. Романы. 480 стр.

Том 3. Горное гнездо. Роман. Повести и рассказы. 416 стр.

Мифы исчезнувших цивилизаций. Предания, легенды, сказания Нового Света с древнейших времен до испанской конкисты. Составление В. И. Вардугина. Саратов. «Надежда». 1996. 510 стр. 25 000 экз.

М. Павич. Хазарский словарь. Роман-лексикон в 100 000 слов. Мужская версия. Перевод с сербохорватского. СПб. «Азбука», Книжный клуб «Терра». 1997. 383 стр. 10 000 экз.

Притчи китайских мудрецов. Перевод И. А. Зуева, И. С. Лисевича. М. Издательский дом «Муравей». 1997. 216 стр. 3200 экз.

Японские легенды. Перевод Н. В. Капризиной. М. Издательский дом «Муравей». 1997. 96 стр. 3200 экз.



Г. Л. Выготская, Т. М. Лифанова. Лев Семенович Выготский. Штрихи к портрету. М. «Смысл», ИЦ «Академия». 1996. 424 стр. 2000 экз.

В издание вошли очерк «Жизнь и творческий путь», воспоминания современников — коллег и учеников Выготского, а также воспоминания дочери.

Иван Гагарин. Дневник. Записки о моей жизни. Переписка. Составление, вступительные статьи, перевод с французского и комментарии Ричарда Темпеста. М. «Языки русской культуры». 1996. 352 стр. 5000 экз.

Дневники 1834 — 1842 и автобиографические заметки князя Ивана Сергеевича Гагарина (1814 — 1882).

Ю. М. Лотман. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М. «Языки русской культуры». 1996. 464 стр. 3000 экз.

Одна из центральных работ ученого, в которой на основе «богатейшего историко-культурного материала... делается вывод о необходимости применения в гуманитарных исследованиях методов семиотики» (из издательской аннотации). В качестве предисловия — статья Вяч. Вс. Иванова «Семиосфера и история», в приложении — «Предисловие к английскому изданию» Умберто Эко и работа М. Л. Гаспарова «Лотман и марксизм».

Пушкин в прижизненной критике 1820 — 1827. Под общей редакцией В. Э. Вадуро, С. А. Фомичева. Вступительная статья Г. Е. Потаповой. СПб. Пушкинская комиссия Российской академии наук, Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге. 1996. 528 стр. 2000 экз.

Около ста рецензий, отрывков из обзорных и полемических статей А. Г. Глаголева, А. Ф. Воейкова, А. Е. Измайлова, П. А. Плетнева, П. А. Вяземского, М. П. Погодина, А. А. Бестужева, М. А. Дмитриева, Ф. В. Булгарина, Н. А. Полевого, Д. В. Веневитинова и других современников Пушкина.

А. М. Пятигорский. Избранные труды. Составление и общая редакция Г. Амелина. М. Школа «Языки русской культуры». 1996. 590 стр. 5000 экз.

В издание не вошли фундаментальные монографии — том составили статьи и сравнительно небольшие по объему работы, расположенные в шести разделах: «Семиотика», «Философия», «Философия литературы», «Интервью», «Из выступлений на радио «Свобода» и ВВС», «Проза».

Русский язык конца XX столетия (1985 — 1995). М. «Языки русской культуры». 1996. 480 стр. 2000 экз.

Коллективная монография, исследующая семантические изменения в лексике и лексической сочетаемости, в грамматике и словообразовании, в области ударения на материале языка периодической печати, устной публичной и живой повседневной речи. Ответственный редактор Е. А. Земская.

А. Смит. Теория нравственных чувств. Вступительная статья Б. М. Мееровского. Подготовка текста, комментарии А. Ф. Грязнова. М. «Республика». 1997. 352 стр. 5000 экз.

С. Л. Франк. Русское мировоззрение. Составитель, ответственный редактор А. А. Ермичев. СПб. «Наука». 1996. 738 стр. 3050 экз.

М. Фуко. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. Составление, перевод с французского, комментарии, послесловие С. Табачниковой. М. «Магистерiuм». «Касталь». 1996. 448 стр. 10 000 экз.

А. Швейцер. Жизнь и мысли. Составление, перевод с немецкого, послесловие А. Л. Чернявского. М. «Республика». 1996. 528 стр. 5000 экз.

Томас Стернз Элиот. Назначение поэзии. Статьи о литературе. Вступительная статья и комментарии А. А. Аствацатурова. Киев. «AirLand». 1997. 350 стр. 5000 экз.

Первый сборник литературно-критических и теоретических работ Элиота на русском языке, в который вошли статьи разных лет и цикл лекций «Назначение поэзии и назначение критики» (1933).

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«День и ночь», «Другие берега», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Зоил», «Киносценарии», «Комментарии», «Коммерсант-Daily», «Литературная газета», «Литературное обозрение», «Молодая гвардия», «Москва», «Московский пушкинист», «Независимая газета», «Новое литературное обозрение», «Ной», «Октябрь», «Российская газета», «Урал», «Юность»

Василий Аксенов. Радиодневник писателя, или Десятилетие клеветы. — «Киносценарии». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Главный редактор Н. Рюрикова. 1996, № 2, 3, 4...

Автобиографическая хроника. Кусочками, с продолжением.

Юрий Арабов. Механика судеб и механика замысла. — «Киносценарии». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1996, № 4.

Автор (поэт, киносценарист), не принимая философию случайности, «слепой игры запредельных сил», пытается нащупать «некоторые закономерности в судьбах трех великих людей XIX века и посмотреть, как эти закономерности укладываются в традиционную систему христианских ценностей». Глава первая: «Сценарий жизни Пушкина. (Опыт драматургии «действительной» жизни)». Гибель Пушкина как возмездие. Суверенный Пушкин погиб еще и потому, что верил в гадания и приметы, вообще в «карму» больше, чем в свободу христианина изменить свою жизнь.

Мария Астафьева-Корякина. Земная память и печаль. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск. 1997, № 1-2 (январь — март).

Мария Семеновна, урожденная Корякина, жена Виктора Петровича Астафьева, рассказывает об истории своего рода, родственниках.

П. Бицилли. Пушкин и Николай I. Публикация и комментарий М. Д. Филина. — «Московский пушкинист». Ежегодный сборник. Выпуск III. Составитель и научный редактор В. С. Непомнящий. (М. «Наследие». 1996).

Летом 1835 года Николай I ездил в Калиш на свидание с Фридрихом-Вильгельмом Прусским и, опасаясь покушения со стороны поляков, не взял с собой наследника и на всякий случай оставил ему завещание или, лучше сказать, наставление. Наблюдение П. Бицилли состоит в том, что «по своему составу и даже по плану Завещание Николая I почти всецело совпадает с последним монологом Бориса Годунова...». А поскольку значительная часть этого монолога Бориса Годунова является вольным пушкинским переводом предсмертного монолога шекспировского Генриха IV, то в конечном счете уроками политической мудрости Николай I оказывается обязан Шекспиру. Статья перепечатана из парижского журнала «Звено», 1928, № 6. В этом же выпуске «Московского пушкиниста» печатаются статьи В. Непомнящего, И. Роднянской, И. Сурат, Д. Медриша, А. Анненковой, В. Кожевникова и других авторов.

Алексей Варламов. Затонувший ковчег. Роман. — «Октябрь», 1997, № 3, 4. Раскольники.

Михаил Веллер. Самовар. — «Дружба народов», 1997, № 3.

Фантазмагория. Журнальный вариант. Отдельное книжное издание на русском языке ранее появилось в Израиле. «Это очень неприличная книга, — говорится в авторском «Предупреждении». — В ней много неприличных слов, неприличных сцен, а главное —

неприличных мыслей. Поэтому ее нельзя давать читать детям, и лучше бы не читать людям с неустойчивой психикой. Также ее не должны читать люди, не любящие всякие неприличности. Честно говоря, возможно, лучше и вам ее не читать. Возможно, ее вообще писать-то не следовало...» Вы будете смеяться, но все это чистая правда.

Рената Гальцева. «Это был наш маленький крестовый поход». К 25-летию завершения «Философской энциклопедии». — «Знамя», 1997, № 2.

Полемические мемуары участника и очевидца. «Для старого состава редакции («Философской энциклопедии». — А. В.) эпохальность задачи состояла в «очищении» советской философии от «сталинского догматизма». Для нас же — в очищении от всей этой философии и от ее философов. Мы варили два супа в одной кастрюле...»

Геннадий Головин. Паранормальный Фарафонт. Повесть. — «Юность», 1997, № 2.

Шел за самогоном. Попал под поезд. Сшили. От сотрясения стал писателем. Фарс.

Л. А. Дмитриев. Блокадный дневник. Публикация Р. П. Дмитриевой. Предисловие Д. С. Лихачева. Послесловие Владимира Бахтина. — «Звезда», 1997, № 2.

Дневник 1941 — 1942 годов, принадлежащий двадцатилетнему сержанту, будущему члену-корреспонденту Академии наук Льву Александровичу Дмитриеву (1921 — 1993).

Другие литературы. Специальный выпуск. Составитель и редактор А. И. Рейт-блат. — «Новое литературное обозрение». Теория и история литературы, критика и библиография. Главный редактор Ирина Прохорова. № 22 (1996).

Журнал предлагает более двадцати статей, посвященных обычно игнорируемым «литературам». В «Предупреждении» к номеру говорится, что эпитет «другие» указывает здесь не на иноязычность, а на инокультурность, поскольку «в одной стране могут сосуществовать различные литературные практики и даже достаточно автономные по своим социокультурным характеристикам литературы». «Однако литературоведы и критики значительную часть литературного потока либо вообще не замечают (как нелитературу), либо дисквалифицируют как паралитературу, литературу массовую, третьесортную... В результате историк литературы выстраивает картину, нередко игнорирующую именно те литературные пласты, которые были важнейшими для достаточно многочисленных читательских кругов (для одних, скажем, духовно-нравственная проза, для других — уголовный роман, для третьих — сборники исторических анекдотов)... Критик же, сосредоточившись на поэзии и традиционном (или претендующем на элитарность) романе, игнорирует такие живые, отражающие современные тенденции общественного сознания явления... как историко-патриотическая фэнтези (типа «Волкодава» М. Семеновой), стесовая фельетонная публицистика (в газетах и тонких журналах), эстрадная поэзия (например, песни Б. Гребенщикова) и т. д.». В номере напечатаны статьи Л. Д. Гудкова «Массовая литература как проблема. Для кого?», Алексея Левинсона «Заметки по социологии и антропологии рекламы», Б. М. Соколова «Русский лубок как литературный жанр», Бориса Дубина «Испытание на состоятельность: к социологической поэтике русского романа-боевика», Ольги Вайнштейн «Розовый роман как машина желаний», М. В. Калашниковой «Альбомы современных детских колоний», Сергея Борисова «Прозаические жанры девичьих альбомов», Алексея Левинсона «„Новые русские“ и их соседи по анекдотическим контекстам» и многие другие интереснейшие материалы.

Иван Жданов. Булгаков: русский Фауст и конец истории. — «Комментарии». Журнал для читателя. Главный редактор Александр Давыдов. Москва — Санкт-Петербург, 1996, № 10.

«Для гётевской Маргариты угроза исходит от союза Фауста с сатаной, для булгаковской — от истории, из которой бытие ушло, в которой нет места даже черту и которая даже для него — больший ад, чем его собственный».

А. Западов. Анна Каренина как зеркало русской наркомании. Записал Владимир Верин. — «Российская газета», 1997, № 62, 28 марта.

Филолог, профессор МГУ Александр Васильевич Западов, которому недавно исполнилось 90 лет, ведет речь об увлечении Анны Карениной наркотиками, о ее возрастающей к финалу романа зависимости от них. «Учтем тяжелый недуг героини как факт, и мы будем вынуждены отказаться от традиционно негативных оценок других героев романа. Скажем, самого Каренина, у которого ничего особо отвратительного, кроме «больших ушей», и не обнаружится». А поскольку Толстой считал, что люди «одурманиваются» (табаком, алкоголем, наркотиками) для того, чтобы заглушить голос совести, то становится весьма существенным, кто именно из персонажей романа курит, а кто — нет. Анна курит, Стива курит, Левин — нет.

Артур Кёстлер. Приезд и отъезд. Роман. Перевод с английского Майи Улановской. — «Ной». Армяно-еврейский вестник. Тираж 999 экз. Москва, 1997, № 20.

Артур Кёстлер (1905 — 1983) не нуждается в рекомендациях. Роман «Приезд и отъезд» (1943) по-русски ранее не издавался. Переводчица Майя Улановская живет в Израиле, работает в Национальной библиотеке в Иерусалиме. См. в «Новом мире» (1997, № 3) рецензию М. Злобиной на книгу М. Улановской «Свобода и догма. Жизнь и творчество Артура Кёстлера» (Иерусалим, 1996).

Прямо на обложке этого, двадцатого, выпуска альманаха «Ной» начертано странное слово — «ПОСЛЕДНИЙ». В обращении к читателям главный редактор и издатель этого армяно-еврейского вестника, выходящего с 1992 года, Вардван Варжапетян объясняет: «Уверен, вашей доброты и моих сил хватило бы, чтобы издать еще один-два номера. Но та задача, ради которой был задуман «Ной», решена. Это дело своей жизни я считаю сделанным. Спасибо вам!» Среди достигнутых целей упоминаются: установление дипотношений между Арменией и Израилем, осуждение Израилем геноцида армян, возросший интерес армянских политиков к опыту государственного строительства Израиля. Среди целей не достигнутых: не поддержана идея Ванских встреч — диалога армянской и турецкой интеллигенции, не удалось провести матчи сборных Израиля и Армении по шахматам и футболу, не удалось издать несколько интересных книг.

Игорь Клев. Крокодилы не видят снов. Берлинская повесть. — «Октябрь», 1997, № 3.

Наш человек на Западе. Что немцу здорово, то русскому не в кайф.

Юрий Козлов. Колодцы предков. Роман. — «Москва», 1997, № 2, 3, 4.

Русский мистический триллер. Начало XXI века. Чекисты. Банкиры. Бандиты. Шпионы. Мормоны. Все философствуют. Ожидают Антихриста. Интернет как сеть дьявола. Юрий Козлов — это тот Юрий Козлов, что когда-то давно написал книгу хороших рассказов о подростках «Качели в Пушкинских Горах» (Л. «Детская литература». 1984), если кто еще помнит.

Андрей Комлев. Новый перевод «Слова о полку Игореве». Рассуждения на круге. — «Урал», 1997, № 1.

«Слово о полководчестве Игореве, Игоря, сына Святославова, внука Олега». Сопроводительная статья, обоснование перевода.

Владимир Корнилов. «Покуда над стихами плачут...» — «Дружба народов», 1997, № 3.

Статья о Борисе Слуцком.

Вячеслав Курицын. О духовном шовинизме. — «Литературная газета», 1997, № 12, 26 марта.

Заметки известного литературного критика о недавно прошедших «Днях Вячеслава Курицына в Екатеринбург», в рамках которых, в частности, состоялись «Курицынские чтения» (они теперь будут проходить раз в два года). Автор, недовольный «напряженным», так сказать, отношением столичных СМИ к освещению екатеринбургских мероприятий, так высказывается о «московском шовинизме»: «Москва живет хорошо — за счет того, что стягивает в себя деньги и людей со всей России. Шовинизм Москвы не в том, что она ущемляет претенциозных провинциалов, а в том, что она легко интегрирует их в московвие, переводит в ряды своих... Единственное, что смущает Москву, — посягание на ее статус главнейшей и полнейшей кормушки». Редакция «ЛГ» сочла остроумным напечатать заметку Курицына не на полосе «Литература», а на юмористической полосе «Клуба 12 стульев». Что ж, тем больше людей ее прочтет.

Вячеслав Курицын. Нефикции. — «Октябрь», 1997, № 3.

Книги «нон-фикшн» и обновленный журнал «Столица» как современная литература.

Л. Лазарев. Записки пожилого человека. — «Знамя», 1997, № 2.

Мемуарные заметки. Случаи, размышления.

Георгий Литичевский. Список Микки Мауса. — «Знание — сила», 1997, № 2.

В 1986 и 1991 годах в США появилась двухтомная книга-комикс Арта Шпигельмана «Мышь» («Mouse»). Она рассказывает... об Освенциме. Евреи — мышки, немцы — кошки, французы — лягушки и т. д. На рисование трехсотпятистраничного комикса ушло едва ли не больше времени, чем на создание «Войны и мира».

Михаил Лобанов. Из памятного. — «Молодая гвардия». Главный редактор Александр Кротов. 1997, № 3.

Мемуарные заметки. Случаи, размышления. См. также его эссе «Российско-кельнские абсурды» в «Нашем современнике» (1997, № 3); там среди прочего встречаются

сетования на низкое качество «финансируемого Соросом журнала «Новый мир» с его лакейским угодничеством перед нынешними властями».

Владимир Микушевич. Из книги М. Времена века. — «Комментарии». Журнал для читателя. Москва — Санкт-Петербург, 1996, № 10.

«Времена века», по авторскому определению, — это «лингвоэпос», поэма, в которой «задействованы разные языки, которые осознаются как единый язык, ибо различия между языками в принципе не отличаются от различий внутри языка, а на таких различиях и основывается язык, будучи по существу своему членораздельным». Поэма, как бы выразиться... стоит предисловия.

Юнна Мориц. Быть поэтессой в России. — «Октябрь», 1997, № 3.

«...труднее, чем быть поэтом». Не печатавшаяся ранее статья 1975 года. Впрочем, по признанию Юнны Мориц, в ее интервью всегда было много самоцитат из этой статьи.

Павел Муратов. Путевые очерки. Предисловие и публикация Юрия Соловьева. — «Комментарии». Журнал для читателя. Москва — Санкт-Петербург, 1996, № 10.

Из записок П. Муратова (автора знаменитых «Образов Италии») о его путешествии 1934 года в Японию и Америку. Очерк «Исторические пейзажи: Никко и Камакура» был напечатан в газете «Возрождение» от 13 мая 1934 года, очерк «Нью-йоркская жизнь» — в той же газете от 31 июля того же года.

Михаил Новиков. Похвала глупости. — «Коммерсант-Daily», 1997, № 18, 26 февраля.

Сокрушительная, даже по нынешним временам, рецензия на новый прозаический сборник певицы Наталии Медведевой «А у них была страсть...» (М. «ВАГРИУС». 1997). «Ничто так не радует бескорыстного ценителя, как подлинная, сильная и чистая глупость, явленная в произведении искусства» — это теоретический посыл. Далее: «...на счет того, что проза не требует ни специфического ремесленного умения, ни не менее специфического повествовательного таланта, — Женщина, это Вас кто-то обманул». Как выясняется, обманул женщину ее бывший супруг — Эдуард Лимонов, и, наверное, с лучшими намерениями. «Лимонов теперь раскручивает свою новую жену... А Медведева осталась — при маленькой своей славе и при профессии, которой она не владеет вполне безнадежно. Кормиться как-то надо, это понятно. Но лучше б все-таки не литературой, а другим чем, более органичным...»

Очерки довоенной литературы. — «Литературное обозрение». Журнал художественной литературы, критики и библиографии. 1996, № 5-6.

Специальный тематический номер «ЛО» посвящен «малоизученным проблемам истории русской литературы 1917 — 1941 годов, периоду между первой мировой войной и революцией и второй мировой войной, эпохе глобальных катастроф, гибели целых литературных поколений». В номере напечатаны: А. Е. Парнис, «„Ищу я верников в себя...“. Новое о Хлебникове»; А. Е. Крученых, «О Велимире Хлебникове»; А. Ю. Галущкин и К. М. Поливанов, «Имажинисты: лицом к лицу с НКВД»; З. Н. Гиппиус, «Парижские рассказы» (публикация и предисловие А. В. Лаврова); Р. М. Янгиров, «Материалы к литературной биографии А. В. Чайнова»; Г. А. Белая, «Смена кода в русской культуре XX века как экзистенциальная ситуация»; А. К. Жолковский, «Зубной врач, корыстная молочница, интеллигентный монтер и их автор. Крепковатый брак в мире Зощенко»; Елена Толстая, «Акким Вольтер в литературных «Зеркала»: двадцатые годы»; Л. Ф. Кацис, «„...О том, что никто не придет назад“. Предреволюционный Петербург и литературная Москва в „Белой гвардии“ М. А. Булгакова»; М. П. Одесский и Д. М. Фельдман, «Легенда о великом комбинаторе. История создания, текстология и поэтика романа „Двенадцать стульев“»; М. Л. Спивак, «Эдуард Багрицкий: мемуары для служебного пользования, или Посмертная диагностика гениальности» (окончание в № 1, 1997); Т. В. Цивьян, «„Исследование ужаса“ Леонида Липавского. Опыт „читательского“ прочтения»; Л. Ф. Кацис и М. П. Одесский, «„И если когда-нибудь в этой стране...“. О некоторых славянских параллелях к „Реквиему“ А. Ахматовой» и другие интересные материалы.

Борис Парамонов. Губернатор едет к тете. О романах Федорова-Сахалинского. — «Звезда», 1997, № 2.

Разбор (издательский) стихотворных опытов Валентина Федорова, недавнего сахалинского губернатора. Смешно.

Письма М. А. Кузмина к Г. В. Чичерину. Публикация, подготовка текста, вступительная статья и примечания А. Г. Тимофеева. — «Звезда», 1997, № 2.

Десять писем 1890 года к другу и духовному наставнику Г. В. Чичерину печатаются целиком впервые по автографам из Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Григорий Померанц. Диалог пророческих монологов. — «Дружба народов», 1997, № 3.

О противоречии между европейским плюрализмом и библейским монолизмом.

Валентин Распутин. Прокляты, но не убиты. Беседу вела Ольга Вельдина. — «Юность», 1997, № 3.

Приуроченное к 60-летию юбилею весьма пессимистическое интервью. Среди прочего: «В свое время я оставил литературу, полагаю, не потому, что исписался, а потому, что уткнулся в тупик... Я был «деревенщиком». Все, что могла сказать «деревенская» литература, она сказала. И «Пожаром» для себя я закончил эту тему. Я показал, во что превратилась деревня того времени... Я бросился в публицистику, мне казалось: надо немедленно сегодня показать источник зла... Мой публицистический этап, не знаю, был ли он полезным, кажется, завершился». В связи с юбилеем Распутина см. также статью Сергея Федякина «Матера под водой» («Независимая газета», 1997, № 46, 14 марта): «Он мог стать лидером нового поколения. И он им не стал... Распутин попал в поколение отцов, а не детей. И эта приобщенность к делам отцов определила — целиком и полностью — его место в русской литературе... Стать замыкающим (по возрасту) в этом ряду — значило по меньшей мере прикоснуться к последней русской классике. Быть в ряду «детей» — значило оказаться среди вечно подающих надежды».

Райнер Мария Рильке — Александр Давыдов. Стихи. — «Комментарии». Журнал для читателя. Москва — Санкт-Петербург, 1996, № 10.

«Как известно, Рильке написал несколько стихотворений по-русски. Русский он знал плохо... Вот я и попытался, считая тексты Рильке как бы подстрочниками, перевести их с «русского на русский». Разумеется, строго соблюдая ритм и рифмовку. Двойное авторство, надеюсь, не прозвучит горделиво. Подписывают же музыкальные вариации на великие темы — Бах — Сеговия или, к примеру, Бизе — Щедрин. Более самоуверенно было бы приписать получившиеся стихи одному Рильке» (из предисловия А. Давыдова).

Лева Рубинштейн. Алик Ривин — бродящий поэт. — «Звезда», 1997, № 2.

Это не тот Лев Рубинштейн, который московский поэт, а тот, который питерский физик. Воспоминания о конце 30-х — начале 40-х годов, о малоизвестном поэте Алике Ривине. Фрагменты одной из поэм Алика Ривина печатались в «Новом мире» (1994, № 1).

Бенедикт Сарнов. Перестаньте удивляться! Невыдуманные истории. — «Октябрь», 1997, № 3.

Советская жизнь. Случаи. Наблюдения. Истории. Анекдоты в старинном понимании слова. Очень живо.

Александр Силаев. Каста. О русской интеллигенции. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск. 1997, № 1-2 (январь — март).

Русская интеллигенция как опасная Секта, у которой еще есть шанс стать Кастой (интеллектуалов). Есть любопытные суждения: «Чернышевский, если вдуматься, не такой плохой беллетрист, каким хочет казаться. Взять Рахметова и, ничего не меняя в нем как в человеке, потряхнуть только его «идейный багаж». Если его убеждения так же выстроятсястройной линией, но под другим углом — Фридрих Ницше не отвернется от такого совершенного образа породы бестий. Тряхни его еще раз и вытряхни из него вообще всю философию — глупый американский мальчик радостно запрыгает, узнав в нем любимого героя боевика».

Андрей Синявский. Диссидентство как личный опыт. — «Литературная газета», 1997, № 9, 5 марта.

Статья была впервые напечатана в «Синтаксисе» (1985, № 15) и не включалась до сих пор ни в одно издание произведений Синявского в России. Публикация ее сокращенного варианта — в паре со статьей Льва Копелева «Соло из хора» — приурочена к девяти дням со дня смерти писателя. Одновременно статья «Диссидентство как личный опыт» напечатана без сокращений в ежемесячном приложении к «Независимой газете» — «Ex libris „НГ”» от 6 марта с. г.

Алексей Слаповский. Анкета. Тайнопись открытым текстом. — «Звезда», 1997, № 2, 3.

Новый роман саратовского прозаика. См. рецензию Аллы Латыниной «Игра в кубики» («Литературная газета», 1997, № 17, 30 апреля): «Прочтя роман Слаповского, откладываешь журнальную книжку со странным чувством — словно тебя несколько надули».

Александр Солженицын. С Борисом Можаяевым. — «Литературная газета», 1997, № 8, 26 февраля.

Воспоминания о друге. К годовщине смерти.

Семен Файбисович. Дядя Адик / Uncle Dick. Повесть. — «Знамя», 1997, № 2.

Повесть известного художника и литератора. См. его статью «Актуальные проблемы актуального искусства» в № 5 «Нового мира» за этот год.

Григорий Файман. «Они любить умеют только мертвых...». — «Независимая газета», 1997, № 43, 11 марта.

Подборка записей Е. Булгаковой, газетных сообщений, некрологов в связи со смертью М. А. Булгакова 10 марта 1940 года. Речь А. М. Файко на гражданской панихиде по Булгакову, среди прочего он высоко оценивает его «последний роман». Со слов Файко о существовании последнего философского романа Булгакова тогда же сообщила «Вечерняя Москва».

Лариса Юсипова. «Огонь, иди со мной» на большом российском экране. — «Коммерсант-Daily», 1997, № 28, 12 марта.

Статья о кинорежиссере Дэвиде Линче, создателе культового, как теперь выражаются, сериала «Твин Пикс», в связи с выходом в наш прокат его фильма «Огонь, иди со мной», рассказывающего предысторию убийства школьницы Лоры Пальмер. Среди прочего Л. Юсипова пишет: «Один из самых блистательных формалистов мирового кинематографа, он не боится действительно стать частью массовой культуры — просто потому, что предмет его размышлений не элитарен по своей сути. Главный мистификатор, провокатор, постмодернист последней трети XX века при внимательном непредвзятом взгляде предстает поборником культуры, религии и морали. В этом, возможно, и скрыта та главная интрига линчевских сюжетов, благодаря которой они с маниакальным упорством возвращаются на экран». См. также эссе Дмитрия Бавильского «„Твин Пикс“ расходящихся тропок» в журнале «Комментарии» (1996, № 10) — сочинение в отрывках, со сложной структурой (или вообще без оной).



Другие берега. Литературный журнал. Москва. Редакция: Ася Гусева, Галина Гусева. Тираж 3000 экземпляров.

Редакция журнала «Другие берега» выпустила два сдвоенных (448 страниц вместо 224) номера, поскольку сквозное произведение обоих номеров, а именно — классический английский роман Тобайаса Смоллета (1721 — 1771) «Приключения Перегрин Пикля» в переводе А. Кривцовой и Е. Ланиной, потребовало пространства вдвое больше обычного; и все равно — «окончание следует»... Итак, № 7-8. (1996). Тема номера: «Магический квадрат Гёте». Роман Т. Смоллета прослоен следующими публикациями. Интервью с академиком Борисом Раушенбахом, членом Попечительского совета журнала, с Андреем Битовым, членом того же совета, с Борисом Гребенщиковым. Интервью с Петром Горяевым — о генетике. Сочинение Андрея Кнышева, неопределенного жанра. «Русская повесть» Владимира Королева. Стихотворения и проза Владимира Набокова. Далее, № 9-10 (1997). Темы номера: «Империя. Имперский человек. Имперская Психея». Все тот же «Перегрин Пикль» прерывается следующими материалами. Интервью с Виталием Третьяковым и Олегом Попцовым. Статья Владимира Махнача «Империи». Отрывок из «Писем к сыну» Филипа, графа Честерфильда. Проповедь Григория Распутина, «произнесенная в гостинной», источник литзаписи не указан. Фрагмент романа Андрея Битова «Что-то с любовью». Поэма Игоря Петрова «Календарь». Рассказ Владимира Королева «Рабыня». Статья Николая Бахтина (1894 — 1950) «Разложение личности и внутренняя жизнь». Рассказ Олега Постнова «Полтергейст». «Мысли о „Русской душе“» Владимира Вейдле. Текст Владимира Набокова

«Кэмбридж». К сожалению, журнал «Другие берега» удивляет не столько оригинальным своим построением и прихотливым подбором материала, сколько... Ну, например, когда в публикации В. Вейдле вместо того, чтобы указать годы жизни автора, год написания или публикации статьи, источник публикации, — так вот, вместо всего этого редакция просто пишет три слова «Первая русская эмиграция», то это даже не смешно.

Зоил. Литературно-критический журнал. Редакция: Инна Булкина, Казбек Бектурсунов, Наталья Медведева. Тираж 500 экз. Киев, 1997, № 1.

Это первый (или скорее нулевой, пилотный) номер нового литературно-критического журнала. Его создатели стремятся стать «своего рода путеводителем в литературной, журнальной, издательской жизни Киева, а кроме того, в меру своих сил информировать киевских читателей о литературной жизни Москвы и Санкт-Петербурга, о новых публикациях российских толстых журналов и т. д.». «Зоил» — двуязычный журнал, принимающий тексты как украинских, так и русских авторов. «Мы отдаем себе отчет в том, что ЗОИЛ возникает на «костях» умерших в недавнем прошлом киевских журналов, умерших, видит Бог, не от старости. Одновременно с ЗОИЛом, насколько нам известно, должны явиться в свет еще несколько новых журналов, стало быть, предполагается некий новый этап, или *новая волна*, киевского журнализма». Редакция полагает журнал «*формой литературного процесса* — организующей структурой, придающей этой материи смысл и очертания». Номер открывается статьями Томаса Стернза Элиота о назначении поэзии и назначении критики в переводах И. Б. Проценко, А. М. Зверева и Н. И. Бушмановой. Печатаются стихотворения разных авторов на русском и украинском языках. В рубрике «Журнальное обозрение» — обзор журналов «Collegium» и «Самватас», оба уже прекратили свое существование, что всегда печально. В отделе «Рецензии» среди прочего напечатана рецензия на книгу В. Г. Скуратовского «История и культура» (Киев, 1996), отрецензированную на страницах «Нового мира» Мариной Новиковой (1997, № 1). Кстати, на стр. 127 «Зоила» отмечается, что «критика и рецензии в «Новом мире» — едва ли не самый сильный отдел». На последних страницах «Зоила» обращает на себя внимание *Олександр Ірванець* со стихами «*Прощання з купоном (елегія)*» и «*Ода грівні*».

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июль

5 лет назад — в № 7 за 1992 год напечатаны роман Анатолия Кима «Поселок кентавров» и повесть Людмилы Улицкой «Сонечка».

30 лет назад — в № 7 за 1967 год напечатаны рассказ Виктора Астафьева «Ясным ли днем» и повесть И. Грековой «На испытаниях».

35 лет назад — в № 7 за 1962 год напечатаны повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель» и рассказы Василия Аксенова «На полпути к Луне» и «Папа, сложи!».

45 лет назад — в № 7 за 1952 год началась публикация романа Василия Гроссмана «За правое дело».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путь-Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Inna Lisnyanskaya, Semen Lipkin, Leonid Rabchev and Yuri Kosagovsky.

We are publishing the narratives «Our Old House» by Boris Yekimov and «Great-Grandson Vovka's Lessons» by Sergei Zalygin.

The section «New Translations» presents the novel by Christoph Ransmayr «Morbus Kitahara» translated by N. Fjodorova as well as poems by Dutch poets translated by Marina Paley.

Travel notes on Vietnam of nowadays written by Archimandrite Augustin (Nikitin) occupy the section «Times and Morals».

In the section «Far Nearness» we are publishing the article «The Drama of the Volga Zemstvo» by Michail Matveyev.

The section «Comments» contains an article by Sergei Larin on the Polish magazine «Culture» published in Paris.

The section «Les Essais» is presented by the article «Time is Money' as a Cultural Principle» by Tatyana Cherednichenko.

The section «Writer's Diary» contains an article by Alexander Solzhenitsyn on the novel «Petersburg» written by Andrei Belyi.

In the section «Literary Criticism» Sergei Bocharov and Marina Novikova give their opinions of a new book about Dostoevsky, written by Tatyana Kasatkina.

The issue also presents our traditional sections «Reviews», «Editor's Mail» and «Bibliography».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29. Факс: 200-08-29.

Электронная почта: nmir@deol.ru

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Сдано в набор 20.03.97 г. Подписано к печати 26.05.97 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 ¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 14 170 экз. Зак. 5085. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1997 ГОДА
И В 1998 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Подписанты (повесть);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
 ЯН ГОЛЬЦМАН. Страницы северной тетради;
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Из «Дневника» (перевод с польского);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;
 ВАЛЕРИЙ ИСХАКОВ. Пудель Артемон (повесть);
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);
 МИХАИЛ КУРАЕВ. Произведение (маленькая повесть);
 АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Дельфтский мастер (эссе);
 ОЛЕГ ЛАРИН. Ехала деревня мимо мужика (сцены из захолустной жизни);
 АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Б. Б. и др. (рассказы);
 ПЕРЕПИСКА М. ГОРЬКОГО и И. СТАЛИНА, 1929 — 1936 годы (из Архива Президента Российской Федерации);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Накопитель (повесть);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
 АНТОН УТКИН. Свадьба за Бугом (повесть);
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Армия любовников (роман);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также новые произведения СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, ЮРИЯ БУЙДЫ, АНДРЕЯ ВОЛОСА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, БУЛАТА ОКУДЖАВЫ, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**